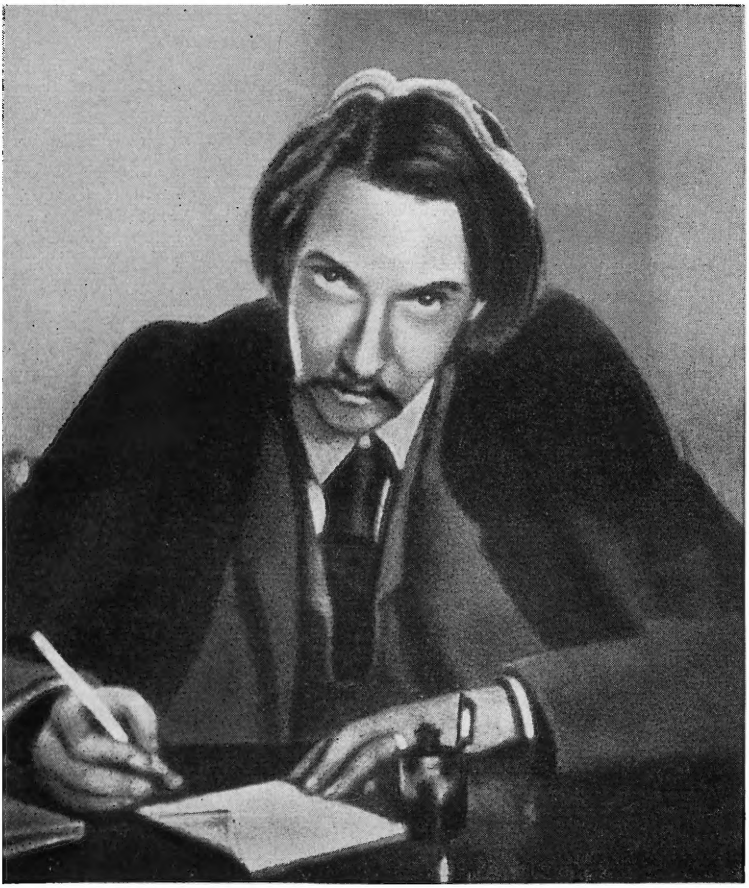
Р. Л. Стивенсон



РОБЕРТ ЛУИС СТИВЕНСОН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТИ ТОМАХ

ТОМ 1

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» ● ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА ● 1967

Собрание сочинений выходит
под общей редакцией
М. Урнова.

Иллюстрации художника
С. Бродского.

РОБЕРТ ЛУИС СТИВЕНСОН

(Жизнь и творчество)

В читательской памяти Роберт Луис Стивенсон нередко оказывается автором одной книги. Называют имя Стивенсона и вслед за ним, как исчерпывающее его пояснение,— «Остров Сокровищ». Особая популярность «Острова Сокровищ» в школьной среде укрепила за произведением Стивенсона репутацию книги открытой и очень доступной, а за ее автором — славу литератора, пишущего для юношества. Подобное обстоятельство побуждает видеть в этом романе, как и в творчестве Стивенсона вообще, явление более простое и по значению своему довольно узкое (приключения, увлекательность, романтика) в сравнении с действительным его смыслом, реальным значением и воздействием.

Между тем сложнейшие узлы многих литературных проблем на английской почве сходятся как прежде, так и теперь к творчеству Р. Л. Стивенсона. И когда, например, крупный современный писатель Грэм Грин ставит это имя в ряд наиболее влиятельных своих учителей, такой жест на первый взгляд кажется неожиданным и даже произвольным: Грин — новейший психолог, предпочитающий для наблюдений теневую сторону душевного мира, и Стивенсон — создатель столь «легкой» книги, вроде «Острова Сокровищ»?! Чтобы понять выбор Грэма Грина, чтобы проследить линии соединения таких фигур, как Достоевский и Стивенсон, или связи Стивенсона с Теккереем, с Уолтом Уитменом или же с Уилки Коллинзом, чтобы уяснить своеобразие Стивенсона и его значение, надо вспомнить о нем — авторе многих других, кроме «Острова Сокровищ», книг и разобрать пристальнее очевидную романтику, так явственно выделившую его творчество.

Не только книги, почти в равной мере и биография Стивенсона способствовала его популярности. Цельность харак-

тера, мужество поведения, необычность фона и обстановки, в которой оказывался Стивенсон, драматизм судьбы — все волновало воображение. Имя писателя сопровождали легенды. Его жизнь представлялась, как и книги его, то совершенно открытой, вполне доступной пониманию, то таинственной, не вдруг легко объяснимой. Бродили слухи, складывались разноречивые мнения, и одни и те же биографические факты являлись на печатных страницах то в розовом, то в черном свете.

В 1901 году Уильям Хенли, некогда заметный и влиятельный литератор, бывший друг и соавтор Стивенсона (совместно ими написано несколько пьес), заявил во всеуслышание, что созданные семейным кругом представления о Стивенсоне сильно приглажены, что он вовсе не был «ангелом с засахаренными крылышками». Не суть самих слов, в большей степени акцент, с которым они были произнесены, подстрекнул другую крайность, задал тон, породив страсть и стиль сенсационно-«разоблачительного» толкования Стивенсона. Отношения между Хенли и Стивенсоном — тема сложная; все же можно напомнить, что в их дружбе давно обозначилась трещина. Хенли дал повод к затяжной ссоре, виной тому был его характер, писательские наблюдения над которым отразились в знаменитом персонаже «Острова Сокровищ» Джоне Сильвере.

Двухтомная биография Стивенсона, написанная его двоюродным братом Грэхэмом Бэлфуром и появившаяся год спустя, не разъяснила сомнений и не внесла умиротворения. Теперь читатель мог вооружиться новыми сведениями, и все же было заметно, что автор «Жизни Роберта Луиса Стивенсона» сэр Грэхэм Бэлфур урезывает факты и оставляет недомолвки.

После смерти в 1914 году жены писателя, Фанни Стивенсон, на аукционе в Нью-Йорке пошли с молотка его письма, разные рукописи, возбудившие естественный интерес и понятное любопытство. В недремлющих очах «разоблачителей» зажегся лихорадочный огонек, и начали являться статьи и книжки, «проясняющие» портрет Стивенсона. Обрывочные сведения и намеки служили основанием для решительных выводов и широких концепций. Критическая мысль вертелась вокруг нескольких «проблем» интимного свойства, извлеченных из туманных лет стивенсоновской юности. Больше всего горячила страсти неясная история отношений Стивенсона к Кэт Драммонд, юной певичке из ночной таверны. Будто бы он горячо полюбил обесчещенную девушку, тяготившуюся предосудительным ремеслом, собирался жениться на ней, но отцовский ультиматум заставил его капитулировать. Как это было и что именно было, до сих пор остается неясным. Ничто, однако, не помешало представителям стороны, действовавшей под девизом «Стивенсон не был ангелом», широко обсуждать его нравственный облик, суть его характера и литературной позиции.

О крикливо-сенсационном свойстве наиболее рьяных выступлений этого толка может дать представление хотя бы заголовок статьи Джорджа Хеллмана «Стивенсон и проститут-

ка», опубликованной в журнале «Американ Меркюри» (1936). «Проблема» Лу Стивенсон — Кэт Драммонд определила сюжет ремесленного «любовного» романа (1927) Джона А. Стюарта, автора двухтомной биографии писателя (1924), «критической», как подчеркнуто в подзаголовке. Особые усилия к тому, чтобы обесславить и принизить Стивенсона, приложил Е. Ф. Бенсон, сын архиепископа кентерберийского, в своем язвительном выступлении «Миф о Роберте Луисе Стивенсоне» на страницах журнала «Лондон Меркюри» (июль — август 1925 года).

Отзвуки этой полемики слышны до сего времени, хотя страсти давно утихли. Еще можно видеть вялые круги от шумного всплеска, произведенного «иконоборцами» в 20—30-е годы, и в то же время еще держится традиция дидактико-романтического толкования стивенсоновской биографии. Каким бы ни был шум, поднятый вокруг Стивенсона в 20-е и 30-е годы, его последствия выражаются не одними минусами. Критическое отношение к моделям приглаженного Стивенсона сменило тон и стиль и в книге Мальколма Элвина «Странный случай с Робертом Луисом Стивенсоном» (1950), приняло вид серьезного и обдуманного обсуждения спорных вопросов.

Появление новых материалов о Стивенсоне, возросший интерес к нему, потребность истины вызвали необходимость углубленного изучения его жизни и творчества. В 1951 году вышло большое исследование жизни Стивенсона — книга Дж. Фернеса, эпиграфом к которой автор поставил слова из последнего монолога шекспировского Отелло: «Скажите обо мне то, чем я на самом деле являюсь. Ничего не смягчайте, ничего не припишите по злобе». Эта книга — первый обстоятельный свод обширного материала и основательная попытка разобраться как в сути дела, так и в частностях, не подменяя одно другим и не смягчая произвольно акцентов.

В 1957 году Ричард Олдингтон, талантливый писатель и знаток литературы, выступил с книгой о Стивенсоне. Живое исследование писателя о писателе всегда представляет интерес, а в условиях, когда возникает необходимость сказать смелое и решительное слово в защиту честного имени и доброго дела, этот интерес приобретает принципиальное значение. Тон и дух убежденного достоинства, с каким рассуждает Олдингтон, мысль и слово опытного человека и профессионала высоко поднимают его книгу над многими произведениями, перегородившими колючим частоколом путь к живому Стивенсону.

Название книги Олдингтона «Портрет бунтаря», как и монографии Фернеса «Плавание против ветра», выражает суть их представлений об авторе «Острова Сокровищ», его жизненной и творческой позиции.

Роберт Луис Стивенсон — романтик, вполне убежденный и вдохновенный, сам выражение и пример провозглашенных им принципов, но романтик особого склада, не столько сторонник, сколько противник романтизма начала прошлого века, тех его идей и настроений, которые исходили от эгоцентрического индивидуализма, лишь себе желавшего воли.

Стивенсон — основоположник, теоретик и ведущая фигура английского романтизма последней четверти XIX века, значительного литературного направления, которое принято называть неоромантизмом в отличие от романтизма первых десятилетий века. Самым значительным неоромантиком, помимо Стивенсона, был Джозеф Конрад.

Противодействие духовной инерции, потребность самостоятельности, бунт против нравственного шаблона и бытовой условности сказались у Стивенсона рано и послужили толчком для его романтических исканий. Едва он стал литератором, как выразил озабоченность кризисными явлениями, эстетскими и упадочническими настроениями. К сожалению, все мы в литературе играем на сентиментальной флейте, и никто из нас не хочет забить в мужественный барабан, сказал он на страницах очерков «Путешествие внутрь страны», изданных в 1878 году. В этих словах сожаление соединяется с отчетливым пожеланием. В статье «Уолт Уитмен» та же беспокоившая Стивенсона мысль представлена уже как личная установка, принятая на себя задача и широкий призыв: «Будем по мере сил учить народ радости. И будем помнить, что уроки должны звучать бодро и воодушевленно, должны укреплять в людях мужество».

Принцип мужественного оптимизма, провозглашенный Стивенсоном в конце 70-х годов, явился основополагающим в его программе неоромантизма, и он следовал ему с убежденностью и воодушевлением. Особым смыслом в этой связи наполняется предпочтительный интерес Стивенсона к молодому возрасту: герои Стивенсона, всех его знаменитых романов — юноши или совсем еще молодые люди. Подобное пристрастие вообще свойственно романтизму. У Стивенсона увлечение временем юности приходится на «конец века», протекает в кризисные для Англии десятилетия и по одной этой причине, как проницательно заметил видный писатель Генри Джеймс, обретает философский смысл. Автор «Острова Сокровищ» ценит здоровую юность, смотрит на мир как бы ее глазами, широко открытыми и ничем не замутненными. Не расслабленное и болезненное, а жизнелюбивое, яркое мироощущение здоровой юности передает он в своих книгах, помещая юного героя в среду отнюдь не тепличную, сталкивая его при посредстве увлекательного сюжета с чрезвычайными обстоятельствами, требующими напряжения всех сил, энергичных, самостоятельных решений и действий.

«Я пришел к его порогу почти что нищим, почти ребенком, и чем он встретил меня? Коварством и жестокостью» — вот ситуация, в которой оказывается с первых самостоятельных шагов бездомный сирота семнадцатилетний Дэвид Бэлфур, герой романов «Похищенный» и «Катриона». Неопытный и благодушный, влекомый радужной надеждой, он сразу, без психологической подготовки или передышки, без предупредительных знаков с чьей-либо стороны сталкивается с насилием и злобным коварством. Вполне возможно было ожидать духовного потрясения, неизгладимой обиды, растерянности. Ничего подобного со стивенсоновским романтическим героем не происходит. Следует совсем иная реакция, и потому прежде всего,

что при всей приподнятости и беззащитности его романтического воображения он не страдает эгоцентризмом и не мучается болезненной рефлексией. Раздумье Дэвида Бэлфура о трагическом положении тут же перебивается энергичной мыслью: «Но я молод, отважен...» Дэвид Бэлфур рассуждает, как юный Робинзон Крузо, очутившийся на необитаемом острове. Это сопоставление возникает невольно, его подсказывает и сам автор, когда его герой попадает на дикий, безлюдный островок.

В последнюю треть прошлого века «Робинзон Крузо» сделался вдруг необычайно притягательным для разных английских писателей. Им зачитывался Томас Гарди. К нему тянулся и над ним раздумывал Стивенсон. «Робинзон Крузо» казался загадкой, хотелось проникнуть в секрет этого неувядающего образа. Привлекала удивительная простота его конструкции и слога и неотразимая убедительность описаний. И вместе с тем ясность, натуральность и трезвый оптимизм выраженного в нем мироощущения. Держа в памяти литературный образец и многочисленные подражания, прибегая к сопоставлениям, Стивенсон делает поправку. «Во всех книжках читаешь,— говорит Дэвид Бэлфур,— что когда люди терпят кораблекрушение, у них либо все карманы набиты рабочим инструментом, либо море как по заказу выносит вслед за ними на берег ящик с предметами первой необходимости. Со мной получилось совсем иначе». Стивенсону не удается освободиться от этого «как по заказу», оно появляется у него в виде счастливого случая или неожиданной поддержки доброжелателя, повертывающих сюжет и выручающих попавшего в беду героя. Однако заслуживает быть отмеченной его установка: он выдвигает задачу преодолеть инерцию, он, романтик, не хочет отрываться от реальной почвы и это устремление берет за принцип. «Два обязательства возлагаются на всякого, кто избирает литературную профессию: быть верным факту и трактовать его с добрым намерением»,— подчеркивает он в статье «Нравственность литературной профессии». Для Стивенсона, принципиального противника натурализма, соблюдать верность факту не означает довольствоваться его копией, внешне документальным жизнеподобием.

Стивенсон высоко мыслит о литературе, ее возможностях и общественном значении, считает литературу одной из деятельных форм жизни, не только отражением реальности. Литературе, по его глубокому убеждению, не следует ни подражать жизни, то есть копировать ее, ни «соперничать с нею», то есть делать бесплодные попытки сравняться с творческой энергией и масштабом самой жизни. Он решительно заявил об этом в статье «Скромное возражение», явившейся откликом на литературную полемику середины восьмидесятых годов между Генри Джеймсом и популярным в то время английским беллетристом Уолтером Безантом. Стивенсон настаивал на необходимости отбора фактов и их толкования по принципу типического. «Наше искусство, — писал он, — занято и должно быть занято не столько тем, чтобы делать сюжет доподлинным, сколько типическим; не столько тем, чтобы воспроизводить каждый факт, сколько тем, чтобы все

их направить к единой цели» для выражения правдивого замысла.

Романтизм начала века, как ни порывал он с канонами классицизма, все же во взгляде на личность и ее отношения с обществом не мог преодолеть схемы. Романтический герой обычно представал «лучшим из людей», высоко поднявшимся над средой, оказывался жертвой общества, был ему противопоставлен, внутренние их связи оставались скрытыми, или предполагалось, что они отсутствуют вовсе. В самой личности и в общественной среде добро и зло располагались по принципу контраста. Стивенсон отказывается от подобной трактовки сложной проблемы.

В «Воспоминаниях о самом себе», написанных в 1880 году, Стивенсон вспоминает, как его волновала проблема героя. «Стоит ли вообще описывать негероические жизни?» — спрашивал он себя. Ответ оформился сам собою. Сомнения разрешились в ходе размышлений писателя над своей юностью.

«Нет людей совершенно дурных: у каждого есть свои достоинства и недостатки» — в этом суждении одного из героев Стивенсона, Дэвида Бэлфура, выразилось убеждение самого писателя. Так и художественное произведение, о котором можно сказать, что оно живет и будет жить, по мнению Стивенсона, соединяет в себе правду жизни и идеальное в ней, является «одновременно реалистическим и идеальным», как сформулировал он избранный им принцип художественного творчества в краткой статье «Заметки о реализме».

Стивенсоновский неоромантизм противопоставлен своекорыстию буржуазного бытия, измельчавшего, бесцветного, придушенного делячеством, как откровенным, так и сдобренным либеральной фразой. В то же время ему чужд декадентский скепсис, снобизм, упадочные настроения эстетов. Не мирится он и с установками натуралистов, с их практикой поверхностного бытописательства и с демоническими воспарениями и эгоцентризмом романтиков.

В отличие от многих выдающихся литераторов, например, Томаса Гарди, Герберта Уэллса или Джона Голсуорси, Стивенсон очень рано, еще в детстве, почувствовал свое призвание и тогда же начал готовиться к намеченной профессии, хотя не сразу выбрал прямой путь.

«В детские и юношеские мои годы,— вспоминал Стивенсон,— меня считали лентяем и как на пример лентяя указывали на меня пальцем; но я не бездельничал, я был занят постоянно своей заботой — научиться писать. В моем кармане непременно торчали две книжки: одну я читал, в другую записывал. Я шел на прогулку, а мой мозг старательно подыскивал надлежащие слова к тому, что я видел; присаживаясь у дороги, я начинал читать или, взяв карандаш и записную книжку, делал пометки, стараясь передать черты местности, или записывал для памяти поразившие меня стихотворные строки. Так я жил, со словами». Записи делались Стивенсоном не с туманной целью, им руководило осознанное намерение приобрести навыки, его искушала потребность мастерства. Прежде всего ему хотелось овладеть мастерством описания, затем диалога. Он сочинял про себя разговоры, разыгрывал роли, а удачные

реплики записывал. И все же не это было основным в тренировке: опыты были полезны, однако таким образом осваивались лишь «низшие и наименее интеллектуальные элементы искусства — выбор существенной детали и точного слова... Натуры более счастливые достигали того же природным чутьем». Тренировка страдала серьезным изъяном: она лишена была мерила и образца.

Дома втайне от всех Стивенсон изучал литературные образцы, писал в духе то одного, то другого писателя-классика, «обезьянничал», как он говорит, стараясь добиться совершенства. «Попытки оказывались безуспешными, я это понимал, пробовал снова, и снова безуспешно, всегда безуспешно. И все же, терпя поражение в схватках, я обрел некоторые навыки в ритме, гармонии, в строении фразы и координации частей».

Редкая биография Стивенсона обходится без цитаты из его статьи «Университетский журнал», без слов о том, что он «с усердием обезьяны подражал Хэзлиту, Лембу, Вордсворту, сэру Томасу Брауну, Дефо, Готорну, Монтеню, Бодлеру и Оберману», многим знаменитым литераторам разных стран и эпох. Подражание было у него сознательным, с ранних лет стало личной установкой, представленной как общее правило: «Только так можно научиться писать». Писать — может быть, но стать самобытным?! Самобытности, отвечал Стивенсон, научиться нельзя, самобытным надо родиться. Тому же, кто самобытен, нечего бояться временного подражания как средства выучки, оно не опалит крыльев. Монтень, самобытный из самобытных, меньше всего напоминает Цицерона. Однако профессионал заметит, как много первый подражал второму. Сам Шекспир, глава поэтов, учился у предшественников. Когда пренебрегают школой, классическими образцами и традицией, нечего надеяться, что появятся хорошие писатели. Великие писатели почти всегда проходили через школу.

Рассуждая таким образом, Стивенсон высказывал выношенную мысль, проверенную личным опытом. Требование профессиональной выучки укреплялось в нем наблюдением за современной практикой. Литература сделалась профессией не одиночек и не узкого цеха. Все шире становилось ее русло, смыкавшееся с потоком повседневной журналистики. Стивенсон замечал, с какой легкостью даже некоторые даровитые литераторы относились к своему призванию и сколь упрощенно, с каким теоретическим схематизмом и утилитарностью толковали литературные проблемы.

До сих пор, ссылаясь на статьи и другие высказывания Стивенсона о литературе, его сближают с эстетами и формалистами, хотя пафос его выступлений, их логика и аргументы лежат в иной плоскости. Можно укорить Стивенсона в излишней изощренности слога, явившейся, по-видимому, следствием усиленных урочных занятий, когда отточенная фраза несет порой отпечаток нажима, блеск и холодок внешнего усилия. Но невозможно оспаривать высокую степень его профессиональной техники, выработанного им литературного вкуса, чувства ритма и гармонии. Это большой мастер, оригинальный и тонкий стилист. Справедливы его слова о классической

традиции, о ее значении в формировании и развитии писательского мастерства, оправданна его ориентация на высокие образцы, заслуживает признания и уважения его неустанная и вдохновенная забота о совершенстве формы. В эстетической программе и в творчестве Стивенсона можно найти немало изъянов, впрочем, как и у всякого писателя. Однако важно понять его позицию и условия, ее определившие, не цепляясь за словесные формулы и термины, не вкладывая в них произвольно представлений нашего времени.

Стивенсон и романтика сами собою соединяются в читательском представлении, его личность и творчество овеяны духом романтики. Шотландская родословная, уходящая корнями в глубь национальной истории, «бродяжья» жизнь под разными широтами, близость к морю как семейная традиция, стойкость и мужество перед лицом смертельной опасности, книги, насыщенные приключениями,— многое в этом писателе способно воспламенить романтическое воображение.

Стивенсон — заманчивая модель для литературного портрета. Это отметил еще при жизни писателя его старший современник и близкий друг Генри Джеймс, предупредив вместе с тем: отличная модель, модель моделей, только не в смысле нравственного или иного образца.

Жизнь Стивенсона была непродолжительной и почти совпадает со второй половиной XIX столетия. Родился писатель в самой его середине, 13 ноября 1850 года, а умер 3 декабря 1894 года, шесть лет не дожив до нашего века. Томас Гарди (1840—1928) всего на десять лет старше Стивенсона, а Оскар Уайльд (1856—1900) и Бернард Шоу (1856—1950) едва не его ровесники.

Стивенсон — коренной шотландец, шотландец по рождению, воспитанию и национальному чувству, по духовной связи с историей народа и его культурой. Как и Вальтер Скотт, его великий земляк, Стивенсон родился в Эдинбурге—политическом и культурном центре Шотландии. Стивенсонов в Эдинбурге было много, фамилия эта распространенная, но та семья, к которой принадлежал писатель, пользовалась известностью и признанием.

Самые далекие предки Стивенсона со стороны отца были мелкими фермерами, менее далекие — мельниками, солодоварами, дед, Роберт Стивенсон, стал видным гражданским инженером, строителем маяков, мостов и волнорезов. Наиболее известное его сооружение — маяк на сильно затопляемой скале Белл-Рок (восточное побережье Шотландии), гремевшей в бурю набатом, которую моряки именовали «Кулаком дьявола». В свое время маяк поражал воображение. Его посетил Вальтер Скотт, работая над романом «Пират», Джон Тернер, знаменитый английский художник, изобразил его в лунную ночь (картина «Маяк Белл-Рок»). На мозаичном фризе в Национальной галерее в Эдинбурге Роберт Стивенсон представлен в ряду прославленных шотландцев. Его гербовый щит — он был удостоен герба — украшали не традиционные символы воинской доблести; на нем изображение маяка и девиз «Coelum non solem», смысл которого можно передать словами: когда не светит

солнце. Дело Роберта Стивенсона продолжили его сыновья, талантливые инженеры — Алан, дядя писателя, и Томас, его отец.

Роберт Луис Стивенсон избрал иной путь, но семейную традицию он ценил, ее историю знал превосходно, в очерках «Семья инженеров» и «Томас Стивенсон» говорит о ней с уважением и обоснованной гордостью, что заметно даже в простом перечислении: «Томас Стивенсон, родившийся в 1818 году в Эдинбурге, внук Томаса Смита, первого инженера в Управлении северными маяками, сын Роберта Стивенсона, брат Алана и Дэвида; таким образом, его племянник Дэвид Алан Стивенсон, сменивший его на инженерном посту после его смерти, является шестым в семье, кто занимал эту должность. Белл-Рок был построен до рождения Томаса; но под началом брата Алана он участвовал в сооружении Скерривора, лучшего из маяков, построенных в открытом море, а в содружестве с братом Дэвидом к малому числу аванпостов человека, выдвинутых далеко в океан, добавил еще два маяка». В том же очерке «Томас Стивенсон» писатель вспоминает речевую манеру отца, по-видимому, оказавшую влияние на его стиль: «Точность и красочность выражения отличали его речь». Тут же сказано о нем: «Он был упорным консерватором, или тори, как он сам предпочитал называть себя». Многие биографы утверждают, что консерватизм отца отозвался даже на имени сына.

Распространенная легенда гласит, будто неподалеку от Стивенсонов жил правоверный либерал Льюис, и Томас Стивенсон, правоверный консерватор, опасаясь, как бы его не причислили к либералам, решил писать имя сына на французский лад, однако произносить по-английски. Как бы то ни было, имя Стивенсона пишется Louis, и англичане, называя его, говорят Луис (не Луи или Льюис), так обращались к нему и в кругу семьи, если не называли именем уменьшительным — Лу. Робертом его звали редко.

По материнской линии Стивенсон принадлежал к старинному роду Бэлфуров, к «знатным людям» из видных кланов равнинной и пограничной Шотландии. Мать Стивенсона, Маргарет Изабель Бэлфур, была дочерью священника из Колинтона — прихода, расположенного вблизи Эдинбурга.

Стивенсон живо, отнюдь не праздно и без чувства снобизма, интересовался своей родословной. Он испытывал особую радость художника и гражданина, который может обратиться к истории родной страны как к истории в известном смысле «семейной», ощутить ее «по-домашнему», глубоко в ее почве обнаружить свои корни. Семейные предания и легенды он знал с детства, впоследствии искал им документальное подтверждение, проверял в ряду других романтических историй вероятность родственной близости к воинственному клану Мак Грегоров, к знаменитому Роб-Рою, о котором Вальтер Скотт написал роман. Отзвуки этого интереса и энергичных разысканий обнаруживаются не только в письмах Стивенсона, но и в книгах его, особенно в дилогии о Дэвиде Бэлфуре и в неоконченном романе «Уир Гермистон».

Роберт Луис Стивенсон был в семье единственным ребенком. На третьем году жизни он перенес болезнь, по определе-

нию врачей, это был круп, и последствия заболевания оказались непоправимыми. Луис страдал тяжелым недугом, его часто лихорадило, он задыхался, страшный кашель в долгих приступах сотрясал его хилое тело, внешний облик его изменился, и метафорическое выражение «худой, как щепка» точно подходило ему. «Страна Кровати» была его вынужденным поселением, неделями и месяцами он не покидал ее и в любую минуту мог оказаться в ней снова.

Во всех распространенных биографиях Стивенсона сказано, что он страдал туберкулезом легких. Этот диагноз в книге Э. Н. Колдуэлл «Последний свидетель Стивенсона», вышедшей в 1960 году, подвергается сомнению. Автор, ссылаясь на мнения врачей, в разное время лечивших или смотревших писателя, делает вывод, что у него была тяжелая болезнь бронхов.

Факт остается фактом, что еще в детстве Стивенсон почувствовал себя инвалидом, и это чувство сопровождало его до могилы. Не столько боязнь скорой смерти, сколько ощущение недоданной природой и ускользающей жизни побудило его в одном из писем, может быть, несколько выспренне, но с понятной горечью воскликнуть: «О Медея, убей или сделай меня молодым!» В письмах Стивенсона к родным и друзьям прорываются сетования. Не раздраженные или немощные жалобы, но искренне печальные свидетельства испытываемого или только что пережитого мучительного состояния.

Болезнь ограничивала и делала односторонним жизненный опыт Стивенсона. «Детство мое,— вспоминал он,— сложная смесь переживаний: жар, бред, бессонница, тягостные дни и томительно долгие ночи. Мне более знакома «Страна Кровати», чем зеленого сада». В ответ на упрек, почему он воспевает светлые стороны жизни, избегая теневых, он отвечал, что невольно отворачивается от всего болезненного, не желая ворошить пережитые печали.

Нормально учиться Стивенсону не пришлось. В школу он пошел рано, шести лет, но систематических занятий выдерживать не мог. Частые пропуски, переезды, самовольные вакации, недостаток прилежания не способствовали успехам. И он для школы и школа для него были «божьим наказанием». Даже читать он научился не сразу, а когда научился, увлекся чтением, открыв еще одну страну — «Страну Книг».

Томас Стивенсон рассчитывал, что его сын продолжит семейную традицию и станет инженером — строителем маяков. Сменив несколько школ и приватных наставников, поучившись некоторое время в Эдинбургской академии, среднем учебном заведении для детей состоятельных родителей, в 1867 году, семнадцати лет, соглашаясь с пожеланием отца, Луис поступил в Эдинбургский университет. Курс наук сочетался с практикой на строительных площадках, и Луис не без удовольствия принимал в ней участие. Однажды, это тоже входило в программу практических занятий, он в скафандре спускался на морское дно, чтобы изучить рельеф скалы, выбранной для постройки маяка. В 1871 году за сочинение «Новый вид проблескового огня для маяков», представленное на конкурс в Королевское шотландское общество искусств, студент Роберт Луис Стивенсон был удостоен серебряной медали. Казалось, выбор сделан,

временем проверен, судьбой одобрен. Спустя две недели в мучительном разговоре с отцом Луис заявил, что строителем маяков он не будет и мысль о профессии инженера оставляет навсегда. Тогда же было решено, что Луис станет адвокатом. Отец успокаивал себя соображением, что лучше быть хорошим юристом, чем плохим поэтом; сын надеялся, что занятия адвокатурой оставят ему довольно свободного времени для занятий литературных. Вот и Вальтер Скотт: был же он адвокатом, и это не помешало ему стать прославленным романистом.

Положенные экзамены были сданы, юридическое звание высокой градации получено, и все только затем, чтобы лишний раз убедиться: Луис — прирожденный литератор.

Впервые в печати имя Роберта Луиса Стивенсона появилось в октябре 1866 года — ему едва исполнилось шестнадцать лет. То была книжечка в двадцать две страницы, изданная в Эдинбурге в количестве ста экземпляров на средства Томаса Стивенсона. Ее составил очерк под названием «Пентландское восстание. Страница истории, 1666 год». Юный автор на свой лад отметил двухсотлетие крестьянского восстания в Шотландии, подчеркнув намерение «быть снисходительным к тому, что явилось злом, и честно оценить то доброе, что несли пентландские повстанцы, боровшиеся за жизнь, свободу, родину и веру». Юношеское сочинение Стивенсона заслуживает упоминания уже потому, что в нем выразилось устойчивое направление его мысли: постоянный интерес к национальной истории, к важным ее событиям и стремление быть объективным.

Первым печатным произведением Стивенсона, с которого началась его профессиональная деятельность литератора, явился очерк под знаменательным, можно сказать символическим, названием «Дороги» (1873). Так сложилась судьба Стивенсона, что он, абориген «Страны Кровати», был почти вечным странником — по душевной потребности и по жестокой необходимости. Душевную потребность он выразил в стихотворении «Бродяга», в строках, которые звучат девизом:

Вот как жить хотел бы я,
Нужно мне немного:
Свод небес, да шум ручья,
Да еще дорога.
. . . . . .
Смерть когда-нибудь придет,
А пока живется,—
Пусть кругом земля цветет,
Пусть дорога вьется.

(Перев. Н. Чуковского)

В 1876 году Луис и его друг Уолтер, сын знаменитого эдинбургского врача Джеймса Симпсона, на байдарках «Аретуза» и «Папироска» совершили путешествие по водным путям, рекам и каналам Бельгии и Франции. Конечным пунктом намечался Париж, но, не доплыв до Сены, они остановились в деревуш-

ке Грез, где обычно шумной колонией располагались молодые английские и американские художники, приезжавшие практиковаться к барбизонцам в прославленную сень Фонтенбло. Некогда глухая деревенька Барбизон, давшая громкое имя школе французских художников, находилась неподалеку, на окраине леса. Место, среда, обычаи и нравы художнической богемы были Стивенсону хорошо знакомы. Классические времена Барбизона давно отошли. Теодор Руссо, глава барбизонцев, умер в 1867 году, но Стивенсон еще застал в живых Милле, правда, накануне его смерти, когда впервые побывал здесь в 1875 году.

Франция, ее столица, но, пожалуй, особенно среда Барбизона оставили в жизни Стивенсона большой след. Он хорошо знал французский язык, был начитан во французской литературе, классической и современной. «Барбизонский период» — время его усиленной литературной выучки и момент, когда он почувствовал, что пришла пора творческого штурма. «Наступает время,— вспоминал он восемь лет спустя в очерке «Фонтенбло»,— когда приходится оставить подготовительную тренировку, подняться во весь рост, напрячь всю волю и — будь, что будет — начать созидательный труд».

У барбизонцев Стивенсон встретил Франсес Матильду Осборн, впоследствии Фанни Стивенсон, урожденную Ван де Гриф, или Вандергрифт, как произносили фамилию ее предки, переселившиеся в Америку из Швеции и Дании. Когда Луис встретил Фанни, она увлекалась живописью, потому и находилась в кругу художников. Смерть ребенка, младшего сына, заставила ее к тому же искать уединения. Фанни была замужем, старше Стивенсона на десять лет, с нею находились шестнадцатилетняя дочь и девятилетний сын, Ллойд Осборн, его будущий пасынок и соавтор. Биографы любят воспроизводить встречу Луиса с Фанни, когда он впервые увидел ее в окне ярко освещенной комнаты, и уверяют, что это был случай любви с первого взгляда.

Возвратившись в Эдинбург поздней осенью 1876 года, Стивенсон принялся описывать путешествие на байдарках, и вскоре у него была готова порядочная рукопись. Очерки «Путешествие внутрь страны» появились, однако, спустя два года, и это была первая книга Стивенсона, если не считать «Пентландского восстания».

Стивенсон нарочито устремляется «внутрь» страны, где вовсе не ищет ничего примечательного, тем более отвлекающе-авантюрного. И до него были английские писатели — «внутренние» путешественники, причем великие: Лоренс Стерн и Чарлз Диккенс. В отличие от Стерна автор очерков не поглощен «диалектикой чувств», в отличие от Диккенса, или, вернее, от мистера Пикквика, не преследует целей широковещательной познавательности и восторженной добродетели. Стивенсоновские очерки, разумеется, вещь гораздо менее значительная, и сопоставление делается лишь затем, чтобы оттенить направление мысли. Стивенсон не был склонен преувеличивать достоинств своей первой книги и в изящно написанном, остроумно-задорном предисловии признается читателю, что «автору лучше всего делать вид, будто книгу написал кто-то другой, а вы лишь бегло ее просмотрели и вставили все лучшие места».

Автор описывает повседневные события путешествия, забавные недоразумения, делает пейзажные и бытовые зарисовки, наброски лиц и характеров, делает точно и тонко, однако без видимого расчета и напряжения. Плывя по течению, он отдается ему, но противится инерции ходячих представлений, отстаивает внутреннюю самостоятельность, добиваясь того, чтобы восприятие было подвижным, отзывчивость непосредственной, а вывод самостоятельным.

Заключительные слова «Путешествия» могут озадачить. Может показаться, что, путешествуя, Стивенсон испытал глубокое разочарование, поблекли в его глазах дальние дороги, и последняя фраза написана лишь для того, чтобы охладить пыл ретивых путешественников.

«Греби хоть весь день напролет, но, только вернувшись к ночи домой и заглянув в знакомую комнату, ты найдешь Любовь или Смерть, поджидающую тебя у очага; и самые прекрасные приключения — это не те, которые мы ищем».

Некоторые биографы находят в этих словах скрытый намек на встречу Стивенсона с Фанни в тот момент, в деревушке Грез, когда путешествие завершилось. Может быть, и так, но не в этом суть. Главная мысль состоит в том, что внутреннее развитие и наполнение, собственно жизнь, нельзя заменить механическим передвижением, сколь бы ни было оно динамичным и многокилометровым. И в путешествии, ближнем или дальнем, важен отправной пункт, в конечном счете сам человек, предпринимающий путешествие. И вместе с тем: «Великое дело быть в движении, непосредственно ощутить потребности и тяготы жизни, спуститься с перины цивилизации и почувствовать под ногами земную твердь» — в этих словах выражено не только личное умонастроение Стивенсона; с приближением «конца века» оно становилось все более заметным, как и желание «забить в мужественный барабан». Недоверие к нравственным прописям, ощущение идейного кризиса вызвало порыв самостоятельных исканий, потребность сквозь все наслоения пробиться к «сути вещей» и «собственной кожей» почувствовать «твердь земли». У Стивенсона этот порыв не имел ничего общего ни с нигилистическим отрицанием предшествующего опыта, ни с декадентским безволием.

В своих очерках Стивенсон создал тип путешественника, который не значится в известном перечне Лоренса Стерна в его романе «Сентиментальное путешествие», хотя в некотором отношении мог бы этот перечень продолжить. Это тип нерасчетливого путешественника, «путешественника-некоммерсанта», если воспользоваться более ранним определением Диккенса. Он оказался своего рода моделью на известный период. Такой путешественник, обычно художник или литератор, не преследует выгоды, пренебрегает стимулом барыша, говоря словами Олдингтона, «отказывается от наград и привилегий, а равно и от ответственности и обязательств человека, делающего деньги».

«Это литература» — то есть не ремесленная поделка,— сказал об очерках «Путешествие внутрь страны» Джордж Мередит, творчество и авторитет которого Стивенсон ставил высоко.

Путевые очерки Стивенсона начинают традицию, воплотившуюся позднее в книгах Джерома К. Джерома «Праздные мысли лентяя» (1886) и «Трое в одной лодке» (1889), где «путешествие» подменяется стандартной «прогулкой» и где как бы сам собой обнаруживается идиотизм обывательского быта.

Радость, обретаемая в муках творчества, дар слова и воображения, рано определившееся призвание, потребность самоутверждения давно побуждали Стивенсона выйти за круг литературных статей и очерков. В октябре 1877 года (в журнале «Темпл Бар») появилось первое его художественное произведение — рассказ «Ночлег Франсуа Вийона». Это сюжетное осмысление личности выдающегося французского поэта XV века еще связано с литературно-критическим опытом Стивенсона и подсказано им. Наряду с рассказом он пишет статью «Франсуа Вийон, ученый, поэт и взломщик». И все же «Ночлег» — уже выход в иную область творческой деятельности.

Стивенсона занимали характер и судьба Вийона: талантливейший поэт — и в то же время бродяга, пропойца и вор; человек свободомыслящий и на свой лад рыцарь чести, у которого, говоря словами Шекспира, «душа добра во зле», и вместе с тем — пример внутренней расшатанности, образец нравственной аморфности. Франсуа Вийону противостоит старик Энгерран де ла Фейе, рыцарь без страха и упрека в буквальном и переносном смысле. Сталкивая характеры, Стивенсон не спешит с выводом и вовсе избегает назидания. Он готов и хочет подчиниться неумолимой логике объективного анализа.

Вместе с Вийоном автор называет Энгеррана де ла Фейе «чудесным стариканом». Ему нравятся прямота его характера, цельность чувств, широта гуманного жеста. Ему приятно слышать из его уст, как решительно отвергает он принцип наживы, противопоставляя ему принцип чести. И тут же, пробивая его обветшалые рыцарские доспехи, он острием слова колет уязвимые места нравственной модели, слепленной феодальной Европой. Отдавая должное душевной силе и обаянию старого рыцаря, он неспроста замечает, что его «прекрасное лицо, скорее почтенное, чем умное», и что стройная система его принципов далеко отлетела от реальности.

Вместе с Энгерраном де ла Фейе Стивенсон, одолеваемый какой-то неисповедимой симпатией, вглядывается в поэта, стараясь понять, как это в нем столь причудливо смешались добро и зло. В отличие от старика Стивенсону нравится, что Вийон чужд этического ригоризма, что в нем живет творческий дух, и потребность свободы, и жажда самостоятельной оценки истины, и не утрачена честь.

Когда же в конце рассказа Энгеррану де ла Фейе становится не по себе в присутствии Вийона, ему «тошно видеть его», а поэт, не сомневаясь в порядочности сеньора, все же не может уверовать в его ум и на этот раз называет его «нудным стариком», то очень похоже, что автор равно разделяет их чувства и мнения. Однако в отличие от средневекового рыцаря писатель новейшего времени, пристально вглядываясь в причудливый облик поэта, видит в нем проявление самобытной артистической натуры и гротескных условий жизни. Бродяга Вийон и зимний Париж 1456 года, описанные с проникновенной

выразительностью, хорошо передают и мысль и настроение Стивенсона, проникающего в трагическую судьбу необычайно талантливой личности переходного времени. Несмотря, казалось бы, на замкнутость литературной темы и неразвернутость ее трактовки в малом жанре, рассказ «Ночлег Франсуа Вийона» и его герой тогда же вызвали живой читательский интерес.

Близко примыкает к «Ночлегу» рассказ «Вилли с мельницы», написанный осенью 1878 года и появившийся в январском номере «Корнхилл мэгэзин» за 1879 год. Этот рассказ-притча также возникает еще на основе литературно-критических занятий Стивенсона и служит аллегорическим выражением как бы очередного приступа его размышлений над практическими и философско-этическими проблемами.

Высоко в горах, в отдаленном и замкнутом мирке, живет юный Вилли, герой рассказа. С гор в долину бежит река, и, прослеживая про себя ее движение через шумные города в огромное море, он испытывает невольное желание бежать вместе с ней, спуститься вниз, приобщиться к большому миру. Проснувшийся дух охвачен волнением, жаждет «путешествия», смелого и энергичного, по морю житейскому, и юноша Вилли одержим беспокойным стремлением. Но обстоятельства препятствуют ему. Не пускает приемный отец, а потом странный гость отговаривает его, внушая мысль, что все это суета духа, так же суетятся люди в долинах, мечтая подняться в горы. Никуда не надо стремиться, лучше сдержать себя, укротить свой дух и жить созерцанием и повседневной заботой. Вилли принимает совет и следует ему, пока наконец не появляется загадочная карета и не увозит его в последний путь. Старинная по сюжетным мотивам притча, пересказанная на современный лад с сохранением элементов библейского стиля, содержит поучение, совершенно ясное по своему смыслу. Вилли вел растительное существование, умирая заживо, и его пример может только отвратить от такого образа жизни.

В 1878 году, находясь во Франции, в горной деревушке Монистье, Стивенсон закончил серию рассказов, которые с июня по октябрь под общим названием «Современные тысяча и одна ночь» печатались в журнале «Лондон». Подыскать для них издателя оказалось не так просто, и отдельной книгой с несколько измененным заголовком («Новые тысяча и одна ночь») они вышли только в 1882 году. Эту серию составляют два цикла — «Клуб самоубийц» и «Алмаз Раджи»; в первый входят три, во второй четыре рассказа.

Со знаменитыми «арабскими сказками», широко известными как «Сказки Шахразады», или «Тысяча и одна ночь», Стивенсон познакомился еще в детстве и увлекся ими. «Сказки», едва они появились в переводе Галлана на французский язык, приобрели в Европе популярность и литературное влияние. «Новые тысяча и одна ночь» Стивенсона — еще одно свидетельство не только устойчивости, но и разносторонности этого воздействия.

«Клуб самоубийц» и «Алмаз Раджи» объединены общим замыслом и единым героем, романтическим принцем Флоризелем, таинственным и добродетельным правителем Богемии, вы-

ступающим в роли современного Гарун аль Рашида, в новейшем написании Харун-ар-Рашида, великодушного халифа книги «Тысяча и одна ночь». Стивенсон обратился к этому классическому и популярному произведению с намерением использовать его сюжетные и иные мотивы в пародийных целях.

«Новые тысяча и одна ночь» — остроумная пародия на жанр авантюрно-приключенческой и сенсационной литературы в том его затасканном виде, в каком он являлся под ремесленным, пошло-развлекательным или утилитарно-нравоучительным пером. Стивенсоновская пародия не замыкается литературной темой. В отличие от рассказов «Ночлег» и «Вилли с мельницы» в семи циклизованных новеллах отчетливо проступает современный материал и немаловажные проблемы времени.

«Клуб самоубийц» — ироническое наименование эстетских кружков и групп, предшествовавших декадентским содружествам и группировкам «конца века». Предметом стивенсоновской пародии служит мнимая значительность, эгоцентризм и крикливая поза поклонников меланхолии, проповедников упадочнических идей и настроений.

«Клуб самоубийц» — заведение для избранных, его посещают чувствительные юноши и молодые люди «со всеми признаками острого ума», однако без намека на энергию и волю, которые способны обеспечить жизненный успех. Клубная атмосфера насыщена экзальтацией. Вспышки лихорадочного веселья сменяются жуткой немотой. Занятия немногочисленны, праздны, но по-своему деловиты, и все делается с позой пресыщенности и под знаком упадочнической бравады. Вино, беседы о смерти и способах самоуничтожения, карточная игра, в которой фатальная карта намечает очередную жертву и очередного убийцу,— таков ритуал этого «храма опьянения». Дух смерти витает над собравшимися, тема смерти на смоченных вином устах. «Что касается меня,— говорит один из добровольных самоубийц,— единственное, о чем я мечтал, это о повязке на глаза да вате, чтобы заткнуть уши. Но увы! В этом мире не сыскать достаточно толстого слоя ваты!» Другой уверяет, что он ни за что не стал бы членом клуба, если бы теория мистера Дарвина не представлялась ему столь убедительной. «Мысль, что я являюсь прямым потомком обезьяны,— сказал сей оригинальный самоубийца,— показалась мне невыносимой». «Неужели все это так важно, чтобы поднимать такую суету,— комментирует про себя предмогильную беседу принц Флоризель.— Если человек решился уйти из жизни, какого черта он не совершает этот шаг, как подобает джентльмену». Иронический характер диалога и комментария очевиден, и в словах комментатора слышен голос самого автора.

Замысел авантюрных историй с «Алмазом Раджи» более разветвлен и обширен. Бытовая и психологическая его основа и социальная направленность выступают вполне отчетливо, едва прикрытые призрачным покровом фантастического сюжета.

В четырех новеллах рассказывается о том, как некий Томас Ванделер, находившийся в Индии в рядах английских колониальных войск, оказывается владельцем необыкновенного алмаза кашгарского раджи. Загадка этого таинственного при-

обретения, щедрого подарка за «услуги», служит предметом недвусмысленных толков. Новоявленный собственник поразительной драгоценности из бедняка превращается в немыслимого богача, и автоматически безвестный и грубый служака становится прославленным светским львом. Почтительно и радушно его принимают в избранных кругах Лондона, и в скором времени объявляется знатная девица, пожелавшая обладать алмазом «даже ценою брака с сэром Томасом Ванделером».

Алмаз Раджи, подобно лоскутку шагреня из романа Бальзака «Шагреневая кожа», наделен магической и зловещей силой. Разжигая вожделения, он переходит из рук в руки, вовлекая в авантюрный круговорот новых участников и новые жертвы. Это завораживающий символ собственности, и под его воздействием ничтожества возвеличиваются, нравственные понятия искажаются, истинные ценности подменяются ложными. И так тянется цепь злополучных событий, пока принц Флоризель своим вмешательством не кладет им предел. Нарушая права собственности, он завладевает чужим алмазом и, в надежде избавиться от наваждения, бросает его в реку. Но Ванделеры, истинно предприимчивые буржуа, организуют водолазные работы и не смущаются их безуспешным началом.

Стивенсоновские «сказки Шахразады», несмотря на шуточный тон затейливой пародии, основаны на сюжетах реальных и отнюдь не шуточных. Характеры действующих лиц обрисованы точно, их психологический рисунок не только верно намечен, но и оживлен, обсуждаемые проблемы не надуманы и не пустячны.

Герой одной из новелл, молодой человек Саймон Роллз, выражает желание «больше узнать о жизни», имея «в виду не ту жизнь, которая описана в романах Теккерея». Он хотел бы проникнуть как в скрытые преступления общества, так и в его тайные возможности, желал бы постичь основы разумного поведения «в исключительных обстоятельствах». Таково намерение и самого автора. Он будет обнажать скрытые пороки общества; он будет ставить своих героев в исключительные обстоятельства и следить за тем, как они отыскивают основы разумного поведения.

Казалось бы, избитые в дидактических рассуждениях формулы в «Алмазе Раджи» получают живое наполнение. «И самый добропорядочный человек может попасть в сомнительное положение», — делает малоутешительный для себя вывод юный джентльмен Гарри Хартли, оказавшийся «круглым сиротой и почти нищим». Горестная замета и плачевный опыт незадачливого героя, который тратил юность, «совершенствуясь в пустячных и чисто светских навыках», бросают свет на состояние молодого поколения и уточняют понятие и проблему «добропорядочности», весьма существенную для житейской философии викторианского общества тех времен, как и проблему «сомнительного положения», ее отвлеченно-нравственного и реального смысла.

Все тот же Саймон Роллз не знает, «кем ему больше восхищаться — человеком, привыкшим действовать с безрассудной смелостью, или тонким наблюдателем и знатоком жизни». Эта

альтернатива занимала многие, и не только молодые, умы, она занимала и Стивенсона с точки зрения и личного и общественного благоразумия. Принц Флоризель, которому автор явно благоволит, и представляет собой тип олимпийца, тонкого знатока и созерцателя жизни. И ему, однако, приходится отступить с занятых позиций. Движимый гуманными чувствами, он вмешивается в события, но его деятельный всеблагой порыв не способен вселить устойчивую надежду перед лицом бесцеремонного нажима со стороны изворотливых Ванделеров. Олимпийское безразличие сиятельного принца по отношению к «общественным обязанностям» приводит к тому, что в итоге «очередной» буржуазной революции он теряет свои привилегии и удовлетворяется скромной ролью владельца табачной лавочки. Впрочем, иронически заключает автор, «его высочество» продолжает сохранять верность романтическому принципу и «за своим прилавком выглядит настоящим олимпийцем».

«Клуб самоубийц» и «Алмаз Раджи» при всей оригинальности их замысла обнаруживают связь с традицией, с двумя разнохарактерными направлениями в английской литературе, представленными именами Уилки Коллинза и Уильяма Теккерея. Первый, автор образцовых произведений так называемой сенсационной литературы, в том числе «Лунного камня», интересовал Стивенсона главным образом умением строить занимательный сюжет, второй, классик реалистического романа, — мастерством сатирической характеристики. В новеллах этих циклов заметны манера и приемы сенсационного жанра уже на той стадии его развития, когда он начинает смыкаться с жанром собственно детективным. Симптоматично упоминание в «Алмазе Раджи» французского романиста Эмиля Габорио и героя его уголовно-детективных романов сыщика Лекока, как и появление детектива, правда, во второстепенной роли, в новелле с отвечающим случаю заглавием: «Повесть о встрече принца Флоризеля с сыщиком». Впрочем, стивенсоновские пробы в этом жанре сопровождает ирония — то шутливая и веселая, то едкая и не лишенная горечи, но, как правило, остроумная, напоминая о влиянии Теккерея и Мередита.

Осенью 1878 года, закончив свои «сказки Шахразады», Стивенсон совершил еще одно путешествие «внутрь страны», на этот раз сухопутное и одиночное, если не считать строптивого ослика, неохотно тащившего спальный мешок и другую поклажу. Стивенсон пересек Севенские горы, прошел по глухим и малонаселенным местам, где некогда скрывались французские протестанты, спасаясь от преследований карательных отрядов Людовика XIV и ведя с ними упорную партизанскую войну. Стивенсона занимала история социально-религиозной борьбы в Шотландии, интересовали восстания непокорных протестантов-ковенантеров, их готовность к решительному сопротивлению во имя независимости и свободы убеждения. Подобный же интерес подтолкнул его к походу в Севенны. Вскоре он написал книгу «Путешествие с ослом», которая в июне 1879 года вышла из печати. Название книги служило поводом не всегда безобидных шуток, чему способствовал упрямый ослик, представленный автором с живым юмором. В одной из рецензий в результате недосмотра или нарочитой ошибки книга была названа

«Путешествие осла», а в кругу литературной молодежи уже в начале XX века, как вспоминал Олдингтон, очерки ходили под заголовком «Путешествие с Сиднеем Колвином». В свое время видный литератор и влиятельный редактор, Сидней Колвин был близким другом Стивенсона. Под его редакцией вышло четырехтомное издание писем Стивенсона, первое и пока единственное столь полное издание эпистолярного наследия писателя. Колвин, как близкий друг, считал себя вправе подвергнуть письма личной цензуре, и многие из них напечатаны с изъятием главным образом тех мест, которые касались отношения Стивенсона к родителям, к вопросам религии и содержали интимные биографические сведения.

В начале августа 1879 года Стивенсон получил от Фанни Осборн, давно уже находившейся в Калифорнии, извещение, слова которого так и остались неизвестны. Предполагают, что Фанни сообщала о своем тяжелом заболевании. Стивенсон быстро собрался и седьмого числа на пароходе «Девония» отплыл в Нью-Йорк. Сильное недомогание, нехватка денег, осложнившиеся отношения с отцом, увещевания друзей, запутанность ситуации — Фанни оставалась замужней женщиной, и еще не было ясно, как и когда ей удастся развестись с беспутным супругом,— ничто не остановило его. Это новое «путешествие» явилось для Стивенсона необычайно трудным и едва не стоило ему жизни. К общему недомоганию прибавились усталость и нервное напряжение. В пути Стивенсон не переставал писать и вести дневник, сознавая необходимость самостоятельного и значительного заработка. Условия поездки были тяжелыми даже для здорового человека, особенно в набитом и душном вагоне эмигрантского поезда, в котором он ехал много дней до Сан-Франциско. Здесь он рассчитывал встретить Фанни, но не нашел ее на месте: она переехала в Монтерей, некогда столицу Калифорнии, а теперь полузабытый городок на берегу Тихого океана, находящийся от Сан-Франциско на расстоянии ста пятидесяти миль.

Один, верхом на лошади, без передышки Стивенсон отправился следом. В пути, в прибрежных горах, не доехав восемнадцати миль до Монтерея, он почувствовал себя совсем плохо и две ночи пролежал под деревьями почти без сознания. Его нашел старый охотник на медведей и препроводил к себе на козье ранчо, где он пролежал немало дней, пока к нему не вернулись силы. «Это был странный и мучительный отрезок моей жизни,— писал он другу в доверительном письме.— Согласно всем правилам, смерть казалась неизбежной, но спустя некоторое время мой дух снова воспрял в божественном бешенстве и стал понукать и пришпоривать мое хилое тело с немалым усилием и немалым успехом».

За время пребывания в Америке Стивенсон не раз оказывался на грани жизни и смерти. От него требовалось громадное душевное напряжение, чтобы одолевать немощь. В конечном счете духовное мужество ставило его на ноги. «Упорный смертный»,— можно было сказать о нем словами Байрона.

19 мая 1880 года в Сан-Франциско Стивенсон сочетался браком с Фанни, а 7 августа, ровно через год после того, как он сел на «Девонию», направляясь в Нью-Йорк, он вместе с женой

и пасынком Ллойдом Осборном отплыл из Нью-Йорка в Ливерпуль. Так завершился существенный этап в жизни Стивенсона, оказавшийся важным и для его творческого развития. Он не только много пережил, но и многое видел, видел жизнь без прикрас, Америку с ее контрастами, и образ ее совсем не отвечал тем идеальным представлениям, какие сложились у него под влиянием литературных и газетных источников. Он писал без устали статьи и очерки, вдохновлялся художественными замыслами. Книга очерков «Эмигрант-любитель» и повесть «Дом на дюнах» — основной итог его литературной работы за это время. «Дом на дюнах» Стивенсон закончил в октябре 1880 года, уже вернувшись из Америки.

Короткая повесть «Дом на дюнах» — одно из лучших, если не лучшее произведение раннего Стивенсона, предваряющее его приключенческие романы и психологические новеллы периода творческой зрелости. В этой повести занимательный сюжет, сочетаясь с содержательной темой, разветвлен и развернут, характеры, сохраняя четкость внешнего и внутреннего рисунка, даны в энергичном развитии, пейзаж не только точен и выразителен, но и разнообразен при общей выдержанности и слаженности тона. Стивенсон трезво оценивал свое новое произведение, видел его слабости, однако не собирался умалять его достоинств. «Конечно, работа плотницкая, но добротная,— писал он Хенли, оспаривая его придирчивый отзыв.— Кто еще может так плотничать в английской литературе теперь, когда Уилки Коллинз едва стучит топором». (Коллинз умер в 1889 году, его наиболее известные романы «Женщина в белом» и «Лунный камень» появились соответственно в 1860 и 1868 годах.)

В повести «Дом на дюнах» обнаруживается зависимость Стивенсона не только от сенсационного романа Коллинза, но и от романтической традиции. Вместе с тем отчетливо видно, как он отталкивается от нее, в каком направлении и сколь последовательно подвергает критике, не приемля многие ее нормы и образцы, указывая на их уязвимость или полную несостоятельность. Из писателей-романтиков он выделял для себя Виктора Гюго, которому еще в 1879 году посвятил специальную статью.

Стивенсон приемлет и поддерживает романтическую одухотворенность и приподнятость чувств, однако воодушевление и деятельный порыв не склонен изолировать от реальной почвы. Не склонен он идеализировать первобытную дикость и вольность цыганского табора, привлекавших к себе европейский романтизм как альтернативу цивилизации и прогресса. Герой романтиков обычно бежал от своей среды, герой неоромантика Стивенсона ищет родственную среду. Фрэнк Кессилис, герой повести «Дом на дюнах», от имени которого ведется повествование, поначалу гордится тем, что держится особняком, восхищается жизнью одинокого цыгана. Но вскоре под влиянием отрезвляющих обстоятельств меняет и свои взгляды и свой образ жизни.

Трезво-критическую, беспощадную оценку получает у Стивенсона еще Байроном утвержденный тип романтического героя, сильной и яркой бунтарской личности, однако чрезмерно

сосредоточенной на самой себе, не способной даже при высоком воспарении чувств освободить их от гибельной примеси бесконтрольного эгоизма. Примером такой личности выступает в повести Норсмор. Ему дана не только психологическая, но и социальная характеристика, краткая, но содержательная.

Норсмор унаследовал мрачное, запущенное поместье, последним владельцем которого был «бестолковый и расточительный дилетант». Натура незаурядная, но бесцельная, Норсмор весь во власти непомерно раздутого и ничем не сдерживаемого себялюбия. Чувства не получили у него естественного, нормального развития и при его необузданном темпераменте проявляют себя в уродливых контрастах. Даже в своем отношении к Кессилису, составившему вместе с ним «содружество двух нелюдимов», он в одно и то же время и друг и недруг. В самую добрую минуту, приглядевшись к нему, можно было «за наружностью настоящего джентльмена... разглядеть душу, достойную насильника и работорговца». И все же Стивенсон отдает безоговорочное предпочтение Норсмору, когда сталкивает его с «грабителем-банкиром» Хеддлстоном, обманувшим доверие своих вкладчиков, среди которых оказались итальянские революционеры, участники национально-освободительного движения, готовившие восстание.

Норсмор и Кессилис, отщепенцы и нелюдимы, мнящие себя мизантропами, втягиваясь в конфликт принципиального смысла и значения, невольно поверяют практическим опытом свой романтический образ мыслей и поведения. Создается ситуация, которая позволяет Стивенсону произвести наглядный анализ и здравую переоценку традиционных романтических характеров.

В повести «Дом на дюнах» — можно сказать, не в одной этой повести, а почти во всех произведениях Стивенсона приключенческого жанра — психологический анализ лишен обстоятельности, развернутых подробностей и завершенности: тому препятствует природа жанра, который немыслим без острого, динамичного сюжета, насыщенного внешними, быстро сменяющимися событиями. Но психологический анализ у Стивенсона точен, и логика его убедительна. Даже в таком, казалось бы, маловероятном случае, как решение Норсмора вступить в ряды итальянских повстанцев и бороться под знаменем Гарибальди, исключается мысль об авторском произволе — поведение этого героя внутренне обосновано, как вполне объяснима и его драматическая судьба. Стремление к анализу, трезвому и вдумчивому, явлений сложных и противоречивых — важное свойство стивенсоновского неоромантизма, утверждающего мужественный оптимизм.

В повести «Дом на дюнах» звучит, хотя и приглушенно, тема национально-освободительной борьбы итальянского народа, имеющая в английской литературе основательную и давнюю традицию. К этой теме обращались старшие современники писателя — Джордж Мередит в романе «Виттория» (1867) и Чарлз Суинберн в некогда знаменитых «Песнях перед восходом солнца» (1871). В начале века Байрон проявлял живейший интерес к освободительному движению в Италии, был связан с

тайным революционно-демократическим обществом карбонариев. В повести Стивенсона, действие которой относится к середине XIX столетия, итальянских мстителей называют карбонариями уже по традиции, поскольку в это время революционно-демократической организации карбонариев уже не существовало.

«Рано или поздно, мне суждено было написать роман. Почему? Праздный вопрос»,— вспоминал Стивенсон в конце жизни в статье «Моя первая книга — «Остров Сокровищ», как бы отвечая на вопрос любознательного читателя. Статья была написана в 1894 году по просьбе Джером К. Джерома для журнала «Айдлер» («Бездельник»), который затеял тогда серию публикаций уже прославившихся современных писателей на тему «Моя первая книга». «Остров Сокровищ», собственно, не отвечал теме, так как этот первый роман писателя был далеко не первой его книгой. Стивенсон имел в виду не один хронологический порядок появления своих книг, но прежде всего их значение. «Остров Сокровищ» — первая книга Стивенсона, получившая широкое признание и сделавшая его всемирно известным. В ряду самых значительных его произведений эта книга действительно первая по счету и вместе с тем самая популярная.

Сколько раз, начиная с ранней юности, принимался Стивенсон за роман, меняя замыслы и приемы повествования, снова и снова испытывая себя и пробуя свои силы, побуждаемый не одними соображениями расчета и честолюбия, но прежде всего внутренней потребностью и творческой задачей одолеть большой жанр. Долгое время попытки оказывались безуспешными.

«Рассказ — я хочу сказать, плохой рассказ,— может написать всякий, у кого есть усердие, бумага и досуг, но далеко не всякому дано написать роман, хотя бы и плохой. Размеры — вот что убивает». Объем пугал, изматывал силы и убивал творческий порыв, когда Стивенсон принимался за большую вещь. Ему с его здоровьем и лихорадочными усилиями творчества вообще трудно было одолеть барьеры большого жанра. Не случайно у него нет «длинных» романов. Но не только эти препятствия стояли на его пути, когда ему приходилось отказываться от больших замыслов. Для первого романа нужна была известная степень зрелости, выработанный стиль и уверенное мастерство. И надо, чтобы начало было удачным, чтобы оно открывало перспективу естественного продолжения начатого. На этот раз все сложилось наилучшим образом, и создалась та непринужденность внутреннего состояния, которая особенно нужна была Стивенсону, когда воображение, полное сил, одухотворено и творческая мысль как бы развертывается сама собой, не требуя ни шпор, ни понукания.

Все началось, можно сказать, с забавы. Стивенсон сам рассказал о том, как это было. Ллойд Осборн попросил его «написать что-нибудь интересное». Наблюдая, как пасынок что-то рисует и чертит, он увлекся и набросал карту воображаемого острова. Своим контуром карта напоминала «приподнявшегося толстого дракона» и пестрела необычными наименованиями: Холм Подзорной трубы, Остров Скелета и др. Больше многих

книг Стивенсон ценил карты: «за их содержательность и за то, что их не скучно читать». На этот раз карта вымышленного «Острова Сокровищ» дала толчок творческому замыслу.

«Промозглым сентябрьским утром — веселый огонек горел в камине, дождь барабанил в оконное стекло — я начал «Судового повара» — так сперва назывался роман». Впоследствии это название получила одна из частей романа, а именно вторая. Длительное время, с небольшими перерывами, в узком кругу семьи и друзей Стивенсон читал написанное за день — обычно дневная «порция» составляла очередную главу. По общему свидетельству очевидцев, читал Стивенсон хорошо. Слушатели проявляли живейшее участие к его работе над романом. Некоторые из подсказанных ими деталей попали в книгу. Благодаря Томасу Стивенсону появился сундук Билли Бонса и бочка с яблоками, та самая, забравшись в которую герой раскрыл коварный замысел пиратов.

Роман еще далеко не был закончен, когда владелец респектабельного детского журнала «Янг Фолкс», ознакомившись с первыми главами и общим замыслом произведения, начал печатать его. Не на первых страницах, а вслед за другими сочинениями, в успехе которых он не сомневался,— сочинениями пустячными, рассчитанными на банальный вкус, давно и навсегда забытыми.

«Остров Сокровищ» печатался в «Янг Фолкс» с октября 1881 года по январь 1882 года под псевдонимом «Капитан Джордж Норт». Успех романа был ничтожным, если не сомнительным: в редакцию журнала поступали недовольные и возмущенные отклики, и подобные отклики не являлись единичными. Отдельным изданием «Остров Сокровищ» — уже под настоящей фамилией автора — вышел только в конце ноября 1883 года. На этот раз его успех был основательным и бесспорным. Правда, первое издание разошлось не сразу, но уже в следующем году появилось второе издание, в 1885-м — третье, иллюстрированное, и роман и его автор получили широкую известность. Журнальные отзывы были разных градаций — от снисходительных до чрезмерно восторженных,— но преобладал тон одобрения. Романом зачитывались люди различных кругов и возрастов. Стивенсону стало известно, что английский премьер-министр Гладстон читал роман долго за полночь с необычайным удовольствием. Стивенсон, не любивший Гладстона (он видел в нем воплощение ненавистной ему буржуазной респектабельности), сказал на это: «Лучше бы этот высокопоставленный старик занимался государственными делами Англии».

Роман приключений невозможен без напряженной и увлекательной фабулы, ее требует природа самого жанра. Стивенсон разносторонне обосновывает эту мысль, опираясь на психологию восприятия и классическую традицию, которая в английской литературе ведет начало от «Робинзона Крузо». События, «происшествия», их уместность, их связь и развитие должны, по его мнению, составлять первоочередную заботу автора приключенческого произведения. Психологическая разработка характеров в приключенческом жанре попадает в зависимость от напряженности действия, вызываемой быстрой

сменой неожиданных «происшествий» и необычных ситуаций, оказывается невольно ограниченной ощутимым пределом, как это видно по романам Дюма или Марриэта.

Стивенсон с иронией отзывался о пристрастии к дотошному бытовизму, одно время получившему в Англии распространение в повествовательной литературе и в драме, особенно в пьесах, которые критика причисляла к произведениям «школы чайной ложки и супницы».

«В наши дни англичане склонны, не знаю почему,— писал Стивенсон в 1882 году,— смотреть свысока на происшествие» и с умилением прислушиваются к тому, «как постукивает в стакане чайная ложечка и дрожит голос священника. Считается хорошим тоном писать романы вовсе бесфабульные или хотя бы с очень скучной фабулой». Выступая против тягучего описательства, за динамичное повествование, Стивенсон отнюдь не претендовал на то, чтобы событийный сюжет проник во все виды и жанры повествовательной литературы. Он размышлял над жанром «романтического романа» и прежде всего романа приключенческого и в этой связи говорил о значении острой и занимательной фабулы, понимая роль «происшествия» по-своему, на свой лад. Необычно звучит его афоризм: «Драма — это поэзия поведения, роман приключений — поэзия обстоятельств». Интерес к «Робинзону Крузо», самому выдающемуся образцу этого жанра, развивает он свою мысль, «в огромной мере и у подавляющего числа читателей» вызывается и поддерживается не просто цепью «происшествий», но «очарованием обстоятельств».

В самом деле, лишь детские воспоминания выделяют ощущение напряженной увлекательности фабулы «Острова Сокровищ». Когда же ранние впечатления от романа проверяются повторным знакомством с ним в зрелые годы, внимание сосредоточивается на иных чертах и сама фабула начинает выглядеть иначе. Интерес к увлекательному приключению не пропадает, но очевидным становится, что его вызывает не эффект чисто внешнего действия. События в романе возникают и развиваются соотносительно с обстоятельствами места и времени, и автор придает большое значение тому, чтобы эти возникающие ситуации не были произвольными, а отвечали требованию психологической достоверности и убедительности.

Стивенсон не очень заботится о том, чтобы держать читателя в таинственном неведении, и не склонен чистой иллюзией подогревать его любопытство. Он не боится предуведомляющих намеков относительно исхода событий. Такой намек содержится в словах Джима Хокинса, героя книги, о том, что он записал всю историю по просьбе своих старших друзей; таким образом сообщено, что основные участники приключений, за судьбу которых приходится тревожиться читателю, вышли из испытаний с торжеством. И вывеска трактира «Адмирал Бенбоу», проткнутая саблей разгневанного Билли Бонса, след от которой, как подчеркивает, забегая вперед, Джим, и до сих пор виден, и подстрочные примечания, сделанные доктором Ливси, где говорится о том, что о некоторых событиях на острове узнали позднее, и другие детали — все это последовательно нару-

шает таинственность будущего, столь будто бы для приключенческого жанра важную и даже обязательную. Однако, предуведомляя читателя о ходе событий, автор усиливает доверительный тон повествования, рассчитывая на эффект достоверности. По-видимому, Стивенсон учитывал опыт Джорджа Мередита, который, развертывая сюжет, не боялся забегать вперед. Небезынтересно, что в статье, посвященной романам Дюма, обозначая задушевный круг своего чтения, Стивенсон рядом с образцовым авантюрно-приключенческим романом «Виконт де Бражелон» ставит психологически изощренный роман Мередита «Эгоист», явившийся для своего времени новым типом психологического романа.

Переходы от эпизода к эпизоду в «Острове Сокровищ» и в других приключенческих произведениях Стивенсона не всегда кажутся точно выверенными, но коль скоро сюжетный поворот сделан, ситуация определена, персонажи заняли исходные позиции, то все начинает двигаться без нажима и скрипа, возникает живая картина событий, и создается впечатление точности и психологической достоверности происходящего. В самом деле, раскройте книгу, и вы увидите старого «Адмирала Бенбоу» и морского волка, который стучится у двери, и услышите его хриплый голос.

Важно учесть в этой связи признание самого Стивенсона. В ответ на письмо Генри Джеймса с разбором романа «Катриона» Стивенсон, между прочим, подчеркнул: «Справедливо ваше замечание относительно того, что в этой книге ослаблено зрительное впечатление. Это несомненно, и, коль скоро я приложу к этому дополнительные усилия, а я так убежден в их необходимости, боюсь, что в будущем это станет еще более несомненным. Две мои основные цели можно определить так:

1. Война прилагательному.
2. Смерть зрительному нерву.

Если считать, что мы переживаем в литературе эпоху зрительного нерва. Сколько веков литература успешно обходилась без него».

Автохарактеристика, как это нередко случается, может противоречить творческой реальности, создаваемой художником. Так и со Стивенсоном в его бунте против «прилагательного» и неприязни к «зрительному нерву» не так просто согласиться, припомнив картины, им же самим набросанные. Однако стоит присмотреться к этим картинам, чтобы лучше понять позицию Стивенсона, и надо иметь в виду, что он не пренебрег замечаниями Генри Джеймса. Пояснив свои задачи в литературной технологии, он умерил воинственный тон словами: «Все же я учту Ваше письмо».

Вот Джим Хокинс, спрятавшись в бочке из-под яблок, подслушивает злодейский разговор непокорных матросов. Они сговариваются захватить корабль, и эта новость приводит Джима в отчаяние. Еще более непосредственный ужас охватывает его, когда один из матросов собирается подойти к бочке, чтобы достать оттуда яблок. От этого рокового намерения его отвлекает случайность, и он отправляется за бочонком рома для своих дружков.

«Когда Дик возвратился, все трое по очереди взяли кружку и выпили — один «за удачу», другой «за старика Флинта», а Сильвер даже пропел:

За ветер добычи, за ветер удачи!
Чтоб зажили мы веселей и богаче!

В бочке стало светло. Взглянув вверх, я увидел, что поднялся месяц, посеребрив крюйс-марс и вздувшийся фок-зейл. И в то же мгновение с вахты раздался голос:

— Земля!»

Как все здесь точно! Мы в самом деле слышим, когда на палубе говорят, мы ловим движения и действия пиратов и вдруг ясно и ярко видим, как подымается луна, освещая нутро пустой бочки, где притаился мальчик, и даже различаем проступающие из темноты крюйс-марс и фок-зейл, хотя скорее всего представления не имеем о том, как эти снасти выглядят. Наконец, все это покрывает книжно знакомый, а тут столь внезапный и уместный и убедительный зов — «Земля!».

Умение дать возможность услышать, если впечатление от реальности должно быть звуковым, увидеть, если изображение должно стать картинным, причем увидеть даже в том случае, когда перед взором встают предметы, ничем, как крюйс-марс и фок-зейл, в зрительной памяти не помеченные, это умение, а точнее сказать, мысль о подобном мастерстве составляет для Стивенсона не просто заботу о нескольких выигрышных приемах, но целую творческую программу.

«Война прилагательному» означает борьбу с одномерным изображением, с наиболее распространенной и принятой литературной техникой, которая приводит к выразительности исключительно описательным путем. Смерть «зрительному нерву» передает решительную неприязнь к натуралистической изобразительности, к дотошным копиям внешних форм. Стивенсон усиливает те начала в повествовательном жанре, которые сближают его с драмой,— диалог, энергично подвигающий сюжет и насыщенное событиями действие. Вместе с тем он стремится установить гибкие и многосторонние связи между изображаемыми явлениями, рассчитывая на подвижность ассоциативного восприятия и учитывая опыт новейшей для него повествовательной техники.

Стивенсон создает картину, почти не прибегая к помощи «зрительного нерва», то есть без назойливой апелляции к глазу, он не делает никакой уступки прилагательному — не определяет предметов по одним внешним и статичным признакам; он заставляет подниматься луну, дает свет, называет неведомые снасти, бросает картинный клич. Читатель воспринимает все как-то целостно, без предпочтения зрительным или слуховым впечатлениям; во всяком случае, он оказывается убежден в достоверности происходящего. Заботясь о многомерном движении стиля, Стивенсон добился немалого, и здесь заключена одна из главных основ его долговременного и «серьезного» воздействия на английскую литературу. «Серьезного» — в противоположность поверхностному следованию его манере по части приключений, пиратов и пиастров, которое с легкостью распространилось

после завидного успеха «Острова Сокровищ». Подражатели поддались на шутливые уверения Стивенсона, будто он не преследовал в работе над этим романом сколько-нибудь существенных литературных задач. Между тем нельзя не заметить изощренности этой книги: эффект совершенной достоверности на материале, вовсе не реальном. Взяв обстановку вымышленную, так сказать, «бутафорскую», Стивенсон сумел вместе со своими персонажами психологически правдиво вжиться в нее. Уловив эту убедительность, Стивенсон движется уже совершенно свободно в пределах вымысла, он легко ведет литературную «игру», и стоит ему произнести «фок-зейл», как читатель готов верить, будто все понятно, подобно тому, как пираты оказались способны по одним только выбеленным за многие годы костям признать своего незадачливого соратника: «Э, да это Аллардайс, накажи меня бог!»

Стивенсон улавливал ход развития повествовательной техники и сумел создать несколько искусных литературных «моделей». Без них не могли обойтись, их держали в своей творческой лаборатории многие писатели — младшие современники и преемники Стивенсона.

Простая и легкая на вид книга «Остров Сокровищ» при внимательном рассмотрении оказывается многоплановой. Авантюрный сюжет в ней при всей его традиционности — повествование о пиратах, приключениях на море и затерянном острове — оригинален. Он построен по принципу увлекательной мальчишеской игры, вдохновляемой энергичной мечтой и требующей от юного участника приложения всех своих сил.

Герою романа Джиму Хокинсу, то ли подростку, то ли мальчику, автор не уточняет его возраст, приходится самостоятельно ориентироваться в сложной обстановке при неблагоприятных обстоятельствах, проявлять инициативу, идти на риск, напрягать мозг и мускулы, но также делать нравственный выбор, определять жизненную позицию. Им движет мечта, он предается ей с естественной восторженностью, действует, подталкиваемый необходимостью и любознательностью, руководствуется высокими чувствами и здравым соображением. Ему приходится встречать лицом к лицу опасность, глядеть в глаза смерти, прибегать к решительным и крайним мерам. Ему же удается познать радость моральной и практической победы.

Джим Хокинс являет собой образец характера цельного, слаженного, устойчивого, не ослабленного и малейшей червоточиной. Смело-доверчивое и здраво-энергичное, мужественное отношение Джима к жизни задает тон всей книге. И в ней не слышится ни назидательных интонаций, ни бодряческих ноток.

Пираты в «Острове Сокровищ» мало похожи на пиратов традиционных. Некогда пиратство носило узаконенный характер, правители Англии находили в пиратах поддержку для борьбы с флотом враждебных стран и дополнительный источник пополнения казны. Пиратство знало свои героические времена. Среди пиратов оказывались не одни авантюристы и головорезы, но и люди, преданные морской стихии, жаждавшие независимости и свободы. Литература помнит не только образ морского хищника, но и «благородного корсара». В пиратской те-

ме сложилась романтическая традиция, идеализировавшая морского разбойника. Стивенсон и здесь идет своим путем. Его пираты лишь вспоминают знаменитого Флинта, да и этот герой, главарь шайки морских разбойников, представлен без розовой краски.

Ведь в самом деле, из «морских соколов», какими еще можно вообразить пиратов в эпоху Возрождения, они со временем превратились в грязных стервятников. Когда, например, в начале XVIII века в руки правосудия попалась личность не менее легендарная, чем Флинт, а именно капитан Кидд, то он удивил всех своей заурядностью. «Я знал, что он мерзавец,— даже с некоторым разочарованием сказал судья,— но не думал, что он еще и дурак».

Джим Хокинс и его друзья сталкиваются с пиратами, вовсе лишенными романтического ореола и какого-либо исторического обоснования для своих действий. Это сущие мародеры, утратившие опору хотя бы разбойничьего союза. Почти все они воплощение мерзкого негодяйства, злобного и хищного коварства. Джим в их среде — «остров», «Остров Сокровищ», и весь смысл его приключений — в самом себе обнаружить истинные сокровища. Под конец в награду за труды и в итоге победы он тоже получает долю пиратского наследства, но она не занимает его, другая «жар-птица» его манила, и если он почувствовал ее свет, то только в порывах самоотверженных исканий, о чем и поведал в своих воспоминаниях, предупредив читателя, что не скрывает «никаких подробностей, кроме географического положения острова».

Сочувствие Джиму и его друзьям, законным владетелям «Испаньолы», не мешает читателю среди всех персонажей выделить Джона Сильвера. Одноногий корабельный повар, соратник Флинта, невольно обращает на себя внимание. Джон Сильвер — значительная фигура в «Острове Сокровищ» и в ряду самых ярких характеров, созданных Стивенсоном. Этот персонаж остается в памяти и будоражит воображение своей незаурядностью. Джон Сильвер коварен, злобен, жесток, но также умен, хитер, энергичен, ловок. Его психологический портрет сложен и противоречив, однако убедителен. Невозможно облечь в риторические формулы отвлеченной морали подобную двойственность живого характера. Писателя озадачивала и волновала деятельная жизнеспособность зла и порока и их коварная привлекательность. С детства ему внушали религиозно-нравственные представления шотландских кальвинистов, строгие и рассудочные, покоившиеся на принципе четкого разделения добра и зла и безусловного воздаяния за добро и возмездия за зло. Едва он обрел способность самостоятельного суждения, он стал выражать сомнения и протест, но глубочайший интерес к нравственной сущности человека сохранился у него на всю жизнь.

Уже в ранние годы Стивенсона занимала проблема усложненного характера, душевные противоречия и контрасты, явления затемненности и раздвоенности сознания, смешавшие религиозно-нравственные представления о добре и зле. В середине семидесятых годов он замышлял написать книгу «таинственных» рассказов или рассказов «ужасов». Тогда замысел не

был осуществлен, и Стивенсон вернулся к нему лишь спустя шесть лет. Намечено было название: «Черный человек и другие рассказы» (образ «черного человека» связан с народными поверьями, с представлением о «нечистой силе»). И на этот раз книга не получилась, но несколько рассказов все же было написано. Первый из них, «Окаянная Дженет», появился в октябре 1881 года. К этому же циклу относится рассказ «Веселые Молодцы». Он был напечатан в журнале «Корнхилл» в июньском и июльском номерах за 1882 год, а затем в 1887 году в сборнике рассказов под тем же заглавием.

Стивенсону был дорог рассказ «Окаянная Дженет» его народными шотландскими мотивами, развивая которые ему удалось убедительно передать случай драматического душевного состояния и его загадочность, передать в таком соотношении фантастического и реального, когда реальное вдруг представляется фантастическим, а фантастическое — реальным и вместе с тем не утрачивается ощущение подлинности происходящего. Стивенсон говорил, что он сам переживал состояние «смертельного» испуга, когда воспроизводил жуткие события и обстоятельства, в которых отразился дикий быт, мрачное поверье, суровая обстановка. Он ставил «Окаянную Дженет» рядом с «Тодом Лапрайком», с этим «кусочком живой Шотландии», как он называл написанную им на основе шотландской легенды «вставную новеллу» — «Рассказ Черного Энди о Тоде Лапрайке» (см. первую часть романа «Катриона»). Если бы, говорил он, «я не написал ничего, кроме «Тода Лапрайка» и «Окаянной Дженет», все же и тогда я был бы писателем».

Рассказу «Веселые Молодцы» необычайно высокую оценку дал Ричард Олдингтон. Он считал его произведением «подлинно трагическим и великолепно написанным от начала и до конца». Хотя бы в одном направлении Стивенсон «сделал здесь шаг вперед по сравнению с прозаиками своего времени. Может ли кто-либо, читавший «Веселых Молодцов», забыть содержащееся там описание бури?» Бури на Шетландских островах, которая предшествует «Тайфуну» Джозефа Конрада. Превосходное описание бури читатель находит у Томаса Гарди в его романах «Вдали от безумствующей толпы» и «Возвращение на родину». Но это буря на суше, а не на море, о чем и говорит Олдингтон, мнение которого интересно уже в том отношении, что еще раз подтверждает разностороннее историко-литературное значение Стивенсона.

Сборник «Веселые Молодцы» объединил близкие по психологическим и этическим мотивам рассказы разных лет. Сюда вошли «Вилли с мельницы», а также более поздние, появившиеся в периодических изданиях 1885 года «Маркхейм» и «Олалла».

В 1885 году Стивенсон прочитал во французском переводе роман Достоевского «Преступление и наказание». Русский роман произвел на английского писателя потрясающее впечатление необычайно смелым и глубоким обсуждением нравственных проблем, столь близких интересу самого Стивенсона и представших теперь перед ним в отчетливой форме. Под непосредственным впечатлением от романа «Преступление и наказание» и был написан психологический этюд «Маркхейм»,

более известный нашему читателю под названием «Убийца». От «Маркхейма» открылся прямой путь к повести «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», так же как от рассказа «Олалла» — к роману «Владетель Баллантрэ».

В краткой исповеди, завершающей повесть «Странная история», ее герой, почтенный, добропорядочный доктор Генри Джекил, рассказывая о трагических последствиях фантастического опыта по расщеплению собственной личности, поясняет за автора суть волновавшей его проблемы.

Тяготясь повседневной рутиной, испытывая соблазн скрытых желаний, намереваясь определить грань между добром и злом в собственной душе и проверить прочность ее добродетельной основы, доктор Джекил посредством изобретенного им чудодейственного химического препарата обособляет темные ее силы. На свет является двойник доктора Джекила, уродливый карлик мистер Хайд, давая возможность своему патрону пережить захватывающее чувство полной внутренней собранности, легкости и свободы.

Мистер Хайд обнаруживает поразительную и заманчивую жизнеспособность, необычайно деятельную энергию, направленную, однако, исключительно к злодеянию. Мистер Хайд с наглядностью точно поставленного эксперимента демонстрирует потенцию дурных свойств доктора Джекила. В облике мистера Хайда он действует с решимостью автомата, не испытывая колебаний, нравственных сомнений или мук совести. Совершенная слаженность его существа оказывается не одухотворенной, а чисто механической слаженностью. В облике мистера Хайда доктор Джекил совершает преступление за преступлением, испытывая только два чувства — страх и злобу. Повторяя свои опыты, доктор Джекил все более подпадает под власть мистера Хайда, пока наконец не становится его жертвой.

Вдумчивый читатель угадывал трезво реальную сторону этой мрачной притчи. Прозревать ее живой смысл побуждали его и точно воспроизведенные в повести черты лондонского быта восьмидесятых годов. Для самого Стивенсона повесть «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» явилась почти непроизвольным иносказанием давно переполнявших его чувств, сюжет и образы возникли у него во сне, картина сложилась в столь отчетливых и детализованных формах, что ему оставалось перенести ее на бумагу.

Стивенсон писал американскому художнику Уильяму Г. Лоу, отправляя ему экземпляр своей повести: «Посылаю Вам готического карлика... думаю, что этот карлик небезынтересен, он вышел из глубины моего существа, где сторожит фонтан слез». Повесть о Джекиле и Хайде сразу стала предметом широкого обсуждения, и, по словам современника, литератора Эдмунда Госса, с момента ее появления «Стивенсон, уже пользовавшийся восхищенным признанием сравнительно узкого круга, стал занимать центральное место в большом мире литературы».

В «Джекиле и Хайде» тему двойника Стивенсон разработал в приемах научной фантастики и детектива, оказав влияние и на эти литературные жанры, на их развитие в английской

литературе. Можно, например, «Невидимку» Герберта Уэллса ставить в определенную связь с этой повестью Стивенсона.

«Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» была опубликована в январе 1886 года Прошло всего несколько месяцев, и уже в мае (в журнале «Янг Фолкс») появились первые главы «Похищенного» (в том же году роман вышел отдельным изданием). Некоторых биографов Стивенсона поражала подобная смена творческих замыслов. «Два произведения, столь различные по своей сути, редко выходили из-под пера одного и того же автора даже в гораздо более продолжительные промежутки времени»,— писал Стивен Гвинн, автор монографии «Роберт Луис Стивенсон». Все же несхожесть этих произведений не так разительна, как можно подумать. «Похищенного» соединяет с «Джекилом и Хайдом» внутренняя связь, не только «подчеркнутое внимание к нравственным вопросам» и «трезвая выразительность стиля».

В «Похищенном» и его продолжении, романе «Катриона», те же основные вопросы обсуждаются вновь и вновь. Стивенсон рассматривает их с разных сторон и уже не в условном плане. Его все более начинает интересовать историческая перспектива, он обращается к прошлому своей страны, к тем событиям и обстоятельствам, которые резко изменили ее социальный и политический облик: XVIII век, обострившаяся борьба Шотландии с Англией за независимость. Более далекие времена, эпоху вражды Алой и Белой розы (XV столетие), Стивенсон описал в первом своем историческом романе «Черная стрела», над которым он, готовя его для журнала «Янг Фолкс», работал еще в 1884—1885 годах. Отдельным изданием «Черная стрела» вышла уже в 1888 году. Стивенсон находился тогда в США, куда приехал еще раз на непродолжительный срок.

«Я отправляюсь в путешествие с горьким сердцем», — писал Стивенсон близкому другу Чарлзу Бакстеру в мае 1888 года, когда он вместе с Фанни и ее детьми готовился отплыть из Сан-Франциско к тихоокеанским островам. Такое состояние писателя не было кратковременным, и причин у него имелось несколько, но в ту минуту все как-то сошлось на одном: неизбежный разрыв между Стивенсоном и Хенли. Это была не только потеря советчика, сотрудника; это пролегал рубеж, отсекающий полосу жизни — все прошлое, всю молодость. Стивенсон делился с Бакстером под непосредственным впечатлением письма от Хенли: «О, письмо Хенли! Я не могу прийти в себя после него».

Однако вопрос заключался не только в Хенли и его бесцеремонности. Как для ссоры с ним или с другими близкими приятелями, нараставшей исподволь, нашелся в итоге заметный повод, так и сама размолвка лишь выражала процесс более глубокий и неотвратимый: иногда в литературе можно видеть, как распадаются связи юности, дружеские кружки и что значит это для их наиболее сознательных участников. Естественно в расцвете сил бросать гордый вызов: «Куда бы нас ни бросила судьбина, и счастие куда б ни повело, все те же мы», —

и также естественно перед натиском лет и обстоятельств признать эпохой позже: «Прошли года чредою незаметной, и как они переменили нас!» Пушкин оборвал рыданием чтение этих последних в его жизни стихов о «лицейской годовщине»...

И Стивенсон бился в конвульсиях: «Да, да, я пишу об этом ночь напролет, несмотря на всю пропасть работы, которая у меня на руках, и все за девять дней до отъезда. Это камень на моей могиле, мне никогда не вернуться по-настоящему к жизни. О, я говорю дикие вещи, но прежнего уже больше не будет». Стивенсон чувствовал свое бессилие остановить неумолимо растущую трещину или хотя бы уловить и учесть причины, побуждающие ее рост. Причины были действительно неисчислимы, как сама жизнь, ее оттенки, а главное, как неуловимо чередование приобретений и утрат, которое сопровождает жизненное движение.

Наиболее беспристрастные и вдумчивые биографы впоследствии вполне объективно восстановили цепь событий: «Напористость Фанни подготовила почву. Коварство Хенли подыскало случай. И медленный по воспламеняемости характер Стивенсона дал в конце концов взрыв» (Дж. Фернес). Но это только внешние вехи, а там, в глубине, в человеческих натурах, прежде всего в самом Стивенсоне определялся новый этап его судьбы. Тот же Фернес справедливо отметил, что ссора с Хенли значительно продвинула Стивенсона к зрелости. И сам Хенли, что бы ни хотел он этим сказать, засвидетельствовал много лет спустя, уже после смерти Стивенсона, что в ту пору «Луис стал не тот».

Стивенсон, переживая в себе перемену, но не находя ей еще ни объяснения, ни названия и потому особенно ошеломленный, испытывал специфическое состояние душевной муки, переходящей в телесную боль: «Я бы ногу ему отдал ради того, чтобы зачеркнуть то, что случилось» (у Хенли была ампутирована одна нога, а другая с трудом спасена). Но прошлое было-таки невозвратно, и Стивенсон, ступая на борт яхты «Каско», готовясь отбыть к незнакомым ему берегам, в самом деле держал курс на новые рубежи, устремлялся к какой-то другой жизни. Состояние его было смутно, тягостно. «Лучше всего,— писал он Бакстеру,— если бы «Каско» вместе со мной пошла ко дну. Ведь осталось дьявольски мало такого, ради чего стоило бы жить».

Но вот Америка скрылась за гребнем волн, и мало-помалу новизна морских впечатлений стала отвлекать Стивенсона от свежих его тревог. Предстояло увидеть те острова, где плавал и погиб знаменитый Кук, где русские кругосветные мореплаватели оставили на карте имена своей родины, где странствовал Герман Мелвилл, а потом написал об этих краях в «Тайпи» и «Ому», где чуть позже Стивенсона, но в ту же собственно пору искал пристанища тогда еще не признанный француз Поль Гоген, где потом вел «Снарка» Джек Лондон. Хуан Фернандес, «остров Робинзона Крузо», лежал в тех же водах, в неделях пути под парусом, как подтвердил это отважный Джошуа Слокам, шедший по следам своих прославленных соотечественников и соединивший удивительным маршрутом их судьбы. Словом, за два года, сменив три судна, Стивенсон посетил несколь-

ко архипелагов Тихого океана: на «Каско» — Маркизские, Паумоту (называемые теперь Туамоту) и Гавайские острова, на «Экваторе» — острова Гилберта и Самоа, на «Жанет Николь» — Маршалловы острова, Новую Каледонию. Более или менее продолжительные стоянки они делали в Папеэте, Гонолулу, Сиднее, Нумеа и, наконец, на Самоа.

Впечатления просились на бумагу. «Я слышу, как мой дневник взывает ко мне: «Пиши, пиши!» — сообщал Стивенсон Чарлзу Бакстеру.— У меня получится прекрасная книга путешествий, в этом я чувствую уверенность». Стивенсону казалось, что он сумеет рассказать об океане и об островах так, как не удавалось еще никому из писателей. Один только Мелвилл, создатель «Моби Дика», считался у него серьезным соперником. Стивенсон чувствовал себя настолько обновленным, что посылал сердечный привет Бобу Стивенсону (двоюродный брат), Симпсону и Хенли, то есть прежним друзьям, с которыми у него поочередно наступал разрыв. Писал он, как обычно, много, почти непрерывно, выполняя договор с американскими газетчиками.

Однако не тропические моря послужили Стивенсону основой наиболее значительного произведения, завершенного им в пору океанских странствий. Морская стихия освежила его, с воспрянувшими силами он мысленно вернулся в родную Шотландию и к сентябрю 1889 года закончил рукопись, которую уже не раз с безнадежностью прятал в стол,— «Владетель Баллантрэ». У почитателей Стивенсона в отношении к его вещам встречаются различные, подчас весьма неожиданные пристрастия; сам Стивенсон менял симпатии к своим произведениям; если же взглянуть на его наследие с более постоянной, историко-литературной точки зрения, то, безусловно, рядом с «Островом Сокровищ» и «Доктором Джекилом и мистером Хайдом» окажется «Владетель Баллантрэ». Многие находят этот роман чересчур мрачным, безрадостным и не особенно высоко ставят его. Но это взгляд субъективный, так сказать, любительский. Между тем и в творчестве Стивенсона и в английской литературе вообще место «Владетеля Баллантрэ» определилось почти сразу. Тогда же, с выходом книги в свет, рецензент журнала «Бук Байер» писал: «В своем последнем романе «Владетель Баллантрэ» Стивенсон достиг для себя, кажется, высшего уровня. Я осмелился бы пойти дальше и утверждать, что ни одно из новейших беллетристических произведений на английском языке нельзя расценить столь высоко по шкале литературных достоинств, как это».

В романе соединились две темы, особенно глубоко занимавшие Стивенсона: границы добра и зла в человеческой природе и шотландская история. От ранней новеллы о беспутном Франсуа Вийоне к жутким опытам доктора Джекила Стивенсон сам, подобно дерзкому экспериментатору, вновь и вновь соединял и по-разному дозировал злое и доброе в своих персонажах, пристально наблюдая за результатами. Этим объясняется и его столь живой отклик на Достоевского. «Искалеченная даровитость», которую Стивенсон считал наиболее примечательным и вместе с тем опасным свойством старого приятеля — Хенли и которую он воплотил в памятной фигуре одноногого Силь-

вера, на этот раз в обличье более привлекательном и еще более опасном, выразилась в хозяине поместья Баллантрэ. Прежде для подобных экспериментов Стивенсон выбирал обстановку условную и главным образом случайную. Теперь же он встал на почву, ему хорошо знакомую и близкую во всех отношениях.

Стивенсон воспроизвел прибрежные районы Шотландии у Ирландского моря, где некогда он много бродил, отнеся повествование к середине XVIII столетия. И в судьбах, в характерах главных героев романа, двух братьев-соперников, сыновей лорда Дэррисдира, говорило шотландское прошлое. Сила, дьявольская удачливость и порочность одного, нравственная, но какая-то безжизненная натура другого, их путаные права наследства и неразрешимое пересечение чувств к одной женщине — весь клубок проблем Стивенсон признавал типично шотландским. «Мой роман — трагедия»,— говорил он, работая над «Владетелем Баллантрэ». Корни этой трагедии Стивенсон собирался проследить глубоко: в семейном укладе шотландцев, в традициях шотландского пуританизма, в чертах национального характера. «Все это в моем давнем вкусе»,— признавался он.

И Стивенсон горячо поначалу принялся за роман — еще в Америке. «Четыре части из шести или семи написаны и отправлены к издателю»,— сообщал он. Уже готовилась журнальная публикация «Владетеля Баллантрэ», когда Стивенсон оборвал над ним работу. Замысел оказался слишком усложненным, и дело дальше не двигалось. «Пять частей ясная, человеческая трагедия, последние же части, одна или две, печально сознаваться, вырисовываются не столь ясно. Я даже сомневаюсь, стоит ли их писать. Они очень красочны, но фантастичны. Они путают и, я бы сказал, снижают начало»,— жаловался Стивенсон искушенному авторитету в литературной технике Генри Джеймсу. Перерыв был довольно длительным, и только на борту «Экватора» Стивенсон смог продолжить «Владетеля Баллантрэ».

То, что в свое время потребовало от Стивенсона особых усилий, весь искусно сконструированный им механизм повествования, а также всевозможная «фантастика», вроде неоднократного воскрешения из мертвых старшего брата, теперь хотя и выглядит по-прежнему красочным, но все-таки кажется несколько бутафорским. Тогда еще тот же Генри Джеймс добивался перемещения так называемой «точки зрения» в своих романах без передачи повествования от одного лица к другому, как это потребовалось Стивенсону. Но психологический конфликт, схваченный автором «Владетеля Баллантрэ», и направление, в котором Стивенсон стремился найти истоки семейной драмы Дэррисдиров, оказались принципиально новы и плодотворны; вот почему у новейших писателей нередко упоминается этот роман.

За время плавания совершилось важное событие в жизни Стивенсона и его семьи: в декабре 1889 года Стивенсон приобрел на острове Уполу (архипелаг Самоа) участок земли в двадцать гектаров, и на нем было начато строительство дома. Уполу с городом Апиа — наибольший из Самоанских островов. На

нем тогда насчитывалось около трехсот белых (архипелаг Самоа находился под тройным протекторатом — английской короны, Соединенных Штатов и Германии). Через Апиа в Сидней было налажено ежемесячное сообщение пароходом. Земля и строительство здесь были дешевы. Эти обстоятельства определили выбор Стивенсона, хотя сам по себе остров ему не очень понравился и, например, Маркизские острова, Таити произвели на него гораздо большее впечатление. В этом смысле Стивенсон отличался от Гогена, на которого вначале не подействовала и экзотика. «Все та же Европа,— писал Гоген о Таити 1891 года,— Европа, от которой я хотел избавиться, да еще ухудшенная колониальным снобизмом, каким-то подражанием, детским и комичным до карикатуры. Это совсем не то, из-за чего я приехал так издалека». Потом Гоген несколько «отошел» и смягчился: «Цивилизация мало-помалу уходит от меня. Я начинаю мыслить просто, испытывать очень мало ненависти к моим ближним, лучше того — начинаю любить их. Я обладаю всеми радостями свободной жизни, животными и человеческими. Я избавляюсь от всего искусственного, я растворяюсь в природе...»

Стивенсон не был человеком подобных крайностей, и, хотя от его взора не ускользнул тот же «колониальный снобизм», который удручал Гогена, все-таки он смотрел с надеждой на новые берега. Его здоровье стало крепче, он успешно работал, и это давало ему основание называть себя «вполне довольным островитянином Южных морей».

Прошел, впрочем, почти год, прежде чем Стивенсон получил возможность окончательно обосноваться на Самоа: за это время была продвинута постройка дома, а Стивенсон и Фанни между тем совершили на «Жанет Николь» третье из своих плаваний. Тут Стивенсон чуть было не понес очень чувствительную потерю: едва они покинули Новую Зеландию, как на корабле от фейерверочных огней начался пожар, загорелся и один сундук из багажа Стивенсона — матрос готов был выбросить его за борт. Его вовремя остановили: в сундуке были все рукописи!

Но вот в октябре 1890 года Стивенсон впервые приветствовал Чарлза Бакстера с «добрым утром» из своего нового местожительства. Адрес был: Вайлима, Апиа, Самоа. Вайлима, то есть Пятиречье,—так называлось владение Стивенсона на океанском берегу у подножия горы Веа неподалеку от Апиа. Дом, правда, не был еще закончен, но уже обрел не только основание, а четкие контуры; мирок, который друзья обозначили «Стивенсонией».

«Вид этих лесов, гор и необыкновенный аромат обновили мою кровь»,— говорит торговец Уильтшир из рассказа «Берег Фалеза́». И это — признание самого Стивенсона. Здесь же сходство между ними и кончается. Уильтшир в дальнейшем переживает на острове различные приключения: любовь, соперничество и пр. Ничего хоть сколько-нибудь подобного не случалось на Самоа со Стивенсоном. Его жизнь была напряженна и однообразна — он писал. Теперь уже в буквальном и полном смысле — непрерывно писал. Стивенсон подымался в пять-шесть утра и работал до полудня, потом следовал перерыв, и

с пяти вечера он снова садился за письменный стол. Отдыхом ему служили флейта, чтение вслух в семейном кругу и прогулки верхом. Так изо дня в день. К этому следует добавить, что на первых порах Стивенсон вместе со всем своим семейством помогал строить дом, вырубать кругом лес и т. д. Но, в общем, свидетельствуют очевидцы, почти вся его жизнь проходила в кабинете. Лишь два раза за весь самоанский период Стивенсон отлучился из дома так далеко, что ночевал не под крышей Вайлимы.

Художественные произведения, политические статьи о положении на Самоа, обширная переписка, которая сама по себе есть значительный литературный труд,— таков был объем работы Стивенсона.

За какой из литературных жанров ни взялся бы Стивенсон, он создавал в этом роде нечто классическое. Его книги путевых очерков положили начало целой традиции. Он написал образцовый приключенческий роман. Точно так же принадлежит ему несколько первоклассных стихотворений, ставших хрестоматийными. Кто не знает с детства «Верескового меда»? В зрелом возрасте даже странно узнавать, что это написал Р. Л. Стивенсон или вообще кто-либо написал! Кажется, будто эта баллада существовала всегда, что пришла она к нам в самом деле из неведомой дали веков: столь «настоящей» сделал ее Стивенсон.

Писатель внимательно, а подчас с известной ревностью следит за новыми литературными именами и явлениями. Среди его корреспондентов крупные писатели: Джордж Мередит, Генри Джеймс, Конан Дойль, Киплинг, Дж. М. Барри, критики Эндрю Ланг и Эдмунд Госс. Его слава, а вместе с тем и благосостояние подымаются высоко. «С тех пор, как Байрон находился в Греции,— писал ему Эдмунд Госс,— ничто не привлекало такого внимания к литератору, как ваша жизнь в тропических морях».

Это, конечно, опасный для писателя уровень популярности: когда его личность и быт начинают привлекать читающую публику больше, чем его произведения. «Для романтического писателя не может быть худшей обстановки, чем романтическая, вот что стало ясно для меня,— рассуждал Оскар Уайльд под впечатлением от публицистической книги Стивенсона «Примечание к истории» (о самоанских событиях).— Живи Стивенсон на улице Гоуэр, он мог бы написать книгу вроде «Трех мушкетеров», между тем на острове Самоа он писал письма о немцах в «Таймс». Прославленный парадоксалист думал так, сидя за решеткой в Редингской тюрьме (через два года после смерти Стивенсона) и, должно быть, не зная как следует его последних книг. Да они тогда еще не все, в частности романы «Сент-Ив» и «Уир Гермистон», были опубликованы. В одном все-таки, сам опять же того не зная, уловил Оскар Уайльд существенный для Стивенсона мотив: как ни благоприятно складывалась жизнь писателя в красочных краях, его душой тянуло домой, в Шотландию. «Не многое остается в памяти за всю жизнь, дорогой Чарлз,— писал Стивенсон Бакстеру в августе 1890 года из гостиницы «Севастополь» в Ноумеа.— Когда оглядываешься на, казалось бы, яркую вереницу прежних

дней, они мелькают один за другим, вспыхивая и тут же угасая, а в конце концов, словно во вращающемся калейдоскопе, составляют некий однообразный тон. Лишь некоторые вещи остаются сами по себе, и вот среди них мне всегда особенно ясно видится Ретланд Сквер». Так что Стивенсон по-своему стремился на «улицу Гоуэр», и, не имея практической возможности попасть снова в родные места, он постоянно возвращался туда мысленно — в своих книгах.

«Я дьявольски много работаю,— извещал он Генри Джеймса на рубеже 1891—1892 годов.— За двенадцать месяцев истекшего года я завершил «Потерпевших кораблекрушение», написал весь, за исключением первой главы, «Берег Фалеза́», значительную часть «Истории Самоа» (что потом называлось «Примечание к истории»), сделал кое-что для «Жизнеописания моего деда» (в дальнейшем — «Семья инженера»), а также начал и закончил «Дэвида Бэлфура» («Катриона»). Как вам покажется для одного года? С тех пор я, надо признаться, почти ничего не сделал за исключением чернового наброска трех глав нового романа «Слуга Правосудия» (будущий «Уир Гермистон»)»...

Исследователи Стивенсона обратили внимание на то, что наиболее крупные свои произведения, созданные во время океанских странствий и жизни на Самоа, он написал о Шотландии. «Когда-то в молодости,— не без иронии заметил один его биограф,— у него не было времени заглянуть в Эдинбургскую библиотеку, зато теперь, из Вайлимы, он постоянно просит друзей высылать ему оттуда книги по шотландской истории». «Здесь, вдали, я пишу, занятый мыслями о моем народе и моей родине»,— говорилось в посвящении, предпосланном «Уиру Гермистону». Даже «Потерпевшие кораблекрушение», роман странствий, роман, начинающийся и оканчивающийся на островах Океании, все-таки уводит читателя к Эдинбургу и Парижу.

«Потерпевшие кораблекрушение» — книга, в сущности, автобиографическая. Сквозь все приключения, которых Стивенсон, как истинно романтический писатель (согласно парадоксальной логике Уайльда), сам никогда не переживал, проступает схема его сознания и вырисовывается чуть смещенная, но в принципе выдержанная география его судьбы: Эдинбург, Париж, Сан-Франциско, Маркизские острова, Самоа... На страницах романа эти названия появляются несколько в иной последовательности, как и герой книги Лауден Додд, по крови шотландец, но по рождению американец. Все-таки шотландец — это, конечно, не случайно и существенно, а главное, ведь и другой персонаж, Джим Пинкертон,— американец, однако по-настоящему американец, и сразу видна между ними разница: это Стивенсон через Лаудена Додда вновь и вновь затрагивает столь важную для него самого проблему расставания с родиной, соприкосновения с американской психологией и особенно проблему призвания. Тут же как бы фоном развивается общественная линия книги: «дух нашего века, его стремительность, смешение всех племен и классов в погоне за деньгами, яростная и по-своему романтическая борьба за существование с вечной сменой профессий и стран»...

Так что же, если фигура Лаудена — символ, то, стало быть,

сам автор — «потерпевший крушение»? Прямолинейно, разумеется, нельзя судить, но, безусловно, в книге много суровых авторских признаний и даже приговоров Стивенсона над самим собой.

— «В юности я был во всем привержен идеалам своего поколения»,— говорит Лауден Додд, разумея молодежь интеллигентную, творческую, мечтавшую об успехах в искусстве, о высоком артистизме, о независимости духовной и материальной. Со временем рамки профессионализма, хотя бы истинно творческого и безупречного, кажутся ему слишком узкими. «Те, кто трудится в кабинетах и мастерских, возможно, умеют создавать прекрасные картины и увлекательные романы, но им не следует позволять себе судить об истинном предназначении человека, ибо об этом они ничего не знают». Трудно не увидеть тут же, что в устах недоучившегося дилетанта и неудачливого дельца, каким обрисован в романе Лауден Додд, подобные суждения звучат малоестественно. Тем заметнее, что это передано Лаудену Стивенсоном от себя. Однако Лауден продолжает: «Если бы я мог, то захватил бы с собой на остров Мидуэй всех писателей и художников моего времени. Я хотел бы, чтобы они испытали все то, что пришлось испытать мне: бесконечные дни разочарования, зноя, непрерывного труда, бесконечные ночи, когда болит все тело и все-таки ты погружаешься в глубокий сон, вызванный физическим утомлением. Я хотел бы, чтобы они... услышали пронзительные крики бесчисленных морских птиц, а главное, испытали бы чувство отрезанности от всего мира, от всей современной жизни — здесь, на острове, день начинался не с появления утренних газет, а с восходом солнца...» Как видно, Стивенсон через посредство своего героя прописывает коллегам-литераторам рецепт, им на собственном опыте испробованный.

Оскар Уайльд, судя по всему, «Потерпевших кораблекрушение» не читал, однако кажется, будто прямо против этих программных тирад Стивенсона направлена его мысль, вызванная, впрочем, чтением Стивенсона же, только другой его книги — писем о Самоа. Уайльд нашел эту публицистику неудачной, она, по его мнению, свидетельствовала о творческом упадке Стивенсона в его поздний период, и в этой связи Уайльд рассуждает: «Я вижу, какой страшной борьбы стоит вести естественную жизнь. Кто рубит дрова — для себя или для пользы других,— тот не должен уметь описывать это. Ведь естественная жизнь в действительности бессознательна... Если бы я и провел остальную часть жизни в кафе, читая Бодлера, все же она будет для меня более естественной, чем если б я стал чинить заборы или сажать какао в топком болоте».

Два крупных писателя, две этапные фигуры, замыкающие собой историю английской литературы XIX столетия, говорят вещи противоположные, но стоят перед одной проблемой — писатель и жизнь, творец и материал его труда в эпоху, когда литературное творчество окончательно и полностью сделалось профессией, собственно, ремеслом, средством существования наряду со всеми прочими занятиями Творческая жизнь Шекспира как поэта и драматурга была, надо думать, не менее напряженной и насыщенной, чем у писателей конца прошлого ве-

ка. Однако автор «Гамлета» жил главным образом не литературой, он преуспевал как хозяин театра, а драматургия в этом практическом смысле не могла еще в ту пору служить основным источником дохода. Но как быть Стивенсону, если именно гонорар за «Потерпевших кораблекрушение», и только гонорар, дал ему возможность завершить постройку дома в Вайлиме? Как ему быть, если та жизнь, которую он ведет с семьей на Самоа, требует от него фактически безостановочного писания? Где взять для этого силы и наконец запас наблюдений? Должен ли писатель новейшей эпохи уподобиться пауку и, забившись в угол, тянуть из себя нескончаемую паутину, поджидая тем временем какую-нибудь случайную жертву, чтобы поглотить ее, и она пойдет на изготовление все той же паутины? Сколь однообразно-серой получится нить! Следует ли художнику идти на риск и где-то искать новизны ради накопления внутреннего багажа? Но когда и как, если творческий труд должен быть размеренным и регулярным, как всякая заурядная служба,— иначе нельзя будет этим трудом существовать?

Вопрос возник не во времена Стивенсона и Уайльда. Творческий профессионализм всегда являлся проблемой, но именно на исходе прошлого века эта, как и многие другие извечные проблемы, приобрела характер исключительно масштабный, массовый, и почти каждый человек, серьезно берущийся за перо, вынужден был решать ее для себя.

Кажется, совсем недавний предшественник Стивенсона и Уайльда — Диккенс — не знал таких проблем. Его недаром называют «невежественным великаном»: он создавал роман за романом, будто и не задумываясь, как это у него выходит. Но то лишь кажущееся неведение. Он преодолевал все трудности величием — иначе, чем способны были писатели более поздние, более скромные, которых литература, как особая сфера жизни, поглощала целиком. Стивенсон и Уайльд будто бы противоречат друг другу, а на самом деле предлагают одно и то же — жизненный эксперимент. Уайльд признает лишь эксперимент над собой и внутри себя. Стивенсон, прокладывая и в этом направлении путь для многих писателей нашего времени, звал и в прямом и переносном смысле «странствовать». Но тут вспоминается сомнительное одобрение, высказанное ему критиком, одобрение той популярности, которую он стяжал благодаря своему необычному образу жизни. Легенда вокруг личности писателя часто кладет конец серьезному воздействию его книг. С другой стороны, писатель, сколько-нибудь способствующий развитию легенды, невольно подает сигнал о том, что близко его творческое крушение.

Стивенсон, отважно провозглашавший во времена своих первых, европейских, поездок и ранних очерковых книг, что для него «жизнь — это литература», что «слова — часть его существа», с годами все осторожней говорит об этом. Неким мрачным заклинанием звучит одно из его поздних писем 1893 года — к маститому Джорджу Мередиту: «...Я работаю непрестанно. Пишу в постели, пишу, поднявшись с нее, пишу при кровотечении из горла, пишу совершенно больной, пишу, со-

трясаемый кашлем, пишу, когда голова моя разваливается от усталости, и все-таки я считаю, что победил, с честью подняв перчатку, брошенную мне судьбой». Тут сила, но и беззащитность какая-то. И в «Потерпевших кораблекрушение», там, где слышен программный авторский пафос, там же — нота тревоги: Стивенсон чувствует, какие всесторонние трудности назревают для художника, для литературного профессионализма, верным рыцарем которого он себя признавал.

«Потерпевших кораблекрушение» и кое-что еще Стивенсон выпустил в соавторстве со своим пасынком Ллойдом Осборном. Это признано самим Стивенсоном: на титульном листе романа стоят два имени. Но что означает подобное соавторство? Как могло сложиться сотрудничество прославленного писателя с ничем особенно не выделявшимся и очень еще молодым человеком? Вокруг Стивенсона все писали. Пробовала перо Фанни, и ее литературные опыты стоили Стивенсону дружбы с Хенли: новелла, сочиненная Фанни, явилась поводом для ссоры между ними. Ллойду Осборну Стивенсон посвятил «Остров Сокровищ» — его «образцовому вкусу». Ллойду было тогда пятнадцать лет. Посвящение, конечно, шутливое, но звучало оно вполне серьезно, так как имя «американского джентльмена» было обозначено только начальными буквами. Даже ближайшим друзьям Стивенсона и в голову не приходило, что господин, чье литературное чутье будто бы оказалось способным помочь в создании столь изящной книжки, пятнадцатилетний мальчик. Только на исходе своих дней, подготавливая собрание сочинений, Стивенсон раскрыл, что литеры Л. О. означают Ллойд Осборн. Тогда все стали принимать комплимент «образцовому вкусу» за добродушную иронию, а вместе с этим являлась мысль, что и последующее соавторство Стивенсона со своим пасынком — мистификация.

Нет, здесь Стивенсону было не до шуток. Оба отпрыска Фанни от первого ее мужа помогали Стивенсону в работе. Дочь — Айсобель Осборн, или, как ее называли, Бель, писала под диктовку. Ллойд, считалось, принимает участие более творческое — сочиняет сам, помогает развивать сюжет и т. д. Почему же в таком случае не мог он завершить оставшиеся после Стивенсона недописанными «Сент-Ив» и «Уир Гермистон»? Еще при жизни отчима Ллойд Осборн опубликовал самостоятельно один рассказ, а потом, когда Стивенсона уже не было, он напечатал несколько романов, новеллы и пьесы. Так что имеется возможность объективно оценить его данные — весьма средние. В самом деле, что-либо значительное подсказать Стивенсону Ллойд был едва ли способен. Его соавторство со Стивенсоном хотя и не являлось мистификацией, но в то же время не было действительным. Оно формально: приобщив Ллойда к своей работе, поставив его имя рядом со своим на обложке, Стивенсон обеспечивал за ним в дальнейшем авторские права.

«Деньги» или, точнее, «деньги для моей семьи» — вот слова, на каждом шагу попадающиеся в поздних письмах Стивенсона. Даже соболезнуя Бакстеру о смерти близкого человека, Стивенсон, извиняясь и прося его понять, сводит в конце концов разговор на деньги, на ту часть своего литературного наследства, которая должна достаться Айсобель Осборн. В этом отноше-

нии он действительно стал «не тот». У него возникает странный план: просить своих основных корреспондентов вернуть ему его письма с тем, чтобы тотчас собрать их в книгу, издать. «Я хочу,— пишет полушутя-полусерьезно Стивенсон,— чтобы в случае моей смерти моя более или менее в том неповинная и милая семья могла бы извлечь из этого денежную выгоду». Он прекрасно понимает бестактность подобной просьбы, но все-таки намерен просить Бакстера сыграть роль посредника, и тот поневоле ищет слова, чтобы разъяснить абсурдность такого плана — разъяснить Стивенсону, отличавшемуся всегда редкой душевной деликатностью. Бакстер подал другую мысль — выпустить собрание сочинений, назвав его «Эдинбургским». Стивенсон воспрянул духом. Ему необычайно понравились и сама идея и особенно титул «Эдинбургское издание Стивенсона». В ответ он писал Бакстеру нечто вроде того, что, осуществив «Эдинбургское издание», можно бы и умереть[1].

Слово «смерть» также на разные лады склоняется в эти годы Стивенсоном. Постоянные рассуждения о близкой смерти подсказаны резким ухудшением здоровья и все теми же заботами о будущем семьи, а потому возможная кончина писателя обсуждается всесторонне и практически им самим и вокруг него. «Кстати, мнение моей жены таково, что в случае моей смерти им придется выкупать дом и мебель у остальных наследников; так ли это? Жена упорно утверждает это, поэтому я спрашиваю твоего мнения, чтобы ответить ей»,— типичные для тех лет строки из письма Стивенсона.

Литературная работа тем не менее в Вайлиме не прекращается В апреле 1893 года Стивенсон публикует «Вечерние беседы на острове», в сентябре того же года — «Дэвида Бэлфура» («Катриона») и попеременно работает над двумя новыми большими романами — «Сент-Ив» и «Уир Гермистон».

Еще в декабре 1889 года, во время поездки Стивенсона по островам вместе с английскими миссионерами, он был представлен ими местному населению как Тузитала, то есть Рассказчик, Повествователь. Среди самоанцев репутацию Тузиталы ему снискали «Вечерние беседы», сборник повестей, из которого туземцы знали «Сатанинскую бутылку». Эту повесть Стивенсон пытался читать им еще в рукописи, а потом она была переведена на язык самоанцев. Самоанцы верили, что Тузитала в самом деле обладает волшебным сосудом и он хранится в сейфе, который занимал угол большого холла Вайлимы. В тот же сборник вошли «Берег Фалеза́» и «Остров голосов». В повестях непосредственно отразился материал экзотических впечатлений Стивенсона.

Однако Тузитала откликнулся на увиденное им на островах не только как увлекательный рассказчик. Те самые «письма о немцах» в «Таймс», а также составленное им «Примечание к истории», что так удручили своей политической прозой Оскара Уайльда, правдиво изображали бесчинства английской, аме-

[1] Иногда говорится, будто Киплинг был первым и единственным из английских писателей, чьи сочинения заслужили высокую честь выйти полным собранием при жизни автора. Впервые свое прижизненное собрание сочинений издал еще современник Шекспира Бен Джонсон (1616).

риканской и главным образом немецкой администрации на Самоа.

Сидней Колвин, публикуя письма позднего периода и комментируя их, просил читателей лишь из любви к Стивенсону вникнуть в тогдашние перипетии самоанской политики: и ему это казалось мелким и не стоящим внимания. Но Сидней Колвин, почитатели, друзья были далеко, Стивенсон же видел все своими глазами и не только беспристрастно наблюдал, но старался дать политическое объяснение событиям, происходящим на Самоа. Его гражданское и гуманное чувство не позволило ему остаться в стороне. Он защищал интересы самоанцев. Вот почему на островах с особенным уважением произносили имя Тузиталы и бережно хранили память о нем.

Ллойд Осборн сказал однажды с недоумением, что его поражает несоответствие между гражданской горячностью и отзывчивостью отчима и малым количеством его выступлений по текущим событиям. В то же время некоторые доброжелатели считали, что талантливый и слабый здоровьем писатель, истинный художник, слишком много потратил сил и времени на публицистические письма, которые он с 1889 по 1895 год печатал в лондонской «Таймс» и в других газетах, выступая в защиту мира и справедливости. Эти письма дополняют книгу Стивенсона «Примечание к истории», изданную в конце 1892 года. Письма и книга рассказывают о бесчинствах колонизаторов, о «режиме террора» на островах Самоа, об испытаниях самоанцев. В Германии «Примечание к истории» было предано сожжению, а его издатели подверглись штрафу. Позиция Стивенсона была уверенной и определенной — он решительно расходился с теми английскими писателями, кто бил в милитаристский барабан, пропагандируя «величие» Британской империи.

Еще в 1881 году, когда он узнал подробности о действиях английских войск в Трансваале, он не мог сдержать своего возмущения. Он написал письмо-протест, назвав агрессивные действия англичан против буров мерзостными. «Кровь буквально закипает у меня в жилах,— писал он.— Не нам судить, способны буры к самоуправлению или не способны; в последнее время мы вполне убедили Европу, что и сами мы в целом не самая слаженная нация на земле... Может наступить время в истории Англии, так как история эта еще не завершилась, когда и Англия может оказаться под гнетом мощного соседа; и хотя я не могу сказать, есть ли бог на небе, я все же могу сказать, что в цепи событий есть справедливость, и она заставит Англию пролить ведро своей лучшей крови за каждую каплю, выжимаемую сейчас из Трансвааля».

Письмо выражало не минутное настроение писателя, а глубокие убеждения и чувства. Стивенсон просил жену передать письмо в печать, однако Фанни, опасаясь, по-видимому, враждебной реакции со стороны официального и благонамеренного общественного мнения, сулившего неприятные последствия для всей семьи, не выполнила поручения мужа. Письмо не появилось тогда в печати, и в какой-то мере этот факт разъясняет недоумение Ллойда Осборна.

О нравственных принципах и гражданском мужестве Стивенсона может свидетельствовать его «Открытое письмо преподобному доктору Хайду из Гонолулу» от 25 февраля 1890 года в защиту памяти отца Дамьена, простого, но сильного духом человека, пожертвовавшего собой ради обреченных в лепрозории. Писатель сам посетил этот лагерь прокаженных и пробыл в нем около недели, рискуя здоровьем и жизнью.

Стивенсон не мог оставить без ответа клевету благоденствующего и политиканствующего служителя церкви, с которым был знаком и у которого был благосклонно принят. «Однако,— говорил Стивенсон в открытом письме,— существуют обязательства превыше благодарности и оскорбления, которые решительно разделяют близких друзей, не то что знакомых. Ваше письмо к преподобному Гейджу — документ такого свойства, что, на мой взгляд, если бы даже я умирал с голоду и Вы напитали меня хлебом, если бы Вы дежурили у постели моего умирающего отца, то и тогда я почел бы себя свободным нарушить долг вежливости».

Последние, наиболее масштабные по замыслу произведения Стивенсона позволяют, словно в панораме, увидеть целенаправленное движение его интересов, их последовательное развитие — от ранней пробы пера, очерка о Пентландском восстании, к поздним историческим романам. «Прошлое звучит в памяти!» — воскликнул Стивенсон в середине 80-х годов — он жил тогда в Борнемуте, а его тянуло в Эдинбург к воспоминаниям студенческой молодости. «Прошлое» было для него лично его прошлым на фоне древнего города, сердца Шотландии, ее старины. Это символическое совмещение, эта память стала для него еще более притягательной, когда он оказался далеко и к тому же безвозвратно далеко от родины. «Никогда не придется больше мне бродить возле Фишерз Трист и Гленроз. Никогда не увижу я больше Олд Рики. Никогда больше не ступит моя нога на наши пустоши»,— писал он в 90-х годах из Вайлимы земляку-шотландцу. И с этим чувством Стивенсон продолжал «Похищенного» — писал «Катриону» (в журнальной публикации — «Дэвид Бэлфур»), «Уира Гермистона» и «Сент-Ив», у него возникали очередные замыслы, и они так же, как эти романы, по месту и времени действия пролегали все в той же плоскости. Стивенсона интересовала Шотландия после 1745 года, пережившая в тот год последнюю решительную вспышку шотландского национализма. В отличие от Вальтера Скотта, демонстративно отнесшего действие «Уэверли» от начала XIX века на «шестьдесят лет назад» — как раз к 1745 году, Стивенсон отодвинул события этого времени, постоянно упоминаемые в его книгах, за пределы повествования, в некую историческую перспективу, сделав их в сознании персонажей исходной точкой. «Вы уже не дитя, вы должны ясно помнить сорок пятый год и мятежи, охватившие всю страну»,— говорят Дэвиду Бэлфуру: это очень важная для Стивенсона дистанция во времени. Она дает ему возможность как бы вместе с людьми середины XVIII столетия живо вспоминать роковой рубеж.

И опять-таки вместе со своим героем Стивенсон произносит следующие слова: «Есть пословица, что плоха та птица, кото-

рая грязнит собственное гнездо. Помнится, я слышал еще ребенком, что в Эдинбурге был мятеж, который дал повод покойной королеве назвать нашу страну дикой, и я давно понял, что этим мы ничего не достигли, а только потеряли. А потом наступил сорок пятый год, и все заговорили о Шотландии, но я ни от кого не слышал мнения, что в сорок пятом году мы что-нибудь выиграли».

Стивенсон мог с полным основанием сказать, что и он ребенком слышал о том же, о чем говорит Бэлфур, хотя для Бэлфура это непосредственная память его детства, а для Стивенсона — предания почти вековой давности. Но как бы там ни было, Стивенсон действительно слышал все это из живых уст — от родителей, от няни, от местных жителей. Он вырос в тех краях, где некогда должен был родиться, жить, бедствовать и добиваться у судьбы справедливости молодой человек середины XVIII века, современник смутной поры, решившей судьбу Шотландии. На собственном опыте писатель знал, что такое запас, заряд исторической памяти народа, передаваемый нераздельно от эпохи к эпохе. Стивенсон старался разобраться в наслоениях этой памяти. Она была для него и далеким историческим уроком и реальностью его собственных воспоминаний. Упорство шотландской патриархальной самобытности, английская политика, вклинившаяся между горной и равнинной Шотландией, распад и вражда кланов, характеры, формирующиеся в жестоких условиях,— «все это в моем давнем вкусе!» — мог бы сказать тут Стивенсон, как сказал некогда о «Владетеле Баллантрэ».

Дэвид Бэлфур находится в драматическом положении: сторонник союза с Англией, он в силу обстоятельств морального свойства должен отстаивать престиж тех, кто враждебен англичанам. Еще трагичнее, по замыслу Стивенсона, должна была сложиться ситуация в романе «Уир Гермистон»: лорд Гермистон, верховный судья (Стивенсон имел в виду лорда Браксфилда — реальное историческое лицо), ходом событий поставлен перед жестокой необходимостью вынести смертный приговор своему сыну.

Стивенсон верил, что «Уир Гермистон» (издан посмертно в 1896 г.) окажется его лучшим произведением. Именно трагическая глубина фигуры старого Гермистона давала ему такие надежды. И, возможно, он, завершив роман, не ошибся бы. Во всяком случае, крупные литературные авторитеты Шотландии, например, выдающийся прогрессивный поэт Хью Макдайармид, считают «Уира Гермистона» исходной вехой, от которой после довольно длительного упадка в середине прошлого века началось с конца столетия возрождение шотландской литературы.

В романе «Сент-Ив» Стивенсон взял иное время, но от Шотландии не отвлекся. В 1892 году Генри Джеймс прислал ему мемуары наполеоновского генерала Марбо. Память о наполеоновских войнах вообще тогда вызвала вспышку литературного интереса. Любопытно, что в том же году ту же книгу получил из рук Джорджа Мередита Конан Дойль. Марбо послужил Конан Дойлю моделью для бравого бригадира Жерара. У Стивенсона Марбо не вызвал подобного вдохновения,

но все-таки и Стивенсон, быть может, отчасти под воздействием этих воспоминаний, взялся за наполеоновскую тему, построив ее по-своему: французский военнопленный бежит из Эдинбургского замка [1]. ...У Стивенсона намечался замысел еще одного исторического романа о Шотландии. «Идея в том,— писал он двоюродному брату,— чтобы сделать настоящий исторический роман, охватывающий эпоху целиком и народ, наш народ...» Он придумал только заглавие — «Дикий кот», что также может означать «Бродяга».

Шотландии же, ее национальному герою Роберту Фергюссону, воспетому Бернсом, Стивенсон намеревался посвятить собрание своих сочинений. Однако практические соображения взяли верх над патетикой, и в итоге Стивенсон адресовал посвящение жене. Судьба семьи поглощала его мысли. Он страшился творческого кризиса и утраты средств к существованию. «Я дошел до мертвой точки,— извещал он Бакстера.— Я обычно не помню прежних своих плохих состояний, но именно сейчас мне достаточно плохо, я имею в виду литературную работу; здоровье пока хорошо и крепко». О том, что он чувствует себя исписавшимся, конченным, Стивенсон говорил в эту пору многим. Болезни также оставили его в относительном покое ненадолго. Стивенсон стал испытывать заметные нелады с правой рукой. И вот она почти отнялась. Участились «визиты старого знакомого — Кровавого Джека»,— так называл Стивенсон кровотечения из горла. Творческая работа, однако, продолжалась заведенным порядком.

Однажды в эти последние свои годы Стивенсон сделал такое признание: «Да будет известно нынешнему подвижному поколению, что я, Роберт Луис Стивенсон, сорока трех лет от роду, проживший двадцать лет литературным трудом, написал недавно двадцать четыре страницы за двадцать один день, работая с шести утра до одиннадцати, а затем вновь с двух до четырех или около этого, без отдыха и перерыва. Таковы даяния богов нам, таковы возможности плодовитого писателя!»

В конце 1894 года Эдмунд Госс прислал Стивенсону книжку своих стихов с посвящением — «Тузитале». «Что ж, мой дорогой Госс,— отвечал ему Стивенсон,— желаю вам всяческого здоровья и процветания. Живите долго, тем более, что вам, видно, все еще нравится жить. Пишите новые книги, такие же хорошие, как эта; одно лишь будет для вас невозможно: вам не удастся больше никогда написать посвящение, которое доставило бы столько же удовольствия исчезнувшему Тузитале» (1 декабря 1894 года).

3 декабря 1894 года Стивенсон по обыкновению с утра весь день напряженно работал над рукописью «Уира Гермистона», который был доведен почти до половины. К вечеру он спустился в гостиную. Жена была в мрачном настроении, и он старался

---

[1] «Сент-Ив», оставшийся, как и «Уир Гермистон», незаконченным, был дописан литератором А. Квиллер Кучем и вышел в свет в 1898 году. Первоначально наследники Стивенсона просили об этом Конан Дойля. Но автор Шерлока Холмса, считая себя в сравнении со Стивенсоном писателем недостаточно искусным, не взялся дорабатывать книгу.

развлечь ее. Потом собрались ужинать. Стивенсон принес из погреба бутылку бургундского. Вдруг он схватился за голову: «Что со мной?» И упал. Кровоизлияние в мозг. В начале девятого Тузиталы уже не было.

С почестями, в окружении самоанцев, покрытого государственным английским флагом, его подняли на вершину горы Веа. Все было исполнено по его стихам:

Здесь лежит он, где хотел лежать...

«Эдинбургское издание» своих сочинений, первые тома которого были подготовлены к выпуску при жизни автора, Стивенсон разбил на четыре раздела — романы, рассказы и повести, очерки и статьи, стихотворения,— думая разместить их примерно в пятнадцати книгах. Сидней Колвин, редактор издания, выпустил к 1897 году двадцать семь томов. В этом, как и в последующих, столь же многотомных и отнюдь не компактных изданиях, большу́ю часть занимали литературные статьи, очерки, публицистика и переписка.

В настоящем собрании представлены лучшие художественные произведения Стивенсона, а также некоторые его статьи.

М. Урнов

ПУТЕШЕСТВИЕ
ВНУТРЬ
СТРАНЫ

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Снабжая столь небольшую книгу предисловием, я, быть может, грешу против законов гармонии. Однако автору трудно устоять перед соблазном написать предисловие, ибо это его награда за труд. Когда закладывается первый камень, является архитектор со своими чертежами и добрый час расхаживает всем напоказ. А писателю для этого служит предисловие — ему, возможно, нечего сказать, но как не показаться хоть на мгновение на крыльце со шляпой в руке и с видом, исполненным небрежного достоинства!

При подобных обстоятельствах в манере держаться должен сквозить тонкий нюанс между смирением и надменностью: словно книгу написал кто-то другой, а вы лишь бегло ее просмотрели и вставили все лучшие места. Сам я еще не научился этому фокусу и пока не умею маскировать теплых чувств, которые питаю к читателю,— и уж если встречаю его на пороге, так для того, чтобы пригласить в дом с деревенским радушием.

По правде говоря, едва я прочел гранки этой книжечки, как меня охватило гнетущее предчувствие. Мне пришло в голову, что я могу остаться не только первым читателем этих страниц, но и последним, что, быть может, я напрасно проложил путь в этот весьма приятный уголок — никто не последует за мной сюда. Чем больше я об этом думал, тем меньше нравилась мне эта мысль, так что досада, наконец, сменилась паническим ужасом, и я торопливо набросал предисловие, которое должно только послужить приманкой для читателей.

Что я могу сказать в пользу своей книги? Калеб и Иисус Навин принесли из Палестины внушительную виноградную гроздь — увы, в моей книге нет ничего столь питательного, да

и к тому же мы живем в эпоху, предпочитающую философские определения любому количеству плодов земных.

Не покажутся ли заманчивыми ее негативные достоинства? Льщу себя мыслью, что с негативной точки зрения эта книга заслуживает хвалы. Хотя в ней насчитывается более ста страниц, она не содержит ни единого упоминания о нелепости вселенной, созданной господом, и даже ни тени намека на то, что я мог бы создать вселенную куда лучше. Право, не знаю, где была моя голова? Я, кажется, упустил из вида все, дающее повод гордиться тем, что ты человек. Это упущение лишает книгу какого бы то ни было философского значения, но я лелею надежду, что подобная эксцентричность может прийтись по вкусу более легкомысленным кругам.

Другу, который сопровождал меня в этой поездке, я и так уже многим обязан — и если бы только благодарностью! — но сейчас я питаю к нему величайшую нежность. Ибо он, во всяком случае, будет моим читателем — хотя бы для того, чтобы вместе с моим путешествием повторить и свое.

Р. Л. С.

ПОСВЯЩАЕТСЯ
сэру Уолтеру Гриндли Симпсону, баронету.

Дорогой Папироска,

достаточно было и того, что вы так безропотно принимали на свои плечи честную долю дождей и байдарок во время нашего путешествия, и того, что вам пришлось так отчаянно грести в погоне за беглянкой «Аретузой», увлекаемой стремительной Уазой, и, наконец, того, что затем вы доставили мои жалкие останки в Ориньи-Сент-Бенуат, где их ждал желанный ужин. А то, что я, как вы однажды с грустью пожаловались, вложил все крепкие выражения в ваши уста, а высокие размышления приберег для себя, было, пожалуй, даже и лишним. Простая порядочность не позволила мне обречь вас на позор еще одного и куда более публичного кораблекрушения. Но теперь, когда наше с вами путешествие намереваются издать большим тиражом, можно надеяться, что вышеупомянутая опасность уже миновала, и я смело ставлю ваше имя на вымпеле.

Однако я должен безотлагательно оплакать судьбу наших двух кораблей. То был злополучный день, сэр, когда мы задумали стать владельцами баржи и отправиться на ней в плавание по каналам; и в столь же злополучный день мы открыли нашу мечту слишком оптимистичному мечтателю. Некоторое время весь мир, казалось, улыбался нам. Баржа была куплена и окрещена и уже в качестве «Одиннадцати тысяч кельнских дев» несколько месяцев простояла—объект восторгов всех восторженных душ—на приятной реке под стенами старинного города. Мсье Маттра, искусный плотник из Море, трудился над ней, извлекая из этого порядочный доходец, и вы, верно, помните, сколько сладкого шампанского было поглощено в гостинице у моста, чтобы усугубить рвение рабочих и ускорить работу. На финансовом аспекте этого предприятия я предпочту не останавливаться. Баржа «Одиннадцать тысяч кельнских дев» тихонько гнила на лоне потока, где прежде обрела свою красоту. Ветер так и не наполнил ее парус, и к ней так и не был припряжен терпеливый битюг. И когда наконец негодующий плотник из Море продал ее, вместе с ней были проданы «Аретуза» и «Папироска» — одна из кедра, другая из доброго английского дуба, как хорошо известно нам, кому не раз приходилось переносить ее через шлюзы. Теперь над этими историческими судами развевается трехцветный флаг Франции, и они носят новые, чужестранные названия.

Р. Л. С.

ИЗ АНТВЕРПЕНА В БОМ

В антверпенском порту мы произвели сенсацию. Толпа портовых грузчиков во главе со стивидором [1] подхватила две наши байдарки и бросилась с ними к слипу. Следом, радостно вопя, бежала ватага мальчишек. «Папироска» со всплеском вошла в воду, подняв крохотную волну. Через мгновение за ней последовала «Аретуза». Вниз по течению бежал пароход, и матросы с кожуха его колеса выкрикивали хриплые предостережения, а стивидор и его грузчики кричали на нас с пристани Но два-три взмаха весла вынесли байдарки на середину Шельды, и все пароходы, все стивидоры и прочая береговая суета остались далеко позади.

Солнце сияло, шел прилив — добрых четыре мили в час,— дул ровный ветер, но иногда налетали шквалы. Я прежде никогда не ходил на байдарке под парусом и предпринял свой первый опыт на середине этой большой реки не без некоторого трепета. Что произойдет, когда ветер наполнит мой маленький парус? Наверное, такое чувство испытываешь, проникая в пределы неведомого, выпуская в свет первую книгу, вступая в брак. Но мои тревоги длились недолго, и вы не удивитесь, узнав, что пять минут спустя я уже закрепил парус.

Признаюсь, меня самого это обстоятельство несколько поразило; разумеется, плавая в обществе мне подобных на

[1] Стивидор — лицо, заведующее погрузкой и выгрузкой судов в порту.

яхте, я всегда закреплял парус, но в такой капризной скорлупке, как байдарка, да еще при шквалистом ветре я никак не ждал от себя подобной прыти и с некоторым презрением подумал о том, что мы слишком трясемся над своей жизнью. Бесспорно, курить много удобнее, когда парус закреплен, но ни разу прежде мне не приходилось выбирать между уютной трубочкой и несомненным риском — и я торжественно выбрал трубку. То, что мы не можем ручаться за себя, пока не подвергнемся испытанию,— истина избитая. Но далеко не так банальна и куда более приятна мысль, что обычно мы оказываемся намного храбрее и лучше, чем ожидали. Мне кажется, каждый человек имел возможность в этом убедиться, но, опасаясь, как бы не сплоховать в будущем, человечество предпочитает не разглашать этих ободряющих наблюдений. От скольких тревог был бы я избавлен, если бы в дни моей юности — как жаль, что этого не произошло! — кто-нибудь объяснил мне, что жизни бояться нечего, что опасности страшней всего на расстоянии, что лучшие качества человеческой души не поддаются окончательному погребению и почти никогда — а вернее, просто никогда — не изменяют нам в час нужды. Однако в литературе мы все предпочитаем играть на сентиментальной флейте, и никто из нас не хочет встать во главе марширующей колонны, чтобы ударить в барабан.

Река была очень симпатичной. Мимо проплывали редкие баржи, груженные сеном. Берега заросли камышом и ивами; коровы и серые почтенные лошади подходили к парапету и наклоняли к воде кроткие морды. Порой появлялись окруженные деревьями красивые селения с шумными верфями или виллы на зеленых лужайках. Ветер лихо гнал нас вверх по Шельде, а потом и по Рюпелу, и мы неслись довольно быстро, когда на правом берегу показались кирпичные заводы Бома. Левый берег по-прежнему оставался зеленым и сельским, был осенен деревьями, а на лестничках, ведущих к парому, сидели то женщина, подпирая щеку рукой, то старец с посохом и в серебряных очках. Однако Бом и его кирпичные заводы с каждой минутой становились все более безрадостными и дымными, и наконец большая церковь с часами и деревянный мост через реку показали, что мы находимся в центре города.

Бом не слишком приятное место и замечателен только одним: почти все его обитатели в глубине души убеждены, будто умеют говорить по-английски, что, впрочем, фактами

не подтверждается. Поэтому все наши переговоры с ними происходили как бы в тумане. Ну, а хуже «Отеля Навигации», на мой взгляд, во всем Боме нет ничего. В нем имеется зал, где пол усыпан песком,— окна этого зала выходят на улицу, а в глубине располагается буфетная стойка; и еще один зал с песком на полу, более темный и холодный, украшенный лишь пустой птичьей клеткой да трехцветной кружкой для пожертвований — там мы обедали в обществе трех молчаливых юношей, подручных с завода, и безмолвного коммивояжера. Кушанья, как обычно в Бельгии, носили случайный и неопределенный характер; по правде говоря, мне ни разу не удалось обнаружить, чтобы эти милые люди завтракали, обедали или ужинали: они весь день напролет что-то отведывают и поклевывают в любительском стиле — как бы французском, безусловно немецком и каким-то образом отличном и от того и от другого.

От пустой птичьей клетки, подметенной и начищенной, но не хранившей никаких следов пернатой певуньи, если не считать отогнутых проволочек, куда прежде вставляли кусочек сахара, веяло кладбищенским весельем. Молодые люди не желали разговаривать с нами, как, впрочем, и с коммивояжером, они то изредка перебрасывались вполголоса двумя-тремя словами, то устремляли на нас очки, мерцавшие в свете газового рожка. Ибо все трое были хоть и красивые ребята, но очкастые.

В гостинице имелась английская горничная, которая покинула Англию так давно, что успела набраться своеобразных иностранных выражений и иностранных привычек, о которых тут говорить незачем. Она очень бегло беседовала с нами на своем нелепом жаргоне, расспрашивала нас о нынешних английских обычаях и любезно нас поправляла, когда мы пытались отвечать. Однако, поскольку мы имели дело с женщиной, может быть, мы все-таки не бросали слова на ветер. Слабый пол любит набираться знаний, сохраняя при этом тон превосходства. Неплохая политика, а при данных обстоятельствах и необходимая. Если мужчина заметит, что женщина восхищается, хотя бы даже его познаниями в географии, он немедленно начнет злоупотреблять этим восхищением. Только постоянно одергивая нас, могут прелестные создания удерживать нас на подобающем месте. Мужчины, как сказала бы мисс Хоу или мисс Гарлоу, «такие посягатели». Сам я телом и душой на стороне женщин; и если не считать счастливой супружеской пары, в мире нет

ничего прекраснее мифа о божественной охотнице. Вот мужчина не способен удалиться в леса. Нам ли его не знать! В давние времена святой Антоний попробовал сделать это, и, по всем сведениям, ему пришлось очень солоно. Но в женщинах порой бывает нечто, дающее им превосходство даже над лучшими гимнософистами среди мужчин,— им достаточно самих себя, и они шествуют по горным ледяным зонам без помощи созданий в брюках. Должен признаться, вопреки общепринятым эстетическим взглядам, что я куда больше благодарен женщинам за этот идеал, чем был бы благодарен большинству из них — а вернее, всем, кроме одной,— за неожиданный поцелуй. Женщина, во всем полагающаяся только на себя, — какое это освежающее зрелище! И когда я думаю о стройных, прелестных девушках, всю ночь бегущих по лесам, когда звенит рог Дианы, мелькающих между дубами, столь же вольными, как и они, когда я думаю об этих дочерях лесной чащи и звездного света, не осквернённых соприкосновением с горячим и мутным потоком жизни, которой живут мужчины, я чувствую, что мое сердце начинает биться при мысли об этом идеале, хотя найдется немало других, влекущих меня гораздо больше. Это крах жизни, но какой прекрасный крах! То не потеряно, о чем не жалеют. А во что — это во мне говорит мужчина,— во что обратилась бы несравненная радость завоевания любви, если бы прежде не надо было преодолевать презрения?

ПО КАНАЛУ ВИЛЛЕБРУК

На следующее утро, когда мы поплыли по каналу Виллебрук, вдруг полил холодный дождь. Вода в канале была теплой, как налитый в чашку чай, и от этого внезапного ледяного вторжения ее поверхность закурилась паром. Мы только что пустились в путь, байдарки весело слушались каждого удара весла, и радостное возбуждение помогало нам переносить эту беду, а когда туча пронеслась и снова выглянуло солнце, мы воспрянули духом и забыли унылый рефрен: «Лучше бы нам остаться дома». Деревья по берегам канала шелестели и клонили ветки под натиском довольно сильного ветра. Листва вскипала в буйной игре света и теней. И на глаз и на слух погода казалась идеальной для плавания под парусами, однако берега были высо-

кие, и лишь отдельные слабые порывы ветра достигали воды. Он почти не надувал паруса. Мы продвигались вперед рывками и раздражающе медленно. Шутник с морским прошлым окликнул нас с бечевника:

— C'est vite, mais c'est long [1].

На канале царило значительное оживление. Мы то и дело встречали или обгоняли вереницы барж с зелеными румпелями: высокая корма с окошечками по обе стороны руля, может быть, с кувшином или цветочным горшком в таком окошке, привязанный сзади ялик, женщина, стряпающая обед, и куча ребятишек. Баржи шли караванами по двадцать пять—тридцать штук, а возглавлял процессию и тащил их за собой пароходик весьма странной конструкции. На нем не было ни колес, ни винта — с помощью какого-то приспособления, непонятного профанам в механике, он втаскивал на нос блестящую цепь, протянутую по дну канала, и, опуская ее с кормы, продвигался вперед звено за звеном вместе со всей свитой нагруженных плоскодонных барж. До того, как мы разгадали эту загадку, что-то зловещее чудилось в караване, неторопливо плывущем по каналу, когда лишь рябь у бортов и позади последней баржи показывала, что он продвигается вперед.

Из всех порождений коммерческой предприимчивости речная баржа представляется наиболее восхитительным. Она может поставить паруса — и вы видите, как она плывет высоко над верхушками деревьев и мельниц, плывет по акведуку, плывет через зеленеющие хлеба — самая живописная из всех амфибий. Или лошадь бредет шажком, словно в мире не существует деловой спешки, и человек, дремлющий у руля, весь день видит на горизонте одну и ту же колокольню. Непонятно, каким образом при подобной скорости грузы все-таки попадают на место назначения, а баржи, ожидающие своей очереди у шлюза, преподают нам прекрасный урок безмятежности, с какой следует относиться к миру и его суете. Наверное, на борту там найдется много умиротворенных душ, ибо при такой жизни и путешествуешь и остаешься дома — все вместе.

Над трубой поднимается дым — значит, скоро будет готов обед,— а вы все плывете, и берега канала неторопливо развертывают свои пейзажи перед созерцательным взо-

---

[1] Это быстро, но долго *(франц.)*.

ром; баржа минует большие леса и большие города с множеством общественных зданий и горящих в ночи фонарей; обитатель баржи в своем плавучем доме, «путешествуя в постели», словно слушает чью-то историю или равнодушно перелистывает иллюстрированную книгу. Он может погулять по чужой стране вдоль берега канала, а потом отправиться домой и пообедать у своего очага.

Этот образ жизни слишком малоподвижен, чтобы быть чересчур здоровым, однако избыток здоровья необходим только для нездоровых людей. Улитка в человеческом облике не болеет и не чувствует себя здоровой, живет тихонько и умирает легко.

Сам я предпочту судьбу барочника любому самому почетному положению, если оно требует регулярного посещения конторы. Пожалуй, немного найдется других таких профессий, когда человек столь мало поступается своей свободой ради возможности есть каждый день. Барочник на борту своего судна — капитан корабля, он может пристать к суше, где пожелает, его нельзя заставить уходить от подветренного берега всю морозную ночь напролет, когда паруса тверже железа; и, насколько я могу судить, время для него настолько неподвижно, насколько это совместимо с наступлением часа обеда или часа отхода ко сну. Трудно понять, почему барочник все-таки должен когда-нибудь умереть.

На полпути между Виллебруком и Вилворде, в очаровательном месте, где канал похож на аллею старого парка, мы пристали к берегу перекусить. На борту «Аретузы» имелось два яйца, краюха хлеба и бутылка вина, а на борту «Папироски» — два яйца и «Этна», спиртовый аппарат для приготовления пищи. Шкипер «Папироски» в процессе высадки разбил одно из яиц, но, бодро сообщив, что его все же можно сварить à l papier [1], бросил пострадавшее яйцо в «Этну» в оболочке из фламандской газеты. Когда мы высаживались, погода стояла прекрасная, но не провели мы на берегу и двух минут, как ветер начал заметно крепчать, а по нашим плечам застучали капли дождя. Мы пристроились как можно ближе к «Этне». Спирт пылал чрезвычайно эффектно — трава вокруг то и дело загоралась, и ее приходилось гасить, и вскоре было обожжено несколько пальцев. Однако общее количество

[1] В бумаге *(франц.)*.

приготовленной пищи явно не соответствовало всей этой помпе; когда, дважды приведя аппарат в действие, мы наконец прекратили стряпню, оказалось, что целое яйцо чуть-чуть согрелось, а à la papier представляло собой холодное и мерзкое фрикасе из типографской краски и яичной скорлупы. Тогда остальные два яйца мы решили испечь, положив их возле горящего спирта,— эта операция увенчалась успехом. Затем мы откупорили бутылку и расположились в канавке, закрыв колени фартуками, снятыми с байдарок. Дождь зарядил вовсю. Честные неудобства, когда они не предпринимают тошнотворных попыток выдать себя за комфорт, становятся источником всяческого веселья, и люди, промокшие и окоченевшие на свежем воздухе, очень склонны смеяться. С этой точки зрения даже яйцо à la papier, предложенное в качестве еды, может сойти за бесхитростную шутку. Однако шутки такого рода, хотя в первый раз их и принимают хорошо, при повторении сильно проигрывают, вот почему дальше «Этна» путешествовала, как аристократка, в рундучке «Папироски».

Едва мы, поев, продолжили путь и подняли парус, как ветер, само собой разумеется, тотчас стих. Но до Вилворде мы продолжали подставлять паруса обленившейся стихии и так, то подгоняемые случайным порывом ветра, то работая веслами, тихо плыли от шлюза к шлюзу между двумя рядами аккуратных деревьев.

Это был прекрасный, зеленый, сочный ландшафт, а вернее, одна зеленая водная аллея, которая тянулась от деревни к деревне. Все вокруг имело упорядоченный вид, свойственный давно обжитым местам. Когда мы проплывали под мостами, остриженные в кружок дети, перегнувшись через перила, плевали в нас с истинной консервативностью. Но еще более консервативны были рыболовы, которые не сводили глаз со своих поплавков и не удостаивали нас ни единым взглядом. Они сидели, примостившись на устоях, быках и просто на берегу, тихо поглощенные своим занятием. Они были безразличны ко всему, как образчики неживой природы. Они не шевелились, словно удили на старинной голландской гравюре. Листья трепетали, по воде бежали маленькие волны, но рыболовы оставались неподвижны, как государственная церковь. Можно было бы трепанировать все их простодушные головы и не найти под черепной крышкой ничего, кроме свернутой ры-

боловной лески. Мне несимпатичны дюжие молодцы в резиновых сапогах, по грудь в воде штурмующие горные потоки в надежде поймать лосося, но я нежно люблю этот класс людей, предающихся своей бесплодной страсти всю вечность и еще один день над тихими и уже малонаселенными водами.

У последнего шлюза сразу за Вилворде смотрительница говорила по-французски достаточно внятно и сообщила нам, что до Брюсселя еще добрых две лиги. И там же вновь полил дождь. Он чертил в воздухе прямые параллельные линии, и поверхность канала раздробилась на мириады крохотных хрустальных фонтанчиков. Найти ночлег по соседству было нельзя, и нам оставалось только убрать паруса и усердно грести под дождем.

Прекрасные виллы с часами и длинными линиями закрытых ставнями окон, рощи и аллеи великолепных старых деревьев под дождем и в сгущающихся сумерках придавали берегам канала угрюмое величие. Я видел нечто подобное на гравюрах: пышные пейзажи, пустынные и помрачневшие с приближением бури. И до самого конца нас сопровождала тележка с поднятым верхом, которая уныло тряслась по бечевнику, держась у нас за кормой на неизменном расстоянии.

КЛУБ КОРОЛЕВСКИХ ВОДНИКОВ

Дождь прекратился где-то возле Лакена. Но солнце уже зашло, воздух стал прохладным, а у нас на двоих не нашлось бы и одной сухой нитки. К тому же теперь, когда мы почти достигли конца зеленой аллеи и были уже на самом пороге Брюсселя, нам пришлось столкнуться с серьезной трудностью. Вдоль обоих берегов почти вплотную друг к другу стояли баржи, ожидая своей очереди войти в шлюз. Нигде не было видно ни одной удобной пристани, ни даже конюшни, где мы могли бы оставить байдарки на ночь. Мы кое-как выбрались на берег и вошли в кабачок, где какие-то грустные бродяги пили вместе с трактирщиком. Трактирщик был с нами немногословен: ни каретных сараев, ни конюшен, ни еще чего-нибудь поблизости нет. А заметив, что пить мы не намерены, он выказал явное нетерпение поскорей от нас избавиться. Спас нас один из грустных бродяг. В одном конце залива имеется слип, сообщил он нам, и еще что-то, что он точно

описать не сумел, но тем не менее его слушатели воспряну-ли духом.

И действительно, в конце залива имелся слип, а на-верху слипа два симпатичных юноши в матросских костю-мах. Аретуза обратился к ним с вопросом, и один из них сказал, что пристроить на ночь наши байдарки будет со-всем нетрудно, а другой, вынув папиросу изо рта, осведо-мился, не фирмы ли они «Сирл и сын». Это имя вполне заменило визитную карточку. Из лодочного сарая с выве-ской «Клуб королевских водников» вышло еще шестеро молодых людей, тотчас присоединившихся к нашей беседе. Все они были очень любезны, словоохотливы и полны во-сторга, а их речь изобиловала английскими лодочными терминами, названиями английских лодочных фирм и ан-глийских лодочных клубов. К стыду своему, я не знаю ни единого места в моей родной стране, где меня с подобной радостью приняло бы такое же число людей. Мы были английскими любителями водного спорта, и бельгийские любители водного спорта кинулись нам на шею. Не знаю, с такой ли сердечностью приняли английские протестанты французских гугенотов, когда те бежали за Ла-Манш, спасаясь от гибели. Впрочем, какая религия сплачивает людей теснее, чем занятие одним видом спорта?

Байдарки внесли в лодочный сарай, клубная прислуга вымыла их, паруса были повешены сушиться, и все стало чистым и аккуратным, как картинка. А нас тем временем новообретенные братья — так они сами себя именовали — повели наверх и отдали в наше распоряжение свою умы-вальную. Один одолжил нам мыло, другой — полотенце, еще двое помогли развязать мешки. И все это сопровожда-лось такими вопросами, такими заверениями в уважении и любви! Признаюсь, только тут я понял, что такое слава.

— Да-да, «Клуб королевских водников» — старейший клуб в Бельгии.

— У нас членов — двести человек.

— Мы... (тут я привожу не слова кого-то одного, но экстракт из многих речей, впечатление, оставшееся у меня после долгих разговоров, и, на мой взгляд, это была очень юная, милая, безыскусственная и патриотичная похвальба) ...мы выигрывали все гонки, за исключением тех, в которых французы обставляли нас нечестным об-разом.

— Оставьте здесь вашу мокрую одежду, ее высушат.

— O! Entre frères![1]. В любом английском лодочном клубе нас встретили бы так же! (От души надеюсь, что так оно и было бы!)

— En Angleterre vous employez des sliding-seats, n'est-ce pas?[2].

— Днем мы все работаем в торговых конторах, но вечером, voyez-vous, nous sommes sérieux[3].

Так он и сказал. День все они посвящали легкомысленным торговым делам Бельгии, но по вечерам выкраивали несколько часов для серьезных сторон жизни. Быть может, мое представление о мудрости неверно, но, мне кажется, это были очень мудрые слова. Люди, занимающиеся литературой и философией, весь день отдают тому, чтобы избавиться от подержанных идей и ложных норм. Это их профессия — в поте чела упорно мыслить, чтобы вернуть себе прежний свежий взгляд на жизнь и разобраться, что действительно нравится им самим, а с чем они волей-неволей научились мириться. В сердцах же этих королевских водников умение различать было еще живо. Они еще хранили чистое представление о том, что хорошо и что дурно, что интересно и что скучно,— представление, которое завистливые старцы именуют иллюзией. Кошмарная иллюзия пожилого возраста, медвежьи объятия обычаев, по каплям выжимающие жизнь из человеческой души, еще не завладели этими юными бельгийцами, рожденными под счастливой звездой. Они еще понимали, что интерес, который вызывает у них их коммерческая деятельность,— ничтожный пустяк в сравнении с их пылкой многострадальной любовью к лодочному спорту. Зная, что нравится тебе самому, и не говоря смиренно «аминь», когда свет заявляет, что тебе должно нравиться что-то иное, ты сохраняешь свою душу живой. Подобный человек бывает духовно щедр, он честен не только в коммерческом смысле этого слова, он выбирает своих друзей, руководствуясь личными симпатиями, вместо того чтобы принимать их как неизбежный придаток к занимаемому им положению. Короче говоря, он человек, который действует согласно собственным побуждениям, сохраняя себя таким, каким его создал бог,— а не просто рычажок в социаль-

[1] Между братьями! *(франц.)*.

[2] Вы в Англии пользуетесь подвижными сиденьями, правда? *(франц.)*.

[3] Вы видите, мы серьезны *(франц.)*.

ной машине, приклепанный согласно принципам, ему непонятным, во имя цели, ему неинтересной.

Разве кто-нибудь посмеет сказать мне, что конторская деятельность приятнее возни с лодками? Тот, кто так думает, либо никогда не видел лодок, либо никогда не видел контор. И первые, во всяком случае, гораздо полезнее для здоровья. Самым важным делом для человека должно быть его любимое развлечение. Противопоставить этому можно только алчную погоню за деньгами; один лишь «Маммона, дух бесчестнейший из всех, низринутых с небес», посмел бы возразить хоть слово. Только лживые ханжи и лицемеры могут утверждать, будто коммерсант и банкир — это люди, бескорыстно трудящиеся на благо человечества, а посему всего более полезные ему именно тогда, когда они наиболее поглощены своими сделками. Это не так, ибо человек важнее своей службы. А когда мой королевский водник оставит свою исполненную надежд юность так далеко позади, что будет испытывать горячий интерес только к гроссбуху, то, смею сказать, он будет уже куда менее симпатичен и вряд ли с таким радушием встретит двух промокших до костей англичан, которые в сумерках приплывут на байдарках в Брюссель.

Когда мы переоделись и выпили по стакану светлого пива за процветание клуба, один из юношей проводил нас до гостиницы. Отобедать с нами он отказался, но готов был выпить стаканчик вина. Энтузиазм — штука весьма утомительная, и я начал понимать, почему пророки были столь непопулярны в Иудее, где их знали лучше всего. Три мучительных часа этот превосходный молодой человек сидел с нами и разглагольствовал о лодках и лодочных гонках, а перед уходом любезно распорядился, чтобы нам в спальню подали свечи.

Время от времени мы пытались переменить тему, но это удавалось нам лишь на краткое мгновение: королевский водник становился на дыбы, шарахался в сторону, отвечал на вопрос и вновь кидался в бушующие валы своей излюбленной темы. Я называю это его темой, но боюсь, он был не хозяином ее, а рабом. Арстуза, для которого любые гонки и скачки — порождение дьявола, оказался в тяжелом положении. Он не смел выдать своего невежества и, чтобы не посрамить честь Старой Англии, рассуждал о знаменитых английских клубах и знаменитых английских гребцах, дотоле ему вовсе не ведомых. Несколько

раз, особенно когда речь зашла о подвижных сиденьях, его чуть было не разоблачили. Что до Папироски, который в буйную пору юности участвовал в лодочных гонках, но ныне отрекается от грехопадений тех легкомысленно потраченных лет, то его положение было даже еще более отчаянным, ибо королевский водник предложил ему пройти завтра на одной из их восьмерок, дабы они могли сравнить английскую и бельгийскую греблю. Каждый раз, когда об этом заходила речь, на лбу моего друга выступал холодный пот. Точно так же подействовало на нас и еще одно предложение юного энтузиаста. Оказалось, что чемпион Европы по байдарке (как, впрочем, и большинство остальных чемпионов) был членом «Клуба королевских водников». И если бы мы только подождали до воскресенья, этот адский гребец милостиво проводил бы нас до следующей нашей остановки. Но мы — ни тот и ни другой — не испытывали ни малейшего желания гнать солнечных коней вперегонки с Аполлоном.

Когда молодой человек ушел, мы отменили распоряжение насчет свечей и заказали коньяку и воды. Пучина сомкнулась над нашими головами. Королевские любители водного спорта были на редкость славными юношами, но они были немножечко слишком юны и чуть-чуть слишком любили водный спорт. Нам стало ясно, что мы старые циники: нам нравилось тихое безделье и приятные размышления о том о сем; мы не желали опозорить нашу страну, сбив с темпа восьмерку или жалко влачась в кильватере чемпиона по байдарке. Короче говоря, нам пришлось спасаться бегством. Это отдавало неблагодарностью, но мы постарались возместить свою невежливость карточкой, исписанной изъявлениями искреннейшей признательности. Нам было не до церемоний: мы уже чувствовали на своих затылках жаркое дыхание чемпиона.

В МОБЕЖЕ

Под влиянием ужаса, который мы испытывали перед нашими добрыми друзьями — королевскими водниками, а также учитывая, что между Брюсселем и Шарлеруа нам пришлось бы пройти не менее пятидесяти пяти шлюзов, мы решили остальную часть пути до границы проехать на поезде вместе с байдарками и прочим багажом. Пройти

пятьдесят пять шлюзов за один день практически означало бы проделать весь этот путь пешком, таща байдарки на плечах, к великому удивлению деревьев над каналом и под градом насмешек всех нормальных детей.

Пересечь границу даже на поезде Аретузе далеко не просто. Почему-то любому чиновнику он кажется подозрительным субъектом. Где бы он ни проезжал, там всегда собирается чиновничий конклав. Во всем мире торжественно подписываются договоры, от Китая до Перу величественно восседают послы, посланники и консулы, и «Юнион Джек» развевается на всех ветрах; под этой внушительной охраной дородные священники, школьные учительницы, джентльмены в серых костюмах из твида и всяческая мелочь английского туризма со справочниками в руках без малейших помех раскатывают по континентальным железным дорогам, и все же худощавая особа Аретузы застревает в ячеях сети, тогда как эти крупные рыбы весело продолжают свой путь. Если он путешествует без паспорта, то его без лишних разговоров ввергают в гнусное узилище, если же его бумаги в порядке, то ему, правда, позволяют следовать дальше, но только после того, как он до дна изопьет унизительную чашу всеобщего недоверия. Он с рождения британский подданный, и все же ему ни разу не удалось убедить в этом ни единого чиновника. Он льстит себя мыслью, что не лишен честности, и все же его в лучшем случае принимают за шпиона, и нет такого нелепого или злонамеренного способа добывания хлеба насущного, который не приписывался бы ему в пылу чиновничьего или гражданского недоверия...

Это просто уму непостижимо. И я по призыву колокола ходил в церковь и сидел за столом хороших людей, но это не оставило на мне ни малейшего следа. Чиновничьим очкам я непонятен, как индеец. Они поверили бы, что я уроженец какого угодно края, но только не моего собственного. Мои предки трудились напрасно, и в моих скитаниях за границей славная конституция мне не защита. Поверьте, быть приличным образчиком своего национального типа — великое дело.

Никого по дороге в Мобеж не просили предъявить документы, кроме меня! И хотя я отчаянно цеплялся за свои права, мне наконец пришлось смириться с унижением, чтобы не отстать от поезда. Я сдался, скрепя сердце,— но ведь мне надо было ехать в Мобеж!

Мобеж — город-крепость с очень хорошей гостиницей «Большой олень». Он, по-видимому, населен солдатами и коммивояжерами: во всяком случае, мы больше никого там не видели, если не считать коридорных. Нам пришлось задержаться там, потому что байдарки не торопились к нам присоединиться; в конце концов они прочно сели на мель в таможне, и мы должны были вернуться к ним на выручку. Делать нам было нечего, осматривать — тоже. Кормили нас, к счастью, хорошо, но и только.

Папироску чуть было не арестовали за попытку зарисовать фортификации, чего он даже при всем желании не сумел бы сделать. А кроме того, мне кажется, каждая воинственная нация уже имеет планы всех чужих укреплений, и подобные предосторожности более всего напоминают попытку запереть конюшню после того, как коня угнали. Но, без сомнения, они способствуют поддержанию духа у населения. Великое дело, если людей удается убедить, что они каким-то образом причастны к свято хранимой тайне. Это придает им значение в собственных глазах. Даже масоны, чьи секреты разоблачались всеми кому не лень, сохраняют известную гордость; и любой бакалейщик, хотя в глубине души он и сознает, какой он безобидный и пустоголовый простак, возвращаясь с одного из «застолий», ощущает себя необыкновенно важной персоной.

Странно, как хорошо живется двум людям — если их двое — в городе, где у них нет знакомых. По-моему, созерцание жизни, в которой ты не участвуешь, парализует личные желания. И ты с охотой довольствуешься ролью зрителя. Булочник стоит в дверях своей лавки; полковник с тремя медалями на груди проходит вечером мимо, направляясь в кафе; солдаты бьют в барабаны, трубят в горны и расхаживают на часах у фортов, храбрые, как львы. Невозможно подобрать слова, чтобы описать, насколько умиротворенно ты созерцаешь все это. В родных местах нельзя сохранить безразличие: ты сам участвуешь в событиях, в армии служат твои друзья. Но в чужом городе, не настолько маленьком, чтобы он сразу стал привычным, и не настолько большом, чтобы обхаживать путешественников, ты оказываешься так далеко от всего, что просто забываешь, как можно в чем-то участвовать; вокруг нет ничего по-человечески близкого, и ты уже не помнишь, что ты человек. Возможно, в скором времени ты вообще перестанешь быть человеком. Гимнософисты уда-

ляются в лесные дебри, где их окружает буйная жизнь природы, где все дышит романтикой,— нет, было бы куда полезнее для их цели, если бы они поселились в скучном провинциальном городке, где видели бы ровно столько образчиков человеческой породы, сколько необходимо, чтобы рассеять тоску по людям, и где перед ними были бы лишь приевшиеся внешние стороны человеческого существования. Эти внешние стороны так же мертвы для нас, как многие церемонии, и говорят с нашими глазами и ушами на мертвом языке. Они столь же бессмысленны, как слова присяги или приветствие. Мы так привыкли видеть супружеские пары, шествующие в церковь по воскресеньям, что уже не помним, символом чего они являются, и романистам даже приходится оправдывать и превозносить адюльтер, когда они хотят показать нам, как это прекрасно, если мужчина и женщина живут только друг для друга.

Однако в Мобеже нашелся человек, который позволил мне заглянуть за свой фасад. Это был кучер омнибуса нашей гостиницы — насколько помню, ничем не примечательный на вид коротышка, но с какой-то человеческой искрой в душе. Он прослышал про наше маленькое плавание и явился ко мне, полный восторженной зависти. Как он жаждет путешествовать! Как ему хочется побывать в других местах и посмотреть мир, прежде чем он сойдет в могилу!

— Ну, что у меня есть? — сказал он.— Я еду на станцию. Ну, ладно. А потом я еду назад к гостинице. И так каждый день всю неделю. Бог мой, разве это жизнь?

Я тоже не мог назвать это жизнью — для него. Он настойчиво расспрашивал меня о том, где я побывал и куда еще намерен отправиться, и, слушая меня, он вздыхал — я не преувеличиваю. Может быть, он стал бы мужественным исследователем Африки, может быть, он поплыл бы с Дрейком к Индиям? Но наш век немилостив к людям с цыганскими наклонностями. Кто умеет плотнее других сидеть на конторском табурете, тот и завоевывает богатство и славу.

Хотел бы я знать, служит ли мой приятель по-прежнему кучером в «Большом олене». Навряд ли; мне кажется, когда мы приехали в Мобеж, он уже готов был взбунтоваться, и встреча с нами могла послужить последней каплей. В тысячу раз лучше, если он стал бродягой, чинит

тазы и кастрюли где-нибудь у дороги, спит под деревьями, и каждый день утренняя и вечерняя заря пылает для него на новом горизонте. Вы, кажется, сказали, что быть кучером омнибуса — весьма респектабельное занятие? Прекрасно. Так какое же право имеет тот, кому это респектабельное занятие не нравится, препятствовать другим воссесть на козлы своего омнибуса? Предположим, мне не понравилось какое-нибудь кушанье, а вы сообщили мне, что остальное общество питает к нему пристрастие. Какой вывод должен был бы я сделать из ваших слов? Неужели мне следовало бы продолжать насиловать мой желудок?

Респектабельность — вещь по-своему неплохая, но она не превыше всего. Я не посмею, конечно, намекнуть, что это — дело только вкуса; однако я рискну сказать следующее: если какое-либо занятие человеку явно не по душе, неприятно, необязательно и, в сущности, бесполезно, то, будь оно респектабельно, как англиканская церковь, чем скорее он его бросит, тем лучше для него самого и для всех, кого это касается.

ПО КАНАЛУ САМБРЫ

В КАРТ

Часа через три весь «Большой олень» отправился проводить нас к реке. Кучер омнибуса смотрел на нас тоскливыми глазами. Бедная птица в клетке! Как памятно мне время, когда я сам бродил по станционной платформе, смотрел, как поезда один за другим уносят в ночь свой груз свободных людей, и жадно читал в расписании названия далеких городов!

Мы еще не миновали все форты, как начался дождь. Лобовой ветер налетал яростными порывами, а пейзаж вполне гармонировал с безжалостностью небесных стихий. Мы плыли вдоль изуродованных берегов, покрытых редким кустарником, но зато щеголяющих разнообразием фабричных труб. Мы сделали привал на замусоренном лужке, где торчало несколько древесных стволов с обрубленными ветвями, и выкурили по трубочке, пользуясь тем, что выглянуло солнце. Однако ветер был так силен, что мы, собственно, курили только его. Окрестный пейзаж не радовал глаз никакими природными красотами, кроме

грязных мастерских. Стайка детей во главе с высокой девочкой остановилась в двух шагах от нас и внимательно наблюдала за нами до самого нашего отъезда. Я был бы рад узнать, что они о нас думали.

Шлюз в Омоне оказался почти непреодолимым препятствием, так как место причала располагалось под высоким и крутым берегом, а спуск находился оттуда очень далеко. Человек десять прокопченных рабочих пришли нам на помощь. От вознаграждения они отказались наотрез и — что еще лучше — с истинным благородством, не оскорбившись и не оскорбляя. «Такой уж обычай в наших местах»,— объяснили они. Прекрасный обычай! В Шотландии, где вам тоже помогут бескорыстно, добрые люди отвергнут ваши деньги так, словно вы пытаетесь подкупить избирателя. Коль скоро человек готов утрудить себя достойным поступком, то, право, стоит сделать еще одно небольшое усилие и не посягать на достоинство тех, кому помогаешь. Однако в наших бравых саксонских странах, где мы семьдесят лет бредем по грязи, с рождения и до смерти внимая свисту ветра, мы и добро и зло творим надменно, почти вызывающе, даже милостыню превращая в свидетельство собственной добродетели и в акт войны против несправедливости.

За Омоном снова выглянуло солнце, а ветер стих; после нескольких минут усердной гребли заводы остались позади, и мы очутились в очаровательном краю. Река здесь вилась среди пологих холмов, и солнце то светило нам в спину, то оказывалось прямо впереди, превращая реку в поток непереносимого сияния. По обеим сторонам тянулись луга и яблоневые сады, отделенные от воды лишь полоской осоки и водяных лилий. Изгороди были очень высоки и опирались на стволы могучих вязов, так что поля, порой очень маленькие, казались рядами беседок над рекой. Дали были от нас заслонены, лишь изредка над ближайшей изгородью вдруг вздымалась лесистая вершина холма, создавая средний план,— и все. Небо было безоблачно. Воздух после дождя чаровал чистотой и прозрачностью. Река петляла между холмов, сверкая, как зеркало, и каждый удар весла заставлял вздрагивать лилии у берега.

По лугам бродили причудливо узорные черно-белые коровы. Одна, с белой мордой и глянцевито-черным туловищем, подошла к воде напиться и, когда я проплывал

мимо, смотрела на меня, задумчиво подергивая ушами, точно комичный священник в какой-нибудь пьесе. Через секунду я услышал громкий всплеск и, оглянувшись, увидел, что «священник» с трудом выкарабкивается на обрушившийся берег.

Кроме коров, мы не видели ни единого живого существа, если не считать нескольких птиц и множества рыболовов. Эти последние сидели на бережку с удочками — кто с одной, а кто и с десятком. Они, казалось, цепенели в блаженстве, и те из них, кого нам удавалось втянуть в обмен репликами о погоде, отвечали нам тихим и рассеянным голосом. Они как-то странно расходились во мнениях относительно того, какая именно рыба привлекла их сюда со всей их наживкой, но в одном были единодушны: этой рыбой река изобилует. Когда мы убедились, что ни одному из них никогда не попадалась на крючок рыба той породы, которую постоянно ловил его сосед, мы невольно заподозрили, что никто из них вообще в жизни не поймал ни одной рыбешки. Но так как день был удивительно хорош, я от души надеюсь, что терпение каждого из них было вознаграждено, и каждый отправился домой, неся полную корзинку серебристой добычи. Кое-кто из моих друзей начнет стыдить меня за это пожелание, но мне человек, будь он даже удильщиком, куда приятнее самой лучшей пары жабер во всех господних водах. К рыбам я не питаю ни малейшей нежности, кроме тех случаев, когда их подают к столу под белым соусом, тогда как удильщик — это весьма существенная часть речного пейзажа, а посему заслуживает известного признания со стороны байдарочников. Он всегда вежливо ответит, где ты находишься, а его недвижная фигура отлично оттеняет окружающую пустынность и безмолвие, напоминая к тому же о сверкающих обитателях глубин под днищем твоей байдарки.

Самбра так трудолюбиво выписывала узоры среди своих холмов, что было уже начало седьмого, когда мы подошли к шлюзу в Карте. Папироска вступил в шутливую перебранку с ватагой ребятишек, которые бежали рядом с нами по бечевнику. Тщетно я взывал к его благоразумию. Тщетно я убеждал его на нашем родном языке, что нет на свете существа опаснее мальчишки: стоит только им ответить, и града камней тебе не избежать. Что до меня, то на все обращенные ко мне реплики я лишь кротко улыбался и покачивал головой, словно был существом вполне

безобидным и не понимал ни слова по-французски. Мой прошлый опыт на родных реках был таков, что я предпочту столкнуться нос к носу с любым кровожадным хищником, чем встретиться с компанией здоровых и нормальных уличных мальчишек.

Однако я был несправедлив к этим мирным юным эноитянам. Когда Папироска отправился наводить справки, я выбрался на берег, чтобы, покуривая трубку, приглядывать за байдарками, и тотчас стал объектом самого дружеского любопытства. К детям теперь присоединились молодая женщина и кроткого вида юноша без одной руки, так что я почувствовал себя почти в безопасности. Когда я рискнул произнести свое первое французское слово, одна девчушка кивнула со смешной взрослой умудренностью.

— Вот видите,— заявила она.— Он все хорошо понимает, он просто притворялся.

И все весело засмеялись.

Сообщение о том, что мы приехали из Англии, произвело на них большое впечатление, и та же девочка не преминула объяснить, что Англия — это остров «очень далеко отсюда — bien loin d'ici».

— Это ты правду сказала: очень-очень далеко отсюда,— заметил однорукий паренек.

Никогда еще меня не охватывала такая тоска по родине: расстояние до места, где я впервые увидел свет дня, вдруг показалось мне неизмеримым.

Байдарки им очень понравились. И я подметил в этих детях деликатность, про которую стоит рассказать. Последнюю сотню ярдов нашего пути они оглушительно требовали дать им покататься; и на следующее утро, когда мы готовились отчалить, они опять оглушили нас той же песенкой; однако в эту минуту, когда обе байдарки стояли возле берега пустые, не раздалось ни одной такой просьбы. Деликатность ли? А может быть, они просто боялись пуститься в плавание в такой чудной лодке? Я ненавижу цинизм даже больше, чем дьявола,— впрочем, может быть, это одно и то же? И все же цинизм — неплохое тонизирующее средство, холодный душ и грубое полотенце для сантиментов, совершенно необходимые для чрезмерно чувствительных натур.

От байдарок они перешли к моему костюму. Они не могли насмотреться на красный шарф, служивший мне поясом, а нож исполнил их благоговейного ужаса.

— Вот такие ножи делают в Англии,— сказал однорукий юноша, и я обрадовался, что он не знает, как плохо теперь делают их в Англии.— Они для тех, кто уходит в море,— добавил он.— Чтобы защищаться от больших рыб.

Я чувствовал, что с каждым его словом становлюсь в их глазах все более романтической фигурой. Да, собственно, я и был романтической фигурой. Даже моя трубка, самая обыкновенная французская трубка, казалась им редкостной диковинкой, ибо прибыла сюда издалека. И пусть мои перышки были сами по себе не слишком пышны, зато они были заморскими. Правда, одна деталь моего туалета рассмешила их так, что они забыли про вежливость,— мои парусиновые туфли, давно уже утратившие свой первоначальный цвет. Вероятно, ребятишки не сомневались, что причиной была их местная грязь. Все та же девочка (душа нашего общества) показала для сравнения свои сабо — жаль, что вы не видели, как грациозно и весело она это проделала.

Неподалеку на траве стоял молочный бидон молодой женщины — огромная медная амфора. Я воспользовался возможностью отвлечь всеобщее внимание от моей персоны, а также отплатить похвалой за похвалы. И вот я с большим жаром стал восхищаться формой бидона и его цветом, с полной искренностью уверяя их, что он кажется совсем золотым. Это их ничуть не удивило. По-видимому, такие бидоны были местной гордостью. И дети принялись расписывать, как дороги эти амфоры,—некоторые стоят даже тридцать франков штука! Они сообщили мне, что бидоны возят на осликах по одному с каждой стороны седла — какая богатая попона могла бы с ними потягаться?— и что они есть тут повсюду, а на больших фермах их очень много и совсем огромных.

ПОН-СЮР-САМБР

МЫ — КОРОБЕЙНИКИ

Папироска вернулся с хорошими вестями: в десяти минутах ходьбы отсюда, в местечке, называющемся Пон, есть гостиница. Мы спрятали байдарки в хлебном амбаре и попробовали найти проводника среди ребятишек. Кружок вокруг нас сразу распался, а когда мы предложили

вознаграждение, ответом было обескураживающее молчание. Дети, несомненно, считали нас парой разбойников. Почему бы и не поболтать с нами в людном месте, да к тому же опираясь на значительное численное превосходство? Но совсем другое дело — отправиться в одиночку с двумя головорезами, которые в этот тихий вечер точно с неба упали в их мирную деревушку с ножами за кушаком, овеянные ароматом дальних странствий. К нам на помощь пришел владелец амбара; выбрав какого-то мальчугана, он пригрозил ему телесным наказанием, иначе, боюсь, нам пришлось бы самим отыскивать дорогу. Но, по-видимому, мальчуган страшился хорошо известного ему хозяина амбара больше, чем таинственных незнакомцев. Однако, я думаю, его сердчишко билось отчаянно, во всяком случае, он старался держаться впереди на безопасном расстоянии и пугливо на нас оглядывался. Наверное, вот так на заре мира дети указывали дорогу Зевсу или кому-нибудь еще из олимпийцев, спустившихся на землю в поисках романтического приключения.

Мы шагали по грязному проселку, и Карт с его церковью и трещоткой-мельницей остался позади. С полей брели домой батраки. Нас обогнала бойкая маленькая женщина. Она боком сидела на ослике между двух сверкающих бидонов, то и дело изящно подгоняла ослика каблуками и визгливо окликала прохожих. Но никто из усталых мужчин не трудился ей отвечать. Наш проводник вскоре свернул с дороги и зашагал по тропинке через поле. Солнце уже зашло, но весь западный горизонт перед нами был еще сплошным золотым озером. Через несколько минут тропка нырнула в узкий проход, похожий на бесконечную решетчатую беседку. По обеим сторонам тянулись темные фруктовые сады, среди листвы прятались низенькие домики, и дым из труб тянулся к небесам; порой в просветах мелькал огромный золотой щит запада.

Мне еще не приходилось видеть Папироску в столь идиллическом настроении. Восхваляя сельский пейзаж, он положительно впал в поэтический слог. Да и сам я был опьянен не меньше. Теплый вечерний воздух, сумеречные тени, пылающее небо и тишина гармонично аккомпанировали нашей прогулке, и мы оба решили впредь избегать городов и искать ночлега только в деревушках.

Наконец тропинка скользнула между двумя домами и вывела путников на широкую грязную проезжую дорогу,

по обеим сторонам которой, насколько хватал глаз, тянулось малопривлекательное селение. Дома отстояли от дороги довольно далеко, и на узких пустырях перед ними виднелись поленницы, тележки, тачки, мусорные кучи и чахлая травка. Слева посреди улицы торчала тощая башня. Чем она была в прошлые века, я не знаю,— возможно, надежным убежищем в дни войны,— но теперь наверху виднелся циферблат со стертыми цифрами, а внизу железный почтовый ящик.

Гостиница, которую нам рекомендовали в Карте, была переполнена, а может быть, хозяйке не понравился наш вид. Следует упомянуть, что наши длинные мокрые прорезиненные мешки делали наше обличье не слишком цивилизованным. По мнению Папироски, мы смахивали на мусорщиков.

— Господа, наверное, коробейники? (Ces messieurs sontdes marchands?) — осведомилась хозяйка гостиницы и, не дожидаясь ответа, который ей, вероятно, представлялся очевидным, рекомендовала нам отправиться к мяснику — он живет возле башни и пускает к себе ночевать запоздалых путников.

Мы направили свои стопы туда. Но мясник был уклончив, а все его кровати были заняты. Или, может быть, ему не понравился наш вид. На прощание он спросил нас:

— Господа, наверное, коробейники?

Смеркалось уже всерьез. Мы больше не различали лиц прохожих, невнятно желавших нам доброго вечера. Домовладельцы же Пона, по-видимому, очень берегли керосин: во всем этом длинном селении ни в одном окне не засветился огонек. По-моему, нигде в мире не найти другого такого длинного селения, но, возможно, от усталости и разочарования каждый шаг казался нам тремя. В глубоком унынии мы добрались до последнего трактира и, заглянув в темную дверь, робко осведомились, нельзя ли нам здесь переночевать. Женский не слишком приветливый голос ответил утвердительно. Мы сбросили мешки и ощупью отыскали стулья.

Комната была погружена в непроницаемую тьму, в которой красным светом светились щели и конфорки топящейся плиты. Но вскоре хозяйка зажгла лампу, чтобы рассмотреть своих новых гостей. Вероятно, причиной того, что она пустила нас в дом, был мрак, во всяком случае, наша внешность как будто не слишком ей понравилась. Мы

находились в обширной комнате, почти лишенной мебели и украшенной двумя аллегорическими литографиями «Музыка» и «Живопись», а также текстом закона, запрещающего пьянство в публичных местах. Сбоку находилась небольшая стойка с полудюжиной бутылок на ней. Два батрака, устало сгорбившись, ждали ужина; у стола хлопотала некрасивая девушка с сонным ребенком лет двух на руках.

Хозяйка переставила кастрюли на плите и положила на сковороду бифштексы.

— Господа, наверное, коробейники? — спросила она резко.

И на этом все разговоры окончились. Мне начало казаться, что мы, пожалуй, и в самом деле коробейники. Мне в жизни не приходилось встречать людей со столь бедной фантазией, как содержатели гостиниц в Пон-сюр-Самбр. Однако манеры и прочие внешние признаки, как и банкноты, не имеют международного хождения. Достаточно пересечь границу, и ваши полированные манеры не стоят уже ни гроша. Эти эноитяне не видели никакой разницы между нами и средним коробейником. Более того, пока жарились бифштексы, мы получили некоторую пищу для размышлений, наблюдая, как безмятежно они считают нас тем, чем сочли с самого начала, и как вся наша изысканная учтивость, все наши любезные усилия поддержать разговор прекрасно гармонируют с навязанной нам ролью бродячих торговцев. Во всяком случае, это большой комплимент французским коробейникам: даже перед такими судьями мы не могли побить их нашим же собственным оружием.

Наконец нас пригласили к столу. Батраки (у одного из них лицо было изможденным и бледным, словно от постоянного переутомления и недоедания) поужинали тарелкой хлебной похлебки, двумя-тремя картофелинами в мундире, чашечкой кофе, подслащенного патокой, и кружкой скверного пива. Хозяйка, ее сын и упомянутая выше девушка ели то же самое. По сравнению наш ужин мог показаться лукулловым пиром. Нам подали бифштексы — правда, жестковатые, — картофель, сыр, лишнюю кружку пива и кофе с настоящим сахаром.

Видите, что значит быть джентльменом... виноват, коробейником! Прежде я не догадывался, что коробейник может быть важной персоной в харчевне, где столуются батраки, но теперь, оказавшись на один вечер в роли коробейника, я убедился, что дело обстоит именно так. В своем

смиренном пристанище он пользуется примерно таким же почетом, как человек, снимающий в столичном отеле номер с гостиной. Если вглядеться повнимательнее, обнаруживаешь, что классовые различия среди людей неисчислимы, и, возможно, по милости судьбы вообще никто не стоит на нижней ступени лестницы и всякому дано ощущать свое превосходство над кем-то другим, так что ничья гордость не страдает.

Наш ужин не доставил нам большого удовольствия, особенно Папироске. Я же пытался убедить себя, что это просто забавное приключение — и жесткий бифштекс и все прочее. Если верить изречению Лукреция, наш бифштекс должен был стать вкуснее оттого, что рядом ели пустую похлебку. Однако на практике это выглядит совсем иначе. Одно дело знать теоретически, что другим живется хуже, чем тебе, но вовсе не так уж приятно — я сказал бы даже, что это противоречит этикету вселенной,— сидеть с ними за одним столом и пировать, пока они довольствуются черствыми корками. Я не видел ничего подобного с того далекого дня, когда в школе один обжора расправлялся в одиночку с тортом, присланным ему ко дню рождения. Это было, насколько я помню, гнусное зрелище, и мне в голову не приходило, что я сам когда-нибудь окажусь на месте такого обжоры. Но вот вам еще один пример того, что значит быть коробейником.

Несомненно, беднейшие слои населения в нашей стране отличаются большей добротой и жалостливостью, чем те, кто богаче их. И думается мне, причина тут в том, что рабочий или коробейник не может отгородиться от своих менее преуспевающих ближних. Если он позволяет себе лишнюю кружку пива, ему приходится делать это на глазах десятка людей, которым такая роскошь не по карману. Это ли не заронит ему в душу сочувствия? Вот так бедняк, бредя по жизни, видит ее такой, какова она на самом деле, и знает, что каждый проглоченный им кусок отнят у голодных.

Однако на определенной ступени благосостояния, как при подъеме на воздушном шаре, счастливец минует зону облаков, и с этой минуты он уже не видит, что происходит в подлунном мире. Теперь он созерцает лишь небесные тела, которые содержатся в идеальном порядке и выглядят положительно как новые. Он обнаруживает, что провидение трогательно о нем заботится, и невольно уподоб-

ляет себя лилиям и жаворонкам. Разумеется, петь он все-таки не поет, но с каким скромным видом восседает он в своем открытом ландо! А вот если бы весь мир обедал за одним столом, подобной философии не поздоровилось бы.

ПОН-СЮР-САМБР

СТРАНСТВУЮЩИЙ ТОРГОВЕЦ

Подобно лакеям в мольеровском фарсе, чью великосветскую жизнь нарушило появление настоящего аристократа, нам суждено было встретиться с настоящим коробейником. А чтобы урок падшим джентльменам вроде нас был еще назидательнее, он оказался коробейником бесконечно более внушительным, чем темные бродяги, какими явно считали нас,— он был точно лев среди мышей, точно броненосец, надвигающийся на две игрушечные лодки. И название коробейника к нему никак не шло: он был странствующим торговцем.

Если не ошибаюсь, была половина девятого, когда этот почтенный коммерсант, мсье Эктор Жильяр из Мобежа, в двуколке, запряженной осликом, подъехал к дверям харчевни и весело окликнул ее обитателей. Это был худой, подвижный болтун, смахивавший немного на актера и немного на жокея. Он, видимо, преуспел в жизни без помощи образования — во всяком случае, он с суровой простотой придерживался в существительных исключительно мужского рода, а за ужином соорудил несколько образчиков будущего времени самого пышного архитектурного стиля. С ним была его жена, миловидная молодая женщина в желтом платочке, и сын, четырехлетний малыш в блузе и военном кепи. Бросалось в глаза, что ребенок одет значительно лучше родителей. Нам сообщили, что он уже учится в пансионе, но так как начались каникулы, он проводит их с родителями в поездке. Чудесные каникулы, не правда ли? Весь день катить среди зеленых полей рядом с отцом и матерью в двуколке, нагруженной бесчисленными сокровищами, и встречать в глазах деревенских ребятишек зависть и восхищение. Да, во время каникул куда веселее быть отпрыском странствующего торговца, чем сыном и наследником самого богатого владельца бумагопрядильных фабрик в мире. Даже быть владетельным князем... впрочем, если

мсье Жильяр-младший не был владетельным князем, значит, мне вообще не доводилось видеть этих высоких особ.

Пока мсье Эктор и сын хозяйки выпрягали ослика и прятали в сохранное место все ценности, сама хозяйка подогрела оставшиеся бифштексы и поджарила ломтиками вареный картофель, а мадам Жильяр разбудила малыша, который устал от долгой езды и, ошеломленный светом, дулся и хныкал. Однако едва он совсем проснулся, как начал готовиться к ужину, для чего принялся уписывать сухарь, незрелые груши и холодный картофель, но это, насколько я мог судить, только раздразнило его аппетит.

Хозяйка, движимая материнской гордостью, разбудила свою дочку, и детей познакомили. Жильяр-младший посмотрел на нее, как щенок смотрит на свое отражение в зеркале, прежде чем равнодушно отвернуться. В это мгновение он был всецело занят сухарем. Его маменьку, по-видимому, очень огорчила такая его холодность к прекрасному полу, и она выразила свое негодование с большой откровенностью и вполне уместной ссылкой на его возраст.

Да, конечно, настанет время, когда он будет больше думать о девушках и гораздо меньше — о своей матери; пожелаем же, чтобы ей это действительно было так приятно, как она воображает сейчас. Не странно ли, что те самые женщины, которые изъявляют глубочайшее презрение ко всему мужскому полу, считают самые безобразные его качества милыми и благородными, когда подмечают их у своих сыновей?

Девчушка глядела на него дольше и с бо́льшим интересом,— возможно, потому, что находилась у себя дома, тогда как он, искушенный путешественник, привык к самым странным зрелищам. А кроме того, у нее не было сухаря.

Во время ужина говорили только о его высочестве. И отец и мать обожали свое дитя до нелепости. Мсье утверждал, что мальчик умен необыкновенно — он, например, знает имена всех своих соучеников. Когда же проверка на опыте кончилась полным провалом, отец начал восхвалять его редкостную осторожность и требовательность: если его о чем-нибудь спросить, он подумает, подумает, и если не знает ответа, то, «честное слово, он вам этого не скажет» (ma foi, il ne vous le dira pas) — бесспорно, редкая осторожность. Время от времени мсье Эктор, прожевывая мясо, осведомлялся у жены, в каком именно возрасте их малыш сказал такие-то достопамятные слова или совершил

такой-то достопамятный поступок; однако я заметил, что мадам чаще всего оставляла эти вопросы без ответа. Она, со своей стороны, не была склонна к хвастовству; зато она без конца ласкала сына, и, по-видимому, ей доставляли истинное наслаждение все счастливые обстоятельства его коротенькой жизни. Ни один школьник не мог бы с таким наслаждением говорить о начинающихся каникулах, забывая о мрачной поре школьных занятий, которая неизбежно последует за ними. Мать с гордостью — может быть, несколько меркантильной — показала его кармашки, чудовищно вздувавшиеся от волчков, свистулек и веревочек. Оказалось, что он сопровождает ее в дома, куда она заходит предлагать товары, и получает су с каждой состоявшейся сделки. Короче говоря, эти добрые люди совсем избаловали и испортили мальчишку. Однако они старались привить ему хорошие манеры и бранили, когда за ужином он не всегда вел себя подобающим образом.

В общем, я не слишком обиделся оттого, что меня приняли за коробейника. Если мне и казалось, что я ем изящнее, а мои ошибки во французском языке носят совсем иной характер, то, несомненно, ни хозяйка, ни батраки не замечали никакой разницы. В этой кухне мы и Жильяры выглядели одинаково во всех наиболее существенных отношениях. Разумеется, мсье Эктор чувствовал себя более непринужденно и держался несколько надменно, но и этому было объяснение: он приехал в двуколке, а мы, бедняги, путешествовали пешком. Вероятно, обитатели харчевни не сомневались, что мы изнываем от зависти — похвальной зависти — при виде столь преуспевающего товарища по профессии.

И в одном я убежден: с появлением этих простодушных людей все как-то оттаяли, стали мягче и разговорчивее. Я, может быть, и не доверил бы мсье Эктору очень крупную сумму, но тем не менее я нисколько не сомневаюсь, что он хороший человек. В нашем пестром мире, заметив в человеке ту или иную добродетель — а особенно встретив семью, живущую в столь добром согласии,— удовлетворитесь этим, а остальное примите как само собой разумеющееся или (еще лучше) дерзко решите, что до остального вам нет дела и что десять тысяч дурных черт не сделают хуже черту прекрасную, даже если она одна-единственная.

Час был уже поздний. Мсье Эктор засветил фонарь и вышел к своей двуколке, молодой же джентльмен со-

влек с себя большую часть своих одежд и стал заниматься гимнастикой на коленях матери, а затем и на полу под аккомпанемент веселого смеха.

— Ты будешь спать один? — спросила служанка.

— Не бойся, не буду,— ответил Жильяр-младший.

— Но ты ведь спишь один в школе,— возразила мать.— Будь же мужчиной!

Однако он объявил, что школа — это одно, а каникулы — совсем другое; и в школе спальни общие; затем он прекратил спор поцелуями, что вполне удовлетворило его улыбающуюся мать.

Бояться же, как он выразился, что он будет спать один, действительно не приходилось: на всех троих им предложили только одну кровать. Мы же не согласились вдвоем воспользоваться ложем, предназначенным для одного человека, и получили каморку с двумя кроватями на чердаке,— кроме кроватей, там помещались еще три колышка для шляп и стол. Даже стакана с водой там не нашлось. Но окно, к счастью, открывалось.

До того, как я уснул, чердак заполнили звуки могучего храпа: Жильяры, батраки и обитатели гостиницы, вероятно, все принимали дружное участие в этом концерте. За окном молодой месяц лил яркий свет на Пон-сюр-Самбр и на скромную харчевню, где почивали мы, коробейники.

ПО КАНАЛУ САМБРЫ

К ЛАНДРЕСИ

Утром, когда мы спустились на кухню, хозяйка указала на два ведра с водой у входной двери.

— Voilà de l'eau pour vous débarboiller [1],— сказала она.

И мы стали по очереди умываться, пока мадам Жильяр на крылечке чистила сапоги мужа и сына, а мсье Эктор, весело посвистывая, раскладывал товары для дневной кампании по полкам большого короба на ремне, который составлял часть его багажа. Тем временем их сын развлекался на полу шутихами «Ватерлоо».

Да, кстати, а как называются шутихи «Ватерлоо» во Франции? Шутихи «Аустерлиц»? Точка зрения — великое

[1] Вот вам вода, чтобы умыться *(франц.)*

дело. Помните, как путешественник-француз, приехавший в Лондон из Саутгемптона, должен был сойти на вокзале Ватерлоо и ехать через мост Ватерлоо? Кажется, он тут же решил вернуться домой.

Пон расположен на самом берегу реки, но если из Карта по суше до него можно дойти за десять минут, то по воде приходится проделывать шесть утомительных километров. Мы оставили мешки в гостинице и налегке отправились к нашим байдаркам через мокрые сады. Несколько знакомых детей явилось проводить нас, но мы уже не были таинственными незнакомцами, как накануне. Отъезд куда менее романтичен, чем необъяснимое прибытие в золотом сиянии заката. Внезапное появление призрака способно нас поразить, но наблюдать, как он исчезает, мы будем уже сравнительно равнодушно.

Добрые обитатели харчевни в Поне, когда мы явились туда за мешками, были потрясены. При виде двух изящных сверкающих лодочек (мы только что протерли их губкой), на каждой из которой трепетал «Юнион Джек», их осенила догадка, что они принимали под своим кровом ангелов, но не узнали их. Хозяйка стояла на мосту и, возможно, сетовала в душе, что взяла за ночлег так мало; ее сын метался по улице, созывая соседей полюбоваться, и мы уплыли, провожаемые целой толпой восхищенных зрителей. «Господа коробейники», как бы не так! Слишком поздно вы поняли, какие это были важные особы!

Весь день накрапывал дождь, перемежаясь внезапными ливнями. Мы промокали до костей, потом немного обсыхали на солнце, потом снова промокали. Однако выпадали и блаженные промежутки, в частности, когда мы огибали опушку леса Мормаль,— название было неприятным для слуха, но зато сам лес ласкал зрение и обоняние. Деревья торжественным строем стояли на берегу, купая нижние ветви в воде, а верхние сплетая в высокую стену листвы. Что такое лес, как не город, воздвигнутый самой природой, полный жизнелюбивых и безобидных созданий, где ничто не мертво и ничто не сотворено человеческими руками, а сами обитатели — и дома этого города и его памятники? Ничто не может сравниться с лесом полнотой жизни и в то же время величием покоя, а двое людей, скользящих мимо на байдарке, ощущают себя по сравнению с ним ничтожными и шумно-суетливыми.

И бесспорно, из всех ароматов мира аромат леса самый

чудесный и бодрящий. Море обладает грубым, оглушающим запахом, который ударяет в ноздри, как нюхательный табак, и таит в себе величественные образы водных просторов и стройных кораблей; однако запах леса мало уступает морскому в тонизирующих свойствах и намного превосходит его душистостью. Кроме того, запах моря однообразен, а благоухание леса бесконечно богато оттенками, и с каждым часом меняется не только его сила, но и качество; к тому же разные деревья, как обнаруживаешь, бродя по лесу, окружены своей особой атмосферой. Обычно над всем господствует аромат еловой смолы. Однако некоторые леса более кокетливы в своих привычках, и дыхание Мормаля, доносившееся до наших байдарок в этот дождливый день, было напоено тончайшим благоуханием шиповника.

Как жаль, что наш путь не пролегал только по лесам! Деревья — такое благородное общество. Старый дуб, росший на этом самом месте еще в дни Реформации, более высокий, чем многие церковные шпили, более величественный, чем горный отрог, и в то же время живой, обреченный болезням и смерти, как мы с вами,— это ли не наглядный урок истории? Но бесконечные акры таких патриархов, сплетающих корни, колышущих на ветру зеленые вершины, пока у их колен тянется ввысь могучая молодая поросль, целый лес, здоровый и прекрасный, дарящий цвет солнечным лучам и благоухание воздуху, — разве это не самый торжественный спектакль в репертуаре природы? Гейне хотел бы, подобно Мерлину, покоиться под дубами Брослъянда. А мне мало одного дерева: вот если бы весь лес был единым деревом, как смоковница, то я просил бы похоронить меня под его главным корнем; тогда частички того, что было мной, распространялись бы от дуба к дубу, а мое сознание разлилось бы по всему лесу, сотворив общее сердце для этого собрания зеленых шпилей, чтобы и они могли радоваться своей прелести и величию. Мне кажется, я чувствую, как тысячи белок резвятся в моем гигантском мавзолее, а птицы и ветер весело носятся над его волнующимся лиственным сводом.

Увы! Лес Мормаль — всего лишь роща, и мы скоро оставили его позади. А дальше, до конца дня, дождь продолжал налетать полосами, а ветер — порывами, и от этой капризной сердитой погоды сердцем овладевала глухая тоска. Странно! Всякий раз, когда нам приходилось пе-

реносить байдарки через шлюз и мы не могли укрыть наши ноги, обязательно разражался ливень. Обязательно. Именно такие происшествия вызывают личную неприязнь к природе. Ведь с тем же успехом ливень мог бы разразиться на пять минут раньше или на пять минут позже, и невольно проникаешься убеждением, что это делается только тебе назло. У Папироски был макинтош, и он мог более или менее игнорировать эти козни. Но мне приходилось терпеть сполна. Я вспомнил, что природа — женщина. Мой товарищ, пребывавший в менее мрачном расположении духа, с большим удовольствием выслушивал мои иеремиады и иронически мне поддакивал. Он незамедлительно приплел к делу приливы, «которые,— заявил он,— были созданы исключительно для того, чтобы досаждать байдарочникам, а заодно в потакание пустому тщеславию луны».

У последнего шлюза перед Ландреси я отказался продолжать путь и под проливным дождем расположился у берега, дабы выкурить живительную трубочку. Бодрый старикашка — не иначе, как сам дьявол, по-моему,— подошел к воде и стал расспрашивать меня о нашем путешествии. По простоте душевной я раскрыл ему все наши планы. Он сказал, что в жизни не слышал ничего глупее. Да разве мне не известно, осведомился он, что по всему нашему маршруту тянутся одни сплошные шлюзы, шлюзы, шлюзы, не говоря уж о том, что в это время года Уаза совершенно пересыхает.

— Садитесь-ка в поезд, юноша,— посоветовал он.— И поезжайте домой к папе и маме.

Я был так поражен злоехидством старика, что не мог произнести ни слова. Вот дерево никогда не наговорило бы мне ничего подобного! Наконец я обрел дар речи. Мы плывем от самого Антверпена, сообщил я, а это не так уж мало, и проделаем и весь остальной путь назло ему. И не будь у меня никакой другой причины, я все равно теперь это сделаю, потому что он посмел сказать, будто у нас ничего не получится! Почтенный старец бросил на меня презрительный взгляд, охаял мою байдарку и удалился, покачивая головой.

Я все еще кипел бешенством, когда явилась пара юнцов и, приняв меня за слугу Папироски,— наверное, потому, что я был только в свитере, а он еще и в макинтоше,— принялась задавать мне вопросы про мои обязанности и про характер моего хозяина. Я сказал, что человек

он вообще-то неплохой, но вздумалось ему отправиться в это дурацкое путешествие!

— О нет-нет! — сказал один из них.— Не говорите так, оно вовсе не дурацкое; это очень мужественный план и делает ему честь.

Я твердо верю, что это были два ангела, ниспосланные ободрить меня. До чего приятно было повторять зловещие предсказания старца, словно они исходили от меня в моей роли недовольного слуги, и слушать, как эти восхитительные молодые люди небрежно отмахиваются от них, точно от безобидных мух.

Когда я пересказал этот разговор Папироске, он сухо заметил:

— У них, должно быть, странное представление об английских слугах! У этого шлюза ты вел себя со мной по-свински.

Я был сконфужен, но, с другой стороны, я же не виноват, что меня вывели из себя.

В ЛАНДРЕСИ

В Ландреси дождь продолжал идти, а ветер — дуть, но мы нашли номер с двумя кроватями, хорошо меблированный, с настоящими кувшинами для воды и настоящей водой в них, и еще обед, настоящий обед, не обиженный и настоящим вином. Пробыв одну ночь коробейником, а весь следующий день — жертвой стихий, я теперь чувствовал, как все эти блага согревают мое сердце, подобно солнечным лучам. Обедал в гостинице и английский скупщик фруктов, разъезжавший по этим краям с бельгийским скупщиком фруктов, а вечером в кафе мы наблюдали за тем, как наш компатриот спустил порядочную сумму, играя в «пробку»,— не знаю, почему, но это было нам приятно.

Мы познакомились с Ландреси ближе, чем рассчитывали, так как погода на следующий день словно с цепи сорвалась. Однако это местечко не слишком приспособлено для отдыха во время путешествия, ибо оно состоит почти исключительно из всяческих укреплений. Внутри этих укреплений несколько кварталов жилых домов, длинные казармы и церковь по мере сил выдают себя за город. В здешней коммерции, по-видимому, царит глубокий застой,

и лавочник, у которого я купил огниво за шесть пенсов, так расчувствовался, что в придачу набил мне все карманы запасными кремешками. Единственными общественными зданиями, представлявшими для нас интерес, были гостиница и кафе. Однако мы посетили и церковь. Там покоится маршал Кларк. Но так как мы никогда даже не слышали об этом доблестном воине, то выслушали это известие с неколебимым мужеством.

Во всех гарнизонных городах смена караулов, побудка и прочее вносит в штатскую жизнь романтическую ноту. Горны, барабаны и флейты прекрасны по самой своей природе, а когда они приводят на мысль марширующие армии и живописные опасности войны, то пробуждают в сердце горделивое чувство. Однако в призрачных городках вроде Ландреси, где все остальное застыло в оцепенении, эти атрибуты войны производят особый эффект. Собственно, только они и остаются в памяти. Именно здесь стоит послушать, как проходит во мраке ночной дозор под ритмичный топот марширующих ног и грохот барабана. И ты вспоминаешь, что даже этот городишко представляет собой один из стратегических пунктов великой военной системы Европы и когда-нибудь в будущем он среди пушечного грома и порохового дыма может на века прославить свое имя.

И уж во всяком случае, барабан благодаря своему воинственному звучанию, психологическому воздействию и даже благодаря неуклюжей и смешной форме занимает особое место среди шумовых инструментов. А если правда то, что я слышал, и барабаны действительно обтягиваются ослиной кожей — о, какая прихотливая ирония тут заключена! Казалось бы, шкура этого многострадального животного и при его жизни получает достаточно ударов — то от лионских уличных торговцев, то от надменных иудейских пророков; но нет! После смерти бедняги ее сдирают с его измученного крупа, натягивают на барабан и бьют по ней из ночи в ночь, пока дозоры проходят по улицам всех гарнизонных городов Европы. И на высотах Альмы и Спихерена, как повсюду, где смерть вздымает свой багряный стяг и выбивает собственную могучую дробь при помощи пушек, непременно есть и барабанщик, который с бледным лицом бежит вперед, переступая через тела павших товарищей, и бьет и терзает этот лоскут кожи с чресел миролюбивого и кроткого осла.

Обычно человек, осыпающий ударами ослиную шкуру, только напрасно тратит время. Мы знаем, что при жизни осла это не приносит ни малейшей пользы и упрямая скотина не убыстряет шага, несмотря на все побои. Однако, когда, грустно пережив самое себя, мумифицированная кожа гремит в такт движениям кистей барабанщика и звонкая дробь проникает в самое сердце человека и вливает в него то безумие, ту безотчетность порывов, которую мы со свойственной нам напыщенностью зовем героизмом,— разве тут нельзя усмотреть возмездия гонителям осла? Прежде, мог бы он сказать, ты бил меня палкой и на горах и в долах, и мне приходилось терпеть, но теперь, когда я мертв, эти глухие удары, почти не слышные на проселочных дорогах, превратились в призывную музыку перед строем бригады, и за каждый рубец, оставленный тобой на моих боках, зашатается и упадет твой товарищ.

Вскоре после того, как барабаны проследовали мимо кафе, Папироску и Аретузу начало сильно клонить ко сну, и они направили свои стопы в гостиницу, расположенную от кафе через один дом. Однако, хотя мы были несколько равнодушны к Ландреси, Ландреси не осталось равнодушно к нам. Весь день, как мы узнали, люди в промежутках между ливнями бегали смотреть на наши байдарки. Сотни человек — так было нам сказано, хотя такие числа не вязались с этим городком,— сотни человек посетили угольный сарай, где они хранились. В Ландреси мы стали героями дня, хотя накануне в Поне были всего лишь коробейниками.

И вот теперь, когда мы вышли из кафе, у дверей гостиницы нас нагнал сам Juge de Paix — насколько я понял, чиновник примерно того же ранга, как помощник шерифа в Шотландии. Он вручил нам свою визитную карточку и тут же пригласил отужинать у него — с большим изяществом и любезностью, как это умеют французы. Ради чести Ландреси, объяснил он нам, и хотя мы знали, что принимать нас — не такая уж великая честь для городка, ответить грубым отказом на столь учтивое приглашение было, разумеется, невозможно.

Дом судьи находился неподалеку. Это было комфортабельное обиталище холостяка, где стены украшала забавная коллекция медных грелок, которыми в старину обогревали кровати. Некоторые из них были покрыты за-

мысловатым чеканным узором. Идея такой коллекции показалась нам оригинальной. Глядя на эти грелки, человек невольно начинал думать о том, сколько ночных колпаков из поколения в поколение склонялось над ними, какие шутки и поцелуи они слышали и как часто ими напрасно согревали ложе смерти. Если бы они могли говорить, о каких только нелепых, непристойных или трагических сценах не поведали бы они!

Вино было превосходным. Когда мы похвалили его судье, он сказал:

— Я предложил вам не самое худшее, что у меня есть.

Когда только англичане научатся подобной радушной изысканности в мелочах! А это искусство стоит постигнуть — оно украшает жизнь и придает блеск обыденности.

За ужином присутствовали еще два ландресийца. Один был сборщиком уж не помню чего, а другой, как нам сообщили,— главным нотариусом городка. Таким образом, оказалось, что мы все пятеро в той или иной мере причастны юриспруденции. При подобной пропорции разговор не мог не стать профессиональным. Папироска весьма эрудированно повествовал про законы о бедных. А вскоре я почему-то начал толковать шотландский закон о внебрачных детях, о котором, должен с гордостью сказать, я не имею ни малейшего представления. Сборщик и нотариус, оба люди женатые, обвинили холостяка судью в том, что эту тему подсказал он. Судья отверг обвинение с тем смущенным и самодовольным видом, который я в подобных случаях замечал у всех мужчин, будь то французы или англичане. Странно, как любому из нас в минуты откровенности нравится, что его считают завзятым сердцеедом!

Вино меня пленяло чем дальше, тем больше; коньяк оказался еще лучше, а компания была очень приятной. За все время нашего путешествия волны общественного благоволения ни разу не поднимались так высоко ни до, ни после. В конце концов мы находились в доме судьи, что было как бы полуофициальным признанием наших заслуг. А потому, памятуя, что Франция — великая страна, мы воздали должное оказанному нам гостеприимству. Ландреси давно спало, когда мы вернулись в гостиницу, и часовые на укреплениях уже ожидали рассвета.

БАРЖИ НА КАНАЛЕ

На другой день мы отправились в путь поздно и под дождем. Судья любезно проводил нас под зонтиком до конца шлюза. К этому времени мы прониклись истинным смирением во всем, что касалось погоды,— смирением, которое человек обретает лишь изредка, если только он не бродит по шотландским горам. Клочок голубого неба, проблеск солнечного сияния преисполняли наши сердца восторгом, а если дождь не лил как из ведра, мы уже считали такой день почти безоблачным.

Вдоль канала стояли длинные вереницы барж; почти все они выглядели очень чистенькими и прифранченными в своих куртках из архангельского дегтя с белой и зеленой отделкой. Некоторые щеголяли железными перилами, выкрашенными яркой краской, и настоящими партерами из цветов в горшках. На палубах играли дети, не обращая на дождь ни малейшего внимания, словно они родились на берегу Лох-Каррона; мужчины с борта удили рыбу, некоторые под зонтиками; женщины занимались стиркой; и на любой барже была своя дворняжка, исполнявшая роль сторожевого пса. Каждая такая собачонка, яростно лая на байдарки, бежала рядом по борту до самого носа, откуда сообщала о них своей товарке на следующей барже. За день плавания мы видели не менее сотни таких ковчегов, тянущихся друг за другом, как дома на улицах,— и со всех них без исключения нас приветствовал собачий лай. Мы как будто побывали в зверинце, заметил Папироска.

Эти маленькие городки по берегам канала наводят на неожиданные размышления. Из-за цветочных горшков и печных труб, из-за стирки и стряпни они казались неотъемлемой принадлежностью пейзажа; однако стоит шлюзу ниже по течению открыться, и все эти суденышки поставят парус или запрягут лошадей и одно за другим поплывут в самые разные уголки Франции — импровизированная деревня дом за домом разбредется на север, на запад, на юг, на восток. Дети, игравшие сегодня вместе на канале Самбра — Уаза, не покидая родительского порога, где и когда встретятся они вновь?

В течение некоторого времени мы говорили только о баржах и рисовали себе картину нашей старости на кана-

лах Европы. Мы смаковали неторопливое продвижение к месту назначения, когда мы то уносились бы по быстрой реке, влекомые пыхтящим буксиром, то день за днем простаивали бы у какого-нибудь никому не известного шлюза, дожидаясь лошадей. С берега и с лодок видели бы, как мы, осененные величием преклонных лет, с седыми бородами по колено, тихонько трудимся на палубе. А мы не выпускали бы из рук ведерка с краской, и ни на одном канале не нашлось бы баржи, чья белая краска была бы белее, а зеленая — изумруднее нашей. Наши каюты хранили бы книги, банки с табаком и бутылки со старым бургундским, красным, как ноябрьский закат, и ароматным, как фиалка в апреле. Был бы у нас и флажолет, из которого Папироска искусными пальцами извлекал бы при свете звезд чарующие мелодии, а может быть, отложив флажолет в сторону, он запевал бы голосом, чуть менее звучным, чем в былые годы, и слегка дрожащим — или назовем это природным тремоло,— торжественный и прекрасный псалом.

Подобные тихоструйные мечты зажгли в моей груди желание оказаться на борту одного из этих идеальных приютов безмятежного досуга. Выбор у меня был огромен, и я одну за другой оглядывал баржи, мимо которых проплывал под лай сторожевых псов, принимавших меня за бродягу. Наконец я заметил симпатичного старика — он и его жена посматривали на меня с явным интересом, а посему я поздоровался с ними и причалил к их борту. Разговор я начал с их песика, смахивавшего по виду на пойнтера, затем похвалил цветы мадам, после чего сказал несколько лестных слов об их образе жизни.

Если бы вы попробовали устроить что-либо подобное в Англии, вас немедленно одернули бы, доказав, что хуже такой жизни не придумаешь, и уколов вас намеком на ваше собственное благополучие. А вот во Франции каждый прямо и без всяких колебаний признает свою удачливость, и это мне очень нравится. Они там знают, с какой стороны намазан маслом их хлеб, и с радостью показывают это посторонним — что может быть лучше такого символа веры? И они не хнычут над своей бедностью — какое мужество может быть более истинным? Мне довелось услышать, как моя соотечественница, занимающая куда более видное положение и располагающая немалыми деньгами, назвала своего ребенка, отвратительно причи-

тая, «сыном нищего». Я бы и герцогу Вестминстерскому не сказал ничего подобного. Но во французах живет дух гордой независимости. Может быть, причина заключается в республиканских институтах, как они их называют. Вернее же, дело в том, что настоящих бедняков не так уж много, и любителей хныкать расхолаживает слишком малое число единомышленников.

Хозяева баржи пришли в восторг, услышав, что я восхищаюсь их жизнью. Они сообщили мне, что прекрасно понимают, почему мсье им завидует. Однако мсье, без сомнения, богат, а в таком случае он может сделать свою баржу настоящей виллой — joli comme un château. После чего они пригласили меня посетить их собственную плавучую виллу. Они извинились за убожество каюты: у них нет денег, чтобы перестроить ее как следует.

— Печь нужно бы установить вот тут, в этом углу,— объяснил муж.— Тогда посередине можно было бы поставить письменный стол с книгами и (всеобъемлющий жест) прочим. Каюта приобрела бы просто кокетливый вид — ça serait tout-á-fait coquet.

И он посмотрел по сторонам, словно все здесь уже было перестроено. Конечно, он не впервые созерцал в своем воображении эту прекрасную каюту, и если ему удастся подзаработать малую толику, ее середину, несомненно, украсит письменный стол.

У мадам в клетке жили три птички. Самые обыкновенные, объяснила она. Хорошие певуны стоят больших денег. Они думали купить канарейку, когда были прошлой зимой в Руане (В Руане?— подумал я.— Неужели этот дом с собаками, птичками и печными трубами — действительно такой бывалый путешественник и столь же привычная деталь пейзажа среди скал и фруктовых садов Сены, как и на зеленых равнинах Самбры?), но канарейки стоят пятнадцать франков штука — подумайте только, целых пятнадцать франков!

— Pour un tout petit oiseau — за крохотную пичужку! — добавил муж.

Я продолжал выражать свое восхищение, и эти добрые люди вскоре не только перестали извиняться, но и принялись с такой гордостью хвалить свою жизнь, словно были императором и императрицей Обеих Индий. Слушать их было очень приятно, и я пришел в превосходное расположение духа. Если бы только люди знали,

как ободрительно действует хвастовство — при условии, что человеку есть, чем хвастать,— они, я убежден, перестали бы стесняться хвастовства и всяческих преувеличений.

Затем старички стали расспрашивать меня про наше путешествие. Как увлечены они были! Казалось, еще немного — и они, распростившись с баржей, последуют нашему примеру. Однако хотя эти canaletti [1] и кочевники, но полуодомашненные. Эта одомашненность проявилась в очень симпатичной форме. Внезапно чело мадам омрачилось.

— Cependant [2],— начала она, запнулась, а потом спросила, холост ли я.

— Да.

— А ваш друг, который поплыл дальше?

— Он тоже не женат.

Ну, в таком случае все обстояло прекрасно. Ей не нравится, когда жен бросают дома в одиночестве. Но раз у нас нет жен, то мы не могли бы придумать ничего лучше.

— Посмотреть мир вокруг себя,— заметил ее муж,— il n'y a que ça [3], только ради этого и стоит жить. Вот, например, человек, который сидит в своей деревне, как медведь,— продолжал он.— Ну, он ничего не видит. А потом приходит смерть, и все кончается. А он так ничего и не увидел.

Мадам напомнила своему другу об англичанине, который путешествовал по этому каналу на пароходе.

— Наверное, мистер Моунс на «Итене»,— предположил я.

— Да-да,— ответил муж.— Он взял с собой жену, слуг и детей. Сходил на берег у всех шлюзов, спрашивал у сторожей и лодочников, как называются деревни, и все записывал, записывал. О, он писал без конца! Наверное, это было пари.

Наше собственное путешествие нередко приписывали пари, но считать, что человек делает заметки на пари,— это оригинально.

---

[1] Жители каналов *(итал.)*.

[2] Вот только *(франц.)*.

[3] Только это и есть *(франц.)*.

На следующее утро в девять часов обе байдарки были уже погружены в Этрё на деревенскую повозку, и вскоре мы следовали за ними вдоль склона прелестной долины, зеленевшей хмельниками и тополями. Там и сям на склоне виднелись уютные деревушки, и среди них — Тюпиньи, где гирлянды хмеля свешивались с шестов прямо над улицей, а домики были увиты диким виноградом. Наше появление вызвало некоторый интерес: ткачи высовывались из окон, ребятишки вопили от восторга при виде двух «игрушечных барок»— barquettes, а прохожие в блузах, сплошь знакомые нашего возницы, отпускали шуточки по адресу его груза.

Раза два начинался ливень, но тут же переставал, не успев нас даже как следует вымочить. Воздух среди этих зеленых полей и всей этой зелени был живительным и чистым. Погода ничем не напоминала осеннюю. А когда в Ваденкуре мы выгрузили байдарки на небольшой лужайке напротив мельницы и спустили их на воду, из туч выглянуло солнце, и все листья в долине Уазы ослепительно засверкали.

Река вздулась от долгих дождей. От Ваденкура до Ориньи она бежала все быстрее, набирая скорость с каждой милей, и мчалась так, словно уже чувствовала запах моря. Желтая, мутная вода крутилась бешеными воронками возле полузатопленных ив и сердито плескалась о каменистые берега. Река вилась по узкой лесистой долине. Она то ударялась о склон и терлась о меловое подножие холма, показывая нам среди деревьев небольшие поля рапса, то неслась под самыми садовыми оградами, и мы успевали заглянуть в открытую дверь дома или разглядеть священника, расхаживающего в пятнах солнечного света. Потом листва вдруг смыкалась так, словно впереди был тупик, река бежала под стеной ив, над которыми вздымались вязы и тополя, а над водой, как клочок синего неба, мелькал зимородок. И на все это солнце лило свой ясный и всеобъемлющий свет. На поверхности быстрой реки тени лежали так же плотно, как и на неподвижных лугах. Золотые лучи играли среди танцующих тополиных листьев, и наши взоры причащались холмам. А река все бежала и бежала, ни на миг не останавливаясь, чтобы передохнуть, и каждая камышинка у ее берегов трепетала от корня до вершины.

Наверное, есть миф (хотя я его не знаю), объясняющий этот трепет камышей. Мало что в природе так поражает человеческий глаз. Трудно найти более выразительную пантомиму ужаса, и при виде стольких охваченных паникой существ, которые ищут укрытия во всех укромных уголках у воды, глупое создание — человек — начинает ощущать смутную тревогу. Впрочем, может быть, им просто холодно стоять по пояс в воде. А может быть, они никак не свыкнутся с бешеной скоростью вздувшегося потока или с неиссякаемым чудом его вечного движения. На их далеких предках некогда играл Пан, и теперь руками реки он все еще играет на нынешних камышинках в долине Уазы — играет ту же мелодию, и нежную и пронзительную, которая рассказывает нам о красоте и об ужасе мира.

Течение несло байдарку, как опавший лист. Оно подхватывало ее, встряхивало и властно увлекало с собой, точно кентавр, похищающий нимфу. Чтобы удерживать лодочку в повиновении, приходилось усердно и искусно работать веслом. Река так торопилась скорее добраться до моря! Каждая капля мчалась в панике, словно люди в обезумевшей от ужаса толпе. Но какая толпа бывает столь многочисленна и столь единодушна? Все вокруг уносилось назад в ритме танца; зрение мчалось вместе с мчащейся рекой; каждый миг был исполнен такого напряжения, что все наше существо уподоблялось хорошо настроенному струнному инструменту, а кровь, очнувшись от обычной летаргии, неслась галопом по широким улицам и узким проулкам вен и артерий и пробегала через сердце так, словно кровообращение было лишь праздничным развлечением, а не беспрерывным трудом, длящимся изо дня в день многие десятки лет. Пусть камыш предостерегающе гнулся и выразительно дрожал, показывая, что река не только сильна и холодна, но и жестока и что в водоворотах кроется смерть. Но ведь камыш прикован к своему месту, а те, кто вынужден сохранять неподвижность, всегда робки и не уверены ни в чем. Ну, а нам хотелось ликующе кричать. Если эта полная жизни красавица река и вправду была орудием смерти, то коварная старуха просчиталась, думая, что заманила нас в ловушку. Я каждую минуту жил за троих. Я выигрывал десять очков у костлявой с каждым ударом весла, с каждым речным поворотом. Мне редко удавалось получать с жизни подобные дивиденды.

Да, мне кажется, именно с этой точки зрения следует нам рассматривать ту тайную войну, которую каждый из нас ведет со смертью. Если человек знает, что в пути его неминуемо должны ограбить, он будет требовать лучшего вина в каждой гостинице и чувствовать, что, проматывая деньги, он надувает разбойников. А главное, он не просто тратит деньги, но выгодно и надежно их помещает. Вот почему каждый сполна прожитый час, а особенно отданный здоровым занятиям, мы отнимаем у оптовой грабительницы-смерти. Когда она остановит нас, чтобы забрать все наше добро, у нас будет меньше в карманах и больше в желудке. Быстрая река — любимая западня старухи и приносит ей немалый годовой доход, но когда мы сойдемся с ней, чтобы свести наши счеты, я засмеюсь ей в глаза и напомню эти часы, проведенные на верхней Уазе.

К вечеру мы совсем опьянели от солнца и быстрого движения. Мы были больше не в силах сдерживаться и подавлять свой восторг. Байдарки были нам тесны, нам требовался берег, чтобы хорошенько поразмяться. И вот мы растянулись на зеленом лужке, закурили табак, превращающий людей в богов, и объявили, что мир прекрасен. Был последний упоительный час этого дня, и я задерживаюсь на нем, чтобы продлить удовольствие.

Высоко на склоне долины по отрогу холма ходил за плугом пахарь, то скрываясь из виду, то снова появляясь. И при каждом своем появлении он в течение нескольких секунд четко рисовался на фоне неба — точь-в-точь (по заявлению Папироски) как игрушечный Бернс, который только что запахал горную маргаритку. Кроме него, вокруг не было видно ни одной живой души, если, конечно, не считать реки.

На противоположном склоне среди листвы виднелись красные кровли и колокольня. Вдохновенный звонарь вызванивал там призыв к вечерне. В этой мелодии было что-то пленительное: мы никогда еще не слышали, чтобы колокола разговаривали так выразительно и пели так гармонично. Наверное, ткачи и юные девушки шекспировской Иллирии пели «Поспеши ко мне, смерть» в лад именно такому звону. В голосе колоколов слишком часто звучит тревожная нота, грозная и металлическая, и, слушая их, мы испытываем боль, а не радость; но эти колокола, звонившие вдали то громко, то тихо, то с грустным каданс-сом, который врезался в память, как рефрен модной песен-

ки, оставались неизменно мелодичными; они были столь же неотъемлемы от общего духа этого тихого сельского ландшафта, как журчание ручьев и крик грачей неотъемлемы от весны. Я готов был просить благословения у этого звонаря, кроткого старца, так мягко раскачивающего веревку в такт своим размышлениям. Я готов был благословлять священника, церковный совет или еще кого-нибудь, кто заведует во Франции подобными делами, за то, что они позволяют этим милым старинным колоколам проливать безмятежную радость, а не созывают собрания, не устраивают сбора пожертвований, не печатают в местной газетке постоянных призывов, чтобы обзавестись набором с иголочки новых, наглых бирмингемских подделок, которые начнут трезвонить во всю мочь под ударами с иголочки нового звонаря, буйным набатом пугая эхо в долине и наводя на нее ужас.

Наконец колокола смолкли, и с последним отголоском закатилось солнце. Представление окончилось; долиной Уазы завладели безмолвие и сумрак. Мы взяли весла, полные светлой радости, как люди, посмотревшие чудесный спектакль и возвращающиеся теперь к повседневному труду. Река в этом месте была особенно опасна; она бежала необыкновенно быстро и внезапно порождала коварные водовороты. Одна трудность тут же сменялась другой. Иногда нам удавалось проскочить над затопленной плотиной, но чаще вода переливалась по самым кольям, и мы должны были выходить на берег и тащить лодки на себе. Однако больше всего нам мешали последствия недавних бурь. Через каждые двести-триста ярдов реку перегораживало упавшее дерево, и обычно не одно. Порой оно не доставало до противоположного берега, и мы огибали лиственный мыс, слушая, как журчит и пенится вода среди ветвей. Порой же доставало, но берег был так высок, что, пригнувшись, мы благополучно проскакивали под стволом. Иногда нам приходилось влезать на ствол и перетаскивать байдарку через него, а иногда — если течение было особенно сильным — у нас оставался только один выход: причалить к берегу и нести байдарку на себе. Все это придавало плаванию значительное разнообразие и не позволяло нам забыться в мечтах.

Вскоре после того, как мы снова пустились в путь и я намного обогнал Папироску, все еще пьяный от солнца, скорости и колокольного звона, река по обыкновению

сделала львиный прыжок у излучины, и я увидел почти прямо перед собой очередное упавшее дерево. Я мгновенно повернул руль и прицелился пронестись под стволом в том месте, где он выгибался над водой, а ветви образовывали просвет. Когда человек только что поклялся природе в вечной братской любви, он склонен принимать великие решения без должного обдумывания, и это решение, для меня достаточно великое, не было принято под счастливой звездой. Ствол уперся мне в грудь, и пока я пытался съежиться и все-таки проскользнуть под ним, река взяла дело в свои руки и унесла из-под меня лодку. «Аретуза» повернулась поперек течения, накренилась, извергла то, что еще оставалось от меня на ее борту, и, освободившись от груза, нырнула под ствол, выпрямилась и весело помчалась дальше.

Не знаю, скоро ли мне удалось выбраться на дерево, за которое я цеплялся, но, во всяком случае, эта операция длилась дольше, чем мне хотелось бы. Мысли мои приняли мрачный, почти траурный оборот, но я все-таки крепко держал весло. Едва мне удавалось извлечь на поверхность плечи, как река уносила мои пятки, и, судя по весу моих брюк, в их карманах скопилась вся вода Уазы. Пока не испробуешь этого на практике, невозможно даже представить себе, с какой силой река увлекает человека в глубину. Сама смерть схватила меня за ноги, так как это была ее последняя засада и она лично вмешалась в борьбу. Но все-таки я не выпустил весла. В конце концов я ползком вскарабкался на ствол и приник к нему размокшим бездыханным комком, не зная, смеяться ли мне или плакать от такой несправедливости. Какую жалкую фигуру являл я, наверное, в глазах Бернса, все еще пахавшего в высоте! Но в руке у меня было весло. И на моей гробнице, если я ею когда-нибудь обзаведусь, будет высечено: «Он крепко держал свое весло».

Папироска уже промчался мимо, ибо — как мог бы заметить и я, не пылай я тогда такой любовью ко всей природе,— вершина дерева далеко не доставала до противоположного берега. Он предложил мне помощь, которую я отклонил, так как уже утвердил на стволе локти, и послал его в погоню за беглянкой «Аретузой». Течение было слишком быстрым, чтобы можно было выгрести против него даже в одной байдарке, не говоря уж о том, чтобы вести за собой на буксире вторую. Поэтому я перебрался

по стволу на берег и отправился дальше пешком. Я так продрог, что сердце мое преисполнилось злобы. Теперь мне стало понятно, почему отчаянно дрожат камыши. Впрочем, я мог бы преподать урок дрожания любой камышинке. Когда я приблизился к Папироске, он шутливо сообщил мне, что решил, будто я «занимаюсь гимнастикой», и только потом сообразил, что меня бьет озноб. Я хорошенько растерся полотенцем и переоделся в сухой костюм, извлеченный из прорезиненного мешка. Но до конца плавания я так и не пришел в себя. Меня не оставляло мерзкое ощущение, что сухая одежда на мне — моя последняя. Борьба с рекой меня утомила, и, может быть, я, сам того не зная, несколько пал духом. Здесь, в этой зеленой долине, где властвовала быстрая река, природа внезапно обратила против меня свою хищную сторону. Колокола колоколами, но я услышал и зловещую мелодию Пана. Неужели злая река все-таки утащит меня за ноги на дно? И не утратит при этом свою красоту? Благодушие природы в конечном счете оказывалось лишь маской.

Нам предстояло еще долго плыть по извилистой реке, и, когда мы добрались до Ориньи-Сент-Бенуат, сумерки совсем сгустились, а колокола звонили к поздней вечерне.

ОРИНЬИ-СЕНТ-БЕНУАТ

ДНЕВКА

На следующий день было воскресенье, и церковные колокола звонили почти без передышки. Собственно говоря, насколько я помню, мне нигде больше не приходилось замечать, чтобы верующим предлагался столь богатый выбор всевозможных служб. А пока колокола заливались в ярком солнечном свете, весь городок в сопровождении собак отправился на охоту среди рапса и свеклы.

Утром мимо гостиницы проходил разносчик со своей женой, и под тихую жалобную музыку они пели «O France, mes amours» [1]. Люди начали выглядывать из окон и дверей, и, когда наша хозяйка подозвала торговца, собираясь купить листок со словами, оказалось, что он уже все их

[1] «Франция, любовь моя» *(франц.)*.

распродал. Она была далеко не первой, кого очаровала эта песня. Есть что-то чрезвычайно жалобное в той любви, которую французы со времен войны питают к тоскливым патриотическим песням. Как-то на крестинах в деревушке под Фонтенбло я наблюдал за лесником из Эльзаса, когда кто-то запел «Les malheurs de la France»[1]. Он встал из-за стола и отвел в сторону своего сынишку. Остановившись возле меня, он сказал, положив руку на плечо мальчика:

— Слушай, слушай и запоминай, сын мой.

А потом он вдруг вышел в сад, и я слышал в темноте его рыдания.

Позорное поражение их армии и утрата Эльзаса и Лотарингии подвергли тяжкому испытанию терпение этого пылкого народа, и сердца французов все еще горят ненавистью — не столько против Германии, сколько против Второй империи. В какой еще стране патриотическая песенка соберет на улице целую толпу? Но несчастье усиливает любовь, и мы почувствуем себя англичанами не прежде, чем утратим Индию. Независимая Америка до сих пор остается моим тяжким крестом, и Фермер Джордж вызывает во мне сердечное отвращение; свою родину я люблю сильней всего, когда вижу звездно-полосатый флаг и вспоминаю, какой могла бы быть наша империя!

Песенник, который я приобрел у этого торговца, представлял собой весьма пеструю смесь. Игривые непристойности парижских кабаре соседствовали в нем с народными песенками, на мой взгляд, очень поэтичными и достойными веселого мужества беднейших сословий Франции. В этих песенках дровосек прославляет свой топор, а садовник гордится своей лопатой вместо того, чтобы стыдиться ее. Эти трудовые стихи были не слишком хороши, но их неунывающий дух искупал слабости формы и выражения. С другой стороны, военные и патриотические песни все до одной были слезливым дамским рукоделием. Поэт испил до дна горькую чашу унижений, он призывал армию посетить с опущенным оружием гробницу ее былой славы и воспевал не победу, а смерть. В сборнике была песенка под названием «Французы-новобранцы», которую следовало бы поставить во главе списка наиболее расхолаживающих военных гимнов. В подобном настроении вообще не-

[1] «Несчастья Франции» *(франц.)*.

возможно идти в бой. Самый смелый новобранец побледнел бы, раздайся подобная песня рядом с ним в утро сражения, и под ее мотив сдался бы без сопротивления целый полк.

Если Флетчер из Солтауна прав в том, что он говорит о влиянии национальных песен, значит, дела Франции плохи. Однако исцеление заключено в самом бедствии, и храброму, бодрому народу надоедает хныкать над своими горестями. Поль Дерулед написал уже немало мужественных военных стихов. Пожалуй, в них не гремят фанфары, способные зажечь сердце в человеческой груди, им не хватает лирического порыва и они медлительны. Но они исполнены торжественного, благородного стоицизма, который может послужить надежной опорой солдатам, борющимся за правое дело. И чувствуешь, что Деруледу можно верить. Как будет прекрасно, если ему удастся привить частицу этого духа своим соотечественникам, чтобы можно было поверить в их будущее! А пока его стихи — хорошее противоядие против «Французов-новобранцев» и прочих заунывных стишков.

Байдарки мы накануне оставили на хранение человеку, которого будем называть здесь Карнивалем. Я не разобрал его фамилии — и пожалуй, к лучшему для него, так как не могу поведать о нем потомству ничего хорошего. И вот днем мы направились к обиталищу вышеупомянутого субъекта, где обнаружили целую депутацию, внимательно изучающую наши лодки. Один из визитеров, толстяк, неплохо знавший реку, немедленно захотел поделиться с нами своими сведениями. Весьма элегантный молодой господин в черном сюртуке, кое-как владевший английским языком, тут же завел разговор об оксфордских и кембриджских лодочных гонках. Кроме них, имелись еще три красивые девицы в возрасте от пятнадцати до двадцати лет и почтенный старец в блузе, почти беззубый и изъяснявшийся с сильным местным акцентом.

Папироске предстояло совершить какой-то таинственный ритуал над своим такелажем в каретном сарае, и, таким образом, мне пришлось проводить весь парад в одиночку. Волей-неволей я оказался в положении героя. Девицы ахали и вздрагивали при мысли об опасностях, подстерегавших нас на нашем пути. И галантность не позволила мне разочаровать дам. Небрежный рассказ о моем вчерашнем злоключении произвел чрезвычайный эффект.

Вновь повторилась история Отелло, но уже с тремя Дездемонами и кучкой доброжелательных сенаторов на заднем плане. Никогда байдаркам так не льстили — и не льстили так искусно.

— Она похожа на скрипку! — в экстазе воскликнула одна из девиц.

— Благодарю вас за сравнение, мадмуазель,— ответил я.— И тем более горячо, что с берега мне нередко кричат, будто она похожа на гроб.

— О! Но она, правда, похожа на скрипку! Она совершенна, как скрипка.

— И отлакирована, как скрипка,— добавил кто-то из сенаторов.

— Остается только натянуть струны,— заключил другой сенатор,— и тогда — «там-тати-там!» — Он увлеченно изобразил результат подобной операции.

Не правда ли, до чего милые и изящные комплименты? Не могу понять, каким секретом похвалы владеют эти люди: или их секрет — лишь искреннее желание сделать приятное? С другой стороны, гладкость речи не считается во Франции грехом, тогда как в Англии человек, выражающийся, как книга, тем самым вручает обществу прошение об отставке.

Старичок в блузе прокрался в каретный сарай и не совсем к месту сообщил Папироске, что он отец этих трех девушек и еще четырех: немалое достижение для француза!

— Поздравляю вас,— вежливо ответил Папироска.

И старичок, видимо, добившись своего, столь же тихо удалился.

Мы все очень подружились. Девицы даже предложили поехать с нами дальше! Но шутки шутками, а и они и сенаторы очень хотели узнать час нашего отъезда. Однако в тех случаях, когда вам предстоит забраться в байдарку с неудобной пристани, зрители, даже самые благожелательные, оказываются лишними, и мы сказали, что тронемся в путь не раньше двенадцати, а мысленно решили отбыть еще до десяти.

К вечеру мы снова вышли на улицу, чтобы отправить несколько писем. В воздухе веяла приятная прохлада. Длинное селение казалось совсем безлюдным, и только кучка мальчишек следовала за нами, словно за бродячим

зверинцем; вершины холмов и деревьев теснились в ясном небе, а колокола призывали к еще одной службе.

Внезапно мы заметили, что перед лавкой на широкой обочине стоят три девушки, с которыми мы познакомились днем, и еще одна. Конечно, совсем недавно мы весело с ними болтали. Но каковы правила хорошего тона в Ориньи? Будь это проселочная дорога, мы, разумеется, заговорили бы с ними, но здесь, на глазах у всех местных кумушек, позволительно ли хотя бы поклониться им? Я посоветовался с Папироской.

— Погляди-ка,— ответил он.

Я поглядел. Девушки продолжали стоять там же, где стояли, но теперь к нам были обращены четыре спины, прямые и добродетельные. Капрал Скромность отдал команду, и дисциплинированный взвод сделал поворот кругом, как единый человек. Они сохраняли эту позицию все время, пока мы могли их видеть, однако мы слышали, как они перехихикиваются, а девица, с которой мы не были знакомы, даже засмеялась вслух и поглядела через плечо на врага. Да и действительно ли это была скромность, а не деревенское кокетство?

Когда мы возвращались к гостинице, мы заметили что-то непонятное в обширном золотом поле вечерних небес над меловыми утесами и деревьями на их вершинах. Непонятный предмет парил слишком высоко и был слишком велик и устойчив для змея. Он не блестел и, значит, не мог оказаться звездой. Ведь будь звезда черной, как чернила, и плотной, как грецкий орех, в мощном солнечном сиянии она все равно замерцала бы. Улицы были усыпаны людьми, стоявшими с задранными вверх головами, ватаги ребятишек со всех ног мчались по прямой дороге, которая вела на вершину холма, где уже собрались их более шустрые сверстники. Мы узнали, что видим воздушный шар, вылетевший в половине пятого из Сен-Кантена. Большинство взрослых ориньянцев отнеслось к этому событию с глубочайшим хладнокровием. Но мы были англичанами и вскоре уже взбирались на холм наперегонки с лучшими бегунами. Мы ведь тоже были по-своему путешественниками, и нам очень хотелось посмотреть, как эти путешественники будут высаживаться на землю.

Когда мы поднялись на вершину, все уже кончилось. Золото в небе погасло, а шар исчез. Куда? — задаю я себе вопрос. Унесся ли он на седьмое небо? Или благополучно

опустился где-то там, за голубым неровным горизонтом, куда, ныряя то вверх, то вниз, уходила дорога? Возможно, аэронавты уже грелись у очага какого-нибудь фермера — говорят, в негостеприимных небесных высях царит ледяной холод. Быстро стемнело. Придорожные деревья и разочарованные зрители, возвращающиеся домой через луга, рисовались черными силуэтами на фоне красной полоски догорающего заката. Мы отвернулись от этой неуютной картины и начали спускаться с холма навстречу дынного цвета луне, висевшей высоко над лесистой долиной, а на белых утесах позади нас чуть розовели отблески печей, в которых пережигали известь.

А в Ориньи-Сент-Бенуат над рекой зажигались лампы и приготовлялись салаты.

ОРИНЬИ-СЕНТ-БЕНУАТ

ОБЩЕСТВО ЗА ТАБЛЬДОТОМ

Хотя мы опоздали к обеду, общество за столом встретило нас искристым вином.

— Так уж заведено у нас во Франции,— объявил кто-то.— Те, кто ест с нами, наши друзья.

И все остальные зааплодировали.

Наших сотрапезников было трое, и трудно было бы подыскать для воскресного вечера более странное трио.

Двое из них, приезжие, как и мы, были с севера страны. Один — краснощекий великан с густой черной шевелюрой и бородой — принадлежал к тому типу неукротимых французских охотников, которые, чтобы доказать свою доблесть, не брезгуют никакой добычей — ни полевым жаворонком, ни пескариком. Однако, когда такой широкоплечий здоровяк, чья грива могла бы соперничать с гривой Самсона, по чьим артериям ведрами бежит алая кровь, похваляется столь бесконечно малыми подвигами, создается впечатление разительного несоответствия, словно паровой молот щелкает орешки. Второй — анемичный, грустный блондин, тихий и робкий — чем-то походил на датчанина — «tristes têtes de Danois» [1], как говаривал Гастон Лафенетр.

Упомянув это имя, я не могу не прибавить несколько

[1] Эти печальные датские лица *(франц.)*.

слов о прекраснейшем человеке, ныне покойном. Мы никогда уже не увидим Гастона в его костюме лесника — все звали его Гастоном, но не из фамильярности, а потому что любили,— и не услышим, как он будит эхо Фонтенбло, трубя в свой охотничий рог. Никогда больше его добрая улыбка не усмирит страсти художников всех рас и народов, и при виде нее англичанин уже не почувствует себя во Франции, как дома. Никогда уже овцы, не более чистые сердцем, чем он сам, не будут бессознательно позировать его трудолюбивому карандашу. Он умер слишком рано и как раз тогда, когда бутоны скрытого в нем таланта начали распускаться, обещая что-то достойное его; однако никто из тех, кто знал Гастона, не скажет, что он жил напрасно. Я знал его совсем мало, но я нежно любил его, и то, насколько другие понимали его и ценили, может, на мой взгляд, служить хорошим мерилом для них самих. Его влияние, пока он еще жил среди нас, было поистине благотворным; он смеялся искренне и заразительно, и при взгляде на него сразу становилось легче на душе; какая бы печаль ни томила его, он всегда держался бодро и весело, встречая превратности судьбы так, словно это был весенний дождь. Но теперь его мать сидит в одиночестве на опушке леса Фонтенбло, где он собирал грибы в дни своей бедной и суровой юности.

Многие его картины оказались по ту сторону Ла-Манша, не считая тех, которые были украдены у него, когда подлец янки бросил его в Лондоне с двумя английскими пенсами в кармане и лишь со вдвое большим запасом английских слов. Если у кого-нибудь из тех, кто прочтет эти строки, на стене висит пейзаж с овцами в манере Жака, подписанный этим прекраснейшим человеком, помните, что ваше жилище помог украсить самый добрый и самый мужественный из людей. В Национальной галерее найдутся картины получше, но такого доброго сердца не было ни у одного художника среди многих поколений. Дорога́ в глазах господних смерть святых его, учат нас псалмы. И она не может не быть дорогой, ибо это колоссальный расход — тот удар, который оставляет неутешной мать и превращает в прах, единый с Цезарем и двенадцатью апостолами, миротворца и миролюбца целой общины. Ныне дубам Фонтенбло чего-то не хватает, а когда в Барбизоне подают десерт, все оглядываются на дверь в ожидании того, кого больше нет.

Третьим нашим сотрапезником в Ориньи был не более и не менее, как сам супруг хозяйки гостиницы, — хозяином гостиницы я его по справедливости назвать не могу, так как днем он работал на фабрике, а домой возвращался только ввечеру, словно постоялец. Это был человек худой, как щепка, от постоянного возбуждения, лысоватый, остролицый, с быстрыми блестящими глазами. В субботу, описывая пустяковое приключение во время охоты на уток, он вдребезги разбил тарелку. После каждого своего высказывания он, задрав подбородок, оглядывал стол глазами, в которых вспыхивали зеленые огоньки, и требовательно ждал одобрения. Его супруга то и дело возникала в дверях комнаты и восклицала: «Анри, ты совсем забылся!» или: «Анри, можно ведь говорить не так громко!». Но именно этого бедняга никак не мог. Из-за всякой чепухи глаза его вспыхивали, кулак опускался на стол, а голос превращался в громовый раскат. Я впервые видел столь взрывчатого человека; по-моему, в нем сидел дьявол. У него было два излюбленных выражения: «это логично» (или «нелогично», в зависимости от обстоятельств)—и еще одно, провозглашаемое в начале многих длинных и звучных историй с некоторой бравадой, словно он развертывал знамя: «Я, видите ли, пролетарий». Да, мы это прекрасно видели. Не дай бог, чтобы он оказался на парижских улицах с ружьем в руках! Это будет малоприятная минута для чистой публики.

Я подумал, что две его любимые фразы во многом воплощают то хорошее и то дурное, что присуще его классу, а до некоторой степени — и его стране. Требуется сила для того, чтобы, не стыдясь, сказать, кто ты такой, хотя частые повторения этого в течение одного вечера и отдают дурным тоном. В герцоге мне такая черта, разумеется, не понравилась бы, но в нынешние времена в рабочем она почтенна. С другой стороны, вовсе не требуется силы для того, чтобы полагаться на логику, да еще на свою собственную,— чаще всего она бывает неверна. Стоит начать следовать собственным словам или советам докторов, и одному богу известно, чем это кончится. В собственном сердце человека есть честность, более надежная, чем любой силлогизм; глазам, склонностям и желаниям также известно кое-что, о чем никогда еще не спорили на диспутах. Доводы обильны, как черника, и как кулачные удары, они равнодушно служат любой стороне. Доктрины властвуют или

низвергаются не с помощью обоснования их правоты, и логика их зависит только от искусства, с каким их формулируют. Способный участник диспута доказывает правоту своего дела не с большей убедительностью, чем способный генерал — правоту своего. Однако вся Франция устремилась вслед за двумя-тремя звонкими словами, и потребуется время, прежде чем французы убедятся, что это всего только слова, хотя и очень звонкие; когда же это произойдет, логика, пожалуй, перестанет казаться им столь уж привлекательной.

Разговор начался с обсуждения сегодняшней охоты. Когда все охотники городка охотятся в его окрестностях pro indiviso [1], неизбежно возникает много недоразумений, касающихся вопросов этикета и права первенства.

— Так вот! — восклицал хозяин, взмахивая тарелкой.— Вот свекольное поле. Прекрасно. Вот тут стою я. Я иду вперед, верно? Eh bien! Sapristi! [2].

И рассказ, становясь все громогласнее, завершается раскатом ругательств, хозяин обводит глазами стол, ожидая сочувствия, и все кивают во имя мира и тишины.

Краснощекий северянин, в свою очередь, поведал несколько историй о собственных доблестных деяниях: в частности, как он поставил на место некоего маркиза.

— «Маркиз,— сказал я,— еще один шаг, и я стреляю. Вы совершили гнусность, маркиз!»

После чего маркиз, как выяснилось, поднес руку к шляпе и удалился.

Хозяин выразил шумное одобрение.

— Прекрасный поступок,— сказал он.— Он сделал все, что было в его силах. Он признал себя неправым.

И снова посыпались ругательства. Он не слишком-то любил маркизов, но он был справедлив, этот наш хозяин-пролетарий.

От охоты разговор перешел к сравнению парижской жизни с провинциальной. Пролетарий барабанил кулаком по столу, восхваляя Париж.

— Что такое Париж? Париж — это сливки Франции. Парижан не существует. И я, и вы, и он — мы все парижане. Если человек уезжает в Париж,— восемьдесят шансов из ста, что он преуспеет.

---

[1] Без разделения *(лат.)*.

[2] Ну вот! Черт побери! *(франц.)*.

И он набросал яркую картину того, как ремесленник в каморке не больше собачьей конуры делает вещицы, которые расходятся по всему миру.

— Eh bien, quoi, c'est magnifique, ça! [1] — вскричал он.

Грустный северянин попробовал было похвалить крестьянскую жизнь; он высказал мнение, что Париж вреден и для мужчин и для женщин.

— Централизация...— начал он.

Но хозяин тут же вцепился ему в горло. Все это логично, доказал он ему, логично и великолепно.

— Какое зрелище! Какое пиршество для глаз! — И тарелки запрыгали по столу в такт канонаде ударов.

Желая пролить масло на бушующие воды, я похвалил Францию за свободу мнений. Это был вопиющий промах. Внезапно наступила полная тишина, и все многозначительно закивали. Сразу стало ясно, что эта тема им не по вкусу, но все же они дали мне понять, что печальный северянин — настоящий мученик, потому что осмеливается отстаивать свои взгляды.

— Спросите у него,— советовали они.— Пусть он вам расскажет.

— Да, сударь,— сказал он мне со своей обычной робостью, хотя я его ни о чем не спросил.— Боюсь, что во Франции нет такой свободы мнений, как вам кажется.— Тут он опустил глаза и, видимо, счел вопрос исчерпанным.

Но это только раздразнило наше любопытство. Как, почему и когда этот анемичный коммивояжер стал мучеником? Мы немедленно решили, что причина тут в религии, и стали вспоминать все, что нам было известно об инквизиции, — основным источником наших сведений были, конечно, ужасный рассказ Эдгара По и проповедь в «Тристраме Шенди».

На следующий день нам представился случай удовлетворить нашу любознательность. Мы встали рано утром, чтобы избежать торжественных проводов, но наш герой опередил нас и уже завтракал белым вином и сырым луком — вероятно, для того, чтобы поддержать свою репутацию мученика, решил я. Мы долго с ним разговаривали и, несмотря на его сдержанность, узнали все, что нас интересовало. Но прежде об одном поистине любопытном обстоятельстве: оказалось, что два шотландца и француз

[1] Но ведь это же великолепно! *(франц.)*

могут, беседуя добрых полчаса, говорить о совсем разных вещах и не замечать этого. Только в самом конце мы сообразили, что его ересь носит политический характер, а он понял нашу ошибку. Его воодушевление и слова, которые он употреблял, говоря о своих политических убеждениях, на наш взгляд, вполне могли относиться к религиозным верованиям. И наоборот.

Это очень типично для обеих стран. Политика во Франции — это религия, «чертовски скверная религия», как сказал бы Нанти Юорт; а в наших краях мы приберегаем всю нашу горечь для мелких разногласий по поводу псалтыря или древнееврейского слова, которое ни один из спорящих скорее всего не сумеет перевести правильно. Подобные недоразумения, наверное, случаются очень часто, но так и остаются невыясненными — не только между людьми разной национальности, но и между людьми, принадлежащими к разному полу.

Что же касается мученичества нашего приятеля, то он был коммунистом, а может быть, только коммунаром, что совсем не одно и то же, и много раз терял из-за этого работу. По-моему, он, кроме того, получил отказ от той, на ком хотел жениться, но, может быть, это только иллюзия, которая возникла благодаря его сентиментальной манере выражаться. Но, во всяком случае, это был кроткий и добрый человек, и я надеюсь, что ему с тех пор удалось устроиться на хорошее место и найти себе любящую жену.

ВНИЗ ПО УАЗЕ

В МУА

Карниваль начал с того, что бессовестно нас надул. Заметив, что мы люди покладистые, он спохватился, что взял с нас слишком мало, и, отведя меня в сторонку, поведал мне какую-то нелепую басню с моралью: еще пять франков ее автору. Нелепость этих претензий была очевидна, но я заплатил и тут же, забыв прежний дружеский тон, поставил его на место как зазнавшегося выскочку и продолжал держать его там со всем леденящим британским достоинством. Он вскоре сообразил, что зашел слишком далеко и убил курицу, несущую золотые яйца. Его лицо вытянулось, и, наверное, он возвратил бы мне эти пять

франков, если бы сумел найти благовидный предлог. Он пригласил меня выпить с ним, но я холодно отказался. Он стал трогательно жалобным в своих заверениях, но я шел рядом с ним молча или отвечал коротко, с изысканной учтивостью, а когда мы спустились к пристани, с помощью английского идиома информировал Папироску о положении дел.

Несмотря на ложные слухи, которые мы усердно распускали накануне, у моста собралось не менее пятидесяти человек. Мы были чрезвычайно любезны со всеми, кроме Карниваля. Мы пожелали всего хорошего и пожали руку пожилому господину, который прекрасно знал реку, а также молодому господину, который изъяснялся по-английски, но не сказали ни слова Карнивалю. Бедняга Карниваль, какое унижение! Он купался в славе байдарок, он отдавал распоряжения от нашего имени, он демонстрировал друзьям и лодки и их владельцев, почти как свою собственность, а теперь ему нанесли публичный афронт главные львы его зверинца! Мне еще не доводилось видеть, чтобы человек был так уничтожен. Он держался в сторонке и изредка робко приближался к нам, когда ему казалось, будто мы смягчаемся,— лишь для того, чтобы снова уйти в тень, встретив ледяной взгляд. Будем надеяться, что это послужило ему хорошим уроком.

Я не стал бы упоминать про выходку Карниваля, не будь она столь необычной для Франции. Это был единственный пример нечестности, а вернее, вымогательства, с которым мы столкнулись за все наше путешествие. Мы в Англии очень много говорим о своей честности. Лучше всего быть начеку, сталкиваясь с неумеренными восторгами по поводу заурядной порядочности. Если бы только англичане слышали, как о них отзываются за границей, они, быть может, попробовали бы исправиться и с тех пор чванились бы меньше.

Юные девицы, грации Ориньи, не присутствовали при нашем отъезде, но, когда мы приблизились ко второму мосту, оказалось, что он забит любопытными. Нас встретили приветственными криками, и еще долго юноши и девушки бежали по берегу, продолжая вопить. Течение было быстрым, мы старательно гребли и мчались вперед, как ласточки. Держаться вровень с нами, пробираясь по берегу между деревьев и кустов, было нелегким делом. Но девушки подобрали юбки, словно не сомневаясь в изяществе своих

лодыжек, и отстали, только когда совсем запыхались. Дольше всех упорствовали наши три грации и две их подруги, а когда и они выбились из сил, та, что была впереди, вскочила на пенек и послала нам воздушный поцелуй. Сама Диана (впрочем, это скорее была Венера) не могла бы с большим изяществом послать столь изящный привет.

— Возвращайтесь к нам! — крикнула она, а за ней все остальные, и холмы вокруг Ориньи повторили: «Возвращайтесь!» Но через мгновение река увлекла нас за поворот, и мы остались наедине с зелеными деревьями и быстрой водой.

Вернуться к вам? Стремительное течение жизни, милые барышни, не знает возвращений.

Купец послушен звездам моряков,
Повелевает солнце земледельцем.

И все мы должны ставить свои часы по курантам судьбы. Необоримый поток властно увлекает человека со всеми его фантазиями, точно соломинку, торопясь вперед в пространстве и времени. Он так же извилист, как ваша капризная, прихотливая Уаза, и медлит, и повторяет милые пасторальные сцены, но, если вдуматься, никогда не обращается вспять. Пусть он через час посетит тот же самый луг, но тем временем он проделает немалый путь, примет воды многих ручейков, с его поверхности к солнцу поднимутся испарения, и пусть даже луг будет тем же самым, река Уаза уже успеет стать другой. Вот почему, о грации Ориньи, даже если моя бродячая судьба вновь возвратит меня туда, где вы на речном берегу ожидаете свистка смерти, по улице городка пройду уже не прежний я, а эти почтенные матроны, скажите, неужели это будете вы?

Впрочем, в поведении Уазы и не было ничего загадочного. В своих верховьях она чрезвычайно торопилась поскорее добраться до моря. Она мчалась по извилистому руслу так стремительно и весело, что я вывихнул большой палец, борясь с быстринами, и дальше вынужден был грести одной рукой, а другую держал неподвижно. Иногда Уаза трудолюбиво обслуживала мельницы, а так как речка она все-таки небольшая, то при этом сразу мелела. Нам приходилось спускать ноги за борт и отталкиваться от песчаного дна. А Уаза, напевая, бежала себе вперед между тополей и творила свою зеленую долину. В мире нет ни-

чего лучше прекрасной женщины, прекрасной книги и табака, а на четвертом месте после них я поставлю реку. Я простил Уазе покушение на мою жизнь, тем более, что на треть виноваты в нем были ветры небесные, повалившие дерево, на треть — я сам и только на треть — река, которая к тому же поступила так вовсе не по злобе, а потому, что была всецело поглощена своим делом и думала только о том, как бы скорее достичь моря. А это вовсе не так просто, ибо ей приходится сворачивать с прямого пути неисчислимое количество раз. Географы, по-видимому, так и не смогли сосчитать ее излучин — во всяком случае, ни на одной карте я не обнаружил всех ее бесконечных извивов. Один пример скажет об этом больше, чем все карты, взятые вместе. После того, как мы часа три мчались этим ровным головокружительным галопом мимо деревьев на берегах, мы достигли какой-то деревушки и, спросив, где мы находимся, узнали, что удалились от Ориньи всего на четыре километра (примерно на две с половиной мили). Не будь это вопросом чести, как говорят шотландцы, мы почти с тем же успехом могли бы и вовсе не трогаться с места.

Мы перекусили на лугу внутри параллелограмма из тополей. Всюду вокруг нас плясали и шептались на ветру листья. А река все бежала вперед и словно упрекала нас за промедление. Но мы не обращали внимания на ее воркотню. В отличие от нас река-то знала, куда она торопится, а мы были довольны и тем, что нашли уютный зрительный зал, где можно было выкурить трубочку. В этот час на парижской бирже маклеры надрывали глотки, чтобы заработать два или три процента, но нас это трогало столь же мало, как и неуемный бег потока, возле которого мы приносили гекатомбы минут в жертву богам табака и пищеварения. Торопливость — порождение недоверчивости. Когда человек доверяет своему сердцу и сердцам своих друзей, он может спокойно откладывать на завтра то, что следовало сделать сегодня. Ну, а если он тем временем умрет, значит, он умрет, и вопрос будет исчерпан.

Вечером нам пришлось свернуть в канал, так как в месте его пересечения с рекой был не мост, а сифон. Если бы не взволнованный прохожий на берегу, мы въехали бы прямо в сифон, на чем наши путешествия кончились бы раз и навсегда. На бечевнике мы встретили господина, очень заинтересовавшегося нашим плаванием. И тут мне при-

шлось стать свидетелем любопытного пароксизма лжи, который внезапно овладел Папироской: нож у него был норвежский, и по этой причине он вдруг принялся описывать множество своих приключений в Норвегии, где никогда не бывал. Его била настоящая лихорадка, и в конце концов он сослался на то, что в него вселился дьявол.

Муи — приятное селеньице, которое облепило окруженный рвом замок. Воздух был напоен ароматом конопли с соседних полей. В «Золотом баране» нас приняли прекрасно. Общий зал украшали немецкие снаряды — сувениры осады Ла-Фера, нюренбергские фигурки, золотые рыбки в круглом аквариуме и множество всяких безделушек. Хозяйка — некрасивая, близорукая, добродушная толстуха — обладала кулинарным талантом, приближавшимся к гениальности. И это ей было, по-видимому, известно. После каждой перемены она являлась в зал и, щуря подслеповатые глазки, несколько минут созерцала стол. «C'est bon n'est-ce pas?» [1],— спрашивала она затем и, услышав утвердительный ответ, вновь исчезала на кухне. Такое обычное французское блюдо, как куропатка с капустой, в «Золотом баране» обрело в моих глазах новую цену, и поэтому многие-многие последующие обеды только горько меня разочаровывали. Сладостен был наш отдых в «Золотом баране» в Муи.

НЕДОБРОЙ ПАМЯТИ ЛА-ФЕР

Мы мешкали в Муи добрую часть дня, так как культивируем философичность и из принципа презираем длинные переходы и ранние отъезды. К тому же это местечко необыкновенно располагало к приятной лени. Из замка вышла элегантная компания в щегольских охотничьих костюмах, с ружьями и ягдташами — остаться дома, когда эти изящные искатели удовольствий покинули свои постели ни свет ни заря, само по себе было большим удовольствием. Кто угодно может почувствовать себя аристократом и разыграть герцога среди маркизов или царствующего монарха среди герцогов при условии, что ему удастся превзойти их безмятежностью духа. Невозмутимость порождается абсолютным терпением. Тихие умы не поддаются ни недоумению, ни панике, но и в счастье и в

[1] Вкусно, правда? *(франц.)*

несчастье идут свойственным им ходом, как стенные часы во время грозы.

До Ла-Фера мы добрались очень быстро, но когда устроили байдарки на ночь, уже смеркалось и начал накрапывать дождь. Ла-Фер — укрепленный город на равнине, окруженный двумя поясами фортификаций. Между первым и вторым поясом лежат пустыри и кое-где — огороды. На дороге там и сям торчат надписи, именем военно-инженерного искусства запрещающие сворачивать с нее. Наконец мы достигли вторых ворот и вошли в город. Окна уютно светились, в воздухе плавали дразнящие запахи вкусной еды. Город был переполнен резервистами, вызванными на большие осенние маневры, и они быстро пробегали по улицам, кутаясь в свои внушительные шинели. Вечер, казалось, был специально создан для того, чтобы сидеть дома за ужином и слушать, как дождь стучит по стеклам.

Мы с Папироской всячески предвкушали это блаженство, так как нам говорили, что гостиница в Ла-Фере превосходная. Какой ужин мы съедим! В какие постели уляжемся! А дождь тем временем будет поливать бесприютных путников среди тополей на лугах. У нас просто слюнки текли от этих мыслей. Гостиница носила название какого-то лесного зверя — оленя, лани, косули... точно не помню. Но я никогда не забуду, какой вместительной и чрезвычайно комфортабельной выглядела она снаружи. Арка ворот была ярко освещена — и не особым фонарем, но бесчисленными каминами и свечами в доме. До нашего слуха донесся звон посуды, нашим взорам открылись беспредельные просторы белой скатерти; кухня пылала огнем, как кузница, и благоухала, как съедобный райский сад.

И вот представьте себе, как туда, в святая святых и физиологическое сердце трактира, где все печи дышали жаром и все столы ломились от разнообразнейших припасов, торжественно вступили мы — двое промокших оборванцев с обмякшими прорезиненными мешками в руках. Я, вероятно, не разглядел эту кухню как следует, ибо видел ее сквозь розовый туман, но мне показалось, что она была полна белоснежных поварских колпаков, которые разом оторвались от сковород и кастрюль и удивленно повернулись в нашу сторону. Зато хозяйку заведения можно было узнать сразу и безошибочно: она возглавляла свою армию, побагровевшая, сердитая женщина и к тому же

очень занятая. И к ней-то я обратился с вежливым вопросом — чересчур вежливым, по мнению Папироски,— можно ли нам тут переночевать. Она холодно оглядела нас с головы до ног.

— Поищите ночлег в предместье,— ответила она.— У нас нет свободных комнат для таких, как вы.

Я не сомневался, что стоит нам войти, переодеться и заказать бутылку вина, как все уладится, и поэтому я сказал:

— Ну, если для нас нет постелей, то пообедать мы, во всяком случае, можем.— И вознамерился опустить мешок на пол.

Физиономию хозяйки сотрясло могучее землетрясение. Она грозно подскочила к нам и топнула ногой.

— Вон! Вон отсюда! — закричала она.— Sortez! Sortez! Sortez par la porte!

Не знаю, как это произошло, но в следующую минуту мы уже снова мокли под дождем в темноте и я ругался у ворот, как разочарованный нищий. Где были королевские водники Бельгии? Где был судья и его прекрасные вина? И где были грации Ориньи? Какой черной казалась ночь после жаркой и светлой кухни! Но чернота в наших сердцах была еще непроницаемее! Мне не впервые отказывали в ночлеге. Как часто представлял я себе, что именно я сделаю, если меня вновь постигнет такая неудача. Но представлять легко! А как выполнить подобный план, когда сердце кипит возмущением? Вот попробуйте, попробуйте разок, а потом расскажите мне, что у вас получилось.

Все эти прекраснодушные разговоры о бродягах и нравственности ни к чему не ведут. Шесть часов в полицейском участке (которые довелось провести там мне) или один грубый отказ, полученный в гостинице, заставят вас изменить ваши взгляды на вопрос не хуже множества лекций. До тех пор, пока вы пребываете в горних высях и весь мир угодливо склоняется перед вами, социальное устройство общества представляется вам безупречным. Но попадите-ка разок под колеса, и вы пошлете общество ко всем чертям. Я дам самому высоконравственному человеку две недели подобной жизни, а потом куплю остатки его респектабельности за два пенса.

Сам же я, когда меня вышвырнули из «Оленя», «Лани» или как там назывался этот трактир, с удовольствием поджег бы храм Дианы, окажись он тогда у меня под рукой.

Не существовало преступления достаточно кощунственного, чтобы выразить мое неодобрительное отношение ко всем общественным институтам. Что до Папироски, то мне ни разу в жизни не приходилось видеть, чтобы человек так резко менялся.

— Нас снова приняли за коробейников,— сказал он.— Боже великий, каково же это — быть настоящим коробейником!

Затем он подробно перечислил все недуги, которые должны были поразить тот или иной сустав в теле хозяйки. По сравнению с ним Тимон Афинский показался бы человеколюбцем. А когда он достигал апогея в своих проклятиях, то внезапно обрывал их и принимался слезливо сочувствовать бедным.

— Боже меня упаси,— сказал он (и надеюсь, его молитва была услышана),— когда-нибудь впредь быть резким с коробейником.

Неужто это был невозмутимый Папироска? Да, да, это был он. О перемена, превосходящая всякое вероятие, немыслимая, неправдоподобная!

А тем временем небеса плакали на наши макушки, а окна вокруг светились все ярче по мере того, как сгущалась тьма. Мы уныло бродили по улицам Ла-Фера; мы видели лавки и частные дома, где люди сидели за обильным ужином; мы видели конюшни, где перед извозчичьими клячами стояли полные сена кормушки, а на полу была постелена чистая солома; мы видели множество резервистов, которые, возможно, очень жалели себя в эту сырую ночь и с тоской вспоминали родной дом — но разве у каждого из них не было своего места в казармах Ла-Фера? А у нас — что было у нас?

Других гостиниц в городке как будто не имелось: во всяком случае, следуя указаниям прохожих, мы всякий раз возвращались к месту нашего позорного изгнания. К тому времени, когда мы исходили весь Ла-Фер, трудно было бы найти людей несчастнее нас, и Папироска уже собирался улечься под тополем и поужинать черствой коркой. Но вот на противоположном конце города, у самых ворот, мы увидели ярко освещенный и полный оживления дом. «Под Мальтийским крестом»,— гласила вывеска.— «Заведение Базена, стол и постели». Тут мы и нашли приют.

Зал был переполнен шумными резервистами, которые усердно пили и курили, и мы от души обрадовались, ко-

гда на улице раздались звуки барабанов и горнов, после чего все резервисты, похватав свои кепи, поспешили в казармы.

Базен оказался высоким, начинающим полнеть человеком с ясным, кротким лицом и мягким голосом. Мы пригласили его выпить с нами, но он отказался, сославшись на то, что весь день должен был чокаться с резервистами. Это был совсем другой тип рабочего — содержателя гостиницы, не похожий на громогласного спорщика в Ориньи. Он тоже любил Париж, где в юности работал маляром.

— Сколько там возможностей пополнять свое образование! — сказал он.

И тем, кто читал у Золя описание того, как рабочие-молодожены и их гости посещают Лувр, следовало бы в качестве противоядия послушать Базена. В юности он бредил музеями.

— Там можно видеть маленькие чудеса труда,— сказал он,— которые помогают стать хорошим рабочим. Они разжигают искру.

Мы спросили, как ему живется в Ла-Фере.

— Я женат,— ответил он.— И у меня есть мои милые дети. Но, честно говоря, разве это жизнь? С утра до вечера я чокаюсь с оравой людей, не то чтобы плохих, но таких невежественных!

Вскоре распогодилось, и из-за туч выплыла луна. Мы расположились на крыльце, вполголоса беседуя с Базеном. Из кордегардии напротив то и дело выходил караул, потому что из ночного мрака то и дело с лязгом возникали обозы полевой артиллерии или закутанные в плащи кавалерийские патрули.

Через некоторое время к нам присоединилась мадам Базен. Наверное, она очень устала за день: она прильнула к мужу и положила голову ему на грудь. Он обнял ее и начал тихонько поглаживать по плечу. Мне кажется, Базен не солгал: он действительно был женат. Как мало мужей, о которых можно сказать то же!

Базены и не подозревали, сколько они для нас сделали. В счете упоминались свечи, еда, вино и постели. Но в него не были занесены ни дружеская беседа с хозяевами, ни прекрасное зрелище их взаимной любви. Не была в него включена и еще одна статья. Их учтивость вновь подняла нас в собственном мнении. Мы жаждали заботливого внимания, так как оскорбление все еще жгло нас, и ласковый

прием, который мы нашли у них, словно восстановил нас в наших законных правах.

Как мало и как редко платим мы за оказываемые нам услуги! Хотя мы словно бы и не выпускаем кошелька из рук, лучшее, что мы получаем, остается невознагражденным. Но мне хочется думать, что истинно благодарный дух не только берет, но и дает. Быть может, Базены догадывались, как они мне нравятся? Быть может, и они нашли исцеление от каких-то мелких обид, видя мою признательность?

ВНИЗ ПО УАЗЕ

ЧЕРЕЗ ЗОЛОТУЮ ДОЛИНУ

За Ла-Фером река бежит среди обширных лугов, зеленого и сочного рая скотоводов, который зовется Золотой долиной. Неиссякаемый водный поток, ровным и бешеным галопом выписывая широкие петли, омывает и одевает зеленью каждый луг. Рогатый скот, лошади и низкорослые веселые ослики пасутся там бок о бок и вместе спускаются к воде, чтобы напиться. Они вносят в ландшафт что-то странное и неожиданное, особенно в те минуты, когда, испугавшись чего-нибудь, принимаются носиться взад и вперед, вскидывая неуклюжие тела и морды. Начинает казаться, что ты попал в безграничные пампасы, туда, где бродят стада кочевников. Вдали на обоих берегах вставали холмы, а слева река иногда подбиралась к лесистым отрогам Куси и Сен-Гобена.

В Ла-Фере шли артиллерийские стрельбы, а вскоре к этому грохоту присоединилась и небесная канонада. Две гряды туч сошлись над нашими головами и принялись обмениваться залпами, хотя вся окружность горизонта была чистой и купалась в солнечном свете. Рев пушек и гром совсем перепугали стада в Золотой долине. Мы видели, как животные мотают головами и мечутся в робкой нерешительности; когда же они все-таки принимали решение, ослики следовали за лошадьми, а коровы — за осликами, и над лугами разносился гром их копыт. В этом топоте было что-то воинственное, словно шел в атаку кавалерийский полк. И, таким образом, наш слух услаждала самая мужественная военная музыка.

Наконец, пушки и гром стихли; мокрые луга заблестели на солнце, воздух заблагоухал дыханием ликующих деревьев и трав, а река продолжала неутомимо мчать нас вперед. Перед Шони пошли фабрики, а затем берега стали такими высокими, что скрыли окружающую местность, и мы не видели ничего, кроме крутых глинистых склонов и бесконечных ив. Лишь изредка мы проносились мимо деревушки или парома, да иногда с обрыва удивленный мальчишка следил за тем, как мы огибаем мысок. Наверное, мы продолжали грести в снах этого мальчугана еще много ночей!

Солнце и дождь чередовались с постоянством дня и ночи, и от этого время шло медленнее. Когда припускал ливень, я ощущал, как каждая отдельная капля, пронизывая свитер, впивается в мою теплую кожу, и эти непрерывные уколы приводили меня в исступление. Я решил купить себе в Нуайоне макинтош. Не велика беда — промокнуть, но из-за этих ледяных колючек, разом поражавших все мое тело, я начинал бить веслом по воде, как сумасшедший. Папироску эти мои взрывы весьма забавляли. Они вносили некоторое разнообразие в созерцание глиняных берегов и ивовых зарослей.

И все это время река то кралась вперед, как вор, то, закручивая водовороты, выписывала излучину, ивы кивали, потому что она весь день подмывала их корни, глинистые берега обрушивались в воду: Уаза, столько веков создававшая Золотую долину, казалось, закапризничала и решила разрушить все, что было ею сделано. Чего только не способна натворить река, в простоте сердечной повинуясь закону тяготения!

НУАЙОНСКИЙ СОБОР

Нуайон стоит примерно в миле от реки на небольшой, окруженной лесистыми холмами равнине, целиком заняв пологую возвышенность своими черепичными крышами, над которыми господствует собор с необыкновенно прямой осанкой и двумя чопорными башнями. Пока мы подходили к городку, черепичные крыши, казалось, торопливо карабкались на холм в живописном беспорядке, но как они ни старались, им не удавалось вскарабкаться выше колен собора, вздымавшегося над всеми ними торжественно и

строго. По мере того как улицы приближались к этому гиганту — властительному гению здешних мест — и проскальзывали через рыночную площадь у ратуши, они все более пустели, становились все более чинными. К величественному зданию они повертывались глухими стенами и закрытыми ставнями, а между белыми плитами мостовой росла трава. «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Тем не менее «Северный отель» зажигает свои светские свечи в нескольких шагах от собора, и все утро мы любовались из окна нашего номера великолепным восточным фасадом. Я редко испытывал подобную дружескую симпатию, глядя на восточный фасад церкви. Тут собор, расходясь тремя широкими лестницами и мощно упираясь в землю, напоминает корму старинного галеона. В нишах контрфорсов стоят вазы, точно кормовые фонари. Земля возле горбится пригорком, а над краем крыши виднеются верхушки башен, словно добрый старый корабль лениво покачивается на атлантических валах. Еще миг — и он отойдет от тебя на сотню футов, взбираясь на гребень следующей волны. Еще миг — распахнется окошко, и старинный адмирал в треугольной шляпе высунется из него с подзорной трубой. Старинные адмиралы больше не плавают по морям, старинные галеоны все давно сломаны и живут теперь только на картинках, но этот собор, который был собором, когда они еще и не начинали бороздить моря, по-прежнему гордо высится на берегу Уазы. Собор и река, вероятно, самое древнее, что есть в округе, и, несомненно, оба в своей старости великолепны.

Причетник проводил нас на верх одной из башен, где находилась звонница с пятью колоколами. С этой вышины город казался цветной мостовой из крыш и садов, мы ясно разглядели сглаженные древние валы, а причетник показал нам далеко на равнине в ярком клочке неба между двух облаков башни замка Куси.

Большие церкви мне никогда не приедаются. Они — мой любимейший горный пейзаж. Собор, конечно,— самое вдохновенное создание человечества: нечто на первый взгляд единое и законченное, как статуя, но при подробном рассмотрении столь же живое и захватывающее, как лес вблизи. Высоту шпилей нельзя определять с помощью тригонометрии — они получаются до нелепости низкими. Но какими высокими кажутся они восхищенному взгляду! А ко-

гда видишь такое множество гармоничных пропорций, возникающих одна из другой и сливающихся воедино, то пропорциональность начинает казаться чем-то трансцендентным, переходит в какое-то иное, более важное качество. Я никогда не мог понять, откуда у людей берется смелость проповедовать в соборах. Что бы они ни сказали, это может только ослабить впечатление. За свою жизнь я слышал порядочное количество проповедей, но любая из них далеко уступает в выразительности собору. Он великолепнейший проповедник и проповедует днем и ночью, не только повествуя о человеческом искусстве и дерзании в прошлом, но и пробуждая в вашей душе сходные чувства; а вернее, подобно всем хорошим проповедникам, он дает лишь необходимый толчок, и вы начинаете проповедовать себе — в конце-то концов каждый человек сам себе доктор богословия.

К вечеру, когда я расположился на воздухе у дверей гостиницы, из собора, как властный призыв, донесся нежный рокочущий гром органа. Я очень люблю театр и был не прочь посмотреть два-три акта этого спектакля, но мне так и не удалось понять сущность богослужения, свидетелем которого я оказался. Когда я вошел, четверо, а может быть, пятеро священников и столько же певчих перед высоким алтарем пели «Miserere». Если не считать нескольких старух на скамьях и кучки стариков, стоявших на коленях на каменных плитах пола, собор был пуст. Некоторое время спустя из-за алтаря попарно длинной вереницей вышли молоденькие девушки в черных одеяниях и с белыми вуалями и начали спускаться в центральный неф; каждая держала в руке зажженную свечу, а первые четыре несли на столе статую девы Марии с младенцем. Священники и певчие поднялись с колен и замкнули процессию, распевая «Ave Maria». Таким порядком они обошли весь собор, дважды пройдя мимо колонны, к которой прислонялся я. Загадочный старик священник, показавшийся мне главным, шел, склонив голову на грудь. Губы его бормотали слова молитвы, но когда он бросил на меня темный взгляд, я подумал, что мысли его заняты не молитвами. Двое остальных, чьи голоса звучали куда громче, смахивали на грубых, толстых мясников лет сорока с военной выправкой и наглыми сытыми глазками; пели они со смаком, и «Ave Maria» в их устах приобретала сходство с гарнизонными куплетами. Девицы держались робко и скромно,

но, пока они медленно двигались по проходу, каждая исподтишка посматривала на англичанина, а дюжая монахиня, надзиравшая за ними, испепелила его взглядом. Что до певчих, то они с начала и до конца проказничали, как умеют проказничать только мальчишки, лишая церемонию всякой торжественности.

Дух происходящего был мне во многом понятен. Да и как можно не понять «Miserere»,— по моему мнению, творение убежденного атеиста? Если проникаться отчаянием — благо, то «Miserere» — самая подходящая для этого музыка, а собор — достойное обрамление. В этом я полностью согласен с католиками — кстати, не странно ли, что они называются именно так? Но к чему, во имя всего святого, эти шалуны-певчие? К чему эти священники, которые искоса разглядывают прихожан, притворяясь погруженными в молитву? Эта толстуха монахиня, которая грубо дирижирует своей процессией и больно дергает за локоть провинившихся девиц? К чему это сплевывание, сопение, забытые ключи и прочие тысячи досадных мелочей, нарушающих благоговейное настроение, которое с таким трудом создают песнопения и орган? Преподобные отцы могли бы у любого театра поучиться, чего удается достичь с помощью даже небольшой дозы искусства и как важно для пробуждения высоких чувств хорошенько вымуштровать своих статистов и держать каждую вещь на ее месте.

И еще одно обстоятельство меня расстроило. Сам я мог стерпеть «Miserere», так как последние недели все время был на свежем воздухе и занимался физическими упражнениями, но я от души желал, чтобы этих стариков и старух здесь не было. Ни музыка, ни ее божественность никак не подходили для людей, уже узнавших почти все невзгоды жизни и, вероятно, имевших собственное мнение о ее трагической стороне. Человек преклонных лет обычно носит в душе свое «Miserere», хотя я и замечаю, что такие люди предпочитают «Te Deum». А вообще-то лучшим богослужением для престарелых будут, пожалуй, их собственные воспоминания: сколько друзей умерло, сколько надежд потерпело крушение, сколько ошибок и неудач, но в то же время сколько и счастливых дней и милостей провидения! Во всем этом, без сомнения, найдется достаточно материала для самой вдохновенной проповеди.

В целом же впечатление было очень торжественным

и глубоким. На маленькой иллюстрированной карте нашего путешествия внутрь страны, еще хранимой моей памятью, которая порой развертывает ее в минуты досуга, Нуайонский собор нарисован в колоссальном масштабе и по величине равен целому департаменту. Я и сейчас вижу перед собой лица священников, словно они стоят совсем рядом, и слышу, как под сводами гремит «Ave Maria, ora pro nobis». Эти великолепные воспоминания совсем заслонили остальной Нуайон, и я не хочу ничего больше про него рассказывать. Это — просто скопление бурых кровель, под которыми люди ведут, наверное, весьма респектабельную и тихую жизнь, но когда солнце клонится к закату, на город падает тень собора и звон пяти колоколов проникает во все его уголки, возвещая, что орган уже поет. Если я когда-нибудь решу присоединиться к римско-католической церкви, я поставлю условием, чтобы меня сделали епископом Нуайона на Уазе.

ВНИЗ ПО УАЗЕ

В КОМПЬЕН

Самым терпеливым людям в конце концов надоедает постоянно мокнуть под дождем, если, конечно, дело не происходит в горах Шотландии, где вообще забываешь, что существует ясная погода. Именно это грозило нам в тот день, когда мы покинули Нуайон. Я ничего не помню об этом плавании: только глинистые откосы, ивы и дождь — ничего, кроме непрерывного, безжалостного, колючего дождя, пока мы не остановились перекусить в маленькой гостинице в Пенпре, где канал подходит к реке почти вплотную. Мы совсем вымокли, и хозяйка даже зажгла в камине немного хворосту, чтобы мы могли согреться; так мы и сидели в клубах пара, оплакивая свои невзгоды. Хозяин дома надел ягдташ и отправился на охоту, а хозяйка, расположившись в дальнем уголке, не спускала с нас глаз. Наверное, мы представляли собой интересное зрелище. Мы ворчливо вспоминали наши неудачи в Ла-Фере, мы предвидели, что в будущем нас ждут другие Ла-Феры. Впрочем, дела шли лучше, когда от нашего имени говорил Папироска: у него было намного больше

апломба, чем у меня, и к хозяйкам гостиницы он обращался с такой тупой решимостью, что она заставляла забывать о прорезиненных мешках. Заговорив о Ла-Фере, мы, естественно, перешли на резервистов.

— Маневры,— заметил он,— кажутся мне довольно скверным осенним отдыхом.

— Не более скверным,— возразил я уныло,— чем плавание на байдарке.

— Господа путешествуют для удовольствия? — осведомилась хозяйка с бессознательной иронией.

Это оказалось последней соломинкой. Завеса спала с наших глаз. Еще один дождливый день — и мы грузим байдарки в поезд.

Погода поняла намек. Больше мы ни разу не вымокли. К вечеру небо очистилось от туч. По нему еще плыли величественные облака, но уже поодиночке среди широких голубых просторов, а закат в тончайших розовых и золотых тонах возвестил наступление звездной ночи и целого месяца ясной погоды. И в то же время река вновь начала развертывать перед нами окрестные пейзажи. Обрывы исчезли, а с ними и ивы; вокруг теперь вздымались красивые холмы, и их профили четко рисовались на фоне неба.

Вскоре канал, добравшись до последнего шлюза, начал выпускать в Уазу свои плавучие дома, и нам уже нечего было опасаться одиночества. Мы вновь свиделись со старыми друзьями: рядом с нами весело плыли вниз по течению «Део Грациас» из Конде и «Четыре сына Эймона»; мы обменивались речными шуточками с рулевыми, примостившимися на бревнах, и с погонщиком, охрипшим от понукания лошадей; а дети вновь подбегали к борту и смотрели, как мы проплываем мимо. Все это время мы как будто и не скучали без них, но до чего же мы обрадовались, завидев дымок над их трубами!

Чуть ниже по течению нас ждала еще более примечательная встреча, ибо тут к нам присоединилась Эна, река, проделавшая уже немалый путь и только что расставшаяся с Шампанью. На этом кончилась шаловливая юность Уазы; теперь она стала величественной, полноводной матроной, помнящей о своем достоинстве и многочисленных дамбах. Отныне от нее веяло только покоем. Деревья и города отражались в ней, как в зеркале. Она легко несла байдарки на своей могучей груди, и нам больше уже не приходилось отчаянно напрягаться, выгребая из водово-

рота — день протекал в блаженном безделье, и лишь изредка весло погружалось в воду то с одного, то с другого борта без всякого усилия или хитрых расчетов. Поистине мы вступили в край погоды, безупречной во всех отношениях, и река несла нас к морю со всем уважением, подобающим джентльменам.

Мы увидели Компьен на закате: прекрасный профиль города над рекой. По мосту под барабанную дробь проходил полк. На набережных толпился народ — кто удил, а кто просто смотрел на воду. При виде наших байдарок все начинали указывать на них и переговариваться. Мы причалили к наплавной прачечной, где прачки еще колотили вальками белье.

В КОМПЬЕНЕ

Мы остановились в большом оживленном отеле, где никто не заметил нашего появления.

Резервисты и вообще militarismus (как выражаются немцы) господствовали повсюду. Лагерь конических белых палаток около города казался листком из иллюстрированной библии; на стенах всех кафе красовались портупеи, а на улицах весь день гремела военная музыка. Англичанин в Компьене не мог не воспрянуть духом, ибо солдаты, маршировавшие под барабан, были щупленькими и шли кто во что горазд. Каждый наклонялся под своим особым углом и чеканил шаг по собственному разумению. Куда им было до великолепного полка шотландских великанов-горцев, которые маршируют за своим оркестром, грозные и необоримые, как явление природы! Кто из видевших их может забыть идущего впереди тамбур-мажора, тигровые шкуры барабанщиков, развевающиеся пледы волынщиков, поразительный эластичный ритм шагающего в ногу полка — и дробь барабана, когда смолкают литавры, чтобы визгливые волынки могли продолжить их воинственный рассказ?

Шотландская девочка, учившаяся во французской школе, как-то попробовала описать своим французским товаркам наш полковой парад, и пока она говорила,— рассказывала она мне,— воспоминания становились такими живыми и яркими, ее переполнила такая гордость при мысли, что она соотечественница подобных солдат, а сердце сдавила такая тоска по родине, что голос ее прервался и она раз-

рыдалась. Эта девочка живет в моей памяти, и я убежден, что ей стоило бы воздвигнуть памятник. Назвать ее «барышней» со всеми манерными ассоциациями, заключенными в этом слове, значило бы нанести ей незаслуженное оскорбление. Но в одном она может быть уверена: пусть она никогда не выйдет замуж за героя-генерала, пусть ее жизнь не принесет великих плодов — все равно она жила на благо родной стране.

Но если на параде французские солдаты выглядят не слишком авантажно, зато на марше они веселы, бодры и полны энтузиазма, как охотники на лисиц. Как-то в лесу Фонтенбло на дороге в Шальи между «Ба-Брео» и «Королевой Бланш» я встретил маршевую роту. Впереди шагал запевала и громко пел задорную походную песню. Его товарищи шагали и даже раскачивали винтовки точно в такт. Молодой офицер, ехавший сбоку верхом, с трудом сохранял серьезность, слушая слова песенки. Их походка была неописуемо веселой и бодрой — никакие школьники не могли бы играть с большим увлечением — и, казалось, таких рьяных ходоков ничто не может утомить.

В Компьене меня особенно восхитила ратуша. Я просто влюбился в эту ратушу. Она истинное воплощение такой непрочной на вид готической легкости: бесчисленные башенки, химеры, проемы и всяческие архитектурные причуды. Некоторые ниши позолочены или раскрашены, а на большой квадратной панели в центре расположен черный горельеф на золотом поле: Людовик XII едет на боевом коне, уперев руку в бок и откинув голову. Каждая его черта дышит царственным высокомерием; нога в стремени надменно отделяется от стены; глаз глядит сурово и гордо; даже конь словно с удовольствием шагает над распростертыми сервами, и ноздри его таят дыхание труб. Вот так вечно едет по фасаду ратуши добрый король Людовик XII, отец своего народа.

Над головой короля на высокой центральной башенке виднеется циферблат, а еще выше — три механические фигурки с молотами в руках, на чьей обязанности лежит вызванивать часы, половины и четверти часа для компьенских буржуа. Центральная фигурка щеголяет позолоченной кирасой, боковые облачены в золоченые штаны с буфами, и все трое носят изящные широкополые шляпы, точно кавалеры времен Карла I. Когда приближается четверть часа, они поворачивают головы, многозначительно

переглядываются, и — клинг! — три маленьких молота опускаются на три маленьких колокола, а затем изнутри башенки доносится густой мелодичный звон, отмеряющий час; после чего три позолоченных господинчика благодушно отдыхают от трудов праведных.

Я извлек немало чистой радости из их манипуляций и старался по мере возможности не пропускать ни одного представления, причем оказалось, что Папироска, хоть он и делал вид, будто презирает мои восторги, сам был их преданным поклонником. Есть что-то крайне нелепое в том, как такие игрушки выставляются на крыше дома, где зима может расправляться с ними по своему усмотрению. Им больше пошел бы стеклянный колпак с каких-нибудь нюренбергских часов. А главное, ночью, когда дети давно спят, да и взрослые уже похрапывают под пуховыми одеялами, разве не вопиющая небрежность — оставлять эти пряничные фигурки перемигиваться и перезваниваться под звездами и неторопливо плывущей луной? Пусть себе химеры на водосточных трубах выкручивают обезьяньи головы; пусть даже монарх едет себе на своем жеребце, точно центурион со старинной немецкой гравюры в «Via Dolorosa» [1], но игрушки надо убирать на ночь в ящичек с ватой и вынимать их только после восхода солнца, когда на улицу выбегают дети.

На компьенском почтамте нас ожидала большая пачка писем; и местные почтовые власти в виде исключения были так любезны, что выдали их нам по первому требованию.

В некотором отношении наше путешествие, можно сказать, кончилось в Компьене с получением этих писем. Чары были нарушены. С этой минуты мы уже отчасти вернулись домой.

Никогда не следует вести переписку во время путешествия. Чего стоит одна необходимость писать! Но полученное письмо убивает все каникулярные ощущения наповал.

Я покидаю свою страну и себя. Я хочу на время попасть в новую обстановку, словно погрузиться в иную стихию. На какое-то время я хочу расстаться с моими друзьями и привязанностями; когда я отправляюсь в путь, я оставляю сердце дома в ящике бюро или посылаю его вперед

[1] Скорбный путь *(лат.)*.

с чемоданом в конечный пункт моей поездки. Когда путешествие кончится, я не замедлю прочесть ваши чудесные письма со всем вниманием, которого они заслуживают. Но заметьте, пожалуйста: я истратил все эти деньги и сделал все эти удары веслом с одной-единственной целью — побывать за границей; а вы своими вечными посланиями упорно держите меня дома. Вы дергаете нитку, и я вспоминаю, что я — пленная птица. Вы преследуете меня по всей Европе теми назойливыми мелочами, от которых я и уехал. На войне жизни не бывает отпуска, мне это известно, но неужели невозможно освободиться хотя бы на неделю?

В день отъезда мы встали в шесть часов. Отель совершенно нас не замечал, и я уже думал, что он не снизойдет до того, чтобы представить нам счет. Однако счет был представлен, и с самым подробным перечислением пунктов; мы вежливо уплатили равнодушному портье и вышли из отеля с прорезиненными мешками, так никем и не замеченные. Никому не было любопытно узнать, кто мы такие. Встать раньше деревни невозможно, однако Компьен уже такой большой город, что утром он нежится в постели, и мы покидали его, пока он еще не снял утреннего халата и туфель. Улицами владели люди, моющие крылечки; никто не был одет полностью, кроме господинчиков на ратуше; они же умылись росой, бодро поблескивали позолотой и были полны рассудительности и чувства профессиональной ответственности. Клинг! — отбили они на колоколах полобину седьмого, когда мы проходили мимо. Меня очень тронула эта их прощальная любезность: они ни разу так хорошо не звонили — даже в полдень в воскресенье.

Никто не провожал нас, кроме прачек — раньше всех начинающих и позже всех кончающих работать,— которые уже били вальками белье в своей наплавной прачечной. Они были очень веселы, эти ранние пташки, смело погружали руки в воду, и она словно не обжигала их холодом. Такое раннее и ледяное начало самого унылого труда привело бы меня в полнейшее уныние. Однако я думаю, что они так же не согласились бы обменять свои дни на наши, как на это не согласились бы и мы. Они столпились в дверях, следя за тем, как мы, взмахивая веслами, погружаемся в солнечный утренний туман, и кричали нам вслед добродушные напутствия, пока мы не скрылись под мостом.

В определенном смысле этот туман не рассеялся до конца нашего путешествия, и с этого утра он окутал мою записную книжку густым покровом. Пока Уаза оставалась сельской речкой, она проносила нас под самыми порогами людских жилищ, и мы могли беседовать с туземцами на заливных лугах. Но теперь, когда она стала такой широкой, жизнь на берегах оставалась в отдалении. Разница была примерно такой же, как между большим шоссе и узенькой тропкой, петляющей среди деревенских огородов. Теперь мы останавливались на ночлег в городах, где никто не докучал нам расспросами; мы приплыли в цивилизованные края, где прохожие не здороваются со всеми встречными. В малолюдных селениях мы из каждого знакомства стараемся извлечь все возможное, но в городах держимся особняком и заговариваем с чужими людьми, только если нечаянно наступим им на ногу. В этих водах мы уже не были редкостными птицами, и никому в голову не приходило, что мы проделали длинный путь, а не приплыли из соседнего города. Помнится, когда мы добрались до Лиль-Адана, например, мы оказались среди множества прогулочных лодок, и не было никакой возможности отличить истинного путешественника от любителя, разве что мой парус был очень грязным. Компания в одной из лодок даже приняла меня за какого-то своего приятеля! Что могло быть более оскорбительным для самолюбия? От прежней романтики не осталось и следа. А вот в верховьях Уазы, где обычно плавают только рыбы, от двух байдарок нельзя было отмахнуться столь обескураживающим образом: там мы были загадочными и романтичными пришельцами, люди дивились нам, и это удивление на протяжении всего нашего пути тут же переходило в легкую и мимолетную дружбу. В мире ничто не дается даром, хотя порой это бывает трудно заметить с первого взгляда, ибо счет начат задолго до нашего рождения, а итоги не подводились ни разу с начала времен. Вас развлекают довольно точно в той же пропорции, в какой развлекаете вы сами. Пока мы были загадочными скитальцами, на которых можно глазеть, за которыми можно бежать, как за лекарем-шарлатаном или за бродячим цирком, мы также очень забавлялись, но едва мы превратились в заурядных приезжих, все вокруг тоже утратили какое бы то ни было оча-

рование. Вот, кстати, одна из многих причин, почему мир скучен для скучных людей.

Во время наших первых приключений нам постоянно приходилось что-то делать, и это обостряло нашу восприимчивость. Даже ливни были живительны и пробуждали мозг от оцепенения. Но теперь, когда река уже не бежала в точном смысле этого слова, а несла свои воды к морю с плавностью, маскировавшей скорость, когда небо изо дня в день улыбалось нам неизменной улыбкой, наше сознание начало постепенно погружаться в ту золотую дремоту, которую навевают долгие физические упражнения на свежем воздухе. Я не раз одурманивал себя с помощью такого способа; по правде говоря, мне чрезвычайно нравится это ощущение, но ни разу оно не становилось столь всепоглощающим, как во время нашего плавания в низовьях Уазы. Это был апофеоз бездумности.

Мы совсем перестали читать. Порой, когда мне попадалась свежая газета, я не без удовольствия прочитывал очередную порцию какого-нибудь романа с продолжением, но на три порции подряд у меня не хватало сил, да и второй кусок уже приносил с собой разочарование. Едва сюжет хоть чуть-чуть становился мне ясен, он утрачивал в моих глазах всякую прелесть. Только один изолированный эпизод или, как принято у французских газет, половина эпизода без причин и следствий, словно обрывок сновидения, были способны заинтересовать меня. Чем меньше я был знаком с романом, тем больше он мне нравился: мысль, чреватая многими выводами. По большей же части, как я уже упоминал, мы вообще ничего не читали и весь краткий досуг между ужином и сном просиживали над картами. Я всегда очень любил карты и с величайшим наслаждением путешествую по атласу. Названия на его страницах удивительно заманчивы, контуры берегов и ленточки рек чаруют взгляд, а стоит наткнуться на карте на знакомое название — и история обретает осязаемую форму. Но в эти вечера мы водили пальцами по нашим дорожным картам с глубочайшим равнодушием. То или иное место — нам было все равно. Мы смотрели на развернутый лист так, как младенцы слушают свои погремушки, и, прочитывая названия городов и деревень, тут же их забывали. Это занятие нас ничуть не увлекало, и трудно было бы найти еще двух людей, настолько лишенных воображения. Если бы вы унесли карту в тот момент, когда мы изучали ее особенно

внимательно, то почти наверное мы с не меньшим удовольствием продолжали бы изучать крышку стола.

Но об одном мы думали страстно и постоянно — о еде. По-моему, я сотворил себе кумира из собственного желудка. Я помню, как мысленно смаковал то или иное блюдо так, что даже слюнки текли, и задолго до того, как мы приставали к берегу для ночлега, назойливые требования моего аппетита не давали мне ни минуты покоя. Иногда мы плыли борт о борт и подзуживали друг друга гастрономическими фантазиями. Кекс с хересом — яство весьма скромное, но на Уазе недостижимое — много миль подряд дразнили мой умственный взор, а как-то у Вербери Папироска привел меня в исступление, заметив, что корзиночки с устрицами особенно хороши под сотерн.

Мне кажется, никто из нас не отдает себе отчета, какую великую роль в жизни играют еда и питье. Власть аппетита так велика, что мы способны уничтожить самую неинтересную провизию и бываем рады пообедать хлебом с водой, точно так же, как некоторые люди обязательно должны что-то читать, пусть даже железнодорожный справочник. И все же в этом есть своя романтика. Возможно, что у желудка поклонников наберется гораздо больше, чем у любви, а в том, что пища бывает обычно куда занимательней пейзажа, я ничуть не сомневаюсь. Неужели вы поверите, будто это в какой-то мере лишает вас бессмертия? Стыдиться того, чем мы являемся на самом деле,— вот это и есть грубый материализм. Тот, кто улавливает оттенки вкуса маслины, не менее близок к человеческому идеалу, чем тот, кто обнаруживает красоту в красках заката.

Плыть на байдарке не составляло ни малейшего труда. Погружай весло под правильным углом то справа, то слева, держи нос по течению, стряхивай воду, скопившуюся в фартуке, прищуривай глаза, когда солнце слишком уж ярко заискрится на воде, время от времени проскальзывай под посвистывающим буксирным канатом «Део Грациас» из Конде или «Четырех сыновей Эймона»— тут не нужно особенного искусства; лишенные разума мышцы проделывают все это в полудремоте, а мозг тем временем получает полный отдых и погружается в сон. Основные черты пейзажа мы постигали с одного взгляда и краешком глаза созерцали рыболовов в блузах и прачек, полощущих белье. Порой нас на мгновение пробуждал какой-нибудь церковный шпиль, выпрыгнувшая из воды рыба или плеть реч-

ных водорослей, намотавшаяся на весло так, что ее приходилось с него срывать. Но и эти светлые интервалы были лишь полусветлыми — начинала действовать несколько бóльшая часть нашего существа, но целиком мы ни разу не проснулись. Центральное нервное бюро, которое мы подчас называем своей личностью, наслаждалось безмятежным отдыхом, словно отдел какого-нибудь министерства. Огромные колеса разума лениво поворачивались в голове, точно колеса извозчичьей пролетки, и не перемалывали никакого зерна. Я по полчаса подряд считал удары своего весла и неизменно забывал, какую именно сотню отсчитываю. Льщу себя мыслью, что ни одно животное, которое погибает [1], не способно предъявить более низкой формы сознания. А какое это было удовольствие! Какое веселое, покладистое настроение порождало оно! Человек, достигший этого единственно возможного в жизни апофеоза—Апофеоза Бездумности, становится чист душой и ощущает себя исполненным достоинства и долговечным, как дерево.

Своеобразный момент практической метафизики сопутствовал тому, что я назову глубиной моего рассеяния (поскольку слово «интенсивность» тут не подходит). Волей-неволей я вынужден был размышлять над тем, что философы именуют «я» и «не я», «ego» и «non ego». «Меня» было меньше, а «не меня» больше, чем я привык. Я глядел со стороны на кого-то другого, кто греб; я чувствовал, что к упору прижимаются чьи-то чужие подошвы; мое собственное тело, казалось, было связано со мной не более тесно, чем байдарка, река или речные берега. Более того: что-то внутри моего сознания, часть моего мозга, область моего подлинного существа нарушила вассальную верность и провозгласила себя самостоятельной, а может быть, переметнулась к тому, другому, кто греб. Я же съежился в ничтожный комочек где-то в уголке моего существа. Я оказался изолированным внутри моего собственного черепа. Там появлялись непрошеные мысли, не мои, а явно чьи-то чужие, и я считал их принадлежностью пейзажа. Короче говоря, я, по-видимому, был настолько близок к нирване, насколько это вообще возможно в повседневной жизни; если я не ошибся, то могу лишь от души поздравить буддистов: это весьма приятное состояние, не очень совместимое

---

[1] Библия. Псалом 48, стих 13.

с блистательной умственной деятельностью, не слишком доходное в денежном выражении, но зато абсолютно безмятежное, золотое и ленивое — и находящийся в нем человек неуязвим для тревог. Чтобы понять его суть, попробуйте представить себе, что вы мертвецки пьяны, но в то же время достаточно трезвы, чтобы извлекать радость из этого обстоятельства. Подозреваю, что люди, работающие на свежем воздухе, бóльшую часть своих дней проводят в этом экстатическом ступоре, чем и объясняется их неисчерпаемая терпеливость и выносливость. Зачем тратиться на опиум, когда можно даром обрести куда более блаженный рай!

Это состояние духа было высшим свершением нашего плаванья, взятого в целом, наиболее отдаленной землей, которой нам удалось достичь. Право, она лежит настолько в стороне от проторенных дорог языка, что я отчаиваюсь объяснить читателю всю прелесть улыбчатой, самодовольной идиотичности моего состояния, когда идеи вспыхивали и исчезали, как пылинки в солнечном луче, когда церковные шпили и деревья на берегах внезапно навязывали себя моему вниманию, возникая, как скалы в волнующемся море тумана, когда ритмическое шипение воды под носом лодки и под веслом превращалось в колыбельную песенку, убаюкивавшую мои мысли, когда комочек грязи на фартуке то невыносимо раздражал меня, а то вдруг становился приятным спутником, которого я ласково оберегал,— и все это время река бежала между изменяющимися берегами, а я считал удары весла и забывал, какую сотню отсчитываю, и был самым счастливым животным во всей Франции!

ВНИЗ ПО УАЗЕ

ЦЕРКОВНЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ

За Компьеном первую остановку мы сделали в Пон-Сент-Максенсе. На следующее утро в начале седьмого я вышел прогуляться. В воздухе пахло инеем, и холод пощипывал лицо. На небольшой площади человек двадцать рыночных торговок и покупательниц вели обычные споры, и их тоненькие ворчливые пререкания напоминали ссоры воробьев в зимнее утро. Редкие прохожие дули в кулаки и притопывали деревянными башмаками, чтобы разогреть

кровь. Улицы были погружены в ледяную тень, хотя дымки печных труб над головой уже пронизывал золотой свет. Если в такое время года проснуться спозаранку, то встаешь в декабре, а завтракаешь в июне.

Я направился к церкви: в церкви всегда есть на что посмотреть — на живых прихожан или на надгробия покойников; там находишь смертоносную убежденность и грубейший обман; а где нет ничего исторического, непременно подслушаешь какую-нибудь современную сплетню. Вряд ли в церкви было холоднее, чем снаружи, но казалось, будто там намного холоднее. Белый центральный неф приводил на мысль арктическую стужу, а мишурная пышность континентального алтаря выглядела еще более убогой, чем обычно, из-за окружающей пустоты и унылого сумрака. Двое священников сидели в ризнице и читали в ожидании кающихся, а в церкви молилась древняя старуха. Было просто непонятно, как она умудряется перебирать четки, когда молодые здоровые люди дули на пальцы и хлопали себя по груди, чтобы согреться. Хотя последнее относилось и ко мне, но ее способ молиться навел на меня даже большее уныние, чем холод. Она двигалась от скамьи к скамье, от алтаря к алтарю, обходя церковь по кругу. Перед каждой святыней она проводила одинаковое количество минут и отщелкивала одинаковое количество четок. Подобно предусмотрительному капиталисту, несколько цинически оценивающему экономическую перспективу, она старалась вложить свои моления в возможно большее число разнообразных небесных акций. Она не желала рисковать, положившись на кредит одного какого-либо заступника. В сонме святых и ангелов каждый должен был считать себя ее избранным защитником на великом судилище! Я не мог не заподозрить в этом глупого и явного мошенничества, опирающегося на бессознательное неверие.

Мне редко приходилось видеть столь мертвую старуху — кости и пергамент, странным образом соединенные воедино. Ее глаза, вопросительно обратившиеся на меня, были лишены даже проблеска разума. Ее можно было бы назвать слепой — это зависит от того, что считать зрением. Возможно, она знавала любовь, возможно, она носила под сердцем детей, давала им грудь, шептала им ласковые слова. Но теперь все это давно прошло, не сделав ее ни счастливее, ни мудрее, и по утрам ей остается только приходить сюда, в холодную церковь, и выторговывать себе

кусочек райского блаженства. И я, судорожно сглатывая, поспешил выбраться наружу, чтобы вдохнуть морозный воздух утра. Утра? Как же должна она устать от него к вечеру! А если ей не удается уснуть, что тогда? Какое счастье, что лишь немногие из нас бывают вынуждены публично свидетельствовать о своей жизни перед судейским столом семидесятилетия! Какое счастье, что столько людей, как говорится, в расцвете лет получают благодетельный удар по затылку и отправляются искупать свои безумства в уединении где-то еще, вдали от посторонних глаз! Иначе среди больных детей и недовольных стариков мы утратили бы всякий вкус к жизни.

В этот день, пока мы плыли, мне потребовалась вся моя церебральная гигиена: дряхлая богомолка стояла у меня поперек горла. Однако вскоре я уже забрался на седьмое небо бездумности и знал только одно: кто-то гребет, а я считаю удары его весла и забываю, какую сотню отсчитываю. Иногда я пугался при мысли, что могу вдруг вспомнить искомую сотню, превратив тем самым удовольствие в труд; но страх оказывался эфемерным, сотни исчезали из моей памяти, как по волшебству, и я не имел ни малейшего представления о моем единственном занятии.

В Крее, где мы остановились перекусить, мы опять оставили байдарки в наплавной прачечной, в этот полуденный час битком набитой прачками, краснорукими и громогласными; и из всего Крея я запомнил только их и их вольные шуточки. Если вам очень этого хочется, я могу заглянуть в учебники истории и сообщить вам две-три даты, связанные с Креем, так как этот городок играл немалую роль в английских войнах. Но сам я предпочел бы упомянуть пансион для девиц, который был нам интересен потому, что был пансионом для девиц, и потому, что мы воображали, будто представляем для него немалый интерес. Во всяком случае, девицы гуляли по саду, а мы проплывали по реке, и вслед нам затрепетало несколько платочков. У меня даже сердце забилось сильнее; и все же как бы мы наскучили друг другу, я и эти девицы, если бы нас познакомили на крокетной площадке! Каким презрением прониклись бы мы друг к другу! А вот эта манера мне нравится: послать воздушный поцелуй или помахать платком тем, кого я вряд ли встречу когда-нибудь еще, поиграть с неосуществленной возможностью, натянуть канву, чтобы фантазия вышивала по ней узоры. Это толчок, напоминающий

путешественнику, что он путешественник далеко не всюду и что его путешествие — всего лишь сиеста в неумолимом марше жизни.

Внутри церковь в Крее оказалась ничем не примечательной, на полу грубо пестрели цветные пятна от витражей, а стены опоясывали медальоны, изображавшие Скорбный путь. Впрочем, мне доставило огромное удовольствие одно необычное ex voto: точная модель речной баржи, свисавшая со свода и снабженная письменным выражением надежды на то, что господь приведет «Сен-Никола» из Крея в безопасную гавань. Модель была сделана очень искусно и, несомненно, привела бы в восторг компанию мальчишек где-нибудь на пруду. Насмешил же меня характер грозной погибели, которую должно было предотвратить это ex voto. Вешайте на здоровье изображение морского судна, которому предстоит пропахать борозду вокруг земного шара, посетить тропики или ледяные полюсы и встречать опасности, вполне заслуживающие свечи и мессы. Но «Сен-Никола» из Крея предстояло лет десять плавать по заросшим каналам, влекомому терпеливыми битюгами под шепот тополей на зеленых берегах и посвистывание шкипера у руля, всегда в виду какой-нибудь деревенской колокольни — казалось бы, уж где-где можно было бы обойтись без вмешательства провидения, так именно здесь! Впрочем, как знать, шкипер мог быть человеком юмористической складки или же пророком, который с помощью этого нелепого знака хотел напомнить людям о серьезности жизни.

В Крее, как и в Нуайоне, наибольшей любовью из святых пользуется святой Иосиф — за свою пунктуальность. Ведь в молитве можно оговорить день и час, и благодарные прихожане не забывают отметить их на вотивной табличке в тех случаях, когда святой точно удовлетворил просьбу в указанный срок. Всегда, когда важно время, следует обращаться именно к посредничеству святого Иосифа. Мне было приятно, что у французов он в такой моде, ибо добрый старичок не играет почти никакой роли в религии моей родной страны. Правда, меня несколько тревожила мысль, что раз святого так хвалят за пунктуальность, значит, от него ждут благодарности за посвященную ему табличку.

Нам, протестантам, все это представляется глупостью, а вернее, даже пустяками, не заслуживающими внимания. Но в конце-то концов до тех пор, пока люди испытывают

благодарность за ниспосланные им дары, так ли уж важно, в какую глупую форму она облекается и как именно выражается? Подлинное невежество мы встречаем тогда, когда человек не замечает благих даров или считает, что обязан ими только самому себе. Что ни говори, а нет хвастуна смешнее того, кто сам проложил себе путь в жизни! Существует значительная разница между сотворением света из хаоса и зажиганием газового рожка в лондонской гостинице с помощью коробка безопасных спичек; что бы мы ни делали, а всегда будет нечто, данное нашим рукам со стороны,— хотя бы наши десять пальцев.

Однако церковь в Крее демонстрирует нечто и похуже глупости. В этом повинна «Ассоциация четок живых», о которой я никогда прежде не слышал. Как следует из печатного объявления, эта ассоциация была создана на основании бреве папы Григория XVI, данного 17 января 1832 года; из раскрашенного же барельефа следует, что она была основана без точного указания даты Пресвятой Девой, вручившей четки святому Доминику, и Младенцем Христом, вручившим другие четки святой Екатерине Сиенской. Папа Григорий, конечно, фигура не столь внушительная, но зато более близкая к нам. Я не совсем понял, была ли ассоциация чисто молитвенным обществом, или она занималась еще и благотворительностью, но чрезвычайная ее организованность сомнений не вызывала: для каждой недели данного месяца указывались фамилии четырнадцати матрон и девиц, а возглавлялся список еще одной фамилией, обычно замужней дамы, именуемой «zélatrice» [1],— руководительницы этой группы. Выполнение обязанностей, возлагаемых ассоциацией на ее членов, приносит полное или частичное отпущение грехов. «Частичное отпущение грехов полагается за прочтение молитв с четками». По «произнесении требуемого десятка» частичное отпущение грехов следует немедленно. Когда люди стремятся заслужить царствие небесное с помощью бухгалтерского учета, я не могу преодолеть опасения, что они внесут тот же коммерческий дух и в отношения со своими ближними, а это превратило бы нашу жизнь в прискорбное и корыстное торжище.

Впрочем, один из пунктов был более милосердным. «Все отпущения,— как оказалось,— могут передаваться ду-

[1] Ревнительница *(франц.)*.

шам в чистилище». Во имя божье, о дамы Крея, без промедления передайте их все душам в чистилище! Бернс отказывался от гонорара за свои последние стихи, предпочитая служить родной стране только из любви к ней. Последуйте его примеру, сударыни, и если даже это ненамного облегчит участь душ в чистилище, кое-каким душам в Крее на Уазе это может оказаться полезным и в нашем мире и в ином.

Перенося эти заметки в книгу, я невольно задаюсь вопросом, способен ли человек, с рождения воспитывавшийся в протестантской вере, постичь подобные символы и воздать им должное, и не нахожу иного ответа на этот вопрос, кроме «нет, не способен». Не могут они в глазах правоверных быть такими безобразными и корыстными, какими вижу их я. Это мне ясно, как эвклидова аксиома. Ведь этих верующих нельзя назвать ни слабыми, ни дурными людьми. И они могут повесить табличку, восхваляющую святого Иосифа за его аккуратность, словно он по-прежнему остается деревенским плотником, они могут «произнести требуемый десяток» и, выражаясь фигурально, положить в карман отпущение грехов, словно за выполнение какого-то небесного заказа; а потом они могут спокойно прогуливаться по улице, без смущения глядя вниз, на свою чудесную реку, или вверх на точечки звезд, которые на самом деле тоже огромные миры, где много рек величественнее Уазы. Да, мне это ясно, как эвклидова аксиома,— ясно то, что мой протестантский ум упускает что-то самое существенное и что уродства эти проникнуты духом более высоким и религиозным, чем я могу себе хотя бы представить.

Интересно, а будут ли другие столь же терпимы ко мне? Подобно крейским дамам, я прочел требуемые молитвы терпимости и теперь жду немедленного отпущения моих грехов.

ПРЕСИ И МАРИОНЕТКИ

Мы достигли Преси на закате. Равнина тут изобилует тополиными рощицами. Уаза лежала у подножия холма широким сверкающим полумесяцем. Над водой уже курился легкий туман, смешивая дали воедино. Нигде ни звука, только на лугу позвякивали овечьи колокольцы, да поскрипывала тележка, катя вниз по пологому склону. И окру-

женные садами домики и магазины на улице, казалось, были покинуты своими обитателями еще накануне, так что я старался ступать бесшумно, точно гуляя по безмолвному лесу. И вдруг, повернув за угол, мы увидели на лужайке перед церковью настоящий цветник одетых по последней парижской моде девушек, которые играли в крокет. Их смех и глухие удары молотков по шарам сливались в веселый, бодрящий шум, а вид их тоненьких, затянутых в корсеты фигурок в лентах и бантиках вызвал понятное волнение в наших сердцах. По-видимому, в воздухе уже пахло Парижем. И девушки нашего круга играли здесь в крокет, словно Преси был реальным городком, а не биваком в волшебной стране путешествий. Ведь, говоря откровенно, крестьянку трудно считать женщиной, и, насмотревшись на то, как люди в юбках копают, полют и стряпают, мы не могли не почувствовать приятного удивления при виде этого нежданного отряда вооруженных до зубов кокеток и немедленно убедились в том, что мы всего лишь слабые мужчины.

Гостиница в Преси оказалась самой скверной гостиницей Франции. Даже в Шотландии мне не доводилось пробовать такой скверной еды. Содержали ее брат и сестра, оба моложе двадцати лет. Сестра состряпала для нас, так сказать, ужин, а затем явился не вполне трезвый брат и привел с собой пьяного мясника, чтобы развлекать нас во время трапезы. В салате мы наткнулись на ломтики чуть теплой свинины, а в рагу — на кусочки неизвестного упругого вещества. Мясник развлекал нас рассказами о парижской жизни, которую, по его словам, он знал досконально, а брат тем временем балансировал на краешке бильярдного стола, посасывая окурок сигары. В самый разгар этого веселья рядом с домом вдруг загремел барабан и хриплый голос начал что-то выкрикивать. Оказалось, что хозяин театра марионеток объявляет о вечернем представлении.

Он поставил свой фургон и зажег свечи на другом конце крокетной лужайки, перед церковью, под рыночным навесом, столь обычным для французских городков; и к тому времени, когда мы неторопливо направились туда, он и его жена уже пытались совладать с публикой.

Это было крайне нелепое состязание. Владельцы театра расставили несколько скамей, и те, кто садился на них, должны были платить два-три су за такое удобство. На них не было ни единого свободного местечка — настоящий

аншлаг! — до тех пор, пока ничего не происходило. Но едва появлялась хозяйка, чтобы собрать плату, как при первом же ударе в бубен зрители вскакивали и отходили в сторонку, засунув руки в карманы. Тут потерял бы терпение и ангел! Хозяин гремел с просцениума, что нигде во всей Франции, «даже на границе с Германией», ему не приходилось видеть подобного безобразия! Нет-нет, таких воров, мошенников и негодяев, по его выражению, он не встречал нигде! Хозяйка вновь и вновь пыталась обойти зрителей и вносила свою визгливую лепту в филиппики супруга. Тут я не в первый раз убедился, насколько изобретательнее женский ум, когда надо придумать оскорбление поязвительней. Зрители только весело смеялись над тирадами хозяина, но ядовитые выпады его жены задевали их и заставляли огрызаться. Она знала, куда нанести удар побольнее. Она расправлялась с честью селения, как хотела. Из толпы ей сердито возражали, что только давало ей пищу для еще более жгучих насмешек. Две почтенные старые дамы рядом со мной, сразу же заплатившие за свои места, густо покраснели от негодования и начали довольно громко возмущаться наглостью этих скоморохов; но чуть только хозяйка услышала их, как тотчас на них обрушилась: если бы mesdames убедили своих соседей вести себя честно, то скоморохи сумели бы соблюсти надлежащую вежливость, заверила она их; mesdames, вероятно, уже скушали свой ужин и, быть может, выпили по стаканчику вина; ну, так скоморохи тоже любят ужинать и не позволят, чтобы у них прямо на глазах крали их жалкий заработок. Один раз дело дошло даже до небольшой потасовки между хозяином и кучкой молодых людей, и первый под насмешливый хохот был тут же повергнут наземь, точно одна из его марионеток.

Меня чрезвычайно удивила эта сцена, потому что я довольно хорошо знаком с обычаями и нравами французских бродячих артистов и они всегда производили на меня прекраснейшее впечатление. Любой бродячий артист должен быть дорог сердцу человека правильного образа мыслей хотя бы уж потому, что он живой протест против контор и меркантильного духа, необходимое напоминание, что жизнь вовсе не обязательно должна быть тем, во что мы ее обычно превращаем. Даже немецкий оркестр, когда видишь, как он рано поутру покидает город и начинает обход деревень среди деревьев и лугов, даже немецкий ор-

кестр дает романтическую пищу воображению. Среди тех, кому нет тридцати лет, не отыщется ни одного, чье сердце было бы уже настолько мертво, чтобы не забиться сильнее при виде цыганского табора. Мы еще не до конца прониклись практицизмом. Человечество еще живо, и юность вновь и вновь храбро порицает богатство и отказывается от теплого местечка, чтобы отправиться странствовать с рюкзаком за спиной.

Англичанину особенно легко разговаривать с французскими гимнастами, потому что родина гимнастов — все-таки Англия. Хотя бы один из этих молодцов в трико и блестках, уж конечно, знает несколько английских слов, пивал английский эль, а может быть, и выступал в английском варьете. Он мой земляк благодаря своей профессии. И подобно бельгийским любителям водного спорта, он немедленно приходит к заключению, что и я наверняка атлет.

Впрочем, я не назову гимнаста своим любимцем; в нем почти ничего, а то и просто ничего нет от художника; по большей части душа его мала и бескрыла, так как его профессия в ней не нуждается и не приучает его к высоким идеям. Но если человек хотя бы настолько актер, что может кое-как сыграть фарс, ему открывается доступ к целому кругу совершенно новых мыслей. Ему есть о чем думать, кроме кассы. У него есть своя гордость, и — что гораздо важнее — он стремится к цели, которой никогда не может полностью достичь. Он отправился в паломничество, которое продлится всю его жизнь, так как могло бы завершиться только недостижимым совершенством. Он каждый день старается стать лучше, и даже если у него не хватит духа продолжать, все же он всегда будет помнить, как когда-то его манил этот высокий идеал, как когда-то он был влюблен в звезду. «Лучше любить и утратить». Пусть Луне нечего было сказать Эндимиону, пусть он тихо зажил с Одри и начал откармливать свиней, разве вы не согласны, что до дня смерти его облик будет благороднее, а мысли величественнее? Неотесанные мужланы, которых он встречает в церкви, никогда не мечтали ни о чем более высоком, чем свинарник Одри, но в сердце Эндимиона живет воспоминание, которое подобно пряностям сохраняет его неиспорченным и гордым.

Пребывание даже на самой окраине искусства налагает печать благородства на наружность человека. Помнится, в Шато-Ландон мне как-то довелось обедать в гостинице

за одним столом с довольно многолюдным обществом. В большинстве обедающих можно было без труда узнать коммивояжеров или зажиточных крестьян, и только лицо одного молодого человека в блузе чем-то разительно отличалось от остальных. Оно выглядело более законченным, более одухотворенным, живым и выразительным, и вы замечали, что, когда этот молодой человек смотрит, он видит. Мы с моим спутником тщетно старались угадать, кто он такой и чем занимается. В Шато-Ландон в тот день была ярмарка, и когда мы отправились бродить среди балаганов, мы получили ответ на свой вопрос: наш приятель играл на скрипке пляшущим крестьянам. Он был бродячим скрипачом.

Однажды, когда я жил в одной гостинице в департаменте Сены и Марны, туда явилась бродячая труппа. Она состояла из отца, матери, их двух дочерей — двух толстых, наглых потаскушек, которые пели и лицедействовали, не имея ни малейшего представления о том, как это делается,— и похожего на гувернера молодого брюнета — бездельника-маляра, который пел и играл довольно сносно. Гением этой труппы была матушка — насколько можно говорить о гениальности в применении к шайке таких бездарных шарлатанов; ее супруг не находил слов от восхищения перед ее комическим талантом. «Видели бы вы мою старуху!» — повторял он, кивая опухшей от пива физиономией. Как-то вечером они дали спектакль во дворе конюшни при свете пылающих фонарей — сквернейшее представление, холодно принятое деревенской публикой. На следующий вечер, едва были зажжены фонари, полил дождь, и они, собрав свой жалкий реквизит, поспешили укрыться в приютившем их сарае — холодные, мокрые и голодные. Утром мой очень близкий друг, питавший такую же нежную слабость к бродячим актерам, как и я, собрал для них кое-какие деньги и попросил меня передать им эту сумму, чтобы они могли утешиться после вчерашней неудачи. Я вручил деньги отцу, который сердечно меня поблагодарил, и мы распили на кухне по стаканчику, беседуя о дорогах, публике и тяжелых временах.

Когда я собрался уходить, мой старикан вдруг вскочил и сдернул шляпу с головы.

— Боюсь,— сказал он,— что мсье сочтет меня совсем уж попрошайкой, но все же я хотел бы попросить его еще кое о чем.

Я тут же проникся к нему ненавистью.

— Сегодня мы снова даем представление,— продолжал он.— Конечно, я не возьму еще денег с мсье и его столь щедрых друзей. Но наша нынешняя программа, право же, угодит самому взыскательному вкусу, и я льщу себя надеждой, что мсье почтит нас своим присутствием.— Пожатие плеч, улыбка.— Тщеславие художника; мсье, конечно, это понимает.

Только послушайте! Тщеславие художника! Вот такие вещи и примиряют меня с жизнью: оборванный, полупьяный, бездарный старый плут с манерами джентльмена и тщеславием художника, которые питают его самоуважение!

Но человек, покоривший мое сердце,— это мсье де Воверсен. Прошло почти два года с того времени, как я увидел его в первый раз, и я от всей души надеюсь, что буду еще часто с ним встречаться. Вот его первая программка, которую я нашел когда-то на столе перед завтраком и сохранил как сувенир счастливых дней:

«Уважаемые дамы и господа!

Мадмуазель Феррарьо и мсье де Воверсен будут иметь честь исполнить сегодня вечером следующие номера:

Мадмуазель Феррарьо споет «Крошку», «Веселых птиц», «Францию», «Тут спят французы», «Голубой замок», «Куда отвезти тебя?».

Мсье де Воверсен исполнит «Госпожа Фантен и господин Робине», «Всадников-пловцов», «Недовольного мужа», «Молчи, мальчишка!», «Мой чудак сосед», «Вот мое счастье», «Ах, вот как можно ошибиться!».

В углу общего зала была построена эстрада. Ах, как приятно было смотреть на мсье де Воверсена, когда он с папиросой во рту бренчал на гитаре и покорным любящим взглядом собаки следил за глазами мадмуазель Феррарьо! В заключение программы была устроена «томбола» — распродажа лотерейных билетов с аукциона: превосходное развлечение, азартное, как рулетка, но без какой-либо надежды на выигрыш, так что можно не стыдиться своей горячности. В любом случае тут можно только проиграть, и человек торопился в этом состязании потерять как можно больше денег в пользу мсье де Воверсена и мадмуазель Феррарьо.

Мсье де Воверсен — невысокий брюнет с буйной копной волос, задорным и лукавым лицом и улыбкой, которая была бы восхитительна, если бы не его скверные зубы. Некогда он был актером театра «Шатле», но от жара огней рампы и их резкого света у него началось нервное заболевание, вынудившее его покинуть сцену. В этот черный час мадмуазель Феррарьо — тогда мадмуазель Рита из «Алькасара» — согласилась разделить его бродячую судьбу. «Я никогда не забуду ее великодушия»,— любит он повторять. Он носит брюки в обтяжку, столь узкие, что все знающие его ломают голову, каким образом он умудряется влезать в них и стягивать их с себя. Он рисует акварели, он сочиняет стихи, он рыболов неиссякаемого терпения и тогда целыми днями сидел в глубине гостиничного сада, без всякого толку забрасывая удочку в прозрачную речку.

Жаль, что вам не доводилось слышать, как он рассказывает о своей пестрой жизни за бутылкой вина: он чудесный рассказчик и всегда готов первый посмеяться над своими невзгодами, но порой он вдруг становится серьезен, точно человек, который повествует об опасностях океана и вдруг слышит рокот прибоя. Ведь, быть может, не далее, как накануне, сбор составил всего полтора франка, тогда как на железную дорогу было израсходовано три франка да на ночлег и еду еще два. Мэр, человек с миллионным состоянием, сидел в первом ряду, то и дело аплодировал мадмуазель Феррарьо и, однако, дал за весь вечер не больше трех су. Местные власти очень неблагосклонны к бродячим артистам. Увы! Мне ли не знать этого: как-то раз меня самого приняли за бродячего актера и в силу этого заблуждения безжалостно ввергли в узилище. Однажды мсье Воверсену пришлось побывать у полицейского комиссара, чтобы получить разрешение на выступление. Комиссар, покуривавший в приятном безделье, вежливо снял фуражку, когда певец переступил порог комнаты. «Господин комиссар,— начал он,— я артист...» И фуражка комиссара была тотчас водворена назад на его голову. Вежливое обхождение не для спутников Аполлона. «Так низко они пали!» — пояснил мсье де Воверсен, вычерчивая папиросой крутую дугу.

Но больше всего мне понравилась одна его вспышка, когда мы весь вечер беседовали о трудностях, унижениях и горькой нужде его бродячей жизни. Кто-то заметил, что

миллиончик в кармане был бы куда приятней, и мадмуазель Феррарьо от души с этим согласилась. «Eh bien, moi non — а я так нет! — воскликнул де Воверсен, ударив кулаком по столу.— Если в мире найдется неудачник, то, уж конечно, это я. Я служил своему искусству, и служил ему хорошо, не хуже кое-кого и, наверное, лучше многих и многих, а теперь оно для меня недоступно. Я вынужден бродить по стране, собирая медяки и распевая всякую чепуху. И вы думаете, я жалею себя? И вы думаете, я предпочел бы стать буржуа, жирным, как теленок, буржуа? Ну, нет! Когда-то мне рукоплескали на подмостках — это пустяки, но порой, когда в публике не раздавалось ни единого хлопка, я все равно чувствовал, что нашел верную интонацию или точный выразительный жест; и тогда, господа, я познавал истинную радость, я понимал, что значит сделать что-то хорошо, что значит быть артистом! А познать искусство — значит обрести в жизни вечный интерес, недоступный жирному буржуа, занятому только своими мелкими делишками. «Tenez, messieur, je vais vouz dire [1] — это как религия».

Таково было исповедание веры мсье де Воверсена, если сделать скидку на погрешности памяти и неточность перевода. Я назвал его настоящее имя, так как и другие путешественники могут повстречать его с его гитарой, неизменной папиросой и мадмуазель Феррарьо; разве не должен весь мир с восторгом воздать дань уважения этому злополучному и верному поклоннику муз? Да ниспошлет ему Аполлон стихи, какие никому еще не снились, да не будет больше река скупиться для него на свое живое серебро, да будут милостивы к нему морозы во время долгих зимних поездок, да не оскорбит его грубый деревенский чинуша и да не покинет его мадмуазель Феррарьо, чтобы он мог всегда смотреть на нее преданными глазами и аккомпанировать ей на своей гитаре!

Марионетки оказались на редкость скверными. Они исполнили пьесу под названием «Пирам и Тисба» в пяти чудовищных актах, написанную с начала и до конца александрийским стихом, длиной равным росту исполнителей. Одна марионетка была королем, другая — злым советником, третья — якобы необыкновенная красавица — изображала Тисбу; кроме того, имелись стражники, упрямые от-

[1] Послушайте, господа, что я вам скажу *(франц.)*.

цы и придворные. В течение тех двух-трех актов, которые я высидел, не произошло ничего особенного, но вам будет приятно узнать, что единства соблюдались надлежащим образом и вся пьеса, за одним исключением, развивалась в строгом согласии с классическими правилами. Исключение же составлял комический селянин, тощая марионетка в деревянных башмаках, изъяснявшаяся прозой и на очень сочном диалекте, что весьма нравилось зрителям. Селянин этот позволял себе всякие неконституционные вольности по отношению к особе своего монарха, бил коллег-марионеток деревянным башмаком в зубы и в отсутствие стихоговорящих поклонников принимался сам ухаживать за Тисбой, но в прозе.

Выходки этого персонажа и маленький пролог, в котором хозяин театра произнес юмористическую апологию достоинствам своей труппы, восхваляя актеров за их равнодушие к рукоплесканиям и шиканью, а также за неизменную преданность своему искусству,— только это, казалось бы, и могло за весь вечер вызвать хоть подобие улыбки. Однако жители Преси были, по-видимому, в полном восторге от представления. С другой стороны, если вы платите за право увидеть что-то, это что-то непременно доставит вам удовольствие. Если бы с нас брали по столько-то с головы за созерцание заката или если бы господь посылал сборщика с бубном перед тем, как зацветет шиповник, как громогласно упивались бы мы их красотой! Но глупые люди быстро перестают замечать подобные вещи, как и добрых друзей, и Абстрактный Коммивояжер катит в своей рессорной тележке, не видя ни цветов по сторонам дороги, ни небесных красок у себя над головой.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ МИР

От следующих двух дней моя память сохранила очень немногое, а моя записная книжка — совсем ничего. Река струилась ровно и неторопливо среди красивых пейзажей. Прачки в голубых платьях и рыбаки в голубых блузах оживляли однообразную зелень берегов, и это сочетание напоминало цветы и листья незабудок. Симфония в незабудках — так, мне кажется, мог бы определить Теофиль Готье панораму этих двух дней. Небеса были голубыми и безоблачными, и скользящая поверхность воды служила

на плесах зеркалом небу и берегам. Прачки, смеясь, окликали нас, ропот деревьев и воды аккомпанировал нашим мыслям, а мы все неслись вниз по течению.

Мощь и неутомимая целеустремленность реки завораживали рассудок. В ней теперь чувствовалась уверенность в достижении цели, сила и спокойствие зрелого, полного решимости человека. На песках Гавра нетерпеливо гремел ждущий ее прибой.

Что до меня, то, скользя по этой движущейся проезжей дороге в скрипичном футляре моей байдарки, я тоже начинал скучать по моему океану. Цивилизованный человек рано или поздно преисполняется тоски по цивилизации. Мне надоело погружать весло в воду, мне надоело жить на задворках жизни, я жаждал вновь очутиться в самой ее гуще, я жаждал приняться за работу, я жаждал вернуться к людям, понимающим мой язык, для которых я человек, во всем им равный, а не диковинка.

Письмо в Понтуазе подтолкнуло нас принять окончательное решение, и мы в последний раз подняли свои суденышки из воды Уазы — реки, которая так долго и так верно несла их на своем лоне и в дождь и в ведро. Столько миль это стремительное и безногое вьючное животное влекло наши судьбы, что, разлучаясь с ним, мы испытывали грусть. Мы сделали большой крюк за пределами мира, но теперь возвращались в привычные места, где мчится поток, именуемый жизнью, и где мы уносимся навстречу приключениям без помощи весла. Теперь нам, точно путешественникам в какой-нибудь пьесе, предстояло вернуться и увидеть, какие изменения внесла судьба в наше окружение за время нашего отсутствия, какие сюрпризы ждут нас дома, а также куда и далеко ли продвинулся за этот срок весь мир. Греби хоть весь день напролет, но только вернувшись к ночи домой и заглянув в знакомую комнату, ты найдешь Любовь или Смерть, поджидающую тебя у очага; и самые прекрасные приключения — это не те, которые мы ищем.

РАССКАЗЫ
И ПОВЕСТИ

НОЧЛЕГ ФРАНСУА ВИЙОНА

Это было в последних числах ноября 1456 года. В Париже с нескончаемым, неутомимым упорством шел снег. Временами на улицы налетал ветер и тут же вздымал снежный смерч; временами наступало затишье, и тогда из темноты ночного неба в безмолвном кружении валили неисчислимые крупные хлопья. Бедному люду, поглядывавшему на все это из-под намокших бровей, оставалось только дивиться, откуда берется столько снега. Мэтр Франсуа Вийон, стоя днем у окна таверны, выдвинул такое предположение: то ли это языческий Юпитер щиплет гусей на Олимпе, то ли это линяют святые ангелы. Сам он всего лишь скромный магистр искусств и в вопросах, касающихся божественного, не смеет делать выводы. Дурашливый старый кюре из Монтаржи, затесавшийся в их компанию, тут же поставил юному мошеннику еще одну бутылку вина в честь как самой шутки, гак и ужимок, с которыми она была преподнесена, и поклялся своей седой бородой, что и сам он в этом возрасте был таким же богохульным щенком, как Вийон.

Воздух резал легкие, хотя лишь слегка подмораживало; хлопья были большие, влажные, липкие. Весь город словно укутали в простыню. Целая армия могла пройти из одного его конца в другой, и никто не услышал бы ни звука. Если пролетали в небе запоздалые птицы, то остров Ситэ виделся им как большая белая заплата, а мосты — как тонкие белые швы на черном полотнище реки. Высоко над землей

снег садился на рельефы башен Собора Парижской богоматери. Многие ниши были сплошь забиты им, многие статуи надели высокие снеговые колпаки на свои рогатые или коронованные головы. Химеры на водостоках превратились в длинные, свисавшие вниз носы. На резьбе карнизов наросли сбившиеся на сторону подушки. В перерывы, когда ветер стихал, был слышен приглушенный звук капели по плитам паперти.

Кладбище Сен-Жан получило свою долю снега. Все могилы были благолепно укрыты; высокие белые крыши стояли вокруг в своем важном уборе; почтенные буржуа уже давно почивали в постелях, напялив на себя колпаки, не менее белоснежные, чем те, что были на их обиталищах; по всей округе ни огонька, кроме слабого мигания фонаря, качавшегося на церковных хорах и отбрасывавшего при каждом размахе причудливые тени. Еще не пробило десяти, когда мимо кладбища Сен-Жан, похлопывая рукавицами, прошли патрульные с фонарями и алебардами — прошли и не обнаружили ничего подозрительного в этих местах.

Но там, притулившись к кладбищенской стене, стоял домишко, и в нем единственном на всей похрапывающей во сне улице не спали, и это было явно не к добру. Снаружи его почти ничто не выдавало: только струйка дыма из трубы, темное пятно там, где снег подтаял на крыше, и несколько полузанесенных следов на пороге. Но внутри, за закрытыми ставнями, поэт Франсуа Вийон и кое-кто из воровской шайки, с которой он водился, коротали ночь за бутылкой вина.

Большая куча раскаленных углей в сводчатом камине рдела и дышала палящим жаром. Перед огнем, высоко подоткнув рясу и грея у гостеприимного огня свои жирные голые ноги, сидел монах-пикардиец Домине Николас. Его могучая тень надвое рассекала комнату, свет из камина еле пробивался по обе стороны его тучного тела и маленькой лужицей лежал между широко расставленными ногами. Одутловатая физиономия этого запойного пьяницы была вся покрыта сеткой мелких жилок, обычно багровых, а теперь бледно-фиолетовых, потому что хоть он и грел спину, но холод кусал его спереди. Капюшон рясы был у него откинут и топорщился двумя странными наростами по сторонам бычьей шеи. Так он восседал, ворча что-то себе под нос и рассекая комнату надвое своей мощной тенью.

По правую его руку Вийон и Ги Табари склонялись над куском пергамента: Вийон сочинял балладу, которую позднее назвал «Балладой о жареной рыбе», а Табари восторженно лопотал что-то у него за плечом. Поэт был весьма невзрачный человек: небольшого роста, с впалыми щеками и жидкими черными прядями волос. Его двадцать четыре года сказывались в нем лихорадочным оживлением. Жадность проложила морщины у него под глазами, недобрые улыбки — складочки вокруг рта. В этом лице боролись волк со свиньей. Своим уродством, резкостью черт оно красноречиво говорило о всех земных страстях. Руки у поэта были маленькие, цепкие и узловатые, как веревки, пальцы все время мелькали перед его лицом со страстной выразительностью движений. Что касается Табари, то его приплюснутый нос и слюнявый рот так и говорили о разливанной, благодушной, восторженной глупости; он стал вором (так же как мог бы стать наитишайшим буржуа) силой всемогущего случая, который управляет судьбой гусей и ослов во образе человеческом.

По другую руку монаха играли в карты Монтиньи и Тевенен Пансет. В первом, как в павшем ангеле, еще сохранился какой-то след благородного происхождения и воспитания: что-то стройное, гибкое, изысканное в фигуре, что-то орлиное и мрачное в выражении лица. А бедняга Тевенен был сегодня в ударе: днем ему удалась одна мошенническая проделка в предместье Сен-Жак, а теперь он выигрывал у Монтиньи. Довольная улыбка расплылась на его лице, его розовая лысина сияла в венке рыжих кудрей, изрядное брюшко сотрясалось от подавляемого смеха каждый раз, как он загребал выигрыш.

— Ставишь или кончать? — спросил Тевенен.

Монтиньи угрюмо кивнул.

— «Есть предпочтут иные люди,— писал Вийон,— на позолоченной посуде». Ну, помоги же мне, Гвидо!

Табари хихикнул.

— «Или хотя б на серебре»,— писал поэт.

Ветер снаружи усиливался, он гнал перед собой снег, и временами вой его переходил в торжествующий рев, а потом в замогильные стенания в трубе. Мороз к ночи крепчал. Вийон, выпятив губы, передразнивал голос ветра, издавая нечто среднее между свистом и стоном. Именно этот талант беспокойного поэта больше всего не нравился пикардийскому монаху.

— Неужели вы не слышите, как он завывает у виселицы? — сказал Вийон.— И все они там сейчас отплясывают в воздухе дьявольскую жигу. Пляшите, пляшите, молодчики, все равно не согреетесь! Фу! Ну и вихрь! Наверняка кто-нибудь сорвался! Одним яблочком меньше на трехногой яблоне! А небось и холодно же теперь, Домине, на дороге в Сен-Дени? — сказал он.

Домине Николас мигнул обоими глазами, и кадык у него передернуло, словно он поперхнулся. Монфокон, самая ужасная из виселиц Парижа, видна была как раз с дороги в Сен-Дени, и слова Вийона задели его за живое. А Табари, тот всласть посмеялся шутке насчет яблочек — никогда еще он не слышал ничего смешнее. Он держался за бока и всхлипывал от хохота. Вийон щелкнул собутыльника по носу, отчего смех его перешел в приступ кашля.

— Будет ржать,— сказал Вийон,— придумай лучше рифму на «рыба».

— Ставишь или кончать? — ворчливо спросил Монтиньи.

— Конечно, ставлю,— ответил Тевенен.

— Есть там что-нибудь в бутылке? — спросил монах.

— А ты откупорь другую,— сказал Вийон.— Неужели ты все еще надеешься наполнить такую бочку, как твое брюхо, такой малостью, как бутылка? И как ты рассчитываешь вознестись на небо? Сколько потребуется ангелов, чтобы поднять одного монаха из Пикардии? Или ты вообразил себя новым Илией и ждешь, что за тобой пришлют колесницу?

— Hominibus impossibile,[1]— ответил монах, наполняя свой стакан.

Табари был вне себя от восторга. Вийон еще раз щелкнул его по носу.

— Смейся м о и м шуткам,— сказал он.

— Но ведь смешно,— возразил Табари.

Вийон состроил ему рожу.

— Придумывай рифму на «рыба»,— сказал он.— Что ты смыслишь в латыни? Тебе же лучше будет, если ничего не поймешь на страшном суде, когда дьявол призовет к ответу Гвидо Табари, клирика,— сам дьявол с большим горбом и докрасна раскаленными когтями. А раз уж речь

---

[1] Для человека сие невозможно *(лат.)*.

зашла о дьяволе,— добавил он шепотом,— то посмотри на Монтиньи.

Все трое украдкой взглянули в ту сторону. Монтиньи по-прежнему не везло. Рот у игрока скривился набок, одна ноздря закрылась, а другая была раздута. У него, как говорится, черный пес сидел на загривке, и он тяжело дышал под этим зловещим грузом.

— Так и кажется, что заколет он своего партнера,— тараща глаза, прошептал Табари.

Монах вздрогнул, повернулся лицом к огню и протянул руки к каминному жару. Так на него подействовал холод, а вовсе не избыток чувствительности.

— Вернемся к балладе,— сказал Вийон.— Что же у нас получилось? — И, отбивая ритм рукой, он начал читать стихи вслух.

Но уже на четвертой строке игроки прервали его. Там что-то произошло в мгновение ока. Закончилась очередная партия, и Тевенен готовился объявить взятку, как вдруг Монтиньи стремительно, словно гадюка, бросился на него и ударил кинжалом прямо в сердце. Смерть наступила, прежде чем Тевенен успел вскрикнуть, прежде чем он успел отшатнуться. Судорога раз-другой пробежала по его телу, пальцы у него разжались и сжались снова, пятки дробно стукнули по полу, потом голова его отвалилась назад, к левому плечу, глаза широко раскрылись, и душа Тевенена Пансета вернулась к своему создателю.

Все вскочили, но дело было сделано мгновенно. Четверо живых глядели друг на друга сами мертвецки бледные, а мертвый как бы с затаенной усмешкой разглядывал угол потолка.

— Боже милостивый! — сказал наконец Табари и стал читать латинскую молитву.

И вдруг Вийон разразился истерическим хохотом. Он шагнул вперед и отвесил Тевенену шутовской поклон, засмеявшись при этом еще громче. Потом тяжело опустился на табурет, не в силах удержаться от надрывного смеха, словно разрывавшего его на куски.

Первым пришел в себя Монтиньи.

— А ну-ка, посмотрим, что там у него имеется,— сказал он и, мигом опытной рукой очистив карманы мертвеца, разложил деньги на столе четырьмя ровными стопками.— Это вам,— сказал он.

Монах принял свою долю с глубоким вздохом и только искоса взглянул на мертвого Тевенена, который начал оседать и валиться вбок со стула.

— Мы все в этом замешаны! — вскрикнул Вийон, подавляя свою радость.— Дело пахнет виселицей для каждого из присутствующих, не говоря об отсутствующих.

Он резко вздернул правую руку, высунул язык и наклонил голову набок, изображая повешенного. Потом ссыпал в кошелек свою часть добычи и зашаркал ногами по полу, как бы восстанавливая кровообращение.

Табари последний взял свою долю. Он ринулся за ней к столу, а потом забился с деньгами в дальний угол комнаты.

Монтиньи выпрямил на стуле тело Тевенена и вытащил кинжал. Из раны хлынула кровь.

— Вам, друзья, лучше бы убраться отсюда,— сказал он, вытирая лезвие о камзол своей жертвы.

— Да, верно, — судорожно глотнув, проговорил Вийон.— Черт побери его башку! — вдруг взорвался он.— Она у меня как мокрота в горле. Какое человек имеет право быть рыжим и после смерти? — И он снова рухнул на табурет и закрыл лицо руками.

Монтиньи и Домине Николас громко засмеялись, и даже Табари слабо подхихикнул им

— Эх ты, плакса,— сказал монах.

— Я всегда говорил, что он баба,— с презрительной усмешкой сказал Монтиньи.— Да сиди ты! — крикнул он, встряхивая мертвеца.— Затопчи огонь, Ник!

Но Нику было не до этого, он преспокойно взял кошелек Вийона, который, весь дрожа, едва сидел на той самой табуретке, на которой три минуты назад сочинял балладу. Монтиньи и Табари знаками потребовали принять их в долю, что монах также молчаливо пообещал им, пряча кошелек за пазуху своей рясы. Артистическая натура часто оказывается не приспособленной к практической жизни.

Едва успел монах закончить свою операцию, как Вийон встряхнулся, вскочил на ноги и стал помогать ворошить и затаптывать угли. Тем временем Монтиньи приоткрыл дверь и осторожно выглянул на улицу. Путь был свободен, поблизости ни следа назойливых патрулей. Но все же решено было уходить поодиночке, и так как сам Вийон спешил как можно скорей избавиться от соседства мертвого Тевенена, а остальные еще больше спешили избавиться от него

самого, пока он не обнаружил кражи, ему было предоставлено первому выйти на улицу.

Ветер наконец осилил и прогнал с неба все тучи. Только тонкие волокнистые облачка быстро скользили по звездам. Было пронизывающе холодно, и в силу известного оптического обмана все очертания казались еще более четкими, чем при ярком солнце. Спящий город был совершенно безмолвен. Скопление белых колпаков, нагромождение маленьких Альп, озаренных мерцающими звездами. Вийон проклял свою незадачу. Снег больше не идет! Ведь теперь, куда он ни подастся, повсюду за ним будет неизгладимый след на сверкающей белизне улиц; куда он ни подастся, он всюду будет прикован к дому на кладбище Сен-Жан; куда он ни подастся, он сам протопчет себе дорогу от места преступления к виселице. Насмешливый взгляд мертвеца приобрел теперь для него новое значение. Он щелкнул пальцами, словно подбадривая самого себя, и, не выбирая дороги, наугад шагнул по снегу в один из переулков.

Два видения преследовали его неотступно: Монфоконская виселица, какой она представлялась ему в эту ясную ветреную ночь, и мертвец с лысиной в венке рыжих кудрей. Оба видения сжимали ему сердце, и он все ускорял шаг, как будто от назойливых мыслей можно было убежать. По временам он тревожно и быстро озирался через плечо, но на заснеженных улицах, кроме него, не было ни души, и только ветер, вырываясь из-за углов, то и дело взметал прихваченный морозом снег струйками поблескивающей снежной пыли.

Вдруг он увидел вдали черное пятно и огоньки фонарей. Пятно двигалось, и фонари покачивались из стороны в сторону. Это был патруль. И хотя он лишь пересекал улицу, Вийон счел за благо поскорее скрыться из глаз. Ему совсем не хотелось услышать оклик патрульных, но он отлично понимал, как выделяется на снегу его одинокая фигура. По левую руку от него возвышался пышный когда-то особняк с башенками и портиком парадных дверей. Вийон помнил, что здание заброшено и давно пустует. Он в три шага достиг его и укрылся за выступом портика. Там было совсем темно после блеска заснеженных улиц, и, вытянув вперед руки, он нащупывал дорогу, как вдруг наткнулся на что-то странное на ощупь, одновременно и жесткое и мягкое, плотное и податливое. Сердце у него екнуло, он

отпрянул назад и стал испуганно вглядываться в это препятствие. Потом с чувством облегчения засмеялся. Всегонавсего женщина, и к тому же мертвая. Он стал возле нее на колени, чтобы удостовериться в этом. Она уже одеревенела и закоченела, как ледышка. Рваное кружево трепалось на ветру, едва держась на ее волосах, а щеки были совсем недавно густо нарумянены. В карманах ни гроша, но в чулке, ниже подвязки, Вийон нашел две маленькие монетки, те, что зовут в народе «беляшками». Не жирно, но хоть что-нибудь, и поэта взволновала мысль, что женщина умерла, так и не успев потратить их. Странная и жалостливая история. Он перевел взгляд с монеток на мертвую и обратно и покачал головой, размышляя о загадках человеческой жизни. Генрих Пятый английский умер в Венсенне сразу после того, как завоевал Францию, а эта бедняжка замерзла на пороге дома какого-то вельможи, так и не истратив двух беляшек... Да, жестоко управляет миром судьба. Долго ли истратить эти две монетки, а все-таки во рту был бы еще один вкусный кусок, и губы лишний раз со смаком причмокнули бы перед тем, как дьявол заберет душу, а тело пожрут вороны или крысы. Нет, что касается его, то пусть уж свечка догорает до конца, прежде чем ее задуют, а фонарь разобьют.

Пока эти мысли проносились у него в мозгу, он почти машинально стал нащупывать кошелек в кармане. И вдруг сердце у него остановилось. Холодные мурашки побежали по икрам, и на голову словно обрушился удар. С минуту он стоял, как бы оцепенев, потом судорожным движением снова сунул руку в карман и наконец осознал свою потерю, и тогда его сразу бросило в пот. Для гуляки деньги — это нечто живое и действенное, всего лишь тонкая завеса между ним и наслаждением. Предел этому наслаждению кладет только время. С несколькими луидорами в кармане гуляка чувствует себя римским императором, пока не истратит их до последнего гроша. Такому потерять деньги — значит испытать величайшее несчастье, мгновенно перенестись из рая в ад, после всемогущества впасть в полное ничтожество. И особенно, если ради этого суешь голову в петлю, если завтра тебя ждет виселица в расплату за тот же кошелек, с таким трудом добытый и так глупо утерянный!

Вийон стоял, сыпля проклятиями, и вдруг швырнул обе беляшки на улицу, погрозил кулаком небесам и затопал ногами, не очень смутившись тем, что они попирают труп не-

счастной женщины. Потом он быстро зашагал обратно к дому близ кладбища. Он позабыл всякий страх, позабыл про патруль, который, правда, был теперь уже далеко, забыл про все, кроме утерянного кошелька. Напрасно оглядывал он сугробы по обе стороны дороги: нигде ничего не было. Нет, он обронил его не на улице. Может быть, еще в доме? Ему так хотелось пойти туда и поискать, но мысль о страшном бездыханном обитателе этого дома пугала его. И кроме того, подойдя поближе, он увидел, что их усилия загасить огонь оказались безуспешными, более того, пламя там разгоралось, и пляшущие отсветы его в окнах и щелястой двери подстегнули в поэте страх перед властями и парижской виселицей.

Он вернулся под арку особняка и стал шарить в снегу в поисках монеток, выброшенных в порыве ребячливой досады. Но найти ему удалось только одну беляшку, другая, должно быть, упала ребром и глубоко зарылась в снег. С такой мелочью в кармане нечего было и мечтать о буйной ночи в каком-нибудь притоне. И не только мечта об удовольствии, смеясь, ускользнула из его пальцев, ему стало не на шутку плохо, все тело заломило от нешуточной боли, когда он остановился перед аркой этого дома. Пропотевшее платье высохло на нем; и хотя ветер стих, крепчавший с каждым часом мороз пробирал его до мозга костей. Что ему делать? Время, правда, позднее, рассчитывать на успех не приходится, но он все же попытает счастья у своего приемного отца — капеллана церкви Святого Бенуа.

Всю дорогу туда он бежал бегом и, добежав, робко постучал в дверь. Ответа не было. Он стучал снова и снова, смелея с каждым ударом. Наконец внутри послышались шаги. Зарешеченный глазок обитой железом двери приоткрылся, и через него глянул луч желтоватого света.

— Станьте поближе к окошечку,— сказал изнутри голос капеллана.

— Это я,— жалобно протянул Вийон.

— Ах, это ты, вот как! — сказал капеллан и разразился вовсе не подобающей священническому сану бранью за то, что его потревожили в такой поздний час, а под конец послал своего приемного сына обратно в ад, откуда он, должно быть, и пожаловал.

— Руки у меня посинели,— молил Вийон.— Ноги замерзли и уже почти не чувствуют боли, нос распух от холода, мороз у меня и на сердце Я не доживу до утра. Толь-

ко на этот раз, отец мой, и, как перед богом, больше я не попрошусь к вам.

— Пришел бы пораньше,— холодно возразил капеллан.— Молодых людей надо кое-когда учить уму-разуму.— Он захлопнул глазок и не спеша удалился.

Вийон был вне себя, он колотил в дверь руками и ногами и бранился вслед капеллану.

— Вонючий старый лис! — кричал он.— Попадись ты мне только, я тебя спихну в тартарары!

Где-то далеко в глубине переходов хлопнула дверь, и звук этот еле донесся до уха поэта. Он с проклятием утер рот рукою. Потом, поняв всю комичность своего положения, рассмеялся и с легким сердцем поглядел на небо, туда, где звезды подмигивали, потешаясь над его неудачей.

Что ему делать? Похоже, придется провести эту ночь на морозе. Ему вспомнилась замерзшая женщина, и мысль о ней оледенила его сердце страхом. То, что случилось с ней поздним вечером, может случиться с ним под утро. А он так молод! И столько еще у него впереди всяких буйств и развлечений! Глядя на себя как бы со стороны, он совсем растрогался при мысли о такой судьбе, и воображение тут же нарисовало ему картину, как утром найдут его окоченевшее тело.

Вертя в пальцах беляшку, он мысленно перебрал все шансы. К несчастью, он перессорился со своими старыми друзьями, которые когда-то выручали его в подобных случаях. Он издевался над ними в своих стихах, дрался с ними, обманывал их. И все же теперь, в час последней крайности, хотя бы один человек, пожалуй, смягчится. Вот он, единственный шанс. Во всяком случае, попытаться стоило, и он непременно это сделает.

В пути два обстоятельства, сами по себе не столь уж значительные, настроили его мысли совсем на другой лад. Сначала он напал на след патруля и шел по нему несколько сот шагов. Это уводило его в сторону от цели, зато он приободрился: хоть свои следы запутаешь. Ему не давал покоя страх, что его выслеживают по всему занесенному снегом Парижу и схватят сонным еще до рассвета. Второе обстоятельство было совсем иного рода. Он прошел мимо перекрестка, где несколько лет назад волки сожрали женщину с ребенком. Погода была сейчас самая для этого подходящая, и волкам опять могло прийти в голову прогуляться по Парижу. А тогда одинокий прохожий на этих пустынных

улицах едва ли отделается одним испугом. Он остановился и наперекор самому себе стал озираться — в этом месте сходилось несколько улиц. Он вглядывался в каждую из них, не покажутся ли на снегу черные тени, и, затаив дыхание, вслушивался, не раздастся ли вой со стороны реки. Ему вспомнилось, как в детстве мать рассказывала про этот случай и водила сюда показывать место. Его мать! Знать бы, где она теперь — тогда убежище было б ему обеспечено. Он решил, что утром же справится о ней и непременно сходит навестить ее, бедную старушку! С такими мыслями он подошел к знакомому дому — здесь была его последняя надежда на ночлег.

В окнах было темно, как и по всей улице, но, постучав несколько раз, он услышал, что внутри задвигались, отперли где-то дверь, а потом чей-то голос осторожно спросил, кто там. Поэт назвал себя громким шепотом и не без страха стал ждать, что же будет дальше. Ждать пришлось недолго. Вверху распахнулось окно, и на ступени выплеснули ведро помоев. Это не застало Вийона врасплох, он стоял, прижавшись, насколько было возможно, к стене за выступом входной двери, и все же мигом промок от пояса до самых пяток. Штаны на нем сейчас же обледенели. Смерть от холода и простуды глянула ему прямо в лицо. Он вспомнил, что с самого рождения склонен к чахотке, и прочистил горло, пробуя, нет ли кашля. Но опасность заставила его взять себя в руки. Пройдя несколько сот шагов от той двери, где ему оказали такой грубый прием, он приложил палец к носу и стал размышлять. Единственный способ обеспечить себе ночлег — это самому найти его. Поблизости стоял дом, в который как будто не трудно будет проникнуть. И он сейчас же направил к нему свои стопы, теша себя по пути мыслями о столовой с еще не остывшим камином, с остатками ужина на столе. Там он проведет ночь, а поутру уйдет оттуда, прихватив посуду поценней. Он даже прикидывал, какие яства и какие вина было бы предпочтительнее найти на столе, и, перебирая в уме все свои самые любимые блюда, вдруг вспомнил про жареную рыбу. Вспомнил — и усмехнулся и в то же время почувствовал ужас.

«Никогда мне не закончить эту балладу»,— подумал он, и его всего передернуло при новом воспоминании.

— Черт бы побрал эту башку! — громко проговорил он и плюнул на снег.

В намеченном им доме на первый взгляд было темно; но когда Вийон стал приглядывать уязвимое для атаки место, за плотно занавешенным окном мелькнул слабый луч света.

«Ах ты, черт! — мысленно ругнулся он.— Не спят! Какой-нибудь школяр или святоша, будь они неладны! Нет, чтобы напиться как следует и храпеть взапуски с добрыми соседями! А на кой тогда бес вечерний колокол и бедняги звонари, что надрываются, повиснув на веревках? И к чему тогда день, если сидеть до петухов? Да чтоб им лопнуть, обжорам! — Он ухмыльнулся, видя, куда завели его такие рассуждения.— Ну, каждому свое,— добавил он,— и коль они не спят, то, клянусь богом, тем более оснований честно напроситься на ужин и оставить дьявола с носом».

Вийон смело подошел к двери и постучал твердой рукой. В предыдущие разы он стучал робко, боясь привлечь к себе внимание. Но теперь, когда он раздумал проникать в дом по-воровски, стук в дверь казался ему самым простым и невинным делом. Звуки его ударов, таинственно дребезжа, раздавались по всему дому, словно там было совсем пусто. Но лишь только они замерли вдали, как послышался твердый, размеренный шаг, потом стук отодвигаемых засовов, и одна створка двери широко распахнулась, точно тут не знали коварства и не боялись его. Перед Вийоном стоял высокий, сухощавый, мускулистый мужчина, правда, слегка согбенный годами. Голова у него была большая, но хорошей лепки; кончик носа тупой, но переносица тонкая, переходящая в чистую, сильную линию бровей. Рот и глаза окружала легкая сетка морщинок, и все лицо было обрамлено густой седой бородой, подстриженной ровным квадратом.

При свете мигающей в его руках лампы лицо этого человека казалось, может быть, благородней, чем на самом деле; но все же это было прекрасное лицо, скорее почтенное, чем умное, и сильное, простое, открытое.

— Поздно вы стучите, мессир,— учтиво сказал старик низким, звучным голосом.

Весь сжавшись, Вийон рассыпался в раболепных извинениях; в таких случаях, когда дело доходило до крайности, нищий брал в нем верх, а гениальность отступала назад в смятении.

— Вы озябли, — продолжал старик, — и голодны. Что ж, входите.— И он пригласил его войти жестом, не лишенным благородства.

«НОЧЛЕГ ФРАНСУА ВИЙОНА»

«НОЧЛЕГ ФРАНСУА ВИЙОНА»

«Знатная шишка»,— подумал Вийон. А хозяин тем временем поставил лампу на каменный пол прихожей и задвинул все засовы.

— Вы меня простите, но я пойду впереди,— сказал он, заперев дверь, и провел поэта наверх в большую комнату, где пылко рдела жаровня и ярко светила подвешенная к потолку лампа. Вещей там было немного: только буфет, уставленный золоченой посудой, несколько фолиантов на столике и рыцарские доспехи в простенке между окнами. Стены были затянуты превосходными гобеленами, на одном из них — распятие, а на другом — сценка с пастухами и пастушками у ручья. Над камином висел щит с гербом.

— Садитесь,— сказал старик,— и простите, что я вас оставлю одного. Сегодня, кроме меня, в доме никого нет, и мне самому придется поискать для вас что-нибудь из еды.

Едва только хозяин вышел, как Вийон вскочил с кресла, на которое только что присел, и с кошачьим рвением, по-кошачьи пронырливо стал обследовать комнату. Он взвесил на руке золотые кувшины, заглянул во все фолианты, разглядел герб на щите и пощупал штоф, которым были обиты кресла. Он раздвинул занавеси на окнах и увидел, что цветные витражи в них, насколько удавалось разглядеть, изображают какие-то воинские подвиги. Потом, остановившись посреди комнаты, он глубоко вздохнул, раздув щеки, задерживая выдох и повернувшись на каблуках, снова огляделся по сторонам, чтобы запечатлеть в памяти каждую мелочь.

— Сервиз из семи предметов,— сказал он.— Будь их десять, я, пожалуй, рискнул бы. Чудесный дом и чудесный старикан, клянусь всеми святыми!

Но, услышав в коридоре приближающиеся шаги, он шмыгнул на место и со скромным видом стал греть мокрые ноги у раскаленной жаровни.

Хозяин вошел, держа в одной руке блюдо с мясом, а в другой кувшин вина. Он поставил это на стол, жестом пригласил Вийона пододвинуть кресло, а сам достал из буфета два кубка и тут же наполнил их.

— Пью за то, чтобы вам улыбнулась Судьба,— сказал он, торжественно чокнувшись с Вийоном.

— И за то, чтобы мы лучше узнали друг друга,— осмелев, сказал поэт.

Любезность старого вельможи повергла бы в трепет обычного простолюдина, но Вийон повидал всякие виды. Не раз ему случалось развлекать сильных мира сего и убеждаться, что они такие же негодяи, как и он сам. И поэтому он с жадностью принялся уписывать жаркое, а старик, откинувшись в кресле, пристально и с любопытством наблюдал за ним

— А у вас кровь на плече, милейший,— сказал он.

Это, должно быть, Монгиньи приложился своей мокрой лапой, когда они покидали дом. Мысленно он послал ему проклятие.

— Я не виноват,— пробормотал он.

— Я так и думал,— спокойно проговорил хозяин.— Подрались?

— Да, вроде того,— вздрогнув, ответил Вийон.

— И кого-нибудь зарезали?

— Нет, его не зарезали,— путался поэт все больше и больше.— Все было по-честному — просто несчастный случай. И я к этому не причастен, разрази меня бог!— добавил он с горячностью.

— Одним разбойником меньше,— спокойно заметил хозяин.

— Вы совершенно правы,— с несказанным облегчением согласился Вийон.— Такого разбойника свет не видывал. И он сковырнулся вверх копытами. Но глядеть на это было не сладко. А вы, должно быть, нагляделись мертвецов на своем веку, мессир?— добавил он, посмотрев на доспехи.

— Вволю,— сказал старик.— Я воевал, сами понимаете.

Вийон отложил нож и вилку, за которые только было взялся.

— А были среди них лысые?— спросил он.

— Были, бывали и седые, вроде меня.

— Ну, седые — это еще не так страшно,— сказал Вийон.— Тот был рыжий.— И его снова затрясло, и он постарался скрыть судорожный смех большим глотком вина.— Мне не по себе, когда я об этом вспоминаю,— продолжал он.— Ведь я его знал, будь он неладен! А потом в мороз лезет в голову всякая чушь, или от этой чуши мороз пробирает по коже — уж не знаю, что от чего.

— Есть у вас деньги? — спросил старик.

— Одна беляшка,— со смехом ответил поэт.— Я вытащил ее из чулка замерзшей девки тут в одном подъезде.

Она была мертвее мертвого, бедняга, и холодна, как лед, а в волосах у нее были обрывки ленты. Зима — плохое время для девок, и волков, и бродяг вроде меня.

— Я Энгерран де ла Фейе, сеньор де Бризету, байи из Пататрака,— сказал старик.— А вы кто?

Вийон встал и отвесил подобающий случаю поклон.

— Меня зовут Франсуа Вийон,— сказал он.— Я нищий магистр искусств здешнего университета. Немного обучен латыни, а пороки превзошел всякие. Могу сочинять песни, баллады, лэ, вирелэ и рондели и большой охотник до вина. Родился я на чердаке, умру, возможно, на виселице. К этому прибавлю, что с этой ночи я ваш покорнейший слуга, мессир.

— Вы не слуга мой, а гость на эту ночь, и не более,— сказал вельможа.

— Гость, преисполненный благодарности,— вежливо сказал Вийон, молча поднял кубок в честь своего хозяина и осушил его.

— Вы человек неглупый,— сказал старик, постукивая себя по лбу,— очень неглупый и образованный, и все же решаетесь вытащить мелкую монету из чулка замерзшей на улице женщины. Вам не кажется, что это похоже на воровство?

— Такое воровство не хуже военной добычи, мессир.

— Война — это поле чести,— горделиво возразил старик.— Там ставкою жизнь человека. Он сражается во имя своего сюзерена-короля, своего властелина господа бога и всего сонма святых и ангелов.

— А если,— сказал Вийон,— если я действительно вор, то разве я не ставлю на карту свою жизнь, да еще при более тяжких обстоятельствах?

— Ради наживы, не ради чести.

— Ради наживы? — пожимая плечами, повторил Вийон.— Нажива! Бедняге надо поужинать, и он промышляет себе ужин. Как солдат в походе. А что такое эти реквизиции, о которых мы так много слышим? Если даже те, кто их налагает, не поживятся ими, то для тех, на кого они наложены, они все равно ущерб. Солдаты бражничают у бивачных костров, а горожанин отдает последнее, чтобы оплатить им вино и дрова. А сколько я перевидал селян, повешенных вдоль дорог; помню, на одном вязе висело сразу тридцать человек, и, право же, зрелище это было не из приятных. А когда я спросил кого-то, почему их повесили,

мне ответили, что они не могла наскрести достаточно монет, чтобы ублаготворить солдат.

— Это горькая необходимость войны, которую низкие родом должны переносить с покорностью. Правда, случается, что некоторые военачальники перегибают палку. В каждом ранге могут быть люди, не знающие жалости, а, кроме того, многие из наемников самые настоящие бандиты.

— Ну вот, видите,— сказал поэт,— даже вы не можете отличить воина от бандита, а что такое вор, как не бандит-одиночка, только более осмотрительный? Я украду две бараньи котлеты, да так, что никто и не проснется. Фермер поворчит малость и преспокойно поужинает тем, что у него осталось. А вы нагрянете с победными фанфарами, заберете всю овцу целиком да еще прибьете в придачу. У меня фанфар нет; я такой-сякой, я бродяга, прохвост, и вздернуть-то меня мало. Что ж, согласен. Но спросите фермера, кого из нас он предпочтет, а кого с проклятием вспоминает в бессонные зимние ночи?

— Поглядите на нас с вами,— сказал сеньор.— Я стар, но крепок и всеми почитаем. Если бы меня завтра выгнали из моего дома, сотни людей рады были бы приютить меня. Добрые простолюдины готовы были бы провести с детьми ночь на улице, если бы я только намекнул, что хочу остаться один. А вы скитаетесь без приюта и рады обобрать умершую женщину, не гнушаясь и мелочью. Я никого и ничего не боюсь, а вы, я сам видел, от одного слова дрожите и бледнеете. Я спокойно жду в своем доме часа, когда меня призовет к себе господь или король призовет на поле битвы. А вы ждете виселицы, насильственной мгновенной смерти, лишенной и чести и надежды. Разве нет между нами разницы?

— Мы небо и земля,— согласился Вийон.— Но если бы я родился владетелем Бризету, а вы — бедным Франсуа, разве разница была бы меньше? Разве не я грел бы колени у этой жаровни, не вы елозили бы по снегу, ища монету? Разве тогда я не был бы солдатом, а вы вором?

— Вором! — воскликнул старик.— Я — вор! Если бы вы понимали, что говорите, вы пожалели бы о своих словах!

Вийон дерзко, с неподражаемой выразительностью развел руками.

— Если бы ваша милость сделали мне честь следовать за моими рассуждениями...—сказал он.

— Я оказываю вам слишком много чести, терпя самое ваше присутствие здесь,— сказал вельможа.— Научитесь обуздывать язык, когда говорите со старыми и почтенными людьми, а то кто-нибудь менее терпеливый расправится с вами покруче.— Он встал и прошелся по комнате, стараясь подавить гнев и чувство отвращения. Вийон воспользовался этим, чтобы снова наполнить кубок, и уселся поудобнее: закинув ногу на ногу, подпер голову левой рукой, а локоть правой положил на спинку кресла. Он насытился и согрелся и, поняв характер хозяина, насколько это было возможно при такой разнице натур, теперь ни капельки не боялся старика. Ночь была на исходе, и в конце концов все обошлось как нельзя лучше, и он был вполне уверен, что под утро благополучно покинет этот дом.

— Ответьте мне на один вопрос,— приостанавливаясь, сказал старик — Вы действительно вор?

— Я всецело полагаюсь на законы гостеприимства,— ответил поэт.— Да, мессир, я вор.

— А вы еще так молоды,— продолжал старик.

— Я не дожил бы и до этих лет,— ответил Вийон, растопырив пальцы,— если бы мне не помогали эти десять слуг. Они меня вспоили, как мать, вскормили вместо отца.

— У вас еще есть время раскаяться и изменить свою жизнь.

— Я каждый день каюсь,— сказал поэт.— Мало кто так склонен к покаянию, как бедный Франсуа. А насчет того, чтобы изменить свою жизнь, пусть сначала кто-нибудь изменит теперешние обстоятельства моей жизни. Человеку надо есть хотя бы для того, чтобы у него было время для раскаяния.

— Путь к переменам должен начаться в сердце,— торжественно произнес старик.

— Дорогой сеньор,— ответил Вийон,— неужели вы полагаете, что я краду ради удовольствия? Я ненавижу воровство, как и всякую прочую работу, а эта к тому же сопряжена с опасностью. При виде виселицы у меня зуб на зуб не попадает. Но мне надо есть, надо пить, надо общаться с людьми. Кой черт! Человек не отшельник — Cui Deus feminam tradit [1]. Сделайте меня королевским кравчим, сделайте аббатом Сен-Дени или байи в вашем Пататра-

[1] Ему бог подарил женщину *(лат.)*.

ке, вот тогда жизнь моя изменится. Но пока Франсуа Вийон остается с вашего соизволения бедным школяром, у которого ни гроша в кошельке, никаких перемен в его жизни не ждите.

— Милость господня всемогуща!

— Надо быть еретиком, чтобы оспаривать это,— сказал Франсуа.— Милостью господней вы стали владетелем Бризету и байи в Пататраке. А мне господь не уделил ничего, кроме смекалки и вот этих десяти пальцев. Можно еще вина? Почтительнейше благодарю. Милостью господней у вас превосходное винцо.

Владетель Бризету расхаживал по комнате, заложив руки за спину. Может быть, он еще не успел освоить сравнение солдат с ворами; может быть, Вийон вызывал в нем какое-то неисповедимое сочувствие, может быть, мысли его смешались просто от непривычки к таким рассуждениям,— как бы то ни было, ему почему-то хотелось направить этого молодого человека на путь истинный, и он не мог решиться выгнать его на улицу.

— Чего-то я все-таки не могу тут понять,— наконец сказал он.— Язык у вас хорошо подвешен, и дьявол далеко завел вас по своему пути, но дьявол слаб перед господом, и все его хитрости рассеиваются от одного слова истины и чести, как ночная темнота на рассвете. Выслушайте же меня. Давным-давно я постиг, что дворянин должен быть исполнен рыцарского благородства, должен любить бога, короля и даму своего сердца, и, хотя много неправедного пришлось мне повидать на своем веку, я все же стремился жить согласно этим правилам. Они записаны не только в мудрых книгах, но и в сердце каждого человека, лишь бы он только удосужился прочитать их. Вы говорите о пище и вине, я знаю, что голод — тяжкое испытание, которое трудно переносить, но как же не сказать о других нуждах, о чести, о вере в бога и в ближнего, о благородстве, о незапятнанной любви? Может быть, мне и не хватает мудрости — впрочем, так ли это? — но, на мой взгляд, вы человек, сбившийся с пути и впавший в величайшее заблуждение. Вы заботитесь о мелких нуждах и полностью забываете о нуждах великих, истинных. Вы уподобляетесь человеку, который будет лечить зубную боль в день страшного суда. А ведь честь, любовь и вера не только выше пищи и питья, но, как мне кажется, их-то мы алчем сильнее и острее мучимся, если лишены их. Я обращаюсь к вам пото-

му, что, кажется мне, вы меня легко можете понять. Стремясь набить брюхо, не заглушаете ли вы в сердце своем иного голода? И не это ли причина того, что вместо радости жизни вы испытываете лишь чувство горечи?

Вийон был явно уязвлен этими наставлениями.

— Так, по-вашему, я лишен чувства чести? — воскликнул он.— Да, бог тому свидетель, я нищий! И мне тяжело видеть, что богачи ходят в теплых перчатках, а я дую в кулак. С пустым брюхом жить нелегко, хотя вы говорите об этом с таким пренебрежением. Потерпи вы с мое, вы бы, может, запели иначе. Да, я вор, ополчайтесь на меня за это! Но, клянусь господом богом, я вовсе не исчадье ада. Знайте же, что есть у меня своя честь, не хуже вашей, хоть я и не хвастаю ею с утра до вечера, словно чудом господним. Нет в этом ничего примечательного, и я держу свою честь в суме, пока она мне не понадобится. Смотрите, вот вам пример: сколько времени я провел здесь с вами, в вашей комнате? Разве вы не сказали мне, что одни в доме? А эта золотая утварь! Вы сильны духом — допускаю, но вы старик, безоружный старик, а у меня с собой нож. Что стоит мне разогнуть руку в локте и всадить вам клинок в кишки, а там ищи меня по всем улицам с вашими кубками за пазухой! Думаете, не хватило у меня на это смекалки? Хватило! А все-таки я от этого отказался. Вот они, ваши проклятые кубки, целехоньки, как в ризнице. И у вас сердце отстукивает ровно, как часы. А я сейчас уйду отсюда таким же бедняком, каким и вошел, с единственной беляшкой, которой вы меня попрекаете. И вы еще говорите, что чувство чести мне неведомо, да разразит меня бог!

Старик поднял правую руку.

— Знаете, кто вы такой? — сказал он.— Вы разбойник, милейший, бесстыдный и бессердечный разбойник и бродяга. Я провел с вами только час. И, поверьте мне, я чувствую себя опозоренным! Вы ели и пили за моим столом, но теперь мне тошно видеть вас. Уже рассвело, и ночной птице пора в дупло. Пойдете вперед или за мной?

— Это как вам угодно,— сказал поэт, вставая со стула.— В вашей порядочности я не сомневаюсь.— Он задумчиво осушил свой кубок.— Хотел бы я уверовать и в ваш ум,— продолжал он, постучав себя пальцем по лбу,— но годы, годы! Мозги плохо работают, размягчаются.

Из чувства самоуважения старик пошел вперед; Вийон последовал за ним, посвистывая и заткнув большие пальцы за кушак.

— Да смилуется над вами господь,— сказал на пороге владетель Бризету.

— До свиданья, папаша,— ответил ему Вийон, зевая.— Премного благодарен за холодную баранину.

Дверь за ним захлопнулась. Над белыми крышами занимался рассвет. Студеное, хмурое утро привело за собой пасмурный день. Вийон стал посреди улицы и потянулся всем телом.

«Нудный старичок,— подумал он.— А любопытно, сколько могут стоить его кубки?»

ВИЛЛИ С МЕЛЬНИЦЫ

РАВНИНА И ЗВЕЗДЫ

Мельница, где жил Вилли со своими приемными родителями, стояла на склоне долины, среди сосновых лесов и горных вершин. Горы громоздились над мельницей, взмывали вверх из чащи темного леса и, обнаженные, рисовались на фоне неба. Высоко на лесистом склоне лежала длинная серая деревня, подобная шву или полосе тумана, а при ветре с гор звон церковных колоколов капля по капле доходил и до Вилли, тоненький и серебристый Ниже долина становилась все круче и круче, в то же время расширяясь в обе стороны; и с пригорка возле мельницы можно было видеть ее во всю длину, а за ней — широкую равнину, где река изгибалась, сверкала и текла от города к городу, направляясь к морю. Выше лежал переход в соседнее государство, и, как ни была тиха эта сельская местность, дорога, пролегавшая рядом с рекой, была оживленным средством сообщения между двумя блестящими и могущественными обществами. Все лето дорожные экипажи взбирались в гору или быстро мчались вниз мимо мельницы, но другой склон был гораздо легче для подъема, так что по этой тропе редко кто ездил, и из каждых шести карет, какие проезжали мимо Вилли, пять быстро мчались вниз по склону и только шестая ползла вверх. Еще чаще так бывало с пешеходами. Все туристы, путешествовавшие налегке, все бродячие торговцы, нагруженные заморскими

товарами, направлялись вниз, подобно реке, сопровождавшей их по пути. И это не все: когда Вилли был еще ребенком, гибельная война охватила почти весь мир. Газеты были полны вестей о поражениях и победах, земля дрожала от топота конницы, а иногда целыми днями и на много миль в окрестности шум битвы спугивал добрых людей, работавших в поле. Долгое время ни о чем этом не слышно было в долине, но под конец один из военачальников провел свою армию через горный перевал форсированным маршем, и в течение трех дней кавалерия и пехота, пушки и двуколки, барабаны и знамена потоком лились мимо мельницы вниз с горы. Весь день мальчик стоял и смотрел на проходящие мимо войска: мерный шаг, бледные, давно не бритые лица, загорелые скулы, полинялые мундиры и рваные знамена заражали его чувством усталости, вызывая жалость и удивление; и всю ночь напролет, когда он уже лежал в постели, ему слышно было громыхание пушек и топот ног, движение большой армии вперед и вниз мимо мельницы. Никому в долине так и не пришлось ничего услыхать о судьбе этой военной экспедиции: в эти тревожные времена сюда не доходили никакие слухи, но Вилли ясно понял одно: что ни один человек не вернулся. Куда же все они исчезли? Куда уходили все туристы и бродячие торговцы с заморскими товарами? Куда девались быстрые кареты с лакеями на запятках? Куда уходила вода реки, вечно стремящаяся вниз и снова приходящая сверху? Даже ветер чаще всего дул сверху вниз, унося с собой увядшие листья осенью. Это казалось ему великим заговором: все одушевленное и неодушевленное устремлялось вниз, быстро и весело устремлялось вниз, и только он один, казалось ему, оставался позади, словно колода при дороге. Иногда он радовался даже тому, что рыбы стоят головой против течения. Они по крайней мере были ему верны, тогда как все остальное мчалось вниз, в неведомый мир.

Однажды вечером он спросил мельника, куда течет река.

— Она течет по долине вниз,— ответил тот,— и вертит колеса многих мельниц: говорят, их больше сотни отсюда до Андердека,— и нисколько от этого не устает. А дальше она течет по низине и орошает обширную область, где сеют хлеба, проходит через множество красивых городов (так говорят), где одни-одинешеньки в огромных дворцах живут короли, а перед дверями у них расхаживают взад и вперед часовые. Она протекает под мостами, а на мостах стоят

каменные люди и с любопытной улыбкой засматривают в воду, и живые люди тоже глядят в воду, опершись локтями на перила. А река течет все дальше и дальше, через болота и пески, пока наконец не впадает в море, где плавают и корабли, что привозят из Индии попугаев и табак. Да, долгий путь лежит перед нею, после того как она с пением перельется через нашу плотину, благослови ее бог!

— А что такое море? — спросил Вилли.

— Море! — воскликнул мельник. — Помилуй нас, боже, это самое великое из того, что сотворил господь! Ведь это в него течет вся вода, какая только есть на земле, и сливается в большое соленое озеро. Так оно и лежит, ровное, как моя ладонь, и с виду невинное, как младенец; но говорят, что, если задует ветер, на нем поднимаются водяные горы, выше всех наших гор, и они топят большие корабли — куда больше нашей мельницы, и так ревут, что этот рев слышно на суше за много миль от берегов. В нем живут огромные рыбы, впятеро больше быка, а еще древний змий, длиной в нашу реку и старый, как мир, с усами, словно у человека, и с серебряной короной на голове.

Вилли подумал, что никогда еще не слыхивал ничего похожего, и стал расспрашивать мельника про тот мир, который лежал внизу по берегам реки, со всеми его опасностями и чудесами, а старый мельник оживился и сам и в конце концов взял мальчика за руку и повел его на возвышенность, господствовавшую над ущельем и равниной. Солнце близилось к закату и стояло низко на безоблачном небе. Все вокруг было облито золотым сиянием. Вилли еще никогда в жизни не видел такого широкого простора — он стоял и смотрел во все глаза. Ему были видны города, леса и поля, сверкающие изгибы реки и вся даль до той черты, где край равнины сходился с блистающими небесами. Непреодолимое волнение овладело мальчиком, его душой и телом, сердце забилось так сильно, что он не мог дышать, все поплыло у него перед глазами: ему казалось, что солнце крутится колесом и, вращаясь, отбрасывает странные тени, исчезающие с быстротой мысли и сменяющиеся другими. Вилли закрыл лицо руками и разразился бурными рыданиями, а бедняга мельник, страшно растерявшись и встревожившись, не придумал ничего лучше, как взять его на руки и молча унести домой.

Начиная с этого дня мальчик преисполнился новых надежд и стремлений. Что-то все время задевало струны

его сердца. Когда он предавался мечтам над стремительной гладью реки, вслед за бегущей водой уносились его желания, ветер, пробегавший по бесчисленным верхушкам деревьев, манил его; ветви кивали ему, словно указывая вниз; открытая дорога, огибая бесчисленные углы и повороты, все быстрее и быстрее спускалась по долине и пропадала из виду, неотступно маня его за собой. Он подолгу сидел на возвышенности, глядя вниз по течению реки и еще дальше, на плоские низины; следил за облаками, странствующими на крыльях медлительного ветра и влачащими лиловые тени по равнине; а не то он застаивался у дороги, провожая глазами кареты, с грохотом катившиеся вниз по берегу реки. Что это было — не имело значения; но, что бы ни уходило туда, будь то облако или карета, птица или темная вода потока. сердце его восторженно рвалось вслед за ними.

Ученые люди говорят, будто причина всех приключений моряков, всех переселений племен и народов на суше не что иное, как простой закон спроса и предложения и вполне естественный инстинкт, который ищет более дешевой жизни. Всякому, кто способен вдуматься глубже, это объяснение покажется жалким и неумным Племена, пришедшие толпами с Севера и Востока, если их и вправду гнали вперед другие племена, наступавшие сзади, испытывали в то же время магнетическое влияние Юга и Запада. Слава иных стран дошла до них; имя вечного города звучало в их ушах, они были не колонизаторы, а пилигримы; они влеклись к вину, золоту и солнцу, но сердца их искали чего-то высшего. Это божественное беспокойство, эта древняя жгучая тревога человечества, создавшая все высокие достижения и все горестные неудачи, та, что расправляла крылья вместе с Икаром, та, что послала Колумба в пустыню Атлантического океана,— она же вдохновляла и поддерживала варваров в их опасном походе. Есть одна легенда, глубоко выражающая дух пилигримов,— легенда о том, как летучий отряд этих странников повстречал дряхлого старика, обутого в железные башмаки. Старик спросил, куда они идут, и ему дружно ответили: «В Вечный Город!» Он посмотрел на них строгим взглядом:

— Я искал его по всему свету. Три пары таких башмаков, какие и сейчас на мне, я износил в этих странствиях, и теперь четвертая изнашивается на моих ногах. И за все это время я так и не нашел вечного города.

Он повернулся и один побрел своей дорогой, они же стояли в изумлении.

И все же эта легенда едва ли могла сравниться для Вилли с силой его стремления к равнине. Если б он только мог спуститься туда и зайти подальше, его зрение, казалось ему, очистилось бы и прояснилось, слух обострился бы, и даже дышать стало бы для него наслаждением. Здесь он захирел, как пересаженное растение: он жил на чужбине и тосковал по родине. Мало-помалу он собрал обрывочные сведения о мире, простиравшемся внизу; о реке, вечно движущейся и становившейся все шире и, наконец, вливавшейся в величавый океан; о городах, где много прекрасных людей, журчащих водометов, оркестров и мраморных дворцов, где целыми ночами горят от края до края искусственные золотые звезды; о больших церквах; о полных премудрости университетах; о доблестных войсках и несчетных сокровищах, нагроможденных в подвалах; о надменном пороке, не боящемся дневного света; о молниеносной быстроте полуночных убийств. Я уже говорил, что он тосковал, словно по родине — это сравнение остается в силе. Он походил на человека, пребывающего в расплывчатых сумерках, в преддверии бытия и простирающего руки к многоцветной и многозвучной жизни. Не удивительно, что он несчастлив, говорил он, бывало, рыбам: рыбы созданы для такой жизни, им ничего не надо, кроме червяков, и быстротекущей воды, да норы под осыпающимся берегом; но он устроен по-другому, полон желаний и надежд, руки у него чешутся, глаза разбегаются, и одним лицезрением пестроты этого мира он довольствоваться не может. Настоящая жизнь, настоящее яркое солнце — далеко внизу, на равнине. О, если б увидеть этот солнечный свет хотя бы раз; ликуя, пройти по золотой стране; услышать искусных певцов и мелодичный звон церковного колокола; увидеть праздничные сады! «И, о рыбы!— восклицал он.— Если б вы только могли повернуть носы вниз по течению, вам легко было бы доплыть до тех сказочных вод, и увидеть, как большие корабли проходят у вас над головой, подобно облакам, и весь день слышать музыку водяных громад, гремящую над вами». Но рыбы по-прежнему терпеливо глядели в свою сторону, так что в конце концов Вилли сам не знал, плакать ему или смеяться.

До сих пор движение на дороге воспринималось Вилли, как нечто увиденное на картине; быть может, он обмени-

вался поклонами с туристами или в окне кареты мельком замечал старика в дорожной фуражке, но по большей части это был просто символ, на который он глядел только со стороны и даже с каким-то суеверным чувством. В конце концов пришло время, когда все это должно было перемениться. Мельник, который был в какой-то мере человек корыстный и никогда не упускал случая нажиться честным образом, превратил мельницу в маленькую придорожную харчевню, а когда несколько удачных случаев помогли ему, построил при ней конюшню и добился места почтмейстера на этой дороге. Теперь обязанностью Вилли было прислуживать людям, когда они садились закусывать в маленькой беседке в саду при мельнице; и можете быть уверены, что, принося им вино или омлет, он внимательно прислушивался к разговорам и узнал многое о мире. Мало того, он даже вступал в разговор с гостями-одиночками и ловкими вопросами и вежливым вниманием не только утолял свое любопытство, но и завоевывал расположение путешественников. Многие поздравляли стариков с таким слугою; а один профессор хотел даже увезти его с собой на равнину и дать ему настоящее образование. Мельник с женой очень этому удивились и еще больше обрадовались. Как хорошо, думалось им, что они открыли такую гостиницу!

— Видите ли,— замечал старик,— у него талант — быть трактирщиком, он просто не мог бы стать чем-то другим!

И так шла эта жизнь в долине, и все живущие в ней были ею очень довольны,— все, кроме Вилли. Каждая карета, отъезжавшая от дверей гостиницы, казалось, увозила с собой какую-то часть его самого, и, когда люди в шутку предлагали подвезти его, он с трудом подавлял волнение. Ночь за ночью ему снился один и тот же сон: встревоженные слуги будят его, и великолепная карета ждет у дверей, чтобы увезти его на равнину,— ночь за ночью, пока этот сон, сначала казавшийся ему светлым и радостным, не начинал омрачаться и ночной зов и приехавшая за ним карета не становились чем-то таким, чего надо было и страшиться и ждать с надеждой.

Однажды, когда Вилли было лет шестнадцать, на закате солнца в харчевню приехал толстый молодой человек и остался ночевать. Вид у него был довольный, глаза веселые, за спиной висел рюкзак. Пока готовили обед, он уселся в беседке читать книжку, но, как только заметил

Вилли, отложил книгу в сторону; он был явно из тех, которые предпочитают живых собеседников бумаге и чернилам. Вилли, со своей стороны, хотя и не слишком заинтересовался путником с первого взгляда, скоро испытал немалое удовольствие от его речей, доброжелательных и полных здравого смысла, а под конец почувствовал и уважение к его характеру и учености. Они просидели далеко за полночь, и около двух часов утра Вилли открыл молодому человеку свое сердце и рассказал, как ему хочется уйти из долины и какие пылкие надежды связаны для него с городами на равнине. Молодой человек свистнул, а потом заулыбался.

— Мой юный друг,— заметил он,— ты, конечно, очень занятный человечек и хочешь очень многого такого, чего никогда не получишь. Да ведь тебе стало бы попросту стыдно, если б ты знал, как мальчики в этих твоих сказочных городах гонятся за тем же вздором, что и ты, и стремятся в горы, надрывая из-за этого сердце. И позволь мне сказать тебе: тому, кто попадет на равнину, очень скоро захочется снова вернуться в горы. Воздух там не такой легкий и не такой чистый, как здесь,— и солнце там не ярче. А твои красивые люди, мужчины и женщины, как ты сам увидишь, ходят в отрепьях, а многие из них изуродованы ужасными болезнями; и в городе так нелегко жить людям бедным и слишком чувствительным, что многие предпочитают сами покончить с собой.

— Вы, должно быть, считаете меня простаком,— отвечал ему Вилли.— Хотя я не бывал нигде, кроме нашей долины, поверьте мне, я вовсе не слеп. Я знаю, что одни твари живут на счет других: рыбы, например, подстерегают в заводи себе подобных, а пастух, который так живописно несет домой ягненка, только для того и несет его, чтобы зарезать на обед. Я вовсе не думаю, что в ваших городах все окажется хорошо и правильно. Не это меня смущает: может, так и было когда-нибудь, но я, хоть и прожил здесь всю свою жизнь, о многом расспрашивал и многое узнал за последние годы — узнал довольно, чтобы излечиться от моих прежних фантазий. Но вы же не хотите, чтоб я издох как собака, не увидев всего, что нужно увидеть, не сделав всего, что человеку должно сделать, будь то хорошее или дурное? Вы не хотите, чтоб я провел всю жизнь здесь, между этой вот дорогой и этой рекой, даже не сделав попытки воспрянуть духом и начать жить?

Лучше покончить с собой, чем и дальше топтаться на месте, как сейчас!— воскликнул он.

— Тысячи людей живут этой жизнью, как и ты, и обычно они бывают счастливы,— заметил молодой человек.

— Ах!— сказал Вилли.— Если желающих так много, то почему бы одному из них не занять мое место?

Стало совсем темно; в беседке висела лампа, освещая стол и лица собеседников, и по всему своду беседки листья, облитые светом, выделялись на ночном небе узором прозрачной зелени на темно-лиловом фоне. Толстый молодой человек встал и, взяв Вилли за плечо, вывел его под открытое небо.

— Смотрел ли ты когда-нибудь на звезды? — спросил он, указывая на небо.

— Очень и очень часто,— ответил Вилли.

— А ты знаешь, что такое звезды?

— Я их представляю себе по-разному.

— Это миры такие же, как наш,— сказал молодой человек.— Одни из них меньше нашего, другие — в миллион раз больше; а некоторые из крохотных искорок, едва видных тебе, не только миры, но целые рои миров, кружащихся в пространстве один вокруг другого. Мы не знаем, что там; может быть, там есть и ответ на все наши неразрешенные вопросы или средство избавить нас от страданий, однако нам никогда до них не добраться; никакое искусство первейших умельцев не сможет снарядить и отправить корабль к ближайшему из наших спутников, да и жизни самых долговечных из нас не хватит на такое путешествие. Проиграно ли большое сражение, умер ли наш лучший друг, погружены ли мы в уныние или торжествуем, они все так же неутомимо сияют над нами. Мы можем стоять здесь внизу, собравшись хоть целой толпой, и кричать, покуда не разорвется сердце, а до них все же не дойдет ни звука. Мы можем взобраться на самую высокую гору — и все-таки не станем к ним ближе. Все, что нам доступно,— это стоять здесь, в саду, сняв шляпу; звездное сияние льется на наши головы, и там где у меня небольшая лысина, ты, я думаю, можешь заметить светлое пятно в темноте. Гора и мышь. Это, кажется, все, что у нас есть или будет общего с Арктуром или Альдебараном. Понятна ли тебе эта притча? — прибавил он, кладя руку на плечо Вилли.— Это не то же, что довод, но обычно действует гораздо убедительнее.

Вилли сначала повесил было голову, потом снова поднял ее к небесам. Звезды казались теперь как будто крупнее, лучи их — острее и ярче; а когда он вглядывался все пристальнее и пристальнее в вышину, то их число словно множилось под его взглядом.

— Я понимаю,— сказал он, оборачиваясь к молодому человеку.— Мы словно в мышеловке.

— Да, похоже на это. Видел ты, как одна белка крутится в колесе, а другая сидит и философски грызет орехи? Нечего и спрашивать, которая из них покажется тебе глупее.

ПАСТОРОВА МАРДЖОРИ

Через несколько лет старики умерли, оба в одну и ту же зиму; приемный сын очень заботливо ухаживал за ними и очень тихо горевал о них, когда их не стало. Люди, знавшие о его тяге к путешествиям, думали, что он поспешит продать все имущество и пустится вниз по реке на поиски счастья. Но он ничем не проявил такого намерения. Напротив, он ввел кое-какие улучшения в гостинице, нанял двоих слуг себе в помощники и зажил хозяином — любезный, разговорчивый и непонятный молодой человек, шести с лишком футов ростом, с железным здоровьем и приветливым голосом. В скором времени он начал приобретать славу какого-то чудака; удивляться этому не стоило, ведь и всегда у него были странные понятия и сомневался он даже в самых обычных вещах; но всего больше пошло о нем разговоров из-за пасторовой Марджори, за которой он ухаживал.

Пасторова Марджори была девушка лет девятнадцати, в то время как Вилли было уже под тридцать; довольно хорошенькая и гораздо лучше воспитанная, чем другие девушки в этой части страны, как ей и подобало по происхождению. Она держала себя очень гордо и успела уже с надменностью отказать нескольким женихам, за что соседи ее строго осудили. При всем том она была хорошая девушка, такая, которая могла осчастливить любого мужчину.

Вилли очень редко с ней виделся; хотя церковь и пасторский дом стояли всего в двух милях от его усадьбы, он ходил туда только по воскресеньям. Случилось, однако, что пасторский дом обветшал, и его понадоби-

лось переделывать и ремонтировать, а пастор с дочкой сняли на месяц или около того помещение в гостинице Вилли за весьма умеренную плату. Наш друг был теперь человек состоятельный; у него была гостиница, мельница да сбережения старого мельника; кроме того, он славился хорошим, ровным характером и практическим умом, что в браке значит немало; и недоброжелатели стали судачить, что пастор с дочкой знали, что делали, выбирая себе временное жилье. Вилли был вовсе не такой человек, чтоб его можно было заманить или запугать и заставить жениться. Стоило только взглянуть ему в глаза, прозрачные и спокойные, словно озера, и все же светившиеся изнутри ясным светом, и сразу становилось понятно, что перед вами человек, который знает, чего хочет, и будет твердо стоять на своем.

Марджори и сама была отнюдь не робкого десятка, с уверенным, твердым взглядом и решительными, спокойными манерами. В конце концов было неизвестно, у кого тверже характер и кто из них в супружестве станет верховодить. Но Марджори даже и не задумывалась об этом, а сопутствовала отцу без всякой задней мысли. Сезон еще только начинался, и гости к Вилли наезжали редко, но сирень уже цвела, а погода стояла такая мягкая, что обедали в беседке, и река шумела у них в ушах, и леса вокруг звенели птичьими песнями. Вилли вскоре начал испытывать особое удовольствие от таких обедов. Пастор был довольно скучным собеседником, имея привычку дремать за столом; но от него нельзя было услышать грубого или недоброго слова. А что до пасторской дочки, то она применилась к новой обстановке с таким тактом, какой только можно вообразить, и все, что она говорила, было так мило и кстати, что Вилли возымел самое лестное мнение о ее талантах. Когда она наклонялась вперед, он видел ее лицо на фоне соснового леса, глаза ее тихо сияли, свет, словно вуалью, окружал ее волосы, ямочки на бледных щеках создавали некое подобие улыбки, и Вилли не мог не заглядываться на нее в приятном смущении. Даже в самые спокойные свои минуты она казалась такой цельной и полной жизни до кончиков пальцев, что все остальные выглядели по сравнению с ней просто неживыми; и если Вилли, отводя от нее глаза, взглядывал на все, что ее окружало, деревья казались ему неодушевленными и бесчувственными, облака висе-

ли в небе как мертвые и даже вершины гор теряли свое очарование. Вся долина не могла выдержать сравнения с этой одной девушкой.

В обществе себе подобных Вилли всегда бывал наблюдателен, но его наблюдательность обострялась почти болезненно в присутствии Марджори. Он вслушивался в каждое ее слово и старался прочесть в ее глазах то, что оставалось невысказанным. Много простых, добрых и искренних слов находили отклик в ее сердце. Он начинал понимать, что перед ним душа, прекрасная в своей уравновешенности, не ведающая ни сомнений, ни желаний, облеченная в спокойствие. Невозможно было отделить ее внутренний мир от ее внешности. Движение руки, тихий голос, свет ее глаз, линии тела звучали согласно с ее серьезной и кроткой речью, словно аккомпанемент, который поддерживает голос певца и гармонически сливается с ним. Ее влияние следовало воспринимать как нечто единое, благодарно и радостно, не судя и не анализируя. Ее облик напоминал Вилли что-то из времен детства, а мысль о ней становилась в один ряд с мыслью об утренней заре, о журчащей воде, о ранних фиалках и сирени. Таково свойство вещей, увиденных впервые или впервые после долгого забвения, как цветы весной,— пробуждать в нас остроту чувств и то впечатление таинственной новизны, которое без этого с годами уходит; но созерцание любимого лица — вот что обновляет человека, возвращая его к истокам жизни.

Однажды после обеда Вилли прогуливался среди сосен; сосредоточенное блаженство охватило все его существо; прогуливаясь, он улыбался сам себе и окружающей его природе. Река бежала среди камней с мелодичным журчанием; какая-то птица громко пела в лесу, вершины гор казались неизмеримо высокими, и когда он время от времени взглядывал на них, они как будто следили за его движениями с доброжелательным, но грозным любопытством. Путь его вел к той возвышенности, которая царила над равниной; там он сел на камень и погрузился в глубокое и приятное раздумье. Равнина уходила вдаль со всеми своими городами и серебряной рекой; все погрузилось в сон, кроме стаи птиц, которые, то поднимаясь, то падая, вихрем кружились в воздушной синеве. Вилли громко произнес имя Марджори, и оно прозвучало, лаская его слух. Он закрыл глаза, и ее образ возник перед ним, светозар-

но спокойный и овеянный добрыми мыслями. Река могла струиться вечно, птицы — подниматься все выше и выше, пока не достигнут звезд. Он понимал, что все это — в конце концов пустая суета, ибо здесь, не сделав ни шагу, терпеливо поджидая в своей тесной долине, он тоже дождался и его озарило иное, лучшее солнце.

На следующий день — пока пастор набивал свою трубку, Вилли произнес через стол нечто вроде объяснения в любви.

— Мисс Марджори,— сказал он,— я еще не знал девушки, которая бы мне нравилась так, как вы. Я человек скорее холодный и не очень любезный, но это не от бессердечия, а оттого, что я думаю обо всем по-своему; и мне кажется, что люди далеки от меня. Я словно отгорожен от них каким-то кругом, и в нем нет больше никого, кроме вас; я слышу, как говорят и смеются другие, но только вы одна подходите близко. Может быть, это вам неприятно?— спросил он.

Марджори ничего не ответила.

— Говори же, девочка,— сказал пастор.

— Нет, зачем же,— возразил Вилли.— Я бы не хотел торопить ее, пастор. Сам я чувствую, что язык у меня связан — я не привык говорить,— а она женщина, почти ребенок, если уж на то пошло. А мне, насколько я понимаю, что под этим подразумевают другие, мне кажется, что я влюблен. Мне не хотелось бы, чтобы меня считали женихом; я еще, может, и ошибаюсь; но мне все-таки кажется, что я влюблен. А если мисс Марджори не чувствует того же, то не будет ли она любезна хоть покачать головой?

Марджори молчала и не подавала никакого знака, что она это слышала.

— Ну, так как, по-вашему, пастор?— спросил Вилли.

— Девочка должна сама ответить,— сказал пастор, кладя трубку на стол.— Вот наш сосед говорит, что любит тебя Мэдж. А ты любишь его? Да или нет?

— Я думаю, что да,— едва слышно ответила Марджори.

— Ну что ж, большего и желать нечего! — воскликнул Вилли от всего сердца. И он через стол притянул к себе ее руку и удовлетворенно сжал ее обеими руками.

— Вам следует пожениться,— заметил пастор, снова беря трубку в рот.

— Вы думаете, это будет правильно?— спросил Вилли.

— Это необходимо,— сказал пастор.

— Очень хорошо,— ответствовал поклонник.

Прошло два или три дня в великой радости для Вилли, хотя наблюдатель со стороны вряд ли это заметил бы. Вилли все так же сидел за обедом против Марджори, разговаривал с ней и глядел на нее в присутствии ее отца, но не пытался ни увидеться с ней наедине, ни изменить хоть в чем-нибудь свое поведение против того, каким оно было с самого начала. Возможно, девушка была слегка разочарована, и, возможно, не без основания; а между тем, если б было достаточно одного того, чтобы постоянно присутствовать в мыслях другого человека и тем самым изменить и наполнить всю его жизнь, то Марджори могла быть довольна. Ибо мысль о ней ни на минуту не покидала Вилли. Он сидел над рекой, глядя на водяную пыль, на стоящую против течения рыбу, на колеблемые течением водоросли; он бродил один в лиловых сумерках, и все черные дрозды в лесу распевали вокруг него; он вставал рано утром и видел, как небо из серого становится золотым и свет заливает вершины гор; и все это время он дивился, отчего не замечал ничего этого раньше и отчего теперь все кажется ему совершенно иным. Шум его собственного мельничного колеса или шум ветра в ветвях деревьев тревожил и чаровал его сердце. Самые пленительные мысли непрошенно вторгались в его душу. Он был так счастлив, что не мог спать по ночам, и так взволнован, что без Марджори не мог усидеть на месте ни минуты. Но все же казалось, что он скорее избегает ее общества, чем ищет его.

Однажды днем, когда Вилли возвращался с прогулки, Марджори была в саду и рвала цветы; поравнявшись с ней, он замедлил шаг и пошел рядом.

— Вы любите цветы? — спросил он.

— Да, я очень их люблю,— ответила Марджори.— А вы?

— Нет, не очень,— ответил он.— Как подумаешь, это такая малость в конце концов. Я могу понять, что люди любят цветы, но не понимаю, когда поступают так, как вы сейчас.

— То есть как это?— спросила она, останавливаясь и глядя на него.

— Когда рвут цветы,— сказал он.— Им гораздо лучше там, где они растут, и выглядят они куда красивее, если хотите знать.

— Мне хочется, чтобы они стали моими,— ответила она,— прижать к сердцу, держать у себя в комнате. Они меня искушают; они как будто говорят: «Приди и возьми нас»,— но, как только я сорву их и поставлю в воду, все волшебство пропадает, и я уже смотрю на них спокойно.

— Вы хотите обладать ими,— возразил Вилли,— для того, чтобы больше о них не думать. Все равно, что разрезать гусыню, несущую золотые яйца. Похоже на то, чего и мне хотелось, когда я был мальчишкой. Оттого, что я любил смотреть на равнину, мне хотелось туда спуститься — а ведь оттуда я уже не мог бы на нее смотреть. Правда, хорошо рассуждал? Боже, боже, если б только люди подумали, они все поступали бы, как я: и вы бы оставили в покое свои цветы, как и я остался здесь в горах.— И вдруг он резко оборвал свою речь.— Вот ей-богу!— воскликнул он. Когда же она спросила его, в чем дело, он уклонился и не ответил ей, а вернулся в комнаты с довольным выражением лица.

За столом он молчал, а после того как спустилась тьма и звезды засияли в небе, он несколько часов ходил по двору и саду неровными шагами. В окне Марджори еще горел свет; маленький оранжевый овал в мире темно-синих гор и серебряного звездного света. Мысли Вилли все возвращались к этому окну, но не были похожи на мысли влюбленного. «Она здесь, в своей комнате,— думал он,— а звезды там, в небе,— благословение божье да будет над ней и над ними!» И она и они благотворно влияли на его жизнь, утешали его и поддерживали его глубокое удовлетворение окружающим миром. Чего же больше мог он желать от нее и от них? Толстый молодой человек со своими советами был так близок его душе, что он запрокинул голову и, приложив руки ко рту, громко крикнул в полное звезд небо. То ли от запрокинутой головы, то ли от резкого усилия ему показалось, что звезды словно дрогнули на мгновение и от одной к другой по всему небу раскинулись ледяные лучи. В тот же миг один уголок занавески в окне приподнялся и сразу же упал. Он громко рассмеялся: «Хохо!» «И она и звезды?»— подумал Вилли.

«Звезды задрожали, и занавеска поднялась. Должно быть, я великий чародей, ей-богу! Если бы я был просто дурак, хорош бы я был!» И он отправился ко сну, посмеиваясь про себя: «Если бы я был просто дурак!»

На следующее утро, очень рано, он снова увидел Марджори в саду и подошел к ней.

— Я думал о том, надо ли нам жениться,— сразу начал он,— и, обдумав все как следует, решил, что не стоит.

Она взглянула было на него, но его сияющее, добродушное лицо в такую минуту смутило бы и ангела, и она молча потупилась. Он видел, что она задрожала.

— Я надеюсь, вы не обидитесь,— продолжал он, слегка растерявшись.— Не надо. Я уже все обдумал, и, честное слово, нестоящее это дело. Мы никогда не будем ближе, чем сейчас, и, если я хоть что-нибудь смыслю, мы никогда не будем так счастливы.

— Со мной нет надобности ходить вокруг до около,— сказала Марджори.— Я хорошо помню, что вы отказались связать себя; а теперь я вижу, что вы ошиблись и никогда меня не любили; мне жаль только, что я была введена в заблуждение.

— Простите,— сказал Вилли твердо,— но вы не хотите меня понять. Любил я вас или нет, это пусть судят другие. Но, во-первых, мое чувство к вам не изменилось, а во-вторых, вы можете гордиться тем, что изменили всю мою жизнь и меня самого. Я говорю, что думаю,— не более и не менее. Мне кажется, что нам с вами не стоит жениться. По-моему, лучше, если вы по-прежнему станете жить с вашим отцом так, чтобы я мог ходить к вам, как люди ходят в церковь, и видеть вас хотя бы раз или два в неделю, и тогда мы чувствовали бы себя счастливее между свиданиями. Вот мое мнение. Но, если вы хотите, я на вас женюсь,— прибавил он.

— Вы понимаете, что оскорбили меня?— не выдержала она.

— Нет, Марджори, нет,— сказал он,— если только чистая совесть что-нибудь значит,— нет. Я отдаю вам лучшие чувства моего сердца, в вашей власти принять их или отвергнуть, хотя мне кажется, что ни в вашей и ни в моей власти изменить то, что произошло, и вернуть мне свободу. Я женюсь на вас, если хотите, но опять повторяю вам, что это не стоит делать, и лучше нам остаться друзьями. Хоть я человек тихий, но многое видел в своей жизни. Поверьте же мне и примите это так, как я вам предлагаю; или же, если не хотите, скажите слово, и я сейчас же на вас женюсь.

Наступило долгое молчание, и Вилли, который начал чувствовать себя неловко, начал поэтому и сердиться.

— Кажется, вы слишком горды, чтобы высказаться,— продолжал он.— Поверьте, это очень жаль. Проще жить, если ты откровенен до конца. Разве может мужчина относиться к женщине более честно и прямо, нежели я? Я сказал свое слово, а выбор предоставляю вам. Хотите ли вы стать моей женой? Или примете мою дружбу, что мне кажется лучше? Или же я вам больше не нужен? Откройтесь, бога ради! Ведь ваш отец говорил вам, что девушка в этих делах должна высказать свое мнение.

Тут она словно пришла в себя, повернулась, и, не говоря ни слова, быстро прошла через сад и скрылась в доме, оставив Вилли в некотором недоумении. Он расхаживал взад и вперед по саду, тихо насвистывая. Иногда он останавливался и созерцал небо и вершины гор; иногда подходил к концу плотины и садился там, бессмысленно уставившись в воду. Все эти колебания и волнения были так чужды его натуре и той жизни, которую он сознательно избрал для себя, что он пожалел было о приезде Марджори. «В конце концов,— думал он,— я был счастлив, насколько можно желать. Я приходил сюда и весь день глядел на моих рыб, если хотел; я был спокоен и доволен жизнью, как моя старая мельница».

Марджори сошла вниз к обеду очень подобранная и спокойная и, как только все трое уселись за стол, обратилась к отцу, опустив глаза и глядя в тарелку, однако не выказывая никаких иных признаков смущения и тревоги.

— Отец,— начала она,— мы с Вилли переговорили обо всем. Мы поняли, что оба ошибались в своих чувствах, и он согласился по моей просьбе оставить всякую мысль о браке со мной, и быть мне не больше чем хорошим другом, как и прежде. Ты видишь, что тут нет и тени ссоры, я очень надеюсь, что мы будем часто видеться, и его посещения всегда нам будут приятны. Разумеется, тебе виднее, отец, но, быть может, нам лучше теперь уехать от мистера Вилли. Я думаю, после того, что произошло, мы вряд ли будем желанными гостями.

Вилли, который с самого начала едва владел собою, в ответ на ее слова издал какой-то нечленораздельный звук и поднял руку в испуге, словно желая прервать ее и возразить ей. Но она с гневным румянцем на щеках сразу остановила его быстрым взглядом.

— Вы, быть может, будете добры и позволите мне самой объяснить все.

Вилли был совершенно сбит с толку выражением ее лица и тоном голоса. Он смолчал, решив про себя, что в этой девушке много такого, чего он понять не в состоянии — в чем и был совершенно прав.

Бедный пастор совсем приуныл. Он пытался внушить им, что это не более как размолвка истинно влюбленных, которая должна кончиться примирением еще до вечера; а когда его разубедили, принялся доказывать, что раз не было ссоры, то и расходиться не надо,— этому доброму старику по душе пришлись и здешний стол и сам хозяин. Любопытно было видеть, как девушка вертит ими обоими; говорила она очень мало, вполголоса и все-таки обвела их вокруг пальца, незаметно направляя туда, куда ей хотелось, с женским тактом руководя ими. Нельзя было почувствовать, что это — дело ее рук, казалось, вышло само собой, что они с отцом выехали в тот же день на фермерской повозке и отправились ниже по долине в другую деревушку дожидаться, пока будет готов их дом. Но Вилли наблюдал за ней пристально и видел всю ее решительность и ловкость. Когда он остался один, ему пришлось долго думать и раздумывать о многих любопытных вещах. Начать с того, что ему было очень грустно и одиноко. Пропал весь его интерес к жизни; он мог смотреть на звезды сколько угодно, но почему-то не находил в них ни поддержки, ни утешения. А кроме того, он переживал такое смятение духа из-за Марджори. Его удивляло и сердило ее поведение, и все же он невольно восхищался им. Вилли думал, что сумел теперь распознать присутствие хитрого и коварного ангела в этой тихой душе, о чем он до сих пор не подозревал; и хотя он понимал, что такой характер вряд ли подойдет к налаженному спокойствию его жизни, все же не мог себя пересилить и страстно желал завладеть этой душой. Ему было и больно и радостно, словно человеку, который жил в тени и вдруг попал на солнце.

С течением времени он переходил от одной крайности к другой: то гордился силой своей решимости, то презирал себя за робость и глупую осмотрительность. Первое, возможно, было настоящей его мыслью, идущей из глубины сердца, и являлось истинным содержанием всех его размышлений; но последнее прорывалось время от времени с неожиданной силой, и тогда он забывал об осторожности и

расхаживал по дому и по саду или бродил по сосновому лесу, терзаясь поздними сожалениями. Для уравновешенного, спокойного по характеру Вилли такие муки были невыносимы, и он решил положить им конец, чего бы это ни стоило. И вот в один жаркий летний день Вилли надел праздничное платье, взял терновый хлыст и спустился в долину по берегу реки. Как только решение было принято, на сердце у него сразу стало так же легко, как всегда, и он наслаждался ясной погодой и разнообразием видов без всякой примеси тревоги и тягостного волнения. Ему стало почти все равно, чем кончится дело. Если она примет его предложение, придется на ней жениться, и это, быть может, выйдет к лучшему. Если же откажет, он все-таки сделал все, что мог, и отныне сможет жить по-своему, со спокойной совестью. Ему скорее хотелось, чтоб она отказала, и все же, завидев, как темная кровля, приютившая Марджори, выглядывает из-под ив на повороте реки, он уже не желал этого и чуть ли не стыдился своей слабости и своих колебаний.

Марджори, казалось, была рада его видеть и сразу же подала ему руку без всякого жеманства и замешательства.

— Я все думал о нашем браке,— начал он.

— Я тоже,— отвечала она.— И я все больше и больше уважаю вас как очень умного человека. Вы поняли меня лучше, чем я сама себя понимала; и теперь я вполне уверена, что надо оставить все так, как есть.

— И в то же время...— отважился было Вилли.

— Вы, должно быть, устали,— прервала она его.— Садитесь, я принесу вам стакан вина. День такой жаркий, а я не хочу, чтобы вы ушли от нас без угощения. Приходите к нам почаще, если найдется время,— я всегда очень рада видеть своих друзей.

«Что ж, очень хорошо,— подумал Вилли.— Кажется, в конце концов я был прав».

Он очень приятно провел время в гостях, ушел домой в превосходном настроении и больше не беспокоился на этот счет.

Почти три года Вилли и Марджори все так же продолжали видеться дважды в неделю и без единого слова о любви, и я думаю, что все это время Вилли был настолько счастлив, насколько может быть счастлив человек. Он лишь изредка позволял себе видеться с Марджори, а чаще проходил полдороги до пасторского дома и поворачи-

вал обратно, как будто для того, чтобы еще больше захотелось ее видеть. И был там такой уголок дороги, откуда видно было церковную колокольню, вклинившуюся в ущелье между поросшими еловым лесом склонами с треугольником равнины на заднем плане, где он очень полюбил сидеть и раздумывать перед возвращением домой; а крестьяне так привыкли видеть его там в сумерки, что этому месту дали прозвище: «Уголок Вилли с мельницы».

Не прошло еще и трех лет, как Марджори сделала ему сюрприз: взяла да и вышла замуж за другого. Вилли держался молодцом, не подал и виду, заметил голько, что, как ни мало он знает женщин, он поступил разумно, что не женился на ней три года назад. Ясно, что она сама не знает, чего хочет, и хоть ее поведение может ввести в обман, она так же непостоянна и переменчива, как и все прочие. Он говорил, что ему остается разве только поздравить себя с благополучным исходом дела и отныне он будет гораздо лучшего мнения о собственной проницательности. Но в душе он сильно огорчился, очень хандрил месяца два и даже похудел, к удивлению своих работников.

Прошел, быть может, год после замужества Марджори, когда однажды поздней ночью Вилли разбудил конский топот на дороге и торопливый стук в дверь гостиницы. Отворив окно, он увидел верхового с фермы, державшего на поводу вторую лошадь; тот сказал, чтоб он собирался как можно скорей и ехал вместе с ним; Марджори умирает и срочно прислала за ним, требуя его к своему смертному ложу. Вилли совсем не умел ездить верхом и ехал так медленно, что бедная молодая женщина была уже при смерти, когда он приехал. Но они все же поговорили несколько минут с глазу на глаз, и, когда она испустила последнее дыхание, он был при ней и плакал горько.

СМЕРТЬ

Год за годом уходили в небытие с великими волнениями и смутами в городах на равнине; вспыхивали кровавые бунты, и их топили в крови; в битвах одолевала то одна, то другая сторона; терпеливые астрономы на башнях обсерваторий открывали новые звезды и давали им названия; в ярко освещенных театрах шли пьесы; людей уносили в больницы на носилках — шла обычная суета и волнение человеческой жизни в местах людских скопищ. А наверху,

в долине Вилли, только ветер и времена года приносили перемену: рыбы стояли в быстрой реке, птицы кружили в небе, вершины сосен шумели под звездами; надо всем высились громадные горы, а Вилли расхаживал взад и вперед, хлопоча в своей придорожной гостинице, покуда не поседел. Сердце его было молодо и крепко, и если пульс его бился медленнее, он все еще бился сильно и ровно. На обеих щеках у него алел румянец, как на спелом яблоке; он слегка сутулился, но его походка была еще тверда, и мускулистые руки протягивались к каждому с дружеским пожатием. Его лицо покрывали те морщины, которые появляются у людей на свежем воздухе, и, если их как следует рассмотреть, оказываются чем-то вроде постоянного загара: эти морщины делают глупое лицо еще глупее, но такому, как Вилли, с его ясными глазами и улыбающимся ртом, они только придают привлекательность, свидетельствуя о простой и спокойной жизни. Разговор его был полон мудрых пословиц. Он любил людей, и люди любили его. В разгар сезона, когда долина была полна туристов, в беседке Вилли по вечерам начиналось веселье; и его взгляды, казавшиеся странными его соседям, часто вызывали восхищение ученых людей из городов и университетов. И действительно, старость его была самая благородная, и его добрая слава росла день ото дня и дошла до городов на равнине; молодые люди, которые путешествовали летом, собравшись зимой в кафе, рассказывали о Вилли с мельницы и его простой философии. Можете быть уверены, что многие и многие приглашали его к себе, но ничто не могло выманить Вилли из его горной долины. Он только покачивал головой и многозначительно улыбался, покуривая свою трубку.

— Вы опоздали,— отвечал он,— во мне теперь все мертво: я прожил свою жизнь и давно умер. Пятьдесят лет тому назад вы, быть может, взволновали бы меня до глубины души, а теперь я даже не чувствую соблазна. Но в том и заключается смысл долголетия, чтобы человек перестал дорожить жизнью.

И еще:

— Между хорошим обедом и долгой жизнью только та разница, что за обедом сладкое подают в конце.

Или еще:

— Когда я был мальчишкой, я еще плохо разбирался и не мог решить, что̀ любопытнее и достойнее вни-

мания: я сам или окружающий мир. Теперь я знаю, что я сам, и стою на этом.

Он никогда не выказывал никаких признаков нездоровья и до конца оставался крепким и стойким, однако рассказывают, что под конец он стал меньше говорить и только слушал других целыми часами, молча и сочувственно улыбаясь. Но если уж он заговаривал, то всегда кстати и основываясь на пережитом. Он охотно выпивал бутылку вина; чаще всего на закате или совсем поздно вечером в беседке, при свете звезд. Если он видит что-то недостижимое и влекущее к себе, говаривал Вилли, это только усиливает удовлетворение тем, что у него есть; и он признавался, что прожил достаточно долго и способен больше ценить свечку, когда есть возможность сравнить ее с планетой.

Однажды, на семьдесят втором году жизни, Вилли проснулся среди ночи, чувствуя такую тяжесть на душе и в теле, что он встал, оделся и вышел посидеть и подумать в беседке. Было непроглядно темно; ни единой звезды, река вздулась, мокрые леса и луга наполняли воздух ароматом. Весь день гремел гром, обещая грозу и наутро. Мрачная, удушающая ночь для старика семидесяти двух лет! Погода ли, бессонница ли тому виной или же небольшая лихорадка в его старом теле, но душу Вилли осаждали тревожные и бурные воспоминания. Его детство, ночной разговор с толстым молодым человеком, смерть приемных родителей, летние дни с Марджори и многие из тех как бы незначительных обстоятельств, которые кажутся со стороны ничтожными, но для самого человека составляют суть жизни — то, что он видел, слышал, прочел в книге и не понял,— вставало из забытых углов, завладевая его вниманием. И мертвецы были вместе с ним, не только принимая участие в призрачном параде памяти, который развертывался в его уме, но завладевая его чувствами, как это бывает в самых глубоких и ярких снах. Толстый молодой человек сидел напротив, опираясь локтями на стол, Марджори приходила и уходила из беседки в сад с полным цветов передником; он слышал, как пастор выбивает золу из трубки или сморкается с трубным звуком. Поток сознания то отливал, то приливал; подчас он в полусне погружался в воспоминания прошлого; подчас просыпался и бодрствовал, удивляясь сам себе. Но в середине ночи его разбудил голос старого мельника, позвавшего его из дома, как быва-

ло, когда приезжал постоялец. Зов послышался так ясно, что Вилли вскочил и стал прислушиваться, не повторится ли он; и, прислушиваясь, уловил и новый звук, помимо шума реки и лихорадочного звона в ушах. Похоже было на конский топот, на скрип упряжи, словно карета, запряженная горячими конями, подъезжала ко двору по дороге. В такой час на таком опасном перегоне — это показалось ему маловероятным, и сон снова сомкнулся над ним, словно текущие воды. И еще раз пробудил его зов покойного мельника, еще более отдаленный и призрачный; и еще раз он услышал стук колес на дороге. И так трижды и четырежды один и тот же сон снился ему или одна и та же иллюзия овладевала им, пока, наконец, посмеиваясь над собой, как над пугливым ребенком, которого надо успокоить, он направился к воротам, чтобы развеять свою тревогу.

Путь от беседки до ворот был не очень далекий, и все же он отнял у Вилли немало времени: ему чудилось, будто мертвецы обступили его во дворе, на каждом шагу преграждая дорогу. Прежде всего он вдруг почувствовал сладкое и сильное благоухание гелиотропов, как будто его сад весь засажен этими цветами от края до края и жаркая, влажная ночь заставила их пролить весь аромат в одном дыхании. Гелиотроп был любимым цветком Марджори, и после ее смерти ни одного гелиотропа ни разу не посадили в его саду.

«Должно быть, я схожу с ума,— подумал он.— Бедняжка Марджори со своими гелиотропами!»

Тут он поднял голову и посмотрел на то окно, которое когда-то было ее окном. Если до сих пор он был только испуган, то сейчас остолбенел от ужаса: в ее комнате горел свет; окно было оранжевое, как когда-то, и уголок занавески был так же приподнят, а потом опущен, как в ту ночь, когда он стоял и взывал к звездам в своем недоумении. Наваждение длилось всего один миг, но расстроило его, и он, протирая глаза, стал смотреть на очертания дома и на черную тьму за ним. Покуда он стоял так — а казалось, что простоял он очень долго,— ему снова послышался шум на дороге, и он обернулся как раз вовремя, чтобы встретить незнакомца, который шел по двору ему навстречу. На дороге за спиной незнакомца ему мерещилось что-то вроде очертаний большой кареты, а над нею — черные вершины елей, похожие на султаны.

— Мастер Вилли? — спросил пришелец по-военному кратко.

— Он самый, сэр,— отвечал Вилли.— Чем могу вам служить?

— Я о тебе много слышал, мастер Вилли,— отвечал тот,— о тебе говорили много и хорошо. И хотя у меня руки полны дел, я все-таки желаю распить с тобой бутылочку вина в беседке. А перед отъездом я скажу тебе, кто я такой.

Вилли повел его в беседку, зажег лампу и откупорил бутылку вина. Нельзя сказать, чтоб он был непривычен к таким лестным визитам,— он ничего не ожидал от этой беседы, наученный горьким опытом. Словно облаком заволокло его мозг, и он забыл о том, что час слишком уж необычный. Он двигался, будто во сне, и бутылка откупорилась словно сама собой, и лампа зажглась как бы по велению мысли. Все же ему любопытно было разглядеть своего гостя, но тщетно старался он осветить его лицо: либо он неловко повертывал лампу, либо глаза его видели смутно,— но только он видел словно тень за столом вместе с собой. Он глядел и глядел на эту тень, вытирая стаканы, и на сердце у него стало как-то холодно и смутно. Молчание угнетало его, ибо теперь он уже ничего не слышал,— даже реки,— ничего, кроме шума в ушах.

— Пью за тебя,— отрывисто сказал незнакомец.

— Ваш слуга, сэр,— отвечал Вилли, отхлебывая вино, вкус которого показался ему странным.

— Я слыхал, что ты уверен в себе,— продолжал незнакомец.

Вилли ответил удовлетворенной улыбкой и легким кивком.

— Я тоже,— продолжал незнакомец,— и для меня нет большей радости, чем наступить другому на мозоли. Не хочу, чтобы кто-нибудь был так уверен в своей правоте, кроме меня самого,— ни один человек. В свое время я укрощал прихоти королей, полководцев и великих художников. А что бы ты сказал, если б я приехал только ради того, чтобы укротить тебя? — закончил он.

На языке у Вилли вертелся резкий ответ, но учтивость старого трактирщика пересилила: он смолчал и ответил только вежливым движением руки.

— Да, за тем я и приехал,— сказал незнакомец.— И если б я не питал к тебе особенного уважения, я бы не стал

тратить лишних слов. Кажется, ты гордишься тем, что сидишь на одном месте. Не хочешь бросать свою гостиницу. Ну, а я хочу, чтобы ты проехался со мной в моей карете; и не успеем мы допить эту бутылку, как ты уедешь.

— Вот это было бы странно,— посмеиваясь, возразил Вилли.— Ну как же, сэр, ведь я здесь вырос и укоренился, наподобие старого дуба, самому дьяволу не вырвать меня с корнями. Я по всему вижу, что вы джентльмен веселого нрава, и держу пари на вторую бутылку, что со мной вы только будете стараться напрасно.

А тьма перед глазами Вилли сгущалась сильнее и сильнее, однако он сознавал, что за ним следят острым и леденящим взором, и это его раздражало, но он был бессилен этому противиться.

— Не думайте, будто я такой уж домосед, потому что боюсь чего-либо в божьем мире,— словно в лихорадке вырвалось у него так неожиданно, что он испугался и сам.— Богу известно, что я устал жить, и когда придет время для самого долгого из путешествий, я буду к нему готов — так мне кажется.

Незнакомец осушил свой стакан и отодвинул его в сторону. Он опустил глаза, потом, наклонившись над столом, одним пальцем три раза постучал по плечу Вилли.

— Время настало! — сказал он торжественно.

Ледяная дрожь пронизала тело Вилли, расходясь от того места, до которого тот дотронулся. Звук его голоса был глухой, тревожащий и странно отозвался в сердце Вилли.

— Прошу прощения,— начал он с некоторым замешательством.— Что вы хотите сказать?

— Взгляни на меня — и глаза твои затуманятся. Подними руку: она омертвела. Это твоя последняя бутылка вина, мастер Вилли, и твоя последняя ночь на земле.

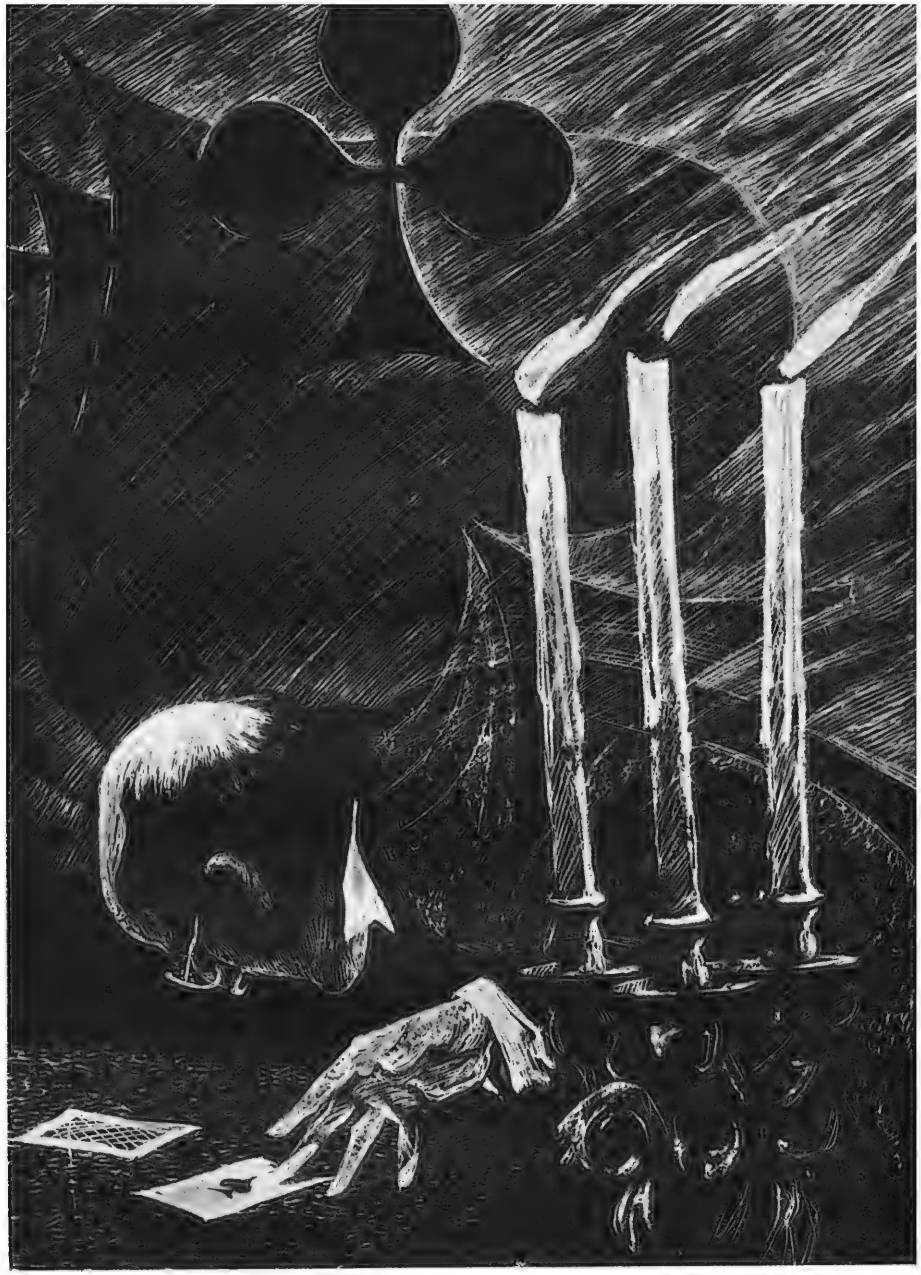
— Вы лекарь? — пролепетал Вилли.

— Лучший из лекарей,— ответил тот,— ибо я исцеляю и душу и тело одним снадобьем. Я снимаю всю муку и отпускаю все грехи; и если мой пациент ошибался в жизни, я улаживаю все трудности, освобождаю его и ставлю на ноги.

— Я не нуждаюсь в вас,— сказал Вилли.

— Для каждого человека настает время, мастер Вилли,— возразил ему лекарь,— когда руль забирают из его рук. Для тебя это время пришло поздно, ибо ты был разумен и нетороплив, и у тебя имелся досуг, чтобы приготовиться к его пришествию. Ты видел все, что можно видеть

«НОЧЛЕГ ФРАНСУА ВИЙОНА»



«КЛУБ САМОУБИЙЦ»

вокруг твоей мельницы: ты сидел всю жизнь смирно, словно заяц в своей норе, но теперь пришел этому конец, и,— прибавил этот лекарь, поднимаясь с места,— ты должен встать и следовать за мной.

— Странный вы целитель,— сказал Вилли, пристально глядя на гостя.

— Я закон природы,— возразил тот,— и люди зовут меня Смертью.

— Почему же ты не сказал этого с самого начала? — воскликнул Вилли.— Я ждал тебя столько лет! Дай мне руку — и добро пожаловать!

— Обопрись на мое плечо,— сказал тот,— сила твоя уже на исходе. Обопрись как можно крепче, если тебе нужно, я силен, хотя и очень стар. До моей кареты всего три шага, а там кончатся все твои заботы. Да, Вилли,— прибавил он,— я тосковал по тебе, как по родному сыну, и с радостью пришел за тобой, с бо́льшей радостью, чем приходил за многими другими людьми все эти долгие годы. Я недобр, а иной раз бывает, что с первого взгляда я внушаю отвращение людям, но для таких, как ты, я самый лучший друг.

— С тех пор, как умерла Марджори,— ответил ему Вилли,— клянусь богом, только тебя я и ждал как единственного друга.

И рука об руку они пошли через двор.

Один из работников проснулся в это время и услышал конский топот перед тем, как снова заснуть; всю ту ночь в ущелье словно шумел ветер, стремясь на равнину, а когда все проснулись утром, оказалось, что Вилли с мельницы наконец отправился в дальний путь.

ПОВЕСТЬ О МОЛОДОМ ЧЕЛОВЕКЕ С ПИРОЖНЫМИ

Блистательный Флоризель, принц Богемский, во время своего пребывания в Лондоне успел снискать всеобщую любовь благодаря своим обворожительным манерам и щедрой руке, всегда готовой наградить достойного. Это был человек замечательный, даже если судить на основании того немногого, что было известно всем; известна же была только ничтожная часть его подвигов. Спокойный до флегматичности, принимающий мир таким, каков он есть, с философским смирением простого землепашца, принц Богемский тем не менее питал склонность к жизни более эксцентрической и насыщенной приключениями, нежели та, к которой он был предназначен волею судеб. Порою на него находили приступы хандры, и если в это время на лондонских подмостках не было ни одного спектакля, на котором можно было как следует посмеяться, а сезон к тому же был не охотничий (в этом виде спорта принц не знал себе равных), он призывал к себе своего шталмейстера, полковника Джеральдина, и объявлял, что намерен совершить с ним прогулку по вечернему Лондону. Молодой офицер этот был постоянным наперсником принца, и отвага его подчас граничила с безрассудством. Он с неизменным восторгом встречал подобные приказы своего господина и, не мешкая, совершал все нужные приготовления. Богатый опыт и разностороннее знание жизни развили в нем необычайную способность к маскараду; к любой избранной им роли, независимо от положения, характера и национальности лица, которое он брался изображать, он умел приспособить не только лицо и манеры, но и голос и даже образ мышления. Благодаря этому своему дару ему удавалось отвлекать внима-

ние от принца и вместе со своим господином спускаться во все слои общества. Власти, разумеется, в эти приключения не посвящались. Непоколебимая храбрость принца вместе с изобретательностью и рыцарской преданностью его наперсника не раз вызволяла эту пару из самых опасных положений, и доверие, которое они питали друг к другу, с каждым годом все возрастало.

Однажды вечером холодный мартовский дождь пополам со снегом загнал их в кабачок неподалеку от Лестер-сквера. Полковник Джеральдин был одет и загримирован под рыцаря прессы в несколько стесненных обстоятельствах; грим Флоризеля, как всегда, заключался в накладных бакенбардах да паре косматых бровей, которые изменяли его изысканный облик до неузнаваемости, придавая ему вид человека, испытавшего превратности судьбы. Под прикрытием этого маскарада принц со своим шталмейстером спокойно сидели в устричном заведении и потягивали бренди с содовой.

Зал был переполнен посетителями обоих полов, и хотя среди них оказалось немало охотников вступить в беседу с нашими искателями приключений, ни один не представлял особого интереса. Здесь были собраны ординарнейшие обитатели лондонского дна. Принц начал было уже зевать и подумывать о том, чтобы идти домой, как вдруг двустворчатые двери трактира с треском распахнулись, впустив молодого человека в сопровождении двух слуг. В руках у каждого слуги было по большому подносу, покрытому салфеткой, которую они тотчас сдернули. На подносах лежали маленькие круглые пирожные с кремом, и молодой человек принялся обходить столики, с преувеличенной любезностью предлагая каждому посетителю полакомиться. Одни со смехом принимали его угощение, другие решительно, а подчас и грубо от него отказывались. В последнем случае молодой человек неизменно съедал пирожное сам, отпуская при этом какую-нибудь шутливую реплику.

Наконец он подошел к принцу Флоризелю.

— Сударь,— произнес он тоном глубочайшего почтения и протянул ему пирожное,— не окажете ли вы любезность человеку, не имеющему чести быть с вами знакомым? За качество пирожного могу поручиться, ибо за последние два-три часа я сам проглотил ровно двадцать семь штук.

— Качество угощения, которым меня потчуют,— отве-

чал принц,— представляется мне не столь важным, сколько чувство, с каким мне это угощение предлагают.

— Чувство, сударь,— сказал молодой человек, отвесив еще один поклон,— с вашего позволения, самое издевательское.

— Издевательское? — повторил Флоризель.— Над кем же вы намерены издеваться?

— Видите ли,— сказал молодой человек,— я пришел сюда не для того, чтобы развивать свои философские воззрения, а лишь затем, чтобы раздать эти пирожные с кремом Если я сообщу вам, что я самым искренним образом включаю в число тех, над которыми издеваюсь, собственную персону, ваша щепетильность, я надеюсь, будет удовлетворена и вы снизойдете к моему угощению. В противном случае я буду вынужден съесть двадцать восьмое пирожное, а мне эти гастрономические упражнения, признаться, немного надоели.

— Мне вас жаль,— сказал принц,— и я готов сделать все, что в моих силах, чтобы вас вызволить, но только при одном условии. Если я и мой приятель отведаем ваших пирожных — а надо сказать, что ни у меня, ни у него они не вызывают большого аппетита,— то и вы должны будете за это с нами отужинать.

Молодой человек как будто что-то обдумывал.

— У меня на руках осталось еще несколько дюжин,— сказал он наконец.— А следовательно, мне придется наведаться еще в несколько подобных заведений, прежде чем я разделаюсь со своим основным делом. Боюсь, что это займет некоторое время, и если вы голодны...

Принц остановил его речь любезным мановением руки.

— Мы будем вас сопровождать,— сказал он.— Нас очень заинтересовал избранный вами чрезвычайно приятный способ проводить вечера. Теперь, когда мы договорились о предварительных условиях мира, позвольте мне скрепить наш договор.

И принц любезно взял протянутое ему пирожное.

— Превосходное угощение,— сказал он.

— Я вижу, вы большой знаток,— заметил молодой человек.

Следуя примеру своего патрона, полковник Джеральдин тоже отдал должное пирожному. Молодой человек обошел все столы и, получив от каждого посетителя отказ или благодарность, повел своих спутников в другой трак-

тир. Двое слуг, которые, казалось, вполне смирились со своим нелепым занятием, следовали за молодым человеком, между тем как принц с полковником, взявшись под руку и улыбаясь, замыкали шествие. В таком порядке вся компания посетила еще два кабачка, и в каждой повторилась та же сцена — одни принимали угощение бродячего хлебосола, другие отказывались, и тогда молодой человек неизменно проглатывал пирожное сам.

После третьего заведения молодой человек пересчитал оставшиеся пирожные: на одном подносе их оказалось шесть, на другом три — итого девять штук.

— Господа,— сказал он, обращаясь к своим новым знакомцам,— мне неприятно, что я задерживаю ваш ужин. Я уверен, что вы проголодались не на шутку, и к тому же у меня есть по отношению к вам известные обязательства. В этот многознаменательный для меня день, когда мне предстоит завершить мой дурацкий жизненный путь последним и наиболее ярким дурачеством, я не хотел бы оказаться невежей перед теми, кто меня так благородно поддержал. Господа, я не заставлю вас больше ждать. И пусть здоровье мое и без того расшатано излишествами, я готов, рискуя жизнью, отказаться от условия, которое сам себе поставил.

И, окончив свою речь, молодой человек проглотил одно за другим оставшиеся девять пирожных. Затем, отвесив по поклону обоим слугам и протянув им по золотому, он сказал им:

— Примите, пожалуйста, мою благодарность за ваше долготерпение.

Отпустив слуг, он с полминуты постоял, уставясь на кошелек, из которого только что извлек для них плату, и вдруг засмеялся, бросил его на мостовую и сообщил своим спутникам, что готов идти с ними ужинать.

В маленьком французском ресторанчике в Сохо, пользовавшемся незаслуженно громкой славой, которая, впрочем, уже начала идти на убыль, принц, его шталмейстер и их новый знакомый попросили себе отдельный кабинет на третьем этаже, уселись за изящно сервированный стол, заказали к ужину четыре бутылки шампанского и принялись непринужденно беседовать между собой. Молодой человек был весел и оживлен, однако смеялся несколько громче, чем можно было ожидать от человека его воспитания; к тому же руки его заметно дрожали, в голосе появлялись неожи-

данные резкие переходы, как у человека, который не совсем владеет собой. Когда официант унес со стола последнее блюдо и все трое закурили сигары, принц обратился к своему новому знакомцу со следующей речью:

— Я надеюсь, что вы простите мне мое любопытство. Хоть мы и знакомы всего лишь несколько часов, вы мне очень симпатичны и, признаться, чрезвычайно меня интригуете. Я бы не хотел показаться нескромным, но я должен вам сказать, что мы с приятелем в высшей степени достойны доверия. У нас великое множество своих тайн, которые мы постоянно доверяем тем, кому не следует. А если, как я полагаю, ваша история достаточно нелепа, то и в этом случае, уверяю вас, вы можете, не стесняясь, изложить ее нам, ибо более нелепых людей, чем мы, вы не сыщете во всей Англии. Меня зовут Годол, Теофилус Годол; имя моего друга — майор Альфред Хаммерсмит, во всяком случае, ему угодно выступать под этим именем. Всю свою жизнь мы посвятили поискам экстравагантных приключений; и нет такой экстравагантной выходки, которой бы мы не могли посочувствовать всей душой.

— Вы мне нравитесь, мистер Годол,— ответил молодой человек,— к тому же вы во мне вызываете инстинктивное доверие; и я не имею ничего против вашего друга, майора, который представляется мне переодетым вельможей. И уж, во всяком случае, я убежден, что к армии он не имеет ни малейшего касательства.

Полковник только усмехнулся, услышав такой комплимент своему искусству перевоплощения.

— Существует множество причин, по которым мне не дóлжно бы вам открыться,— продолжал между тем молодой человек, постепенно воодушевляясь.— Быть может, поэтому-то я и намерен рассказать вам все без утайки. Во всяком случае, я вижу, что вы настроились услышать нечто нелепое, и у меня не хватает духа вас разочаровать. Свое имя, в отличие от вас, я не назову. Возраст мой не имеет прямого отношения к моему рассказу. Я прямой наследник своих предков, и наследство мое заключается в весьма сносном жилище, которое я занимаю по сей день, и капитале, дававшем триста фунтов годового дохода. Вместе с домом и этим капиталом я, должно быть, унаследовал от предков и легкомыслие, не противиться которому составляло высшее наслаждение всей моей жизни. Я получил хорошее образование. Я изрядный музыкант — еще немного, и мог бы

играть на скрипке в каком-нибудь захудалом оркестре, однако как раз этого немногого мне и недостает. То же относится к моей игре на флейте и на валторне. Выучился играть в вист и в этой премудрости преуспел настолько, что с легкостью могу проигрывать до ста фунтов в год. Знакомство мое с французским языком оказалось достаточным, чтобы мотать деньги в Париже почти с той же легкостью, что и в Лондоне. Как видите, я человек всесторонне образованный. Жизнь не обошла меня и приключениями всевозможного рода, я даже дрался на дуэли, для которой не было ни малейшего повода. А два месяца назад я повстречал молодую особу, которая показалась мне олицетворением всех совершенств, как духовных, так и физических. Сердце мое растопилось. Я, наконец, встретил свою судьбу и чуть было не влюбился. Но когда я принялся подсчитывать, что̀ осталось мне от всех моих капиталов, оказалось, что у меня нет и полных четырехсот фунтов! И вот я вас спрашиваю: может ли уважающий себя человек позволить себе влюбиться, имея за душой всего четыреста фунтов? Естественно, я должен был ответить на этот вопрос: нет, не может. Засим, расставшись с очаровательницей и несколько ускорив темп проматывания своих капиталов, к сегодняшнему утру я остался с суммой в восемьдесят фунтов в кармане. Разделив эти деньги на две равные части и отложив на одно дело сорок фунтов, остальные сорок я решил во что бы то ни стало промотать до наступления ночи. Я премило провел день, разыграл не одну комедию, подобную этой, с пирожными, благодаря которой я имел честь познакомиться с вами. Дело в том, что я, как я вам уже докладывал, задумал привести свои дурацкие похождения к еще более дурацкому концу. Когда я выбросил у вас на глазах свой кошелек на середину мостовой, те сорок фунтов у меня уже кончились. Итак, вы теперь не хуже меня самого знаете, что я представляю собой: безумец, но последовательный в своем безумии и, как вы, надеюсь, подтвердите, не нытик и не трус.

По всему тону речей молодого человека можно было заключить, что он не питает относительно себя никаких иллюзий и, напротив, горько в себе разочарован. Его собеседники догадывались, что сердечная история, которую он им поведал, затрагивала его больше, нежели он хотел показать, и что они имеют дело с человеком, задумавшим покончить все счеты с жизнью. Комедия с пирожными обещала обернуться трагедией.

— Какое, однако, совпадение,— воскликнул Джеральдин, сделав глазами знак принцу Флоризелю,— что в этой пустыне, именуемой Лондоном, мы трое совершенно случайно повстречали друг друга! И что к тому же мы все находимся, можно сказать, в одинаковом положении!

— Что вы говорите? — воскликнул молодой человек.— Неужели вы тоже дошли до полного разорения? И этот ваш изысканный ужин — такое же безумие, как мои пирожные с кремом? Неужели сам сатана свел нас вместе для последней пирушки?

— Как видите, сатана подчас бывает весьма любезным джентльменом,— сказал принц Флоризель.— Что касается меня, я так поражен этим совпадением, что, хоть сейчас мы с вами и не совсем в равных обстоятельствах, я намерен положить этому неравенству конец. Пусть ваш героический поступок с пирожными послужит мне примером.

С этими словами принц вынул бумажник и извлек из него небольшую пачку банкнот.

— Видите ли, я отстал недели на две, но хочу вас догнать с тем, чтобы прибыть к цели вместе с вами, ноздря в ноздрю,— продолжал он.— Этого,— сказал он, положив несколько бумажек на стол,— довольно, чтобы оплатить счет за ужин. Что касается остального...

Принц швырнул остаток в пылающий камин, вся пачка вспыхнула и пламенем взвилась в трубу.

Молодой человек попытался было удержать его руку, но не успел дотянуться до него через стол.

— Несчастный! — воскликнул он.— Зачем вы сожгли все ваши деньги? Надо было оставить сорок фунтов.

— Сорок фунтов? — переспросил принц.— Но отчего именно сорок, скажите на милость?

— И почему бы не все восемьдесят в таком случае? — подхватил полковник.— Ибо, насколько мне известно, в пачке находилось ровно сто фунтов.

— Больше сорока фунтов ему не понадобилось бы,— мрачно произнес молодой человек.— Но без них путь ему преграждён. Правила наши суровы и не допускают исключений. Сорок фунтов с души. Что за проклятая жизнь, когда человеку без денег и умереть нельзя!

Принц и полковник обменялись взглядами.

— Объяснитесь,— сказал последний.— Мой бумажник при мне и, кажется, не совсем пуст. Незачем говорить, что я готов поделиться всем, что у меня есть, с Годолом. Но я

должен знать, для чего. Вы обязаны нам точно все разъяснить.

Молодой человек словно внезапно очнулся от сна. Он перевел взгляд с одного из собеседников на другого, и краска залила его лицо.

— А вы не смеетесь надо мной? — спросил он.— Вы в самом деле разорены дотла?

— Что касается меня — вне всякого сомнения,— сказал полковник.

— А что касается меня,— сказал принц,— я, по-моему, вам это доказал. Ибо кто, кроме совершенного банкрота, станет швырять деньги в огонь? Мои действия говорят за себя.

— Банкрот? — задумчиво протянул молодой человек.— Пожалуй. Или миллионер.

— Довольно, сударь,— сказал принц.— Я не привык к тому, чтобы мое слово подвергалось сомнению.

— Итак, вы разорены? — повторил молодой человек.— Разорены, как и я? Привыкнув не отказывать себе ни в чем, удовлетворять малейшую свою прихоть, вы наконец дошли до той точки, когда у вас остается возможность выполнить только одно, последнее, желание? И вы,— по мере того, как он говорил, его голос становился все глуше,— и вы готовы позволить себе эту последнюю роскошь? Вы намерены с помощью единственного, безотказного и самого легкого способа избежать последствий собственного безрассудства? Вы хотите улизнуть от жандармов собственной совести через единственную дверь, оставшуюся открытой?

Молодой человек неожиданно оборвал свою речь и через силу засмеялся.

— Ваше здоровье! — вскричал он, осушая бокал шампанского.— И покойной вам ночи, господа веселые банкроты!

Он поднялся было со стула, но полковник Джеральдин удержал его за руку.

— Вы нам не доверяете,— сказал он.— Напрасно. На каждый из ваших вопросов я готов ответить утвердительно. Впрочем, я человек не робкого десятка и намерен называть вещи своими именами. Да, мы тоже, подобно вам, пресытились жизнью и твердо решили с ней расквитаться. Раньше или позже, вдвоем или порознь, мы решили схватить смерть за косу. Но поскольку мы повстречались с ва-

ми и ваше дело не допускает отлагательства, пусть это случится нынче же ночью — тотчас же — и, если вы согласны, давайте пойдем ей навстречу втроем. Такие бедняки, как мы,— воскликнул он,— должны войти рука об руку в царство Плутона, поддерживая один другого среди теней, его населяющих!

Джеральдин точно попал в тон взятой на себя роли. Принц даже был несколько обескуражен и метнул в своего наперсника тревожный взгляд. Между тем краска вновь залила лицо молодого человека, и глаза его засверкали.

— Нет, нет, я вижу, вы для меня идеальные товарищи! — вскричал он с каким-то отчаянным весельем.— Итак, по рукам! — И протянул холодную, влажную руку.— Вы и понятия не имеете, в каком обществе вам предстоит выступить в поход! И в какую счастливую для себя минуту вы согласились отведать моих пирожных с кремом! Я всего лишь рядовой боец, но рядовой боец великой армии. Я знаю потайную калитку в царство Смерти. Я с нею накоротке и могу препроводить вас в вечность без всяких церемоний. При этом уход ваш не вызовет никаких кривотолков.

Оба собеседника принялись горячо уговаривать его покончить, наконец, с иносказаниями.

— Можете ли вы вдвоем наскрести восемьдесят фунтов? — спросил он.

Джеральдин для вида пересчитал наличность в своем бумажнике и ответил утвердительно.

— Да вы баловни судьбы! — воскликнул молодой человек.— Сорок фунтов с каждого — вступительный взнос в Клуб самоубийц.

— Клуб самоубийц? — повторил принц.— Это что еще за штука?

— Сейчас расскажу,— сказал молодой человек.— Мы с вами живем в век комфорта, и я должен поведать вам о последнем усовершенствовании в этой области. Так как у нас дела во всех уголках планеты, человечеству пришлось придумать железные дороги. Железные дороги успешнейшим образом разъединили нас с друзьями, поэтому пришлось изобрести телеграф — чтобы и на больших расстояниях люди могли общаться друг с другом. В отелях, например, завели лифты, чтобы людям не приходилось карабкаться какие-нибудь сто ступеней по лестнице. Жизнь, как вы знаете,— всего-навсего подмостки, на которых каждому предоставляется возможность кривляться, покуда не наскучит.

В системе современного комфорта недоставало лишь одного усовершенствования: пристойного и удобного способа сойти с этих подмостков, так сказать, черного хода на свободу или, как я уже говорил, потайной калитки в царство Смерти. Этот-то ход, дорогие мои бунтари-единомышленники, эту калитку и открывает нам Клуб самоубийц. Не думайте, что мы с вами одиноки или даже исключительны в этом своем в высшей степени разумном желании. Таких, как вы, людей, которым до смерти надоело участвовать изо дня в день в спектакле, именуемом жизнью, великое множество, и они не уходят со сцены лишь из-за тех или иных соображений. Того удерживает мысль о близких, которых слишком ошеломил бы подобный конец, а в случае огласки, быть может, и навлек бы на них нарекания; другой слишком слаб духом, чтобы собственноручно лишить себя жизни. До некоторой степени к этому второму разряду принадлежу и я; я, например, решительно неспособен приложить к виску пистолет и нажать на курок: нечто, сильнее меня самого, мешает мне произвести этот последний жест, и, хоть жизнь мне опротивела совершенно, у меня нет сил пойти навстречу смерти самому. Вот для таких-то субъектов, а также для всех, кто мечтает вырваться из плена жизни, избежав при этом посмертного скандала, и основан Клуб самоубийц. Как он был организован, какова его история и имеются ли у него филиалы в других странах — всего этого я не знаю; то же, что мне известно относительно его устава, я не вправе вам открыть. Но вот в какой мере я берусь вам способствовать: раз вы в самом деле пресытились жизнью, я вас этим же вечером представлю собранию членов клуба, и если и не нынешней ночью, то по крайней мере на этой неделе вы будете с наименьшими для себя неудобствами избавлены от существования в этом мире. (Молодой человек взглянул на часы.) Сейчас одиннадцать. Через полчаса мы должны отсюда выйти. Итак, у вас тридцать минут, чтобы обдумать мое предложение. Это дело несколько более серьезное, я полагаю, нежели пирожные с кремом,— заключил он с улыбкой,—и, как мне кажется, более заманчивое.

— Что оно более серьезное,— сказал полковник Джеральдин,— это так. Поэтому я позволю себе попросить пять минут для обсуждения его наедине с моим другом мистером Годолом.

— Это — ваше право,— сказал молодой человек,— и я с вашего разрешения вас на время покину.

— Вы очень любезны,— сказал полковник.

— Для чего вам понадобилось это совещание, Джеральдин? — спросил принц Флоризель, как только они остались вдвоем.— Вы, я вижу, несколько взволнованы, между тем как я совершенно спокойно решил довести всю эту историю до конца.

— Ваше высочество,— сказал полковник, побледнев.— Позвольте вам напомнить, что ваша жизнь не только дорога вашим близким, но и необходима для блага отечества. Вы слушали, как выразился наш безумец: «если и не нынешней ночью». А что, как именно этой ночью с особой вашего высочества приключится какое-нибудь непоправимое несчастье? Попытайтесь, молю вас, представить себе мое отчаяние, а также скорбь вашего великого народа.

— Полковник Джеральдин, я намерен довести эту историю до конца,— повторил принц голосом, не допускающим возражений.— Будьте добры помнить и уважать свое слово джентльмена. Ни при каких обстоятельствах, без особого моего на то разрешения, вы не должны открыть инкогнито, под которым мне угодно выступать. Таков был мой приказ, и я его вам сейчас напоминаю. А теперь,— прибавил он,— позвольте мне просить вас позвать официанта.

Полковник Джеральдин почтительно поклонился. Но когда в комнату вошли официант и молодой человек, угостивший их пирожными, лицо его было бледно, как полотно. Принц сохранял всю свою невозмутимость и с большим юмором и живостью принялся рассказывать молодому самоубийце последний фарс, виденный им в Пале Рояле. Он искусно не замечал умоляющих взглядов полковника и старательнее обычного принялся выбирать сигару. Из всех троих он один и сохранял полное самообладание.

Спросив счет, принц оставил изумленному официанту всю сдачу с банкноты. Затем все трое уселись в наемную карету, которая вскоре подвезла их к воротам довольно скудно освещенного двора.

Когда они сошли на тротуар и Джеральдин расплатился с извозчиком, молодой человек обернулся к принцу Флоризелю и сказал:

— Еще не поздно, мистер Годол, если вам угодно, вы можете вернуться к своим цепям. Да и вы тоже, майор Хаммерсмит. Подумайте хорошенько, прежде чем предпринять следующий шаг. И если сердце вам скажет: «нет»,— разойдемся подобру-поздорову.

— Ведите нас, сударь,— сказал принц.— Я не из тех, кто изменяет своему слову.

— Ваше хладнокровие меня радует,— сказал молодой человек.— Мне еще не доводилось видеть никого, кто бы в этих обстоятельствах сохранял подобную невозмутимость, а скольких я приводил к порогу этого дома! Кое-кто из моих приятелей прежде меня отправился туда, куда вскоре неминуемо отправлюсь и я. Впрочем, к чему вам это знать? Обождите меня здесь несколько минут. Я приду за вами, как только договорюсь о вашем приеме в клуб.

И, помахав своим новым знакомцам рукой, молодой человек прошел в ворота и скрылся в подъезде.

— Из всех наших безрассудств,— произнес полковник Джеральдин вполголоса,— это — самое безрассудное и рискованное.

— Вполне с вами согласен,— сказал принц.

— В нашем распоряжении еще две-три минуты,— продолжал полковник.— Позвольте же мне умолять ваше высочество воспользоваться случаем и удалиться. Шаг, который вы намерены сделать, чреват самыми грозными последствиями и может оказаться роковым. Поэтому я решаюсь злоупотребить свободой обращения, которую ваше высочество дозволяет мне, когда мы остаемся наедине, без посторонних.

— Должен я из всего этого вывести, что полковник Джеральдин поддался чувству страха? — спросил принц и, вынув изо рта сигару, проникновенно взглянул полковнику в глаза.

— Мой страх, во всяком случае, не имеет отношения к моей собственной персоне,— гордо ответил тот.— В этом ваше высочество может не сомневаться.

— А я и не сомневался,— благодушно произнес принц.— Просто мне не хотелось напоминать вам о разнице в нашем с вами положении. Довольно, впрочем,— прибавил он, предупреждая намерение полковника.— Не надо извинений. Вы прощены.

И в ожидании молодого человека принц спокойно продолжал курить, облокотившись о решетку.

— Ну что? — спросил он, когда тот вернулся.— Удалось договориться?

— Следуйте за мной,— был ответ.— Председатель просит вас пожаловать к нему в кабинет. Позвольте преду-

предить вас, чтобы вы на все его вопросы отвечали с полной откровенностью. Я за вас поручился. Но по уставу клуба перед тем, как принять нового члена, его подвергают тщательному опросу. Ибо малейшая нескромность одного из членов повела бы к полному разгрому всего клуба.

Принц и Джеральдин с минуту пошептались. «Я скажу то-то»,— сказал один. «А я — то-то»,— отвечал другой. Условившись, что каждый будет изображать кого-нибудь из их общих знакомых, они договорились в один миг и были готовы следовать за своим Вергилием в кабинет председателя.

На пути им не было больше никаких преград: наружная дверь стояла распахнутой настежь, дверь в кабинет — тоже. Здесь, в маленькой комнатке с очень высоким потолком молодой человек вновь их оставил.

— Председатель сейчас придет,— сказал он и, кивнув головой, ушел.

Из соседней комнаты, сквозь двустворчатую дверь, доносились голоса, хлопанье пробок и время от времени — взрывы смеха. Из единственного очень высокого окна открывался вид на реку и набережную. По расположению фонарей новые кандидаты в клуб догадались, что где-то невдалеке должен находиться вокзал Черинг-кросс. Обставлен кабинет был скудно, чехлы на мебели были сильно потерты и, кроме ручного колокольчика посреди круглого стола да довольно большого количества плащей и шляп на стенах, в комнате ничего не было.

— Что за притон? — подивился Джеральдин.

— Вот это-то нам и предстоит выяснить,— ответил принц.— Если они к тому же держат здесь дьяволов во плоти, дело обещает оказаться забавным.

В эту минуту дверь приоткрылась ровно настолько, чтобы пропустить одного человека. Звуки голосов усилились, и в кабинете появилась фигура грозного председателя Клуба самоубийц. На вид ему было лет пятьдесят с небольшим; он шагал широкой, слегка развинченной походкой: лицо его было окаймлено косматыми бакенбардами, на макушке просвечивала небольшая тонзура, а в тускловатых серых глазах время от времени вспыхивали огоньки. Губы его плотно сжимали толстую сигару и находились в непрестанном движении, то круговом, то из стороны в сторону, меж тем как глаза холодно и проницательно изучали новых пришельцев. На нем был светлый костюм из ворсистого сукна

и полосатая рубаха с отложным воротником. Под мышкой он держал большую конторскую книгу.

— Добрый вечер,— сказал он, притворяя за собою дверь.— Мне сообщили, что вам угодно со мной побеседовать.

— Нам хотелось бы вступить в члены Клуба самоубийц, сударь,— ответил полковник.

Председатель перегнал сигару из одного угла рта в другой.

— Какого такого клуба? — резко спросил он.

— Простите, сударь,— ответил полковник,— но мне кажется, вы лучше всякого другого могли бы ответить на этот вопрос.

— Я?! — вскричал председатель.— Клуб самоубийц? Помилуйте, господа. Сегодня ведь не первое апреля Ну, да я понимаю, когда джентльмены позволяют себе выпить лишнее, им подчас хочется отколоть какую-нибудь штуку. Однако хорошенького понемножку.

— Называйте ваш клуб каким хотите именем,— продолжал полковник,— но у вас за этой дверью несомненно собралось общество, и нам хотелось бы к нему присоединиться.

— Сударь,— сухо возразил председатель,— вы ошиблись. Это частный дом, и я прошу вас покинуть его сию минуту.

Принц во все время этого диалога продолжал спокойно сидеть в своем кресле. Теперь же, когда полковник метнул в него взор, как бы говорящий: «Вот видите, идемте же отсюда ради бога!»,— он вынул изо рта сигару и заговорил.

— Я прибыл сюда,— сказал он,— по приглашению вашего знакомого. Он, разумеется, осведомил вас о желании, побудившем меня навязать вам таким образом свое общество. Позвольте вам напомнить, что бывают обстоятельства, когда люди не склонны чувствовать себя связанными какими-либо условностями и безропотно сносить оскорбления. Я человек, как правило, мирный. Однако, милостивый государь, я должен вас предупредить: либо вы окажете мне небольшую любезность — какого характера, вы прекрасно знаете сами,— либо вам придется горько раскаяться в том, что вы допустили меня на порог вашего кабинета.

Председатель громко рассмеялся.

— Вот это другой разговор,— сказал он.— Я вижу, вы настоящий мужчина. А знаете что? Вы мне приглянулись

и можете делать со мной что хотите! Будьте добры,— обратился он к Джеральдину,— отойдите от нас на минутку. Кое-какие формальности, сопряженные со вступлением в наш клуб, требуют разговора с глазу на глаз, и я начну с вашего товарища.

С этими словами он открыл дверь в потайной чуланчик, предложил жестом полковнику в него войти и закрыл за ним дверцу.

— Вам я верю,— сказал он Флоризелю,— но можете ли вы поручиться за своего приятеля?

— Не скажу, чтобы я в нем был уверен, как в самом себе,— ответил Флоризель,— хотя причины, которые привели его сюда, еще более настоятельны, чем мои. Однако я достаточно в нем уверен, чтобы безбоязненно ввести его к вам. Столько щелчков от судьбы, сколько получил он, излечили бы самого жизнелюбивого человека от приверженности к жизни. А на днях ему еще предложили выйти из полка за то, что он передергивал в карты.

— Что же, это причина вполне достойная,— протянул председатель,— у нас тут один такой случай уже имеется, и я за него совершенно спокоен А сами вы, позвольте спросить, не служили?

— Служил,— ответил принц.— Но я был ленив и вовремя покинул службу.

— Отчего же вы решили прекратить свое существование? — спросил председатель.

— Да все по той же причине, насколько я понимаю,— ответил принц.— Непреоборимая лень.

Председатель отпрянул.

— Черт побери! — воскликнул он.— Право, это не совсем уважительная причина.

— Видите ли, у меня к тому же кончились все деньги,— сказал Флоризель.— И это, конечно, тоже довольно досадное обстоятельство. Лень моя, таким образом, вступила в неразрешимый конфликт с жизнью.

Председатель, крутя во рту сигарой, устремил немигающий взор прямо в глаза этому странному кандидату в самоубийцы. Принц выдержал его взгляд со своим обычным невозмутимым благодушием.

— Если бы у меня был чуть менее богатый опыт,— произнес наконец председатель,— я бы, вероятно, указал вам на дверь. Но я знаю свет. Во всяком случае, настолько, что понимаю, как самые легкомысленные на первый взгляд

поводы для самоубийства могут подчас оказаться наиболее вескими. К тому же, сэр, мне трудно в чем-либо отказать человеку, который придется мне по душе, и я скорее готов сделать для него некоторое послабление.

Затем принц и полковник, один за другим, по очереди, были подвергнуты длительному и весьма строгому опросу. Принца председатель допросил с глазу на глаз, полковника Джеральдина — в присутствии принца, с тем, чтобы по выражению лица последнего определить, правду ли отвечает допрашиваемый. По всей видимости, председателя результат удовлетворил. Занеся некоторые сведения к себе в протокольную книгу, он предложил им текст клятвы, которую каждый должен был скрепить своей подписью. Большего закабаления воли, более стеснительных условий невозможно было себе представить. Нарушить столь страшную клятву означало бы утратить последние остатки чести и лишиться всех утешений, какие дарует людям религия.

Флоризель договор подписал, хоть и не без внутреннего содрогания. Полковник уныло последовал его примеру. После этого председатель принял от них вступительный взнос и без дальнейших церемоний ввел новых членов в курительную комнату Клуба самоубийц.

Здесь был такой же высокий потолок, что и в кабинете, из которого они вышли, но сама комната была просторнее и оклеена обоями, имитирующими дубовую обшивку. Ее освещал весело потрескивающий огонь в камине и торчавшие из стен газовые рожки. Вместе с принцем и его компаньоном в курительной собралось восемнадцать человек. Почти все курили и пили шампанское, в комнате царило лихорадочное веселье, но время от времени в ней вдруг наступала зловещая тишина.

— Сегодня все в сборе? — спросил принц.

— Более или менее,— ответил председатель.— Кстати,— прибавил он,— если у вас остались еще при себе какие-нибудь деньги, здесь принято угощать шампанским. Это поднимает дух у общества, а мне, помимо прочего, приносит небольшой доход.

— Хаммерсмит, — распорядился Флоризель. — Позаботьтесь, пожалуйста, о шампанском.

С этим он повернулся и начал обход гостей. Привыкший играть роль хозяина в самых высоких сферах, он без труда пленил и покорил всех, с кем беседовал. В его манерах была чарующая смесь властности и доброжелательства.

А необычайная его невозмутимость придавала ему особое достоинство среди этой компании полуманьяков. Переходя от одного к другому, он внимательно вглядывался и вслушивался во все, что происходило кругом, и вскоре составил себе некоторое представление о людях, среди которых очутился. Как водится во всякого рода притонах, здесь преобладал определенный человеческий тип: люди в расцвете молодости, со всеми признаками острого ума и чувствительного сердца, но лишенные той энергии или того качества, без которого нельзя достичь успеха ни на одном жизненном поприще. Мало кому перевалило за тридцать, попадались даже юнцы, не достигшие двадцатилетнего возраста. Одни отчаянно курили, другие, сами того не замечая, держали во рту погасшие сигары. Некоторые говорили оживленно и с блеском, большинство же предавалось пустой болтовне, треща языком без остроумия и смысла, с единственной целью — разрядить свое нервное напряжение. Всякий раз, как открывалась новая бутылка шампанского, веселье вспыхивало с новой силой. Почти все стояли — одни, опираясь о стол, другие — переминаясь с ноги на ногу. Сидели только двое. Один из них занимал кресло подле окна. Бледный, безмолвный, весь в испарине, он сидел опустив голову и засунув руки в карманы — полная развалина. Другой пристроился на диване подле камина. Он настолько отличался от всех остальных, что невольно обращал на себя внимание. Ему было, должно быть, немногим больше сорока, но выглядел он на добрых десять лет старше. Никогда Флоризелю не доводилось видеть человека более безобразного от природы, на котором к тому же столь пагубно отразилась болезнь, вызванная, по-видимому, неумеренным образом жизни. От него остались кожа да кости, он был наполовину парализован, и его очки были такой необычайной силы, что глаза за ними казались огромными и деформированными. Не считая принца и председателя, он был единственным из присутствующих, кто сохранял спокойствие.

Члены клуба не очень стеснялись условностями. Одни хвастали своими безобразными поступками, заставившими их искать убежища в смерти, другие слушали без порицания. Казалось, у них была негласная договоренность ни к чему не применять нравственной мерки. Таким образом, всякий, попавший в помещение клуба, уже как бы заранее пользовался привилегиями жильца могилы. Они провозглашали тосты в память друг друга, пили за прославлен-

ных самоубийц прошлого; обменивались взглядами на смерть,— на этот счет у каждого была своя теория. Одни заявляли, что в смерти нет ничего, кроме мрака и небытия, другие высказывали надежду, что, быть может, этой ночью они начнут свое восхождение к звездам и приобщатся к сонму великих теней.

— За бессмертную память барона Тренка, этого образца среди самоубийц! — провозгласил один. Из тесной каморки жизни он вступил в другую, еще более тесную, с тем, чтобы выйти, наконец, на простор и свободу!

— Что касается меня,— сказал другой,— единственное, о чем я мечтал, это о повязке на глаза да вате, чтобы заткнуть уши. Но увы! В этом мире не сыскать достаточно толстого слоя ваты.

Третий предполагал, что в их будущем состоянии им удастся проникнуть в тайну бытия; четвертый заявил, что ни за что не примкнул бы к клубу, если бы теория мистера Дарвина не показалась ему столь убедительной.

— Мысль, что я являюсь прямым потомком обезьяны,— сказал сей оригинальный самоубийца,— показалась мне невыносимой.

В общем же, принц был несколько разочарован манерами и разговором членов клуба. «Неужели все это так важно,— подумал он,— чтобы поднимать такую суету? Если человек решился уйти из жизни, какого черта он не совершает этот шаг, как подобает джентльмену? Вся эта возня и велеречие совершенно неуместны».

Между тем полковник Джеральдин предавался самым мрачным размышлениям. Клуб и устав его все еще оставались для него загадкой, и он переводил взор с одного лица на другое в надежде найти кого-нибудь, кто бы мог его успокоить. Взгляд его упал на паралитика в сильных очках; пораженный его спокойствием, он перехватил председателя, который то и дело появлялся и исчезал, и попросил познакомить его с джентльменом, сидящим на диване.

Председатель объяснил, что у них в клубе нет надобности прибегать к таким церемониям, но тем не менее представил мистера Хаммерсмита мистеру Мальтусу.

С любопытством оглядев полковника, мистер Мальтус указал ему на место подле себя.

— Вы здесь свежий человек,— сказал он,— и желаете во всем разобраться, не так ли? Ну что ж, вы обратились

по верному адресу. Вот уже два года, как я являюсь посетителем этого прелестного клуба.

Полковник вздохнул с облегчением. Если мистер Мальтус целых два года посещает этот притон, то навряд ли принца ожидает опасность в первый же вечер. Впрочем, Джеральдин терялся в догадках. Уж не водят ли их с принцем за нос?..

— Как? — вскричал он.— Два года? Я думал... Впрочем, должно быть, надо мною подшутили.

— Отнюдь,— спокойно ответил мистер Мальтус.— Я здесь на особом положении Я, собственно, являюсь не самоубийцей, а всего лишь, так сказать, почетным членом этого клуба. Я посещаю его раз в месяц, а то и реже. Благодаря любезности нашего председателя и из уважения к состоянию моего здоровья я пользуюсь некоторыми льготами, за которые и вношу повышенную плату. Впрочем, мне к тому же очень везет.

— Простите,— сказал полковник,— но я просил бы вас несколько подробнее обрисовать обстановку. Как вы сами понимаете, у меня еще весьма смутное представление о порядках в этом клубе.

— Рядовой член клуба, который, подобно вам, вступает в него с намерением встретить смерть,— сказал мистер Мальтус,— является сюда каждый вечер, покуда ему не улыбнется удача. Если он не имеет ни гроша, он даже может здесь поселиться на полном пансионе. Условия, на мой взгляд, вполне сносные — без излишней роскоши, но чисто. Впрочем, на роскошь претендовать не приходится, учитывая скудость вступительного взноса, не в обиду вам будь сказано. Прибавьте сюда общество самого председателя— а это само по себе изысканнейшее удовольствие.

— Право? — воскликнул Джеральдин.— А меня, представьте, он не слишком очаровал.

— Ах, вы не знаете этого человека,— сказал мистер Мальтус.— Занятнейшая личность! А какой рассказчик! Сколько цинизма! Он знает жизнь, как никто, и, между нами говоря, должно быть, во всем христианском мире не сыскать большего негодяя, плута и распутника, чем он.

— И он тоже,— спросил полковник,— в некотором роде величина постоянная, как и вы?

— Ах нет, он величина постоянная, но совсем в другом роде, нежели я,—ответил мистер Мальтус.—Я просто пользуюсь любезно предоставленной мне отсрочкой, но в конце

концов тоже должен буду отправиться, куда и все. Он же вне игры. Он тасует и раздает карты, а затем предпринимает необходимые шаги. Этот человек, мой дорогой мистер Хаммерсмит,— воплощенная изобретательность. Вот уже три года, как он подвизается в Лондоне на своем полезном и, я бы сказал, артистическом поприще. Причем ни разу ему не довелось навлечь на себя и тени подозрения. Не сомневаюсь ни минуты, что этот человек гениален. Вы, конечно, помните нашумевший случай отравления в аптеке полгода назад? Это был один из наименее эффектных, наименее острых плодов его фантазии. Но какая при этом простота! И какая чистая работа!

— Вы меня поражаете,— сказал полковник.— Так этот несчастный был одной из...— Полковник собирался было сказать «жертв», но вовремя поправился: — Одним из членов клуба?

И тут же полковнику пришло в голову, что мистер Мальтус не производит впечатление человека, жаждущего смерти, и он поспешно прибавил:

— Но я все еще бреду, как в потемках. Вы только что упомянули карты. Объясните мне, пожалуйста, при чем здесь карты? К тому же у меня такое впечатление, что вы не только не стремитесь к смерти, но, напротив, хотели бы ее оттянуть. Что же в таком случае заставляет вас приходить сюда?

Мистер Мальтус заметно оживился.

— Вы и в самом деле ничего еще не понимаете,— сказал он.— Атмосфера этого клуба, милостивый мой государь, кружит голову лучше самого крепкого вина. Поверьте, если бы не состояние моего здоровья, я бы чаще припадал к этому источнику. Только чувство долга, поддерживаемое длительной привычкой к недомоганию и строгому режиму, удерживает меня от излишеств в этом, я могу сказать, последнем моем наслаждении. Я испытал их все, сударь,— продолжал он, коснувшись рукой плеча Джеральдина.— Все без исключения, и, честью клянусь вам, люди бессовестно лгут, говоря о радостях, которые им доставляют эти наслаждения. Они играют любовью. А я вам скажу, что любовь отнюдь не самая сильная из страстей. Страх — вот сильнейшая страсть человека. Играйте страхом, если вы хотите испытать острейшее наслаждение в жизни. Завидуйте мне, завидуйте, сударь,— прибавил он и радостно усмехнулся.— Ведь я величайший трус на свете!

Джеральдин с трудом подавил отвращение к этому омерзительному существу. Однако он обуздал себя и продолжал свои расспросы.

— Но каким образом, сударь,— спросил он,— удается вам столь искусно продлевать это наслаждение? И разве здесь есть какой-либо элемент случайности?

— Я расскажу вам, каким образом выбирается жертва на каждый вечер,— ответил мистер Мальтус.— И не только жертва, но и тот из членов клуба, которому надлежит выполнять роль орудия рока и верховного жреца смерти.

— Боже милостивый! — воскликнул полковник.— Следовательно, сами члены клуба убивают друг друга?

Мальтус кивнул головой.

— Именно таким образом,— сказал он,— снимается вся тяжесть самоубийства.

— О боже,— повторил полковник.— Значит, и вы, и я, и даже сам... я хочу сказать, и мой приятель — любой из нас этой же ночью может быть вынужден сделаться убийцей своего ближнего и его бессмертной души? Неужели среди людей, рожденных женщиной, возможно такое? Неслыханный позор!

Джеральдин чуть не вскочил от ужаса, и только грозный и суровый взгляд принца Флоризеля, стоявшего в другом конце комнаты, удержал его на месте. Этот взгляд возвратил полковнику его привычное самообладание.

— Впрочем,— сказал он.— Почему бы и нет? А поскольку вы утверждаете, что игра эта забавна, vogue la galère [1],— куда все, туда и я!

Мистер Мальтус остро наслаждался удивлением и ужасом полковника. Он обладал особым тщеславием — тщеславием порока, при котором всякое благородное движение души другого вызывает чувство собственного превосходства; закоснев в самодовольном разврате, он чувствовал себя недоступным для подобных порывов.

— Ну вот,— сказал он,— теперь, отдав дань удивлению, вы можете оценить всю прелесть нашей клубной жизни. Как видите, она соединяет в себе азарт карточной игры, рулетки, дуэли и римского амфитеатра. Язычники знали свое дело, и я от всей души восхищен их тонкостью, но только христианам было дано довести эту квинтэссенцию

[1] По воле волн *(франц.)*.

ощущений, это совершенство изощренности до абсолюта. Теперь вы понимаете, какими пресными должны казаться все прочие удовольствия человеку, вкусившему от этой высшей радости? Что касается самой игры,— продолжал он,— она проста до чрезвычайности. Берется колода карт — впрочем, кажется, уже пришло время, и вы сами сможете наблюдать всю процедуру. Позвольте опереться на вашу руку! Я имею несчастье быть парализованным.

И в самом деле, к тому времени, как мистер Мальтус приступил к описанию игры, двери курительной распахнулись, и все члены клуба стали с некоторой суетой и поспешностью проходить в соседнюю комнату. Она мало отличалась от той, которую они покинули, только меблирована была несколько иначе. Посредине стоял длинный стол, покрытый зеленым сукном. За столом сидел председатель и старательно тасовал колоду карт. Несмотря на костыль и поддержку полковника, мистер Мальтус передвигался с таким трудом, что, когда они вошли, все члены клуба уже сидели за столом. Пропустив Мальтуса с полковником, принц проследовал за ними, и все трое уселись вместе в дальнем от председателя конце стола.

— В колоде пятьдесят две карты,— шепнул мистер Мальтус.— Следите за тузом пик — это знак смерти, а также за тузом треф; получивший его назначается исполнителем на эту ночь. О счастливые молодые люди! — прибавил он.—У вас не притупилось зрение, и вы можете следить за игрой. Увы, я с этого расстояния не отличаю двойки от туза!

С этими словами он водрузил себе на нос еще одну пару очков.

— Я хочу следить за выражением лиц хотя бы,— пояснил он.

Полковник торопливым шепотом пересказал своему другу все, что ему удалось узнать от почетного члена клуба, и о страшной альтернативе, ожидающей каждого. Холод пробежал по жилам принца, сердце его сжалось. Он проглотил подступивший к горлу ком, и на миг все поплыло перед его глазами.

— Смелый рывок,— прошептал полковник,— и мы еще можем очутиться на свободе.

Это замечание привело принца в чувство.

— Перестаньте,— сказал он.— Какой бы ни была ставка, вы обязаны играть, как подобает джентльмену.

Он вновь обвел окружающих взглядом, в котором уже нельзя было прочитать и следа замешательства. Сердце, однако, билось у него ускоренно, в груди он ощутил нестерпимое жжение. Кругом царила напряженная тишина. Лица у всех были бледны, но самой бледной была физиономия мистера Мальтуса. Глаза его, казалось, вылезали из орбит, голова неудержимо тряслась, руки беспрестанно поднимались ко рту, хватаясь за дрожащие, пепельно-серые губы. По всей видимости, наслаждение, которое испытывал почтенный член клуба, носило в самом деле характер весьма своеобразный.

— Господа, внимание! — произнес председатель и принялся раздавать карты в противоположность общепринятому порядку, справа налево; после каждой сданной карты председатель выдерживал паузу, и каждый игрок должен был показать, что́ он получил. Почти все немного мешкали, прежде чем открыть свою карту. Бывало, что пальцы отказывались слушаться и игрок долго возился над плотным, скользким прямоугольником. Чем ближе подходила очередь к принцу, тем нестерпимее становилось его волнение. Он чуть не задыхался. Впрочем, в его характере было нечто от игрока; к собственному удивлению, он отметил, что испытывает некоторый душевный подъем. Ему досталась девятка червей. Джеральдину — тройка пик. На долю мистера Мальтуса выпала королева червей, и он невольно всхлипнул от облегчения. Почти одновременно открыл свою карту молодой человек, угощавший пирожными с кремом. Карта затрепетала и замерла в его руках: туз треф! Он пришел сюда, чтобы быть убитым, но не затем, чтобы убивать! Принц в своем благородном сочувствии к его положению чуть не забыл об угрозе, которая по-прежнему нависала над ним и над его другом.

Председатель стал сдавать второй раз. Карта смерти все не появлялась. Игроки затаили дыхание, и только время от времени раздавался чей-нибудь прерывистый вздох. Принцу вновь попались черви. Джеральдину на этот раз — бубны. Но когда мистер Мальтус перевернул свою карту, из его уст раздалось какое-то нечленораздельное блеяние. Он поднялся на ноги и вновь опустился в кресло — паралич его словно рукой сняло! В своей жажде сильных ощущений почетный член клуба самоубийц на этот раз зашел слишком далеко: ему выпал туз пик.

Все разом заговорили. Позы игроков сделались непри-

нужденнее, один за другим они стали подниматься из-за стола и возвращаться в курительную. Председатель потянулся и зевнул, как после долгого рабочего дня. Один мистер Мальтус оставался в кресле. Неподвижный, хмельной, совершенно раздавленный, он продолжал сидеть, так и не убрав со стола рук и уронив на них голову.

Принц и Джеральдин, не мешкая, покинули клуб. Ясная и холодная ночь заставила их еще отчетливей осознать весь ужас того, чему они были свидетелями.

— Увы! — вскричал принц.— Быть связанным такой страшной клятвой и в таком страшном деле! Не иметь возможности остановить эту торговлю человеческой жизнью, которая не только остается безнаказанной, но даже еще приносит доход! Ах, если бы только я имел право нарушить клятву!

— Для вашего высочества это невозможно,—сказал полковник,— ибо ваша честь — это честь всей Богемии. Зато я могу себе позволить такую роскошь.

— Джеральдин,— сказал на это принц.— Если в каком-либо из приключений, в которые я вас вовлек, пострадает ваша честь, я не только не прощу этого вам, но — и я полагаю, что это для вас еще хуже,— я никогда не смогу простить себе.

— Слово вашего высочества — закон,— сказал полковник.— Но давайте хоть уйдем подальше от этого проклятого места.

— Да, да,— сказал принц.— Позовите извозчика, ради всех богов, и попробуем хотя бы во сне забыть о позоре нынешней ночи.

Любопытно, однако, что прежде чем покинуть тупичок, принц Флоризель внимательно прочитал его название.

На следующее утро, едва принц пробудился ото сна, полковник Джеральдин принес ему свежую газету, в которой был отчеркнут следующий столбец:

«ПРИСКОРБНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. Сегодня, в два часа утра, мистер Бартоломей Мальтус, проживавший в доме № 16 на площади Чепстоу, Уэстберн Гроув, возвращаясь вместе со своим знакомым после вечера, проведенного в гостях, и желая остановить извозчика, споткнулся о парапет на Трафальгарской площади, сломав при этом руку и ногу, а также повредив черепную коробку. Смерть наступила мгновенно. Потерпевший страдал параличом, и есть основания полагать, что падение его произошло вслед-

ствие очередного приступа болезни. Мистер Мальтус был широко известен в самых почтенных кругах общества, и его гибель вызовет глубокую и повсеместную скорбь».

— Если только существует прямая дорога в ад,— торжественно произнес полковник,— душа этого несчастного уже там.

Принц закрыл лицо руками и некоторое время не нарушал молчания.

— Я почти рад тому, что его больше нет в живых,— продолжал полковник.— Но должен признаться, что мое сердце обливается кровью при мысли о молодом человеке, угощавшем нас пирожными с кремом.

— Джеральдин,— сказал принц, подняв голову,— еще вчера вечером этот бедный молодой человек был столь же неповинен в пролитии крови, как мы с вами. А теперь на его душе этот смертный грех. Когда я думаю о председателе, во мне все переворачивается. Я еще не знаю, как я это сделаю, но только, клянусь богом, я заставлю мерзавца молить меня о пощаде. О эта игра! Какой незабываемый урок!

— Незабываемый,— подхватил полковник,— и, надеюсь, последний.

Принц так долго не отвечал, что Джеральдин не на шутку встревожился.

— Неужели вы собираетесь туда возвращаться?— воскликнул он.— Неужели вы не настрадались вдоволь, неужели еще не насмотрелись? Ответственность, с которой сопряжено ваше высокое положение, запрещает вам вновь подвергнуть свою особу подобному риску.

— В ваших словах есть доля справедливости,— сказал принц Флоризель,— не могу сказать, чтобы я был доволен своим упорством. Но увы! Под пышным нарядом даже самого великого властелина скрывается всего лишь простой смертный! Ах, Джеральдин, я и сам готов проклинать свою слабость! Но все равно я ничего не могу с собой поделать. Я не могу оставаться равнодушным к печальной участи несчастного молодого человека, с которым мы ужинали не далее как вчера вечером. Могу ли я допустить, чтобы председатель безнаказанно продолжал свою гнусную торговлю человеческими жизнями? Могу ли, повстречав столь увлекательное приключение, оборвать его и остановиться на полпути? Нет, Джеральдин, вы требуете от принца Богемского большего, чем может человек, имеющий честь носить

этот титул. Итак, нынче вечером мы вновь займем свои места за зеленым столом Клуба самоубийц.

Полковник Джеральдин бросился на колени перед принцем.

— Если вашему высочеству понадобится моя жизнь,— взмолился он,— берите ее, не задумываясь. Она принадлежит вам всецело. Но только, ради бога, не требуйте, чтобы я поддерживал вас в предприятии, сопряженном с таким ужасным риском!

— Полковник Джеральдин,— несколько надменно ответил принц.— Жизнь ваша принадлежит всецело вам. Я полагал, что ваша преданность выражается в беспрекословном выполнении моей воли. Но в покорности, если она исходит не от души, я не нуждаюсь. Прибавлю лишь одно: ваша настойчивость в этом вопросе исчерпала мое терпение.

Шталмейстер принца Флоризеля поднялся с колен.

— Ваше высочество,—произнес он,—не позволите ли вы мне покинуть вас до вечера? Как честный человек, я не имею права вступать вторично в этот роковой дом, не приведя прежде в порядок своих дел. Я обещаю, что ваше высочество никогда более не встретит непокорности от своего преданнейшего и благодарнейшего слуги.

— Мой дорогой Джеральдин,— ответил принц.— Мне всегда больно, когда вы вынуждаете меня напоминать о неравенстве моего и вашего положения. Располагайте сегодняшним днем, как вам угодно, но только будьте здесь вечером не позднее одиннадцати, в том же обличье, что и вчера.

На этот раз число членов клуба было меньше, чем накануне. Когда Джеральдин с принцем прибыли, в курительной собралось человек десять — двенадцать, не больше. Его высочество отвел председателя в сторонку, чтобы горячо поздравить с кончиной мистера Мальтуса.

— Я всегда радуюсь, когда встречаю способного человека,— сказал он,— а у вас, я вижу, способностей хоть отбавляй. Призвание ваше весьма щекотливого свойства, и, однако, я вижу, с каким блеском и с какой предусмотрительностью вы справляетесь с вашими обязанностями.

Председатель был заметно польщен похвалами лица, незаурядность которого он не мог не чувствовать, и смиренно поблагодарил за комплимент.

— Бедняга Мальти! — прибавил он.— Мой клуб совсем не тот без него, право! Большая часть моих клиентов —

юнцы, сударь, а с этой романтической молодежью не очень-то разговоришься. Впрочем, Мальти был не чужд романтики, но только его романтизм был близок моей душе.

— Могу себе представить, как уютно вы должны были чувствовать себя с мистером Мальтусом,— ответил принц.— Мне он показался личностью весьма своеобразной.

Вчерашний молодой человек находился тут же, но он был молчалив и, видимо, угнетен. Его новые знакомцы тщетно пытались вовлечь его в разговор.

— Ах, как я раскаиваюсь,— воскликнул он,— что ввел вас в этот проклятый притон! Бегите отсюда, покуда руки ваши не осквернились кровью. Если бы вы слышали, как завизжал старик, падая на тротуар, и как захрустели его кости! Пожелайте мне, если у вас есть капля участия к недостойному — пожелайте мне получить нынешней ночью туза пик!

В течение вечера подошли еще несколько членов клуба, но, когда все уселись за зеленое сукно, общее число их не превышало чертовой дюжины. Принц, несмотря на то, что ужас сжимал его сердце, вновь ощутил прилив неизъяснимой радости. Но что его удивило больше, это что Джеральдин казался значительно спокойнее, чем накануне. «Как странно,— подумал принц,— что такое обстоятельство, как составление завещания, могло бы так действовать на человека его возраста».

— Внимание, господа! — возвестил председатель и принялся сдавать.

Трижды карты обошли стол, а роковые тузы все еще не появлялись. Когда председатель начал метать в четвертый раз, напряжение достигло высшей точки. Каждому оставалось получить еще одну карту. Принц сидел через одного от председателя, по его левую руку, и, поскольку сдача шла против часовой стрелки, ему должна была достаться предпоследняя карта. Игрок, сидевший третьим справа от председателя, получил черного туза. Это был туз треф. Следующему достались бубны, его сосед получил черви и так далее. Туз пик все не появлялся. Наконец Джеральдин, сидевший рядом с принцем, по его левую руку, перевернул свою карту. Ему вышел туз, туз червей.

Когда перед принцем Флоризелем легла на стол карта, которая должна была решить его судьбу, сердце его внезапно остановилось в груди. Несмотря на все его мужест-

во, капли пота выступили на его челе. Ровно пятьдесят шансов из ста были за то, что он человек обреченный. Он перевернул карту: это был туз пик. В голове у него зашумело, в глазах помутилось. Он слышал, как судорожно расхохотался сосед: в этом жутком смехе были и радость и разочарование. Видел, как, встав из-за стола, игроки поспешно покидали комнату. Но мысли его были заняты другим. Ему представилось все преступное безрассудство его поведения: в расцвете сил и здоровья, наследник престола, он проиграл свое будущее — и не только свое собственное, но и будущее своей славной, мужественной страны. «О господи! — вскричал он.— Боже милостивый, прости меня!» Впрочем, он тотчас с собой справился.

К его удивлению, Джеральдин куда-то исчез. В опустевшей комнате председатель вполголоса совещался с тем, кому на эту ночь выпала роль палача. Казалось, в комнате, кроме их троих, не было никого. Но тут к принцу незаметно подошел молодой человек, угощавший пирожными, и шепнул ему в самое ухо:

— Я бы дал миллион, если бы у меня он был, за то, чтобы мне выпало ваше счастье.

Принц не мог удержаться от мысли, что он согласился бы уступить свою удачу и за гораздо более скромную сумму.

Между тем совещание с палачом пришло к концу. Обладатель туза треф вышел из комнаты с видом человека, понявшего свою задачу, а председатель подошел к принцу с протянутой рукой.

— Рад был с вами познакомиться, сударь,— сказал он,— и счастлив, что мне удалось оказать вам эту пустяковую услугу. Во всяком случае, вы не имеете оснований жаловаться на проволочку. На второй же день — это редкая удача!

Принц тщетно пытался произнести что-то в ответ. У него пересохло во рту, и язык отказывался повиноваться.

— Вам немного не по себе? — участливо спросил председатель.— Это бывает почти со всеми. Может, хотите глоток бренди?

Принц в знак согласия кивнул, и тот наполнил ему рюмку.

— Бедняга Мальти! — воскликнул председатель, когда принц осушил рюмку.— Он выпил чуть ли не целую пинту, а толку никакого!

— Должно быть, я лучше поддаюсь лечению,— сказал принц и в самом деле почувствовал, что дурнота проходит.— Я снова, как видите, владею собой. Теперь будьте любезны объяснить мне, что я должен делать дальше.

— Вы должны идти вдоль Стрэнда по направлению к Сити, по левой стороне улицы, покуда не повстречаетесь с господином, который только что нас покинул. Он сообщит вам дальнейшие распоряжения, а вы уж будьте любезны в точности их выполнить. На эту ночь он облечен верховной властью. Итак,— заключил председатель,— позвольте пожелать вам приятной прогулки.

Кое-как поблагодарив хозяина, Флоризель откланялся и пошел прочь. Проходя сквозь курительную, в которой игроки все еще допивали заказанное принцем шампанское, он с удивлением отметил, что в душе посылает им всем проклятия. В кабинете председателя он надел пальто и шляпу и разыскал свой зонт среди полдюжины других, стоявших в углу. Обыденность этих действий в сочетании с мыслью, что он совершает их в последний раз, вызвала у него странный приступ смеха, прозвучавший неприятно в его собственных ушах. Он вдруг почувствовал, что ему не хочется выходить из кабинета, и на минуту повернулся к окну. Вид фонарей и окружающего их мрака заставил его вновь опомниться.

— Ну же, ну,— сказал он себе,— будь мужчиной! Ступай.

На углу Бокс-корта какие-то три молодчика накинулись на принца Флоризеля и грубо швырнули его в карету, которая тут же покатила дальше. В карете оказался еще один пассажир.

— Простит ли мне ваше высочество мое рвение? — произнес хорошо знакомый голос.

Принц бросился полковнику на шею.

— Как могу я вас отблагодарить? — вскричал он.— И как все это произошло?

Несмотря на все свое мужество и готовность, не дрогнув, встретить свою судьбу, принц несказанно обрадовался дружескому насилию, возвращавшему ему и жизнь и надежду.

— Вы отлично меня отблагодарите,— ответил полковник,— если обещаете в будущем избегать таких рискованных положений. Что касается вашего второго вопроса, все оказалось чрезвычайно просто. Я договорился за несколько

часов до заседания клуба с известным детективом. Он гарантировал полную тайну, за что ему и была выдана соответствующая сумма. Исполнителями операции были в основном ваши собственные слуги. С наступлением темноты дом в Бокс-корте был окружен, а эти лошади — из ваших же конюшен — вот уже почти час, как поджидали вас здесь.

— А тот несчастный, что был приговорен меня убить? Что с ним?

— Как только он покинул здание клуба, его связали по рукам и ногам,— ответил полковник,— и он теперь ожидает вашего приговора во дворце, куда вскоре свезут всех его сообщников.

— Джеральдин,— сказал принц.— Вопреки моим приказаниям вы спасли мне жизнь и прекрасно поступили. Я обязан вам не только жизнью, но и уроком. И я был бы недостоин звания принца Богемского, если бы не отблагодарил своего учителя. Предоставляю вам избрать форму, в которую должна вылиться моя благодарность.

В разговоре друзей наступила длительная пауза. Каждый был погружен в свои размышления, между тем как карета продолжала быстро катиться по улицам Лондона. Первым молчание нарушил полковник Джеральдин.

— В распоряжении вашего высочества,— сказал он,— находится изрядное число арестованных. Среди них имеется по крайней мере один преступник, которому должно воздать полной мерой за его преступления. Клятва, которой мы оба связаны, запрещает прибегнуть к закону. Но даже если бы мы нашли возможным нарушить ее, соображения государственного порядка все равно не позволили бы предать дело гласности. Разрешите спросить, ваше высочество, что вы намерены предпринять?

— Это уже решено,— ответил Флоризель.— Председатель должен пасть в поединке. Остается лишь выбрать ему противника.

— Ваше высочество, вы предложили мне назвать свою награду,— сказал полковник.— Позвольте же просить вас назначить противником в этом поединке моего брата. Я сознаю, сколь почетно и ответственно подобное поручение, но смею заверить ваше высочество, мой братец выполнит его с честью.

— Вы просите о страшной услуге,— отвечал принц,— но я не могу вам отказать ни в чем.

Полковник с почтительной нежностью поцеловал принцу руку. Между тем карета въехала под арку, ведущую в роскошную резиденцию принца.

Час спустя принц Флоризель, облаченный в парадный мундир, и при всех орденах Богемского королевства, принимал у себя членов Клуба самоубийц.

— Несчастные безумцы,— обратился он к ним.— Каждый, кого в Клуб самоубийц привела бедность, получит работу и соответственное вознаграждение. Если же вас мучит совесть, вам следует обратиться к властителю более могущественному и милосердному, чем я. Жалость, которую я испытываю ко всем вам, глубже, чем вы можете себе представить. Завтра каждый из вас расскажет мне повесть своей жизни. Чем вы будете со мной откровенней, тем легче мне будет вам помочь. Что касается вас,— обратился принц к председателю,— я проявил бы верх бестактности, если бы вздумал навязывать помощь человеку столь блистательных талантов. Зато я могу предложить вам следующее развлечение. Этот молодой офицер — здесь принц Флоризель положил руку на плечо младшего брата полковника Джеральдина — изъявил желание проехаться в Европу. Я попрошу вас как об особом одолжении принять участие в этой маленькой прогулке. Владеете ли вы пистолетом? — спросил принц, внезапно переменив тон.— Может статься, что вам понадобится это искусство. Когда два джентльмена отправляются вместе в турне, надо быть готовым ко всему. Позвольте прибавить, что если вы в силу каких-либо обстоятельств потеряете в пути юного мистера Джеральдина, среди моих приближенных всегда найдется другой джентльмен, готовый поступить в ваше распоряжение. И, надо сказать, господин председатель, что я славлюсь зорким зрением и длинной рукой, которая достает до самых отдаленных уголков нашей планеты.

Этими словами, произнесенными ледяным тоном, принц заключил свою речь. На следующее утро, устроив со свойственной ему широтой судьбу бывших членов Клуба самоубийц, принц отправил их председателя путешествовать в сопровождении мистера Джеральдина и двух преданных и искушенных придворных лакеев. Впрочем, он не удовольствовался этим и поместил своих агентов, людей, которым он мог верить, как самому себе, сторожить Бокс-холл. Вся корреспонденция и все лица, прибывающие в бывшее

помещение Клуба самоубийц, направлялись ими к самому принцу Флоризелю.

На этом, по словам нашего арабского рассказчика, и кончается *история молодого человека с пирожными*, который ныне является почтенным домовладельцем и проживает на Вигмор-стрит, что возле Кавэндиш-сквера. Номер дома, по понятным причинам, я не намерен предавать гласности. Тем же, кому угодно узнать о дальнейших приключениях принца Флоризеля и председателя Клуба самоубийц, мы можем рекомендовать *повесть об английском докторе и дорожном сундуке*. Итак...

ПОВЕСТЬ ОБ АНГЛИЙСКОМ ДОКТОРЕ И ДОРОЖНОМ СУНДУКЕ

Молодой американец мистер Сайлас К. Скэддемор был кроток и простодушен, что следует вменить ему в особую заслугу, поскольку он родом был из Новой Англии, стороны славной в Новом Свете отнюдь не вышеназванными качествами. Человек весьма и весьма состоятельный, он тем не менее заносил все свои расходы в маленькую записную книжку, а радости парижской жизни вкушал с высоты седьмого этажа скромной гостиницы Латинского квартала. Бережливость его была следствием привычки, а добродетельное поведение, выгодно отличавшее его в кругу знакомых, имело основанием робость, присущую юному возрасту.

В соседней с ним комнате проживала некая особа весьма привлекательной наружности. Изящество ее туалетов заставило Сайласа поначалу принять ее за графиню. Со временем, однако, он узнал, что зовут ее мадам Зефирин и что, каково бы ни было ее истинное положение в обществе, знатностью рода она не отличается. Мадам Зефирин,— быть может, в надежде пленить юного американца — то и дело попадалась ему на лестнице; при этом она всякий раз слегка наклоняла головку, роняла два-три слова приветствия, которые непременно сопровождались испепеляющим взглядом ее черных очей, и, прошуршав мимо, оставляла в его впечатлительной памяти прелестное видение ножки чуть повыше ботинка. Впрочем, все эти авансы, вме-

сто того чтобы ободрить мистера Скэддемора, повергали его в глубочайшее уныние и еще больше увеличивали его застенчивость. Раза два-три она даже заходила к нему — попросить спичек или извиниться за мнимые прегрешения своего пуделя,—и, однако, в присутствии столь блистательной дамы он неизменно терял дар речи, и ни одно французское слово не приходило ему на ум. Бедный молодой человек мялся и пожирал прекрасную гостью глазами. Зато в более непринужденной обстановке, в обществе приятелей мужского пола он позволял себе ронять небрежные намеки, из которых вырисовывалась картина значительно более эффектная, нежели тусклая действительность.

По другую сторону его комнаты — а их было на каждом этаже всего три — проживал пожилой англичанин, лондонский доктор с несколько подмоченной репутацией. Доктор Ноэль — так звали соседа Сайласа — был вынужден покинуть Лондон, где у него была большая и все возраставшая практика; говорили, что этой смене декорации в известной степени способствовали полицейские власти. Как бы то ни было, человек этот, некогда занимавший в обществе положение не лишенное известного блеска, ныне жил в Латинском квартале неприхотливой жизнью анахорета, почти весь свой досуг отдавая науке.

Мистер Скэддемор вскоре с ним подружился, и они иногда вместе вкушали скромный обед в ресторане напротив гостиницы.

За Сайласом К. Скэддемором водились кое-какие грешки, не слишком, впрочем, серьезные, и хоть они и не украшали его репутации, он предавался им, отбросив ложный стыд На первом месте среди них стояло любопытство. У него был нюх прирожденного сплетника; жизнь, особенно та ее сторона, с которой он еще не успел как следует познакомиться, занимала его до страсти. Его любознательность была неискоренима и неутомима, расспросы его были столь же назойливы, сколько нескромны. Если кто-нибудь просил его снести на почту письмо, он непременно взвешивал его на ладони и вертел в руках, тщательнейшим образом штудируя адрес на конверте.

Однажды, обнаружив между своей комнатой и комнатой мадам Зефирин небольшую щель, мистер Скэддемор вместо того, чтобы тотчас ее заделать, расширил и усовершенствовал это оконце, позволившее ему наблюдать за соседкой.

Чем больше он стремился утолить свое любопытство, тем сильнее оно разгоралось. И вот однажды, в последних числах марта, он решился еще больше расширить щель, чтобы иметь возможность обозревать еще один уголок комнаты, в которой обитала мадам Зефирин. Однако в тот же вечер, заняв свой наблюдательный пост, Сайлас, к своему удивлению, заметил, что щель заделана с той стороны. Еще более подивился он, когда его смотровое окно вновь внезапно открылось и до его ушей донеслось хихиканье. Очевидно, обвалившаяся с той стороны штукатурка выдала его тайну, и соседка решила отплатить ему любезностью за любезность. Мистер Скэддемор испытал острое чувство неудовольствия и мысленно посылал проклятия по адресу мадам Зефирин. Более того, он даже и себя побранил. Впрочем, когда на другой день обнаружилось, что мадам Зефирин не приняла никаких мер, чтобы помешать его любимому занятию, он вновь воспользовался ее беспечностью.

В тот день к мадам Зефирин пришел посетитель, которого Сайлас никогда прежде не видел. Это был рослый мужчина с развинченной походкой, лет пятидесяти с лишним. Его ворсистый шерстяной костюм, цветная сорочка, не говоря уже о косматых бакенбардах, сразу выдавали в нем англичанина. От его тускловато-серых глаз на Сайласа повеяло холодом. Во все время разговора, который велся вполголоса, посетитель беспрестанно кривил губы. Юному уроженцу Новой Англии несколько раз почудилось, будто собеседники кивают в его сторону. Впрочем, как он ни напрягал слух, из всего разговора ему удалось уловить только одну фразу.

— Я досконально изучил его вкусы,— сказал англичанин, внезапно повысив голос,— и повторяю, что не могу найти более подходящей кандидатуры, чем ваша.

В ответ мадам Зефирин только вздохнула и жестом выразила безграничную покорность собеседнику.

К вечеру обсерватория молодого человека была окончательно закрыта с помощью шкафа, который переставили к стене, разделяющей обе комнаты. Сайлас все еще скорбел по поводу этого несчастья, причины которого приписывал злым козням англичанина, как вдруг консьержка доставила ему письмо. Оно было написано женским почерком по-французски, без излишнего педантизма в орфографии. Подписи не было, однако писавшая в самых недвусмыслен-

ных выражениях назначала молодому американцу свидание в Бале-Булье в одиннадцать часов вечера. Долго в его юном сердце сражались любопытство и робость; то он был весь добродетель, то — кипучая дерзость. Баталия кончилась тем, что мистер Сайлас К. Скэддемор, безукоризненно одетый, прибыл к дверям Бала-Булье задолго до назначенного часа и, упиваясь собственной лихостью и широтой, купил входной билет.

По случаю масленицы зала была полна народу. Вначале при виде шумной толпы и зажженных огней юный искатель приключений несколько смешался, но вскоре хмель веселья кинулся ему в голову, и он ощутил в себе удаль, о которой ранее и не подозревал. Со всеми повадками завзятого кавалера он развязно, словно сам черт ему не брат, шаркал по бальному паркету, и, слоняясь из одного угла залы в другой, вдруг заметил мадам Зефирин и ее давешнего англичанина; они стояли подле колонны и были увлечены разговором. Кошачья натура Сайласа оказалась сильнее его; бесшумно подойдя к ним сзади, он стал прислушиваться.

— Вот он,— говорил англичанин,— вон тот, с длинными русыми волосами, который разговаривает с девицей в зеленом.

Сайлас тотчас обратил внимание на красивого молодого человека, ростом чуть ниже среднего, о котором, очевидно, и шел разговор.

— Хорошо,— сказала мадам Зефирин,— сделаю все, что в моих силах. Но помните, что при всем желании я не могу поручиться за успех.

— Вздор! — оборвал ее собеседник.— За результаты ручаюсь я. Вы разве не знаете, что прежде чем остановить свой выбор на вас, я перебрал десятка три других имен. Итак, за работу! Но остерегайтесь принца. Не понимаю, каким ветром его сегодня сюда занесло. Как будто в Париже нет балов, более достойных его внимания, чем это сборище студентов и приказчиков! Вот только поглядите на него: восседает, словно император на троне, а не простой наследный принц, шатающийся по свету без дела!

Сайласу вновь посчастливилось. Он увидел мужчину несколько грузного сложения, чрезвычайно красивого, с манерами любезными и одновременно властными; рядом с ним сидел человек тоже красивой наружности и на вид чуть помоложе. Этот второй обращался к своему собеседнику с

подчеркнутой почтительностью. Слово «принц» сладко отозвалось в ушах молодого республиканца, а вид человека, которого величали этим титулом, произвел свое обычное магнетическое действие. Покинув мадам Зефирин и ее англичанина, Сайлас протиснулся сквозь толпу к столику, отмеченному августейшим присутствием принца.

— А я повторяю, Джеральдин,— говорил в эту минуту принц,— что все это — чистое безумие. Вы сами (я рад это подчеркнуть) избрали своего родного брата для выполнения столь опасного задания, и ваш долг — руководить его поступками. Он согласился задержаться в Париже на несколько дней — это уже само по себе безрассудство, если учитывать характер субъекта, с которым ему приходится иметь дело. А теперь, за двое суток до отъезда, когда еще два-три дня — и наступит решительный час, где он проводит эти оставшиеся дни? Он не должен бы выходить из тира, тренируя глаз и руку; должен спать как можно больше и совершать небольшие прогулки пешком; соблюдать строгую диету и не пить белых вин и коньяков. Или этот щенок воображает, что мы разыгрываем комедию? Но ведь вопрос идет о жизни и смерти, Джеральдин!

— Я знаю своего братца,— отвечал полковник,— и знаю, что мое вмешательство ему не нужно. Он гораздо более осмотрительный человек, нежели вы полагаете, и дух его непоколебим. Если бы в деле была замешана женщина, быть может, я и не был бы так спокоен, но доверить председателя ему и вашим двум слугам я могу с закрытыми глазами.

— Ваша уверенность меня радует,— сказал принц,— и все-таки душа у меня не на месте. Эти мои слуги — первоклассные сыщики, и тем не менее разве злодей не умудрился трижды обмануть их бдительность и провести по нескольку часов кряду неизвестно где? Можете быть уверены, он не теряет времени даром. Какой-нибудь дилетант еще мог бы случайно потерять его след, но если председателю удалось сбить со следа Рудольфа с Жеромом, это неспроста. У этого человека, должно быть, имеются веские причины действовать таким образом, не говоря уже о его дьявольской ловкости.

— Я полагаю,— ответил Джеральдин слегка обиженным голосом,— что это наша забота, моя и брата.

— Вполне с вами согласен, полковник Джеральдин,— ответил принц.— Но, быть может, именно вследствие этого

вы и могли бы несколько прислушаться к моим советам. Вон та девица в желтом недурно танцует.

И беседа перекинулась на обычные темы парижских балов во время масленицы.

Сайлас спохватился, что ему пора идти на свое свидание. Он думал о нем без всякого удовольствия. В это время толпа повлеклась к дверям, и он не стал сопротивляться течению, которое занесло его в уголок под хорами, где слух его тотчас уловил знакомые интонации мадам Зефирин. Она говорила по-французски с тем русокудрым юношей, которого ей указал немногим меньше получаса назад таинственный англичанин.

— Я вынуждена оберегать свою репутацию,— говорила она,— иначе я не стала бы думать ни о чем, кроме как о влечении собственного сердца. Впрочем, довольно одного вашего словечка портье, и он пропустит вас беспрепятственно.

— Но к чему этот разговор о каком-то долге? — возразил ее собеседник.

— Боже мой! — воскликнула она.— Неужели вы полагаете, что мне меньше вашего известны нравы отеля, в котором я живу?

И, нежно опираясь на руку своего собеседника, она прошла с ним дальше.

Сайлас снова вспомнил, что и его тоже ожидает свидание.

«Как знать,— подумал он,— какие-нибудь десять минут, и я сам, быть может, пойду под руку с дамой, не уступающей мадам Зефирин красотой, и, быть может, даже лучше одетой? Вдруг она окажется настоящей светской дамой да притом еще и титулованной?»

Но, вспомнив орфографию полученного им любовного письма, он немного сник.

«Впрочем, она могла продиктовать записку горничной»,— подумал он тут же.

Оставалось всего пять минут; пульс его участился, сердце тягостно заныло. Ему пришло в голову, что еще, собственно, не поздно, и он вовсе не обязан явиться на свидание. Добродетель, найдя мощного союзника в малодушии, подвигала его ближе к дверям — на этот раз самостоятельно и даже против общего течения, которое внезапно повернуло назад. Но—то ли он устал протискиваться сквозь толпу, то ли пребывал в том состоянии духа, когда невоз-

можно бывает больше нескольких минут кряду следовать в одном направлении,— как бы то ни было, он в третий раз повернул назад и остановился невдалеке от места, указанного ему прекрасной незнакомкой.

Здесь он пережил сущую душевную муку и, будучи благочестивым молодым человеком, несколько раз принимался молить бога о помощи. Предстоящая встреча его уже не привлекала нисколько, и только глупый страх показаться недостаточно мужественным удерживал его от бегства. Однако чувство это оказалось сильнее всех прочих, и хоть и не заставило его сделать и шагу вперед, но помешало уйти. Между тем часы показывали десять минут двенадцатого. Юный Скэддемор приободрился. Выглянув из своего уголка, он увидел, что в условленном месте его никто не ждет. Должно быть, наскучив ожиданием, его таинственная поклонница ушла. Все его малодушие как рукой сняло. Он так и светился отвагой. Пусть и с опозданием, но все же он пришел, и это снимало с него тень обвинения в трусости. Впрочем, продолжал он рассуждать, над ним, очевидно, подшутили, и он уже поздравлял себя с собственной проницательностью, позволившей ему раскусить шутку и перехитрить своих мистификаторов. Как легко совершаются подобные переходы в юности!

Ободренный всеми этими соображениями, он дерзко покинул свой угол, но не успел сделать и двух шагов, как почувствовал на своей руке легкое прикосновение женской ручки. Он живо обернулся и увидел перед собой даму весьма крупных форм и с довольно величавыми чертами лица, лишенными, впрочем, малейшего признака суровости.

— Вы, я вижу, опытный сердцеед,— сказала она,— ибо заставляете себя ждать. Но я твердо решила с вами повидаться. Если женщина решается на первый шаг, она уже оставляет все соображения мелкого самолюбия далеко позади.

Сайлас был ошеломлен могучими формами своей очаровательной корреспондентки, а также внезапностью, с какой она на него обрушилась. Впрочем, она держалась так просто, что вскоре и он стал чувствовать себя с ней вполне непринужденно. Она была очень любезна и мила, вызывала его на острословие и до упаду смеялась его шуткам. Таким образом, в предельно короткий срок с помощью комплиментов и бренди, разбавленного кипятком, ей удалось внушить ему, что он до смерти влюблен, и, больше того,—

вырвать у него признание, облеченное в самые страстные выражения.

— Увы! — сказала она.— Как ни велико счастье, которое доставляет мне ваше признание, я должна бы проклинать эту минуту. До сих пор я страдала в одиночестве; теперь, мой бедный мальчик, нас двое. К сожалению, я не свободна. Я не могу пригласить вас к себе, ибо за мною учрежден ревнивый надзор. Я, пожалуй, вас старше,— продолжала она,— и вместе с тем насколько слабее! И хоть я ничуть не сомневаюсь в вашей отваге и решимости, я должна в наших же интересах руководствоваться своим знанием света. Где вы живете?

Он назвал ей свой отель, улицу и номер дома.

Она задумалась.

— Хорошо,—сказала она наконец,—я ведь могу рассчитывать на вашу преданность и повиновение, не так ли?

Сайлас с жаром уверил ее в своей безграничной покорности.

— Ну что же,— продолжала она с улыбкой.— В таком случае завтра вечером вы должны сидеть дома и под любым предлогом избавиться от случайных посетителей. У вас двери, вероятно, запираются в десять?

— В одиннадцать,— сказал Сайлас.

— Хорошо. Ровно в четверть двенадцатого вы выйдете из дому. Попросите портье вас выпустить,— и смотрите же, не вступайте с ним в объяснения: это может погубить все дело. Идите прямо на угол Люксембургского сада и Бульваров. Там я и буду вас ожидать. Я рассчитываю, что вы в точности исполните мои указания, и помните: малейшее, самое незначительное отступление может погубить несчастную женщину, повинную лишь в том, что увидела вас и полюбила с первого взгляда.

— Мне не совсем понятно, зачем столько предосторожностей,— сказал Сайлас.

— Ого, вы уже начинаете проявлять свою власть надо мной! — воскликнула она, игриво прикоснувшись к его руке веером.— Терпение, терпение! Со временем придет и это. Но вначале женщине нужно, чтобы ей повиновались, и только потом она сама начинает находить особое наслаждение в покорности. Ради всех богов, делайте, как я вам велю, или я ни за что не ручаюсь. А впрочем,— прибавила она задумчиво, словно ей только что представились какие-то дополнительные и непредвиденные осложения,— я при-

думала для вас еще лучший способ избавиться от непрошеных гостей. Скажите портье, чтобы он никого к вам не пускал, кроме человека, который, быть может, придет получить с вас старый долг; причем произнесите это с некоторым волнением, словно страшитесь визита этого кредитора, так, чтобы ваши слова как можно убедительнее прозвучали в ушах портье.

— Я полагаю, что и сам могу изыскать способ избавиться от нежелательных визитеров,— не без досады ответил он.

— Мне бы хотелось, чтобы вы поступили именно так, как я говорю,— холодно произнесла она.— Ну, да я знаю мужчин. Для вас репутация женщины ничто.

Сайлас покраснел и потупился. Он и в самом деле рассчитывал порисоваться перед друзьями в своей новой роли победителя.

— Главное же,— повторила она,— когда будете выходить,— ни слова портье!

— Почему вы придаете этому такое значение? — спросил он.— Из всех ваших указаний последнее мне кажется наименее существенным.

— Вы ведь сомневались в целесообразности и прочих моих распоряжений, которые вам уже более не кажутся излишними,— парировала она.— Поверьте мне, что и это, последнее, не простой каприз; со временем вы убедитесь сами. Чего стоят, однако, ваши чувства, если в первое же свидание вы хотите отказать мне в таком пустяке!

Сайлас запутался в оправданиях и извинениях, которые она внезапно прервала, как бы невзначай взглянув на стенные часы.

— Господи боже мой!—воскликнула она, всплеснув руками.— Неужели так поздно? У меня ни минуты времени Увы, какие мы, женщины. несчастные, какие мы все рабыни! Вы и представления не имеете, чем я рискую ради вас!— И, повторив еще раз свои указания, сопровождая их ласковыми словами и более чем красноречивыми взглядами, она пожелала ему покойной ночи и исчезла в толпе.

Весь последующий день Сайлас был исполнен важности; у него уже не оставалось сомнений в том, что его возлюбленная — графиня. А с наступлением вечера, скрупулезно исполнив все ее наказы, в назначенный час он явился на угол Люксембургского сада и Бульваров. Там никого не

оказалось. Чуть ли не полчаса простоял он, заглядывая в лица всех женщин, которые проходили мимо или останавливались поблизости. Он даже исследовал все окрестные углы Бульваров и обошел Люксембургский сад кругом. Однако прекрасная графиня, готовая броситься ему в объятия, так ему нигде и не повстречалась. Наконец он печально поплелся обратно в отель. По дороге ему вдруг припомнился подслушанный им разговор между мадам Зефирин и русскудрым юношей, и он ощутил смутную тревогу. «Непонятно, почему все должны что-то врать нашему портье»,— подумал он.

Он позвонил. Портье в ночной рубахе и колпаке открыл дверь и предложил посветить ему на лестнице.

— Он уже ушел?—спросил портье.

— Кто ушел? О ком вы говорите? — в свою очередь, спросил Сайлас. Он еще не оправился от своего разочарования, и поэтому голос его был немного резок.

— Я не видел, как он выходил,— продолжал портье,— надеюсь, что вы с ним расплатились. Мы не очень-то жалуем постояльцев, которые не расплачиваются со своими кредиторами.

— Что за белиберда, черт возьми! — вскричал Сайлас.— Не понимаю, о ком вы говорите!

— Да об этом коротеньком господине со светлыми волосами,—ответил портье.— О ком же еще? Ведь вы же сами не велели пускать к вам никого, кроме человека, который придет за своим долгом.

— Господи, да ведь он, разумеется, и не приходил! — ответил Сайлас.

— Значит, мои глаза меня обманули,— сказал портье и подмигнул жильцу с самым плутовским видом.

— Дерзкий шут! — вскричал Сайлас. И, досадуя на себя за то, что выказал перед портье свое раздражение, объятый к тому же миллионом самых неприятных предчувствий, взбежал на лестницу.

— Так вам не надо посветить?— крикнул ему вслед портье.

Сайлас только ускорил шаг и взлетел к себе на седьмой этаж, ни разу не останавливаясь. У двери своей комнаты он постоял с минуту, чтобы отдышаться; самые мрачные предположения роились в его мозгу, и он не сразу решился войти.

Наконец, превозмогая робость, он открыл дверь и с об-

легчением увидел, что в комнате свет не зажжен и что в ней как будто никого нет. Он перевел дух. Наконец-то он дома, вне опасности! Сайлас тут же дал себе зарок, что нынешнее его безрассудство — первое в своем роде — будет также и последним. Он начал ощупью подвигаться к изголовью кровати, где у него на тумбочке лежали спички. Прежние страхи вновь обступили его, и он обрадовался, когда предмет, о который он споткнулся, оказался всего-навсего стулом. Наконец он нащупал руками полог, свисавший над кроватью. По расположению тускло мерцавшего окна он догадался, что находится в ногах постели; оставалось, перебирая по ней руками, достигнуть изголовья, возле которого стояла тумбочка.

Он опустил руку, но то, что нащупала его ладонь, было не просто покрывалом, а покрывалом, под которым лежало нечто весьма по своим контурам напоминающее человеческую ногу. Сайлас отдернул руку и с минуту постоял как окаменелый.

«Что же это такое? — подумал он.— Что это значит?»

Он стал внимательно вслушиваться, но не мог уловить человеческого дыхания. Еще раз, сделав над собой невероятное усилие, он кончиком мизинца прикоснулся к тому же самому месту и отпрянул. Он дрожал всем телом. Что-то лежало на его постели, это несомненно. Что именно, он не знал.

Прошло несколько секунд, прежде чем он мог пошевельнуться. Затем, нашарив рукой спички и став к постели спиной, он засветил свечу. Как только она разгорелась, он медленно обернулся и увидел то, что боялся увидеть. Подтвердилась самая страшная из его догадок. Покрывало тщательно было натянуто на подушку, но под ним безошибочно вырисовывались формы бездыханного человеческого тела. Сайлас бросился к постели, резко отдернул покрывало и обнаружил того самого русокудрого молодого человека, которого видел накануне в Бале-Булье. Невидящие глаза юноши были широко раскрыты, лицо распухло и почернело, около носа запеклись две тонкие струйки крови.

С долгим, прерывистым воплем Сайлас выронил свечку из рук и упал на колени перед кроватью.

Из оцепенения, в которое Сайласа погрузило страшное открытие, его вывел настойчивый и тихий стук в дверь. Впрочем, он не сразу очнулся, и, когда наконец сообразил,

что следует во что бы то ни стало преградить вход в комнату, было уже поздно. Доктор Ноэль в высоком ночном колпаке, держа в руках лампу, освещавшую снизу его длинное бледное лицо, уже протиснулся в дверь и, по-птичьи склонив голову, проследовал на середину комнаты.

— Мне послышался крик,—начал доктор,—я подумал, что вам плохо, и позволил себе вторгнуться к вам.

Чувствуя, как кровь заливает ему щеки и оглушенный стуком собственного сердца, Сайлас стоял спиной к постели, стараясь заслонить ее от доктора. Голос ему, однако, не повиновался, и он молчал.

— Вы отчего-то в потемках,—продолжал доктор,—а между тем вы, по-видимому, еще и не собирались ложиться. Вам не удастся обмануть мои глаза, а лицо ваше красноречиво говорит о том, что вы нуждаетесь в помощи— друга или врача, этого я еще не знаю. Позвольте ваш пульс, подчас это самый верный свидетель.

Доктор продолжал наступать на Сайласа, пытаясь поймать его руку, между тем как тот от него пятился. Наконец, нервы американца не выдержали. Отпрянув от доктора, он бросился на пол и разразился рыданиями.

Как только доктор обнаружил мертвое тело на постели, лицо его потемнело. Бросившись назад к двери, он затворил ее и дважды повернул ключ в замке.

— Встаньте!—резко приказал он.—Сейчас не время предаваться слезам. Что вы наделали? Каким образом в вашей комнате очутился труп? Говорите откровенно, вы имеете дело с человеком, который в состоянии вам помочь. Неужели вы думаете, что я стану вас губить? Что эта безжизненная плоть способна хоть на йоту изменить симпатию, которую я к вам почувствовал с начала нашего знакомства? С каким бы ужасом ни взирало на убийство слепое и подчас несправедливое правосудие, неужто, о легковерный юнец, вы думаете, что сердце друга с таким же ужасом отнесется к тому, кто это убийство совершил? Нет, нет, если бы друг моей души выплыл ко мне из океана крови, мое отношение к нему не изменилось бы ничуть. Поднимитесь,— продолжал он,— понятие о добре и зле — только химера; один лишь рок управляет нашей жизнью. Знайте же, что, в каких бы обстоятельствах вы ни очутились, вы можете рассчитывать на меня. Я никогда вас не покину.

Приободренный этой речью, Сайлас взял себя в руки и прерывающимся голосом, время от времени поощряемый

вопросами доктора, рассказал ему основные обстоятельства дела. Впрочем, подслушанный им разговор между принцем и Джеральдином он опустил, так как смысл его был ему самому неясен и он не представлял себе, чтобы этот разговор был как-нибудь связан с бездыханным телом на его постели.

— Увы! — вскричал доктор Ноэль,— либо я ничего не понимаю, либо вы попали в руки самых отъявленных злодеев в Европе. Бедный мальчик, в какую страшную ловушку вас толкнуло собственное простодушие! К какому гибельному концу привел ваш неосторожный шаг! Ну, а этот человек,— продолжал он,— этот англичанин, которого вы видели дважды — а я подозреваю, что он и является скрытой пружиной всей этой истории,— не можете ли вы его описать? Стар он или молод? Высокого роста или маленького?

Но Сайлас, несмотря на свое необузданное любопытство, был начисто лишен наблюдательности, и то, что он мог сказать о наружности англичанина мадам Зефирин, было настолько общо, что ровно никакого представления о нем не давало.

— Я бы ввел наблюдательность во всех школах как обязательный предмет! — с яростью сказал доктор.— Для чего человеку даны глаза и дар речи, если он не может заметить и описать по памяти черты своего врага? Я знаком со всеми бандитскими шайками Европы и мог бы тотчас опознать его, и таким образом знал бы, каким оружием лучше всего вас от него защитить. Попытайтесь на будущее, бедный мой мальчик, развить в себе эту способность. Вы увидите, что она может пригодиться.

— На будущее! — уныло повторил Сайлас.— Как можно говорить о будущем человека, которого ожидает виселица?

— Юность — пора малодушия,— сказал доктор.— В этом возрасте человек склонен сгущать краски. Я стар и, как видите, никогда не отчаиваюсь.

— Но кто мне поверит в полиции?—спросил Сайлас.

— Разумеется, никто,— ответил доктор.— Судя по всему, вас запутали как следует, и с этой стороны ваше положение достаточно безнадежно: с узкой точки зрения блюстителей закона, вы окажетесь очевидным убийцей. Имейте еще в виду, что нам известна только часть замысла и

что бессовестные заговорщики несомненно подстроили множество дополнительных улик, которые должны будут всплыть на следствии и доказать вашу неоспоримую виновность.

— Значит, мне нет спасения, и я погиб! — воскликнул Сайлас.

— Я этого не сказал,— возразил доктор Ноэль,— ибо я человек осторожный.

— Ну, а что делать с этим? — спросил Сайлас, указывая на тело.—Вот она, улика, на моей постели! Ее не объяснишь, от нее не избавишься, на нее невозможно смотреть без ужаса!

— Ужаса?—повторил доктор.—Ну, нет. Когда ломается машина, именуемая человеческим организмом, она оказывается всего-навсего машиной, хитроумной машиной, которую остается исследовать с помощью ланцета. Кровь, как только она застынет и запечется, перестает быть человеческой кровью. Мертвая плоть перестает быть той плотью, которая вызывает вожделение любовника или уважение друга. Все изящество, вся привлекательность, а также и весь ужас ее исчезают вместе с оживлявшим ее духом. Приучитесь смотреть на нее спокойно, ибо если плану, который я задумал для вашего спасения, суждено осуществиться, вам придется провести несколько дней бок о бок с тем, что сейчас вас так ужасает.

— Плану?—воскликнул Сайлас.— Так у вас есть план? Ах, доктор, сообщите его мне поскорее. А то я совсем отчаялся!

Доктор на этот раз не ответил ничего и, подойдя к постели, принялся за осмотр тела.

— Смерть не подлежит сомнению,— пробормотал он.— И, как я и полагал, карманы пусты и с воротничка срезана метка портного. Работа добросовестная и ловкая. К счастью, он небольшого роста.

Сайлас слушал этот монолог с тревожным вниманием. Наконец доктор, окончив осмотр трупа, сел на стул и с улыбкой обратился к американцу.

— С той минуты, как я к вам вошел,—сказал он,—несмотря на то, что мои уши и мой язык были все время заняты, глаза мои тоже несли неустанную службу. И вот я заприметил у вас в углу одну из тех чудовищных конструкций, без которых ваши соотечественники не появляются ни в одном из уголков земного шара. Я имею в виду ваш сун-

дук. До настоящей минуты я никак не мог понять назначения этих монументов. И вдруг пелена приоткрылась. Для удобства ли работорговли были они придуманы, или для того, чтобы заметать следы слишком вольного обращения с охотничьим ножом, я еще не берусь сказать. Одно мне ясно во всяком случае: такой сундук существует для того, чтобы заключать в себе человеческое тело.

— Помилуйте! — воскликнул Сайлас.— Неужели вы можете еще шутить в такую минуту?

— Пусть я и выражаюсь с некоторой долей игривости,—ответил доктор,— но смысл моих речей в высшей степени серьезен. А поэтому, мой дорогой друг, потрудитесь первым делом опростать ваш сундучок.

Подчинившись властной манере доктора Ноэля, Сайлас принялся выполнять его распоряжение. В одну минуту все содержимое сундука было свалено на пол беспорядочной кучей. Затем они вдвоем подняли труп с постели — Сайлас держал его за ноги, доктор подхватил под плечи — и не без труда, согнув его вдвое, запихнули в сундук. Общими усилиями им удалось закрыть крышку; доктор собственными руками запер сундук и обмотал ремнями, между тем как Сайлас побросал свои вещи в гардероб и комод.

— Ну вот,— сказал доктор,— первый шаг к вашему спасению сделан. Завтра, вернее, сегодня вам необходимо усыпить подозрительность портье, уплатив ему все, что вы задолжали за квартиру. Мне же доверьте принять меры, которые должны привести дело к благополучному концу. А сейчас я попрошу вас пожаловать ко мне, я вам дам сильнодействующее и вполне безвредное снотворное. Ибо, что бы вас ни ожидало впереди, вам необходимо освежиться глубоким сном.

Следующий день навеки остался в памяти Сайласа, как самый долгий день в его жизни. Казалось, что он не кончится никогда. Он никого не принимал и просидел до вечера у себя в углу, уныло воззрившись на сундук. Он пожинал плоды собственной нескромности: из комнаты мадам Зефирин за ним неустанно следили. Это его так измучило, что он наконец загородил щелку со своей стороны. Избавившись от соглядатаев, он провел остаток времени в покаянных слезах и молитве.

Поздно вечером к нему вошел доктор Ноэль, держа в руках два запечатанных, но не надписанных конверта. Один

из них был туго набит и топорщился, другой, напротив, казался совершенно пустым.

— Сайлас,— сказал он, присаживаясь к столу,— пришло время объяснить вам план спасения, который я для вас придумал. Завтра, рано поутру, принц Флоризель Богемский возвращается в Лондон после нескольких дней, проведенных в Париже на масленице. Некогда, много лет назад, мне посчастливилось оказать шталмейстеру принца, полковнику Джеральдину, одну из тех услуг, весьма обычных в моей профессии, которые, однако, не забываются ни той, ни другой стороной. В чем именно заключалась моя услуга, неважно. Достаточно сказать, что полковник готов сделать для меня все, что в его силах. Вам необходимо перебраться в Лондон, избежав таможенного досмотра вашего багажа. Казалось бы, почти невозможное дело, но тут я вспомнил, что багаж такого значительного лица, как принц, свободен от досмотра. Я обратился к полковнику Джеральдину, и мне удалось получить от него благоприятный ответ. Итак, если вы завтра к шести часам утра подойдете к отелю, который занимает принц, ваш сундук попадет в его багаж, а сами вы совершите переезд в качестве лица, состоящего в его свите.

— Теперь, когда вы об этом заговорили, я припоминаю, что уже имел честь видеть и самого принца и полковника Джеральдина. Я даже слышал обрывок их разговора на балу.

— Вполне возможно; принц любит вращаться в самых разнообразных кругах,— ответил доктор.— С приездом в Лондон,— продолжал он,— ваша задача почти решена. В этом, более толстом конверте, который я не решаюсь надписать, содержится письмо. Вскрывши другой, вы узнаете адрес, по которому вам надлежит доставить как письмо, так и сундук. Там у вас сундук заберут, после чего вас никто больше не станет беспокоить.

— Увы! — сказал Сайлас.— Я всей душой хотел бы вам поверить. Но возможно ли все это? Вы обещаете мне чудесное избавление, но, подумайте сами, может ли мой рассудок в него уверовать? Будьте же великодушны и поясните мне хотя бы что-нибудь.

В чертах доктора проступило неудовольствие.

— Мальчик,— сказал он,— вы не знаете, о чем просите. Но пусть так. В моей жизни хватало унижений, и я к ним привык. Да и смешно было бы после того, как я вам

открыл уже так много, пытаться удержать последнее. Знайте же, что хоть в настоящее время я и представляюсь фигурой незаметной и тихой — этаким скромным, одиноким отшельником, всецело преданным науке,— некогда, в дни моей молодости, имя мое гремело рядом с именами самых отчаянных и дерзких преступников, обитавших в Лондоне. И хоть внешне я казался лицом почтенным и достойным всяческого уважения, на самом деле своим влиянием я был обязан тому, что принимал участие в делах таинственных, преступных и воистину ужасных. Вот и сейчас я прошу выручить вас одного из тех, кто мне тогда беспрекословно повиновался. Шайка их состояла из самого пестрого сброда, в ней были представлены все нации мира; люди, искушенные во всякого рода темных делах; связанные друг с другом страшной клятвой, члены ее промышляли одним и тем же делом. Дело это было — убийство. А тот, кого вы принимали за безобиднейшего старичка, был главарем этой грозной шайки.

— Как,— вскричал Сайлас,— убийство! Человек, который промышлял убийством! И вы думаете, что я могу подать вам руку? Принимать от вас услуги? Темный и преступный старик, неужели вы хотите воспользоваться моей молодостью и моей бедой, чтобы сделать меня своим соучастником?

Доктор с горечью засмеялся.

— Право, мистер Скэддемор,— сказал он,— на вас не угодишь. Впрочем, выбирайте между убийцей и убитым. Если совесть ваша столь щекотлива, что не дозволяет вам воспользоваться моей помощью, так и скажите, и я вас тотчас покину. И управляйтесь себе, пожалуйста, с вашим сундуком и его содержимым, как вам продиктует ваша щепетильная совесть.

— Приношу вам свои извинения,— сказал Сайлас.— Я не имел права так скоро забыть ваше благородное предложение помочь мне, сделанное вами еще до того, как вы убедились в моей невиновности. Я по-прежнему буду с благодарностью следовать всем вашим советам.

— Вот и отлично,— сказал доктор.— Я вижу, что вы начинаете приобретать житейский опыт.

— Впрочем,— продолжал уроженец Новой Англии,— поскольку вы, по собственному вашему признанию, привыкли к этой трагической деятельности, а люди, которым вы меня препоручаете, являются вашими старинными товари-

щами и друзьями, не проще ли было бы вам взять на себя доставку сундука в Лондон и избавить меня раз и навсегда от этого ненавистного груза?

— Нет, вы неподражаемы! — сказал доктор.— Неужели вы думаете, что я без того недостаточно вожусь с вашими делишками? Поверьте, с меня хватит. Можете принимать мои услуги, можете не принимать — это уж как вам вздумается, и, пожалуйста, избавьте меня от изъявлений вашей благодарности, ибо чувствами вашими я дорожу не больше, чем вашим интеллектом. Придет время, и если вам суждено будет в добром здравии и ясном уме дожить до зрелых лет, вы взглянете на все это дело иначе, и тогда вам будет стыдно за ваше сегодняшнее поведение.

С этими словами доктор поднялся и, сухо повторив свои распоряжения, покинул комнату, не дав Сайласу времени ответить.

На следующее утро Сайлас явился в названный доктором отель, где был любезно принят полковником Джеральдином и на время избавлен от забот о своем сундуке и его ужасном содержимом. Путешествие прошло без особых приключений, если не считать того, что молодому человеку время от времени приходилось слышать, как матросы и носильщики ворчат между собой по поводу необычного веса багажа его высочества. Сайлас ехал в одном вагоне со слугами, так как принц Флоризель изъявил желание проделать этот путь наедине со своим шталмейстером. Однако на борту парохода Сайлас привлек к себе внимание его высочества необычайно меланхолическим видом, с каким он неотрывно смотрел на кучу чемоданов, сложенных на корме. Он все еще был полон тревоги за будущее.

— Вот, молодой человек,— сказал принц,— на душе у которого какая-то печаль.

— Это тот самый американец,— сказал Джеральдин,— которому вы по моей просьбе разрешили сопровождать вас в качестве члена вашей свиты.

— Да, и это мне напоминает, что я не исполнил долг вежливости,— сказал принц Флоризель и тут же подошел к Сайласу и заговорил с ним в своей обычной обворожительной манере:

— Я был счастлив, мой молодой друг, что оказался в состоянии удовлетворить вашу просьбу, переданную мне полковником Джеральдином, и прошу вас помнить, что в

любое время буду рад оказать вам и более серьезную услугу.

Затем он принялся расспрашивать своего собеседника о политическом положении в Америке, и Сайлас ему отвечал с достоинством и толково.

— Вы еще молодой человек,— сказал принц,— но, как мне кажется, не по возрасту серьезны. Может быть, вы слишком углубляетесь в ваши ученые занятия? Впрочем, извините мою нескромность, быть может, я задел деликатную струну?

— Ах, я и в самом деле имею основания чувствовать себя несчастнейшим из смертных! — ответил Сайлас.— Ибо на свете нет никого, кто бы так страшно поплатился за свое простодушие, как я!

— Не стану добиваться вашей откровенности,— сказал принц Флоризель.— Прошу вас лишь не забывать, что рекомендация полковника Джеральдина — паспорт, не нуждающийся в печатях, и что я не только готов, но, быть может, более других в состоянии вам помочь.

Сайлас был очарован любезностью высокородного собеседника, но вскоре вновь вернулся к своим мрачным мыслям. Благосклонность принца крови не в состоянии утешить душу, обремененную тягостной заботой, даже если душа эта принадлежит республиканцу.

На вокзале Черинг-кросс таможенные чиновники, как всегда, из уважения к принцу, пропустили его багаж без досмотра. Путешественников встретили изящные экипажи, в одном из которых Сайлас был доставлен вместе со всеми в резиденцию принца. Там полковник Джеральдин его разыскал и выразил радость, что мог оказаться полезным другу доктора, с большим теплом отозвавшись о последнем.

— Надеюсь, что ваш фаянс прибыл в целости. По всему пути следования были отданы особые распоряжения обращаться осторожно с багажом принца.

Затем, приказав слугам предоставить один из экипажей в распоряжение молодого человека и уложить в багажник его сундук и сославшись на свои придворные обязанности, полковник протянул ему на прощание руку.

Сайлас вскрыл конверт с адресом и приказал величавому кучеру везти себя в Бокс-корт, что выходит на Стрэнд. Адрес был, видимо, кучеру знаком, ибо он удивленно переспросил Сайласа. Все еще полный тревоги, Сайлас уселся

в роскошный экипаж, покативший его к месту назначения. Тупик был слишком узок, чтобы пропустить карету. Это был, собственно, проход в ограде, по обе стороны которой высилось по каменной тумбе. На каждой из них сидел человек; оба дружески кивнули кучеру, между тем как лакей, открыв дверцу кареты, осведомился у Сайласа, снимать ли сундук, и если так, куда его отнести.

— Будьте так добры,—ответил Сайлас,—доставьте его в дом номер три.

Лакею пришлось призвать на помощь одного из тех, кто восседал на тумбах, а также и самого Сайласа, и только тогда, да и то с величайшим трудом, удалось дотащить сундук до двери названного дома, где, как с ужасом обнаружил Сайлас, уже столпилось изрядное число зевак. Однако, скрыв, сколько мог, тревогу, он постучал в дверь и, когда ее открыли, предъявил второй запечатанный конверт.

— Его сейчас нет дома,— сказал человек, принимая пакет,— но если вам угодно оставить письмо и наведаться сюда завтра с утра, я буду в состоянии сообщить вам, может ли он вас принять и в какой час. Угодно ли вам также оставить сундук? — прибавил он.

— О да! — с жаром отвечал Сайлас, но в ту же минуту спохватился и с не меньшим жаром объявил, что ему необходимо иметь сундук при себе.

Издеваясь над его нерешительностью, толпа с улюлюканьем двинулась за ним к карете. Изнывая от стыда и страха, Сайлас попросил слуг подвезти его в какую-нибудь тихую приличную гостиницу поблизости.

Карета принца доставила Сайласа в гостиницу «Крейвен» на Крейвен-стрит и тотчас отъехала, оставив его наедине со слугами гостиницы. Единственным свободным номером оказалась комнатушка на четвертом этаже с окнами во двор. Сюда-то, в это прибежище, пыхтя и ворча, дюжие слуги вдвоем внесли злосчастный сундук. Нечего и говорить, что Сайлас следовал за ними по пятам и что на каждом повороте лестницы у него замирало сердце. Ведь один неверный шаг, и сундук мог опрокинуться через перила и вывалить на каменные плиты вестибюля роковое сокровище!

Как только Сайлас очутился у себя в номере, он присел на краешек кровати, чтобы отдышаться после пережитой муки. Но действия не в меру ретивого коридорного застави-

ли его снова вскочить: встав на колени подле сундука, тот уже возился над сложной системой его застежек.

— Не трогайте сундук! — закричал Сайлас.— Пока я здесь, мне ничего в нем не понадобится.

— В таком случае вы могли бы оставить его в вестибюле,— проворчал коридорный,—чем волочить этакую храмину наверх. Чем только он у вас набит, не пойму! Если деньгами, то вы, должно быть, много богаче меня.

— Деньгами?! — воскликнул Сайлас.— Что вы хотите этим сказать? У меня нет никаких денег, и не говорите, пожалуйста, глупостей.

— Успокойтесь, хозяин,— ответил коридорный и подмигнул.— Никто не тронет драгоценностей, которые принадлежат вашей милости. Мне-то вы можете довериться, как государственному банку,— прибавил он,— но, поскольку сундучок ваш и в самом деле тяжеловат, я был бы не прочь выпить за здоровье вашей милости.

Сайлас протянул слуге два наполеондора, извиняясь при этом, что расплачивается иностранной валютой, и оправдываясь тем, что он только прибыл в Англию. Коридорный, ворча пуще прежнего и переводя полный презрения взгляд с монет, очутившихся на его ладони, на тяжелый сундук, наконец соизволил выйти.

Несчастный уроженец Новой Англии, как только остался один, принялся с пристрастием обнюхивать все щели и отверстия в сундуке. Ведь вот уже двое суток, как в нем покоилось мертвое тело. Впрочем, погода эти дни стояла прохладная, и сундук продолжал хранить свою омерзительную тайну.

Сайлас уселся на стуле подле сундука и, закрыв лицо руками, погрузился в глубокое раздумье. Если только его не освободят от груза в самое скорое время, ему не избежать разоблачения. На что он мог рассчитывать, один, в чужом городе, без друзей и пособников? Если рекомендация доктора Ноэля не возымеет должного действия,— прощай Новая Англия навсегда!

Он начал меланхолически перебирать честолюбивые мечты, которые питал прежде: никогда-то ему теперь не стать героем и представителем своего родного Бангора, что в штате Мэн; не продвигаться ступень за ступенью по общественной лестнице; почести одна за другой не посыплются на него; и уж, наверное, ему придется расстаться с мыслью быть избранным в президенты Соединенных Шта-

тов Америки и оставить по себе безвкуснейший памятник, призванный украшать вашингтонский Капитолий! Отныне он прикован к трупу, заключенному в этом громоздком сундуке. Нет, нет, надо тотчас от него избавиться, иначе Сайлас навсегда должен будет отказаться от мечты пополнить своим именем список своих блистательных соотечественников!

Я бы не осмелился даже попытаться передать, какими словами честил он и доктора, и несчастную жертву убийцы, и мадам Зефирин, и коридорного, и лакеев принца Флоризеля — словом, всех, кто был хотя бы косвенно причастен к постигшей его беде.

Часам к семи вечера он прокрался вниз пообедать, но желтые стены ресторана вызывали в нем омерзение; ему казалось, что все на него подозрительно косятся, и он не мог ни на минуту позабыть о сундуке, безмолвно ожидавшем его наверху. Нервы его были так натянуты, что, когда официант подошел после десерта предложить ему сыру, он вскочил со стула, пролив на скатерть остатки эля.

Официант пригласил его проследовать в курительную, и, хоть Сайлас предпочел бы немедленно вернуться к своему роковому кладу, у него не хватило духу отказаться, и он спустился в еле освещенный газовыми рожками черный, закопченный подвал, который в те времена заменял,— а быть может, и по сию пору заменяет — клуб обитателям гостиницы «Крейвен».

Два меланхолических игрока играли на бильярде, им прислуживал маркер в чахоточной испарине. Поначалу Сайласу показалось, что в курительной никого, кроме этой троицы, нет. Но в следующее мгновение взгляд его упал на фигуру курильщика, сидевшего в углу. Вид у него был скромный, весьма почтенный, и он сидел, опустив глаза. Сайлас был готов поручиться, что где-то видел его лицо и прежде. Костюм был другой, и все же он узнал в нем одного из сидевших на каменных тумбах у въезда в Бокскорт — того самого, который помогал тащить сундук от кареты к дверям дома номер три и обратно. Уроженец Новой Англии, не задумываясь, повернулся и побежал без оглядки, и только тогда успокоился, когда очутился в своем номере и запер дверь на ключ и на задвижку.

Осаждаемый самыми страшными видениями, какие только была способна создать его фантазия, он всю ночь прободрствовал подле покойника, заключенного в сундук.

Предположение, высказанное коридорным, будто сундук его набит золотом, вселило в его сердце новые страхи, и он не смел уже ни на минуту сомкнуть глаз, между тем как присутствие переодетого зеваки из Бокс-корта убедило Сайласа, что он вновь сделался мишенью каких-то таинственных махинаций.

Вскоре после полуночи, побуждаемый тревожными подозрениями, Сайлас приоткрыл дверь и выглянул в коридор, тускло освещенный одиноким газовым рожком. Неподалеку от своей двери он увидел распростертого на полу человека, одетого в ливрею гостиничного слуги. Он подошел к спящему на цыпочках. Тот лежал на боку, заслонившись правой рукой. И вдруг, в ту самую минуту, когда американец над ним наклонился, спящий отвел руку, и Сайлас вновь очутился лицом к лицу с зевакой из Бокс-корта.

— Покойной ночи, сударь,— любезно произнес тот, не поднимаясь с полу.

Сайлас растерялся от неожиданности и молча вернулся в свою комнату.

Под утро, измученный тревогами, он уснул, сидя на стуле и положив голову на сундук. Несмотря на неловкую позу и страшную подушку, сон его был крепок и долог. Очнулся он поздно утром от резкого стука в дверь.

Он поспешил ее открыть. То был коридорный.

— Вы и есть тот самый господин, который вчера был в Бокс-корте? — спросил он.

Дрожащим голосом Сайлас подтвердил, что это так.

— Следовательно, эта записка вам,— сказал слуга, протягивая ему запечатанный конверт.

Сайлас разорвал его. Письмо состояло всего из одной фразы:

«Сегодня, в двенадцать».

Сайлас явился в Бокс-корт минута в минуту. Дюжие слуги подхватили сундук и понесли его вперед; Сайласа между тем ввели в комнату, где спиной к дверям сидел какой-то человек и грелся у камина.

Он даже не повернул головы. Ни шум шагов, ни стук сундука о голые доски пола, казалось, не в состоянии были вывести его из глубокой задумчивости. Сайлас стоял, трепеща от страха, в ожидании, когда его соизволят заметить.

Прошло, должно быть, не меньше пяти минут, прежде чем сидевший повернулся в кресле. Сайлас очутился лицом к лицу с принцем Флоризелем Богемским.

— Так-то, сударь,— произнес принц голосом, полным суровости,— так-то вы отблагодарили меня за мою любезность! Вы втираетесь в доверие к людям, занимающим известное положение в обществе, затем лишь, чтобы избежать последствий собственных преступлений. Теперь мне понятно, отчего вы вчера так смутились, когда я с вами заговорил.

— Поверьте мне, ваше высочество,— сказал Сайлас,— я ни в чем не повинен, кроме того, что родился под несчастной звездой.— И, торопясь и сам себя перебивая, юный американец чистосердечно рассказал принцу всю историю своего несчастья.

— Я вижу, что ошибся,— сказал принц, выслушав Сайласа до конца.— Вы всего лишь жертва, и, поскольку у меня нет оснований наказывать вас, я сделаю все, что в моих силах, чтобы вас спасти. А теперь,— прибавил он,— к делу. Откройте ваш сундук и покажите мне его содержимое.

Сайлас побледнел.

— Я не смею в него заглянуть! — воскликнул он.

— Это еще что такое? — сказал принц.— Ведь вы же видели его прежде. Это ничем не оправданная сентиментальность. Больной, которому еще можно помочь, имеет гораздо больше прав на сочувствие, чем труп, которому нельзя уже причинить ни радости, ни боли, который нельзя ни любить, ни ненавидеть. Итак, мистер Скэддемор, возьмите себя в руки.

Заметив, что Сайлас еще колеблется, принц прибавил:

— Я вас прошу. Неужели вы хотите, чтобы я приказал?

Юный американец как бы очнулся от сна и с дрожью отвращения принялся отстегивать ремни и отпирать запоры на сундуке. Принц стоял над его склоненной фигурой, спокойно заложив руки за спину. Мертвец уже совершенно окоченел, и Сайласу стоило немалых усилий, как душевных, так и физических, разогнуть его и открыть его лицо для обозрения.

Принц Флоризель отпрянул и не мог удержаться от возгласа.

— Увы,— произнес он,— вы и понятия не имеете, какой жестокий подарок мне доставили! Этот молодой человек принадлежал к моей свите, он брат самого моего верного друга и погиб от руки беспощадных и коварных людей, исполняя мое поручение. Бедный Джеральдин,— продол-

жал он как бы про себя,— какими словами расскажу я тебе о горькой кончине, постигшей твоего возлюбленного брата? Как оправдаюсь в твоих глазах и в глазах всевышнего за мой самонадеянный замысел, приведший бедного юношу к такому кровавому, насильственному концу? Ах, Флоризель, Флоризель! Когда научишься ты смирению, столь необходимому всякому смертному? Когда перестанет слепить тебя мнимое могущество твоей власти? Власть! — воскликнул он.— Можно ли быть более беспомощным, чем я? Ах, мистер Скэддемор, я смотрю на этого молодого человека, которого сам же отдал в жертву, и вижу, сколь ничтожен удел принца!

Сайлас был глубоко тронут его горем. Он попытался было произнести какие-то слова утешения, но вместо этого неожиданно расплакался. Тронутый его добрыми чувствами, принц подошел к нему и взял его за руку.

— Возьмите себя в руки,— сказал он.— И вам и мне предстоит еще научиться многому, и мы оба получили хороший урок.

Сайлас молча поблагодарил его взглядом.

— Напишите мне адрес доктора Ноэля на этом листке,— продолжал принц, подводя Сайласа к письменному столу.— И позвольте мне дать вам совет, когда снова очутитесь в Париже, избегайте общества этого опасного человека. На этот раз он поддался великодушному порыву. Да, да, я не хочу в этом сомневаться. Ибо, если бы он имел какое-либо отношение к смерти Джеральдина-младшего, он не доставил бы его тело по адресу злодея, совершившего это преступление.

— Как? — воскликнул Сайлас.

— В том-то и дело,— ответил принц.— Это письмо, которое волею провидения таким удивительным образом попало в мои руки, предназначалось тому самому злодею — пресловутому председателю Клуба самоубийц. Не пытайтесь глубже проникнуть в эти опасные тайны, радуйтесь своему чудесному избавлению и покиньте этот дом как можно скорее. У меня дела, не допускающие отлагательства, и мне необходимо распорядиться бренными останками этого храброго и прекрасного юноши.

Сайлас откланялся с почтительной благодарностью, однако еще немного помешкал в проезде, провожая глазами роскошный экипаж, в котором принц немедленно отправил-

ся в полицию, к полковнику Хендерсону. Юный американец стоял с непокрытой головой и глядел вслед удаляющемуся экипажу. Его республиканское сердце переполняли самые верноподданнические чувства. В тот же вечер он сел в поезд и пустился в обратный путь.

На этом, как замечает мой арабский собрат по перу, кончается *повесть об английском докторе и дорожном сундуке*. Опуская его разглагольствования по поводу всемогущества провидения, весьма уместные в оригинале, но не совсем отвечающие нашим западным вкусам, я позволю себе лишь прибавить, что мистер Скэддемор успешно начал свое восхождение по лестнице политической славы и, по последним имеющимся у нас сведениям, уже достиг поста шерифа в своем родном Бангоре, штат Мэн.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИЗВОЗЧИЧЬЕЙ ПРОЛЕТКИ

Лейтенант Брекенбери Рич отличился в одной из бесконечных военных стычек в горной Индии, собственноручно захватив в плен туземного вождя. Храбрость его заслужила повсеместное признание, и если бы он вздумал оправляться на родине от довольно внушительной сабельной раны и затяжной тропической лихорадки, которой его наградили джунгли, соотечественники не преминули бы увенчать его всеми лаврами, причитающимися звезде средней величины. Однако лейтенант обладал непритворной скромностью: он любил приключения, а к почестям был равнодушен. Переждав в Алжире и на водных курортах Европы срок, отпущенный для его скоротечной славы, он прибыл наконец в Лондон весной, когда сезон еще едва начался, и приезд его прошел незамеченным, как он того и хотел.

Будучи сиротой и не имея никого, кроме двух-трех дальних родственников в провинции, он явился, получиностранцем, в столицу той самой страны, за которую проливал кровь.

На другой день после своего приезда он пошел обедать в один из офицерских клубов. Несколько старых товарищей пожали ему руку и горячо поздравили его с успехом; однако все до единого были в тот вечер заняты, и лейтенант оказался всецело предоставлен себе. Он был во фраке, так

как подумывал отправиться после обеда в театр. Впрочем, он никогда прежде не бывал в нашей обширной столице, ибо вырос в провинции, после окончания военного колледжа прямым путем проследовал в Восточную Империю и теперь, попав наконец в этот новый, неизведанный мир, предвкушал всевозможные радости первооткрывателя. Избрав направление на запад, он зашагал по лондонским улицам, помахивая тросточкой. Вечер был мягкий, и казалось, вот-вот польет дождь. Проплывавшие в сумерках человеческие лица, выхватываемые светом уличных фонарей, действовали возбуждающим образом на воображение. Брекенбери чувствовал, что может без конца бродить по столице, впитывая волнующую и таинственную атмосферу четырех миллионов человеческих жизней. Он поглядывал на дома, пытаясь представить себе, что делается за их освещенными окнами, заглядывал в лица и в каждом читал затаенную цель, то благую, то преступную.

«Все говорят: война,— думал он,— но настоящее поле битвы здесь». И он уже начал удивляться тому, что за всю свою прогулку по этому запутанному театру действий еще не набрел на какое-нибудь приключение.

«Ну, да все в свое время,— подумал он.— Я человек нездешний, и от меня, должно быть, за версту веет чем-то чужеродным. Впрочем, не может быть, чтобы меня не втянуло течением, и притом очень скоро».

Дело шло уже к ночи, как вдруг сверху, из темноты, на город обрушился плотный, холодный дождь. Брекенбери встал под дерево и оттуда увидел извозчичью пролетку. Кучер делал ему знаки, что он свободен. Это случилось так кстати, что лейтенант тотчас в ответ помахал тростью и через минуту уже сидел в этой лондонской гондоле.

— Куда, сударь? — спросил кучер.

— Куда угодно,— сказал Брекенбери.

Коляска тотчас помчала его сквозь дождь и вскоре очутилась в лабиринте особнячков. Каждый из них так походил на другой, разбитые перед ними палисадники, тускло освещенные пустынные улицы и переулочки, по которым летела карета, так мало отличались друг от друга, что вскоре он потерял всякую ориентацию. Он был готов подумать, что возничий решил над ним посмеяться и просто возит его по кругу, но в стремительности, с какой тот погонял лошадь, ощущалась какая-то цель: очевидно, его все же везли в какое-то определенное место. Восхищаясь виртуозностью, с

какой возница мчит карету через эти лабиринты, Брекенбери вместе с тем не без тревоги задумался о причине такой поспешности. Он принялся перебирать в памяти различные слышанные им истории о передрягах, в которые подчас попадают приезжие. Быть может, его кучер член какой-нибудь злодейской шайки и везет его навстречу насильственной смерти?

Не успел он так подумать, как экипаж, круто обогнув угол, выехал на широкую и длинную улицу и остановился у ворот особняка с садом. Дом был ярко освещен. Только что отъехала другая извозчичья пролетка, и Брекенбери увидел, как ее пассажир проследовал в дом и как в вестибюле его встретили несколько слуг в ливреях. Брекенбери был удивлен, что извозчик остановился у самого дома, в котором, по всей видимости, был званый вечер, но, решив, что это чистая случайность, спокойно продолжал сидеть и курить, покуда не услышал, как возница крикнул ему сверху:

— Вот мы и приехали, сударь!

— Приехали? — переспросил Брекенбери.— Куда?

— Вы мне сказали, чтобы я вас доставил, куда угодно,— ответил возница с усмешкой,— вот я вас и привез.

Брекенбери обратил внимание на голос возницы: он был слишком изысканным и мягким для простого извозчика. Он вспомнил, с какой необычайной скоростью тот его вез, и тут впервые заметил, что экипаж гораздо роскошнее обычных извозчичьих двуколок.

— Будьте добры объясниться,— сказал он.— Неужели вы намерены бросить меня тут, на дожде? Я полагаю, любезный, что решать, где выйти, лучше всего мне самому.

— О да,— ответил возница,— решать вам. Но я не сомневаюсь в окончательном решении, какое примет такой джентльмен, как вы, после того, как я вам все расскажу. Здесь, в этом доме, сейчас происходит банкет. Я не знаю, кто таков хозяин — приезжий ли он человек, не имеющий в Лондоне никаких связей, или просто чудак. Но только мне он приказал свезти сюда как можно больше джентльменов в вечернем платье, предпочтительно офицеров. Вам остается всего лишь войти в дом и сказать, что вы прибыли по приглашению мистера Моррриса.

— Это вы — мистер Моррис?

— Ну, что вы,— ответил возница.— Мистер Моррис — хозяин дома.

— Положим, это и не совсем обычная манера созывать гостей,— произнес Брекенбери,— ну, да, может быть, это просто безобидная прихоть эксцентрической личности. А если, например, я откажусь принять приглашение мистера Морриса? — продолжал он.— Что тогда?

— В этом случае мне приказано отвезти вас на то самое место, где я вас подобрал,— был ответ,— а самому отправиться на розыски других гостей и до полуночи привезти всех, кого мне удастся. Мистеру Моррису самому нужны только такие гости, которым было бы по душе подобное приключение.

Последняя фраза возницы, собственно, и убедила лейтенанта.

«Ну вот,— сказал он сам себе, выходя из экипажа,— не так уж долго мне пришлось ждать приключения».

Едва он поставил ногу на тротуар и начал шарить в кармане, чтобы расплатиться с извозчиком, как тот повернул и с прежней головокружительной скоростью помчался обратно в город. Брекенбери крикнул ему вслед, но тот даже не обернулся. Зато в доме его голос услышали. Двери тотчас распахнулись, и в ярком снопе света, озарившем сад, показалась фигура слуги, бегущего навстречу Брекенбери с раскрытым зонтом.

— Извозчику уплачено,— произнес слуга учтивым голосом и проводил Брекенбери до самых дверей. В вестибюле к нему подскочили еще несколько слуг, приняли его пальто, шляпу и трость, дали ему взамен жетон с номером и вежливо направили в бельэтаж по лестнице, уставленной оранжерейными цветами в кадках. Там его встретил торжественный дворецкий, осведомился об его имени и, громко объявив: «Лейтенант Брекенбери Рич!» — пропустил в гостиную.

Стройный молодой человек с необычайно красивыми чертами лица пошел к нему навстречу и приветствовал его с изысканной любезностью и радушием. Сотни ярких свечей освещали залу, благоухавшую так же, как и лестница, редкостными и красивыми экзотическими цветами. Буфетный стол ломился от яств. Слуги сновали среди гостей, разнося фрукты и бокалы с шампанским. В гостиной было человек шестнадцать. Почти все они были очень молоды, и почти каждое лицо светилось умом и отвагой. Часть толпилась вокруг рулетки, другая окружала стол, за которым один из присутствующих метал банк.

«Так вот оно что,— подумал Брекенбери,— я попал в частный игорный дом, а извозчик просто-напросто зазывала».

Оценка обстановки была для Брекенбери делом секунды, и к своему заключению он пришел еще прежде, чем хозяин выпустил его руку. Теперь Брекенбери вновь обратил свои взоры к нему. Со второго взгляда мистер Моррис производил еще более яркое впечатление. Утонченная простота манер, благородство, доброжелательность и мужество, которыми дышали его черты, никак не вязались с представлениями лейтенанта о содержателе игорного притона, а разговор выдавал человека и пользующегося заслуженным почетом и занимающего высокое положение в свете.

Брекенбери почувствовал к нему инстинктивное расположение, которое, как ни досадовал на себя, подавить не мог.

— Я о вас слышал, лейтенант Рич,— сказал мистер Моррис, слегка понизив голос,— и, поверьте, счастлив с вами познакомиться. Ваша наружность вполне соответствует вашей репутации, которая, предваряя вас, добралась к нам из Индии. И если вы согласитесь простить мне несколько бесцеремонный способ, каким я залучил вас к себе, то окажете мне не только честь, но и большую радость. Человека, который может в один присест разделаться с отрядом диких кавалеристов,— прибавил он с усмешкой,— вряд ли смутит отступление от этикета, пусть даже и значительное

С этими словами мистер Моррис подвел Брекенбери к буфету и принялся радушно его потчевать.

«Право же,— размышлял лейтенант,— такого славного малого я еще не видел, и здесь, несомненно, собралось самое приятное общество, какое можно встретить в Лондоне».

Он пригубил шампанское, которое оказалось отменным. Заметив, что многие уже принялись курить, он закурил манильскую сигару, подошел к рулетке и стал с улыбкой наблюдать за капризами фортуны, время от времени и сам пытая счастье. Внезапно он заметил, что и сам он и все прочие игроки являются объектом пристального наблюдения. Мистер Моррис расхаживал среди гостей, выполняя обязанности хозяина, однако не забывал при этом метать быстрые, пытливые взгляды то в один угол комнаты, то в другой: ни один из присутствующих не избежал его вни-

мания; он наблюдал, как тот или иной игрок принимает крупный проигрыш, подмечал размеры ставок, задерживался подле собеседников, погруженных в разговор,— словом, не было, казалось, такой черточки, которая бы ускользнула от его проницательного взора. «Нет,— подумал Брекенбери,— это не игорный притон, а скорее какое-то тайное следствие». Он сам стал пристально вглядываться в мистера Морриса, следя за каждым его движением; несмотря на улыбку, почти все время блуждавшую на губах любезного хозяина, он заметил, что из-под нее, как из-под маски, проглядывает измученная, утомленная и озабоченная душа. Кругом все смеялись, делая одну ставку за другой; впрочем, гости перестали занимать Брекенбери.

«Этот Моррис,— подумал он,— не теряет времени зря. У него какая-то своя затаенная цель. Ну что же, у меня тоже будет своя — понять, в чем эта цель заключается».

Время от времени мистер Моррис отзывал в сторонку одного из гостей; после короткой беседы с ним он обычно возвращался в гостиную один, а отозванный таким образом гость уже больше не показывался. После того как подобные сцены повторились несколько раз, любопытство Брекенбери достигло предела. Он твердо решил проникнуть хотя бы в эту, менее значительную тайну. С рассеянным видом проследовав в соседнюю комнату, он обнаружил в ней глубокую нишу с окном, скрытую шторами модного зеленого цвета. Здесь он поспешно спрятался; ждать ему пришлось недолго, ибо почти тотчас раздались чьи-то шаги и голоса. В щель между шторами он увидел, как из гостиной выходил мистер Моррис в сопровождении румяного толстяка, похожего на коммивояжера, которого Брекенбери еще прежде заприметил по его грубому смеху и дурным манерам. Оба остановились неподалеку от окна, так что Брекенбери слышал каждое их слово.

— Миллион извинений,— произнес мистер Моррис самым любезным тоном.— Если я вам покажусь невежливым, я надеюсь, вы меня простите. В таком громадном городе, как Лондон, недоразумения неизбежны. В таких случаях важно как можно скорее устранить неприятные последствия их. Боюсь, что вы почтили своим присутствием мой скромный дом по ошибке, ибо, говоря откровенно, я не припоминаю вашего лица. Позвольте мне поставить вам вопрос прямо, без излишних церемоний — ведь между

джентльменами достаточно честного слова, не так ли? Чьим, по-вашему, гостеприимством вы сейчас пользуетесь?

— Мистера Морриса,— последовал ответ толстяка, чье смущение заметно возрастало с каждым словом.

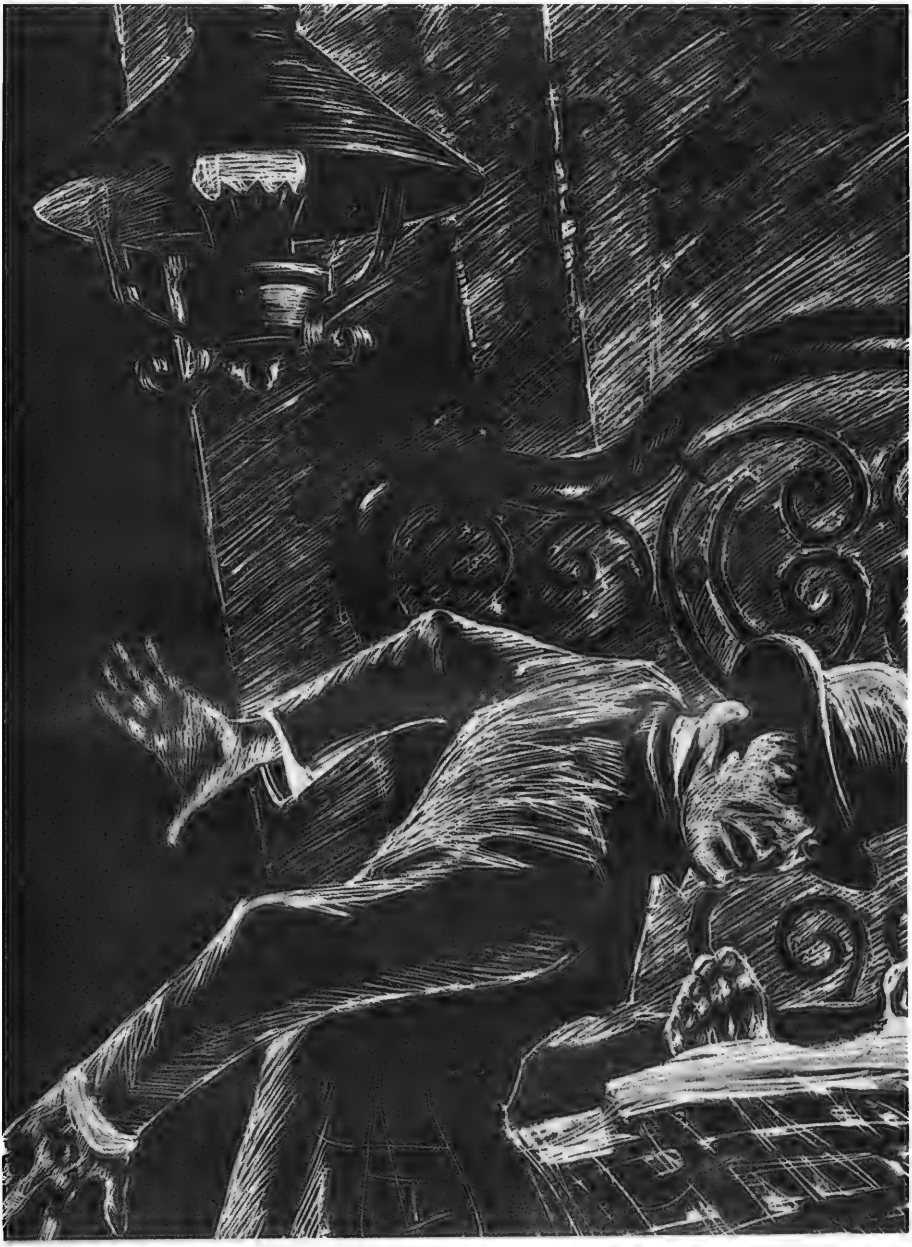
— Вы имеете в виду мистера Джона Морриса или мистера Джеймса Морриса?

— Право же, не берусь сказать,—отвечал злополучный гость.— Лично с хозяином дома я знаком не более, нежели с вами.

— Так я и думал,— сказал мистер Моррис.— Дело в том, что немного подальше, на этой же улице, живет мой однофамилец, и я не сомневаюсь, что полисмен назовет вам точный номер нужного вам дома. Поверьте, я рад был недоразумению, которое доставило мне удовольствие познакомиться с вами, и позвольте выразить надежду, что мы когда-нибудь с вами встретимся вновь и уже не так случайно, как сегодня. Теперь же я не смею и на минуту задерживать вас от свидания с друзьями. Джон,— прибавил он, возвысив голос,— будьте любезны, разыщите пальто этого джентльмена!

С этими словами мистер Моррис учтивейшим манером проводил гостя до дверей передней, где его уже поджидал торжественный дворецкий. Брекенбери все еще не выходил из своей ниши и слышал, как мистер Моррис на обратном пути в гостиную тяжело вздохнул. Это был вздох человека, чем-то сильно озабоченного, преследующего трудную цель и напрягшего каждый свой нерв для ее достижения.

Примерно час еще продолжали прибывать извозчичьи пролетки; мистер Моррис едва успевал проводить одного гостя, как на его место прибывал другой. Таким образом, общее число гостей не уменьшалось. Впрочем, к концу этого часа новые гости начали появляться все реже, а там и вовсе перестали, между тем как процесс выпроваживания гостей продолжался в прежнем темпе. Гостиная заметно пустела. Игру в баккара прекратили за отсутствием банкомета. Иные начали прощаться сами, и их не задерживали, зато мистер Моррис удвоил любезность по отношению к оставшимся. Он переходил от группы к группе, от одного человека к другому, одаривал каждого приветливым взглядом, с умом и тактом поддерживал оживленную беседу. Он был как бы и хозяином и хозяйкой одновременно; его обращение было по-женски ласковым, подчас даже кокетливым, и сердце каждого невольно открывалось ему навстречу.



«КЛУБ САМОУБИЙЦ»

«ДОМ НА ДЮНАХ»

Число гостей продолжало уменьшаться. Лейтенант Рич вышел из гостиной в холл подышать воздухом. Но, едва переступив порог, он остановился как вкопанный перед странной картиной: на лестнице не осталось ни одной кадки с растениями, возле ворот в сад стояло три больших фургона для мебели, и всюду хлопотали слуги, вынося мебель; иные были уже в пальто и готовились уходить. Такое бывает после деревенского бала, для которого вся обстановка берется напрокат. Здесь было о чем задуматься! Во-первых, это выпроваживание гостей, которые, оказывается, никакими гостями не были, а теперь и слуги — а впрочем, слуги ли они?— начинают расходиться.

«Неужели все это одна декорация,— спрашивал он себя.— Мыльный пузырь, которому суждено наутро лопнуть?»

Выждав удобный момент, Брекенбери взбежал на самый верхний этаж. Как он и полагал, ни в одной комнате — а он заглянул в каждую — не было и признака жилого — ни мебели, ни даже следов от картин на стенах. Дом был свежевыкрашен и оклеен обоями, и, однако, в нем, несомненно, не жили не только теперь, но и прежде. Молодой офицер вспомнил уют и дух широкого гостеприимства, поразивший его по прибытии. Только ценою огромных затрат можно было с таким размахом разыграть весь этот спектакль.

Кто же такой в этом случае мистер Моррис? Каковы его намерения и зачем ему понадобилось разыгрывать роль домовладельца — на одну ночь, да еще в этом отдаленном лондонском закоулке? И зачем он с такой лихорадочной поспешностью набирал себе случайных гостей с улицы?

Брекенбери вдруг спохватился, что отсутствие его может быть замечено, и поспешил присоединиться к обществу. За это время успело исчезнуть еще несколько человек, и в гостиной, так недавно переполненной народом, оставалось, считая лейтенанта и мистера Морриса, человек пять, не больше. Мистер Моррис встретил его приветливой улыбкой и тотчас встал.

— Наступило время, джентльмены,— сказал он,— объяснить причину, по которой я дерзнул оторвать вас от ваших дел и развлечений. Я надеюсь, что вы не слишком скучали этот вечер; впрочем, признаюсь вам сразу, целью моей было отнюдь не скрасить ваш досуг, а заручиться вашей помощью в одном крайне затруднительном и тяжелом для меня деле. Все вы — настоящие джентльмены,— продолжал он,— ваши манеры в том порукой, и с меня этого

довольно. Итак, я буду говорить с вами без стеснения: я прошу вас помочь мне в одном чрезвычайно деликатном и опасном предприятии. Я сказал «опасном» оттого, что всякий, кто согласится участвовать в этом предприятии, в самом деле рискует жизнью. Деликатность же этого дела такова, что я вынужден заранее просить каждого из вас хранить молчание обо всем, что вам доведется увидеть и услышать. Я сознаю всю нелепость подобной просьбы, исходящей из уст незнакомца, и спешу поэтому прибавить, что всякий из вас, кому не по душе участвовать в опасном предприятии, требующем, неизвестно во имя чего, чисто донкихотской преданности, волен меня покинуть. Я искренне пожелаю ему покойной ночи и благополучного возвращения домой.

Очень высокий и чрезвычайно сутулый брюнет тотчас же отозвался на это предложение.

— Мне по душе ваша откровенность, сударь,— сказал он,— и, что касается меня, я ухожу. Я не собираюсь читать нравоучений, но должен заметить, что ваши речи заставляют насторожиться. Итак, я ухожу, как я уже сказал, и, быть может, мне не стоит больше распространяться.

— Напротив,— возразил мистер Моррис,— я буду очень признателен, если вы скажете все, что найдете нужным. Опасность затеянного мною дела невозможно преувеличить.

— Так что же, джентльмены? — обратился высокий человек к остальным.— Мы превосходно провели вечер, а теперь не следует ли нам всем мирно разойтись по домам? Наутро, встав ото сна — целыми, невредимыми, с чистой совестью,— вы помянете меня добрым словом.

Торжественный тон, которым были произнесены последние слова, прибавил им убедительности, между тем как лицо говорящего было необычайно серьезно. Взволнованный его речью, еще один из гостей встал со стула и приготовился уходить. Только двое не покидали своих мест: Брекенбери и пожилой майор кавалерии с сизым носом. Лица их хранили полную невозмутимость, и, если бы не быстрый взгляд, которым они обменялись, можно было бы подумать, что происходящая дискуссия их вовсе не затрагивает.

Проводив дезертиров и закрыв за ними дверь, мистер Моррис вернулся к двум офицерам. Радость и облегчение сияли в его взоре.

— Я отбирал себе воинов по примеру библейских судей,— сказал он,— и полагаю, что лучших помощников не найти во всем Лондоне. Ваша наружность, господа, привлекла к себе моих посыльных, и я в восторге от их выбора. Я наблюдал, как вы оба держитесь в незнакомом обществе — и при обстоятельствах довольно необычных; смотрел, как вы играете, с какой миной проигрываете, и, наконец, я обратился к вам с ошеломляющим предложением, которое вы приняли, точно приглашение на обед. Теперь я вижу,— воскликнул он, все более воодушевляясь,— что не напрасно я столько лет имею счастье считать себя другом и учеником одного из мудрейших и отважнейших правителей Европы!

— Под Бундерчангом,— заговорил майор,— мне нужен был десяток добровольцев, и все мои солдаты как один отозвались на мой призыв. Но, разумеется, за рулеткой и картежным столом люди ведут себя иначе, нежели под неприятельским обстрелом. И, вероятно, вы вправе поздравить себя с тем, что нашли двух человек, на которых можете положиться. Ну, а тех двоих, что улизнули, я презираю от души. Лейтенант Рич,— обратился он затем к Брекенбери,— я много о вас слышал. Не сомневаюсь, что и вам знакомо мое имя. Я — майор О'Рук.

С этими словами старый ветеран протянул лейтенанту свою красную, слегка трясущуюся руку.

— Кому же оно не знакомо? — воскликнул Брекенбери.

— Я уверен, что вы оба почувствуете себя вознагражденными за ваше участие в этом маленьком деле уже хотя бы потому, что я свел вас друг с другом,— сказал мистер Моррис.

— А покуда, мистер Моррис, расскажите, пожалуйста, в чем нам предстоит участвовать,— сказал майор О'Рук.— Я полагаю, что в дуэли?

— Пожалуй, что и в дуэли, если угодно,— ответил мистер Моррис.— В поединке с неизвестным и опасным противником. Боюсь, что это будет поединок не на живот, а на смерть. Я должен просить вас, однако,— прибавил он,— не называть меня больше мистером Моррисом. Зовите меня, если угодно, Хаммерсмит. Я также попрошу вас не спрашивать моего настоящего имени, равно как и имени того, кому я надеюсь в скором времени вас представить,— не спрашивать и не пытаться узнать стороной. Тот, кого я сейчас упомянул, три дня назад внезапно исчез из

дому. До сегодняшнего утра я не имел о нем никаких сведений; я даже не знал, где он находится. Вы поймете мое беспокойство, когда узнаете, что он занят свершением правосудия — в частном порядке. Связанный опрометчивой клятвой, он считает нужным, не прибегая к помощи закона, освободить мир от коварного и кровожадного злодея. От руки этого преступника уже погибли двое из наших друзей. Один из них приходился мне родным братом. А теперь, как я полагаю, мой друг и сам попал к нему в лапы. Как бы то ни было, он еще жив и полон надежды, о чем говорит вот эта записка, полученная мною от него.

С этими словами Хаммерсмит, он же полковник Джеральдин, протянул своим новым товарищам письмо следующего содержания:

«Майор Хаммерсмит!

В четверг, в 3 часа ночи, человек, полностью преданный моим интересам, откроет вам калитку, ведущую в сад Рочестер-хауса, что в Риджент-парке. Прошу вас не опаздывать и на долю секунды. Пожалуйста, захватите с собой мои шпаги, а также, если можете, одного или двух джентльменов, за скромность и умение держаться которых вы ручаетесь; желательно, чтобы они не знали меня в лицо. Мое имя не должно фигурировать в этом деле.

Т. Годол».

— Даже если бы у моего друга не было иных оснований требовать беспрекословного выполнения его воли,— продолжал полковник Джеральдин после того, как его собеседники ознакомились с письмом,— довольно было бы одной его мудрости. Незачем говорить, я и близко никогда не подходил к этому Рочестер-хаусу и о том, что нас там ожидает, знаю не больше вашего. Как только я получил этот приказ, я тотчас отправился к подрядчику, и в два-три часа этот самый дом, в котором мы с вами находимся, приобрел праздничный вид. Согласитесь, что план мой был совершенно оригинален, а так как благодаря ему я получил поддержку двух таких людей, как лейтенант Брекенбери Рич и майор О'Рук, я не имею причин раскаиваться. Боюсь, что слуги в соседних домах будут чрезвычайно удивлены, когда увидят поутру, что дом, в котором накануне горели свечи и веселились гости, совершенно опустел и что на нем красуется табличка с надписью «Продается». Так,

даже у самых серьезных дел,— закончил полковник,— бывает забавная сторона.

— И, будем надеяться,— подхватил Брекенбери,— счастливый конец.

Полковник взглянул на часы.

— Уже почти два часа,— сказал он.— В нашем распоряжении час времени и карета, запряженная быстрыми конями. Скажите же мне, могу я рассчитывать на вашу помощь или нет?

— За всю свою долгую жизнь,— сказал майор О'Рук,— я ни разу не отпирался от данного мною слова, даже если речь шла всего лишь о пари.

После того как Брекенбери, тоже в подобающих случаю выражениях, засвидетельствовал свою готовность, полковник вручил каждому заряженный револьвер, и все трое, выпив по бокалу вина, уселись в карету, которая тотчас помчала их к месту назначения.

Рочестер-хаус оказался роскошной резиденцией на берегу канала. Огромный парк обеспечивал полную изоляцию от докучливых соседей. Резиденция походила на старинную усадьбу или владение миллионера. Ни в одном из бесчисленных окон особняка, насколько можно было судить с улицы, не было света. Дом казался запущенным, как бывает во время длительного отсутствия хозяина.

Отпустив карету, три ее пассажира без труда нашли калитку; это была, собственно, боковая дверь, вделанная в каменную ограду сада. До назначенного часа оставалось еще десять или пятнадцать минут. Шел проливной дождь, и все трое встали под укрытие нависшего плюща, разговаривая вполголоса об ожидающем их испытании.

Вдруг Джеральдин поднял указательный палец, призывая к молчанию, и все напрягли слух. Сквозь непрекращающийся шум дождя из-за ограды послышались шаги и два мужских голоса. По мере того как шаги приближались, Брекенбери, отличавшийся изощренным слухом, начал уже различать отдельные слова.

— Могила готова? — услышал он.

— Готова,— ответил другой голос.— Там, за лавровым кустом. Когда все будет кончено, можно будет забросать ее сверху жердями вон оттуда.

Первый голос засмеялся, и от его смеха у слушателей по ту сторону стены побежали мурашки по коже.

— Итак, через час,— произнес первый.

По звуку шагов стало ясно, что говорившие разошлись в разных направлениях.

Почти тотчас калитка в стене приоткрылась, в ней показалось чье-то бледное лицо, чья-то рука жестом пригласила их войти. Отважная троица в полной тишине прошла в сад, калитка за ними тотчас защелкнулась. Следуя за своим провожатым по тропинкам сада, они подошли к черному ходу. В огромной вымощенной камнем кухне, лишенной какой бы то ни было кухонной утвари, горела одинокая свеча. Они стали подниматься по винтовой лестнице. Шумная возня крыс еще раз подтвердила, что дом покинут хозяевами.

Провожатый шел впереди, держа в руках свечу. Это был высокий, худощавый старик, довольно сутулый, но, судя по живости движений, далеко не дряхлый. Время от времени он оборачивался, жестом приглашая к молчанию и осторожности. Полковник Джеральдин шел за ним следом, сжимая под мышкой футляр со шпагами и держа наготове пистолет. Брекенбери замыкал шествие. Он чувствовал, как стучит его сердце. Судя по тому, как проворно двигался старик, они прибыли в самое время. Эта зловещая таинственность, этот покинутый дом, словно созданный для свершения какого-то страшного злодеяния, были способны взволновать и более закаленного годами человека.

Дойдя до конца лестницы, старик открыл дверь и впустил трех офицеров в небольшую комнатку, освещенную коптящей лампой и тлеющим камином. В углу подле камина сидел человек несколько грузного сложения и, по всей видимости, довольно молодой, но исполненный достоинства и величия. Вся его поза и лицо выражали совершенную невозмутимость; он с явным удовольствием курил свою сигару, а подле него на столе стоял высокий бокал с шипучим напитком, распространяющим вокруг себя приятный аромат.

— Добро пожаловать,— сказал он, протягивая руку полковнику Джеральдину.— Я знал, что могу положиться на вашу точность.

— На мою преданность,— с поклоном возразил полковник.

— Представьте меня вашим друзьям,— продолжал сидящий.— Господа, поверьте, я был бы рад предложить вам более приятную программу,— сказал он с очаровательной учтивостью после того, как Джеральдин выполнил его просьбу,— это весьма нелюбезно с моей стороны, я знаю,

в первую же минуту знакомства занимать своих новых друзей серьезными делами; однако обстоятельства оказались сильнее законов вежливости. Я надеюсь и даже уверен, что вы простите мне эту неприятную ночь; для людей вашего склада довольно знать, что вы оказываете человеку немаловажную услугу.

— Ваше высочество,— сказал майор,— извините меня за прямодушие. Я не могу скрывать того, что мне известно. Я уже начинал подозревать, кто такой майор Хаммерсмит. А уж мистер Годол не вызывает никаких сомнений. Стремиться найти в Лондоне двух людей, не знающих в лицо Флоризеля, принца Богемского,— значит требовать от фортуны невозможного.

— Принц Флоризель! — воскликнул пораженный Брекенбери и с любопытством взглянул на прославленного человека, сидевшего перед ним.

— Я не сожалею о потере своего инкогнито,— сказал принц,— ибо это даст мне возможность отблагодарить вас по достоинству. Я не сомневаюсь, что вы сделали бы для мистера Годола столько же, сколько для принца Богемского, но так как последний может сделать для вас немного больше, чем первый, я считаю в выигрыше себя,— заключил он с широким и величавым жестом.

Затем принц начал беседовать с офицерами об индийской армии и туземных войсках, проявив, как всегда, большую осведомленность и высказав несколько здравых суждений. Поразительная выдержка принца в минуту смертельной опасности вызвала у Брекенбери чувство почтительного восхищения. Обворожительная учтивость и прелесть его беседы также произвели свое обычное действие. Каждый жест, каждая интонация были не только благородны сами по себе, но, казалось, облагораживали счастливого смертного, к которому относились. Брекенбери сказал себе с жаром, что для такого государя всякий мужественный человек с радостью пожертвует жизнью.

Старик, все время беседы сидевший в углу с часами в руках, внезапно поднялся и шепнул что-то на ухо принцу.

— Хорошо, доктор Ноэль,— громко ответил Флоризель и, обратившись к собеседникам, сказал не без волнения в голосе: — С вашего позволения, господа, я вынужден оставить вас в потемках. Близится наш час.

Доктор Ноэль погасил лампу. Тусклый сероватый отблеск, предвестник зари, не в состоянии был разогнать

мрака в комнате. Принц встал со стула, черты лица его были неразличимы, и нельзя было понять, какое чувство волнует его в эту минуту. Подойдя к двери, он остановился возле нее в позе человека, настороженно к чему-то прислушивающегося.

— Будьте добры соблюдать полнейшую тишину,— обратился он ко всем, кто находился в комнате,— и расположиться в самом темном углу так, чтобы вас не было видно.

Три офицера и лекарь поспешили исполнить его приказание. В течение следующих десяти минут во всем Рочестер-хаусе не было слышно ни звука, если не считать крысиной возни за панелью. Затем громкий скрип двери с поразительной отчетливостью нарушил тишину, и вскоре на винтовой лестнице послышались осторожные, медленные шаги. Через каждую ступеньку неизвестный на минуту останавливался, словно прислушиваясь, и в эти промежутки, которые казались бесконечными, глубокое беспокойство овладевало всеми. Доктор Ноэль, хоть и производил впечатление человека бывалого, не мог совладать с собою: дыхание его вырывалось со свистом, зубы скрипели, он то и дело переносил вес с одной ноги на другую и хрустел пальцами.

Наконец кто-то с наружной стороны взялся за дверную ручку, и послышалось щелканье затвора. Еще одна пауза, во время которой Брекенбери заметил, что принц весь бесшумно подобрался, как бы собираясь с силами для решающей схватки. Дверь приоткрылась, и в комнате стало немного светлее. На пороге неподвижно стоял человек высокого роста. В руке у него сверкал нож. Рот его был раскрыт, как пасть у гончей, готовящейся прыгнуть на затравленного зверя, и даже в предрассветном полумраке можно было различить блеск его зубов. Капли со стуком скатывались на пол с его насквозь промокшей одежды — очевидно, он только что вышел из воды.

В следующую минуту он переступил порог. Прыжок, вскрик, короткая борьба, и, прежде чем полковник Джеральдин успел подскочить на помощь, принц уже держал своего противника за плечи. Враг был обезоружен и не в состоянии пошевелиться.

— Доктор Ноэль,— сказал принц.— Будьте добры, зажгите лампу.

Поручив пленника Джеральдину и Брекенбери, принц

отошел и прислонился к камину. Когда лампа разгорелась, все увидели на лице принца выражение необычайной суровости. Перед ними стоял не Флоризель, беспечный и светский молодой человек, а разгневанный, полный непоколебимой решимости принц Богемский. Закинув назад голову, он обратился к пленному председателю Клуба самоубийц со следующей речью.

— Господин председатель,— сказал он.— Вы сами попались в ловушку, которую поставили мне. Скоро наступит утро — последнее утро вашей жизни. Вы только что переплыли Риджентс-канал; это ваше последнее плавание. Ваш старый соучастник, доктор Ноэль, вместо того чтобы предать меня вам, доставил вас в мои руки, чтобы я сотворил над вами суд. Могила, которую вы вчера выкопали для меня, волею божьего промысла поможет скрыть от любопытного человечества заслуженную вами кару. Итак, сударь, на колени, и молитесь, если у вас есть склонность к молитве! Время не ждет, и верховный судья наскучил вашими прегрешениями.

Председатель стоял, опустив голову и угрюмо глядя в пол, словно чувствуя на себе долгий и беспощадный взгляд принца, и не отвечал на его речь ни словом, ни жестом.

— Джентльмены,— продолжал Флоризель, перейдя на свой обычный разговорный тон.— Перед вами человек, который долгое время от меня ускользал. И вот, наконец, спасибо доктору Ноэлю, он у меня в руках. Повесть о всех бесчинствах, которые он творил, заняла бы слишком много времени, а нам сейчас недосуг. Достаточно сказать, что канал, который этот негодяй только что переплыл, обмелел бы ненамного, если бы вместо воды был наполнен кровью его несчастных жертв. Однако даже и в подобных обстоятельствах мне хотелось бы соблюсти все законы, предписываемые честью. Но судите сами, джентльмены, речь идет, собственно, не о дуэли, а о казни, и предоставить этому преступнику выбор оружия было бы неуместной церемонией. Я не имею права рисковать своей жизнью в таком деле,— продолжал он, раскрывая футляр со шпагами.— Пуля летит на крыльях случайности, и подчас самый скверный стрелок может победить искусного и отважного противника. Поэтому я решил остановиться на шпагах. Надеюсь, что вы одобрите мое решение.

Как только Брекенбери и майор О'Рук, к которым прси-

мущественно и обращался принц, выразили свое одобрение, он крикнул председателю:

— Скорее, сударь, не мешкайте! Выбирайте шпагу и не заставляйте меня ждать. Мне не терпится покончить с вами раз и навсегда.

Впервые после своего пленения председатель поднял голову: было ясно, что к нему вернулась надежда.

— Так это будет поединок? — воскликнул он, одушевившись.— Поединок между вами и мной?

— Да, я намерен оказать вам эту честь,— ответил принц.

— Ну что ж! — воскликнул председатель.— Чего только не случается в честном поединке! Позвольте сказать, что я считаю этот поступок вашего высочества весьма благородным. На худой конец, если я и погибну, то от руки самого храброго джентльмена в Европе.

С этими словами председатель, которого больше уже не держали, подошел к столу и принялся тщательно выбирать себе шпагу. Он был в прекрасном настроении и, казалось, не сомневался, что победителем из поединка выйдет он. Его уверенность вызвала тревогу у присутствующих, и они принялись уговаривать принца Флоризеля еще раз обдумать свое решение.

— Это всего лишь фарс, господа,— отвечал тот,— и я постараюсь его не затянуть.

— Умоляю вас, ваше высочество, будьте осмотрительны! — сказал полковник Джеральдин.

— Джеральдин,— ответил принц,— вы слышали, чтобы я когда-нибудь отказывался от долга чести? Я должен вам жизнь этого человека и заплачу мой долг сполна.

Председатель остановил свой выбор на одной из шпаг и жестом, не лишенным своеобразного сурового достоинства, дал понять, что готов.

Принц схватил первую попавшуюся шпагу.

— Полковник Джеральдин и доктор Ноэль будут любезны подождать меня здесь,— сказал он.— Я не желаю, чтобы в этом деле участвовали мои личные друзья. Майор О'Рук, вы человек почтенного возраста и прочной репутации, позвольте рекомендовать вашему вниманию председателя. Я же попрошу услуг лейтенанта Рича: молодому человеку полезно набираться опыта.

— Ваше высочество,— ответил Брекенбери,— я буду лелеять память об этой чести до конца моих дней.

— Отлично,— сказал принц Флоризель.— Надеюсь со временем оказать вам более важную услугу.

Он вышел из комнаты и начал спускаться по лестнице в кухню.

Оставшиеся распахнули окно и, высунувшись наружу, напрягли все чувства, готовясь ловить малейшие признаки предстоящей трагедии. Дождь перестал; уже почти рассвело, в кустах и ветвях деревьев пели птицы. На мгновение на дорожке сада, окаймленной цветущим кустарником, показались принц и его спутники и тотчас скрылись за поворотом аллеи. Больше ничего полковнику с доктором не было дано увидеть, а место, избранное принцем для поединка, было, по-видимому, где-то в дальнем углу парка, откуда не мог долететь даже звон скрещенного оружия.

— Он повел его туда, к могиле,— сказал доктор Ноэль с содроганием.

— Господи,— воскликнул полковник,— даруй победу достойному!

И оба стали молча ожидать исхода поединка. Доктор дрожал, как в лихорадке. Полковник был весь в испарине. Прошло, должно быть, немало времени: небо заметно посветлело, звонче раздавались птичьи голоса. Наконец звук шагов заставил ожидавших устремить взоры на дверь. Вошли принц и оба офицера индийской армии. Победа досталась достойному.

— Мне совестно, что я позволил себе так взволноваться,— сказал принц Флоризель.— Это слабость, я знаю. Слабость, недостойная человека моего положения, но покуда это исчадие ада бродило по земле, я был сам не свой. Его смерть освежила меня больше, чем долгий ночной сон. Вот, Джеральдин, смотрите,— продолжал он, бросив на пол шпагу,— вот кровь человека, убившего вашего брата. Радостное зрелище. А вместе с тем,— прибавил он,— как странно устроен человек! Прошло всего лишь пять минут с тех пор, как я утолил свою месть, а я уже задаюсь вопросом, можно ли в нашей неверной жизни утолить даже такое чувство, как месть. Все зло, что причинил этот человек,— кто его исправит? Его жизнь, в течение которой он сколотил огромное состояние (ведь и этот роскошный особняк с парком принадлежал ему),— эта жизнь прочно и навсегда вошла в судьбу человечества; и сколько бы я ни упражнялся в квартах, секундах и прочих фехтовальных приемах — пусть хоть до судного дня,— вашего брата,

Джеральдин, мне не воскресить, как не вернуть к жизни тысячи невинных душ, обесчещенных и развращенных председателем. Лишить человека жизни — пустяк, а сколько человек может натворить за свою жизнь! Увы, что может быть печальнее достигнутой цели!

— Я знаю только одно,— сказал доктор.— Свершился высший суд. Ваше высочество, я получил жестокий урок и теперь с трепетом ожидаю решения своей участи.

Принц встрепенулся.

— Однако что я говорю! — воскликнул он.— Мало того, что мне удалось покарать злодея, мне еще и посчастливилось найти человека, который поможет исправить причиненное им зло. Ах, доктор Ноэль! Нам предстоит еще много дней потрудиться вместе над этой нелегкой и почетной задачей. И как знать — к тому времени, как мы ее выполним, вы, быть может, с лихвой искупите ваши прежние грехи.

— А покуда,— сказал доктор,— позвольте мне удалиться, дабы предать земле моего старинного друга.

Таков, по словам ученого араба, счастливый исход этой истории. О том, что принц не забыл никого, кто помог ему в этом его подвиге, можно и не говорить. Его влияние и могущество по сей день способствуют их продвижению по общественной лестнице, а благосклонная дружба, которою он их дарит, вносит особую прелесть в их частную жизнь. Передать все удивительные истории, в которых этот принц играл роль провидения, продолжает мой рассказчик, означало бы затопить книгами все обитаемые уголки земли. Однако приключения, связанные с Алмазом Раджи, так занимательны, говорит он, что их нельзя предать забвению. Итак, последуем осторожно, шаг за шагом, за нашим восточным собратом и поведаем упомянутую им серию повестей, начиная с рассказа, который ему угодно назвать *повестью о шляпной картонке.*

АЛМАЗ РАДЖИ

ПОВЕСТЬ О ШЛЯПНОЙ КАРТОНКЕ

До шестнадцатилетнего возраста мистер Гарри Хартли, как и подобает джентльмену, сначала обучался в частной школе, а потом в одном из тех знаменитых заведений, которыми справедливо гордится Англия. Тогда же он обнаружил удивительную нелюбовь к учению, и так как родительница его была сама и слабовольна и невежественна, то сыну было разрешено отныне тратить свое время, совершенствуясь в пустячных и чисто светских навыках. Еще через два года он стал круглым сиротой и почти нищим. Ни для какой полезной деятельности Гарри по своей натуре и по своему образованию не годился. Он умел петь чувствительные романсы и кое-как подыгрывать себе на рояле, был изящным, хотя и робким наездником и выказывал явную склонность к шахматам. К тому же природа наделила его самой привлекательной наружностью, какую только можно себе представить. Белокурый, розовый, с невинным взором и кроткой улыбкой, он имел вид приятно-меланхолический и нежный, а манеры самые смиренные и ласковые. Но при всем том он все-таки был не из тех, кто способен вести войска в бой или вершить дела государства.

Счастливый случай и некое влиятельное содействие помогли Гарри получить после постигшей его тяжкой утраты место личного секретаря у сэра Томаса Венделера — генерал-майора и кавалера ордена Бани. Сэр Томас был человек лет шестидесяти, шумный, самоуверенный и властный. По какой-то причине, за какую-то услугу, о которой нередко ходили сплетни, тут же, впрочем, опровергавшиеся, кашгарский раджа подарил этому офицеру шестой по величине алмаз на свете. Такой дар превратил генерала Вен-

делера из бедняка в богача и сделал скромного и никому не известного служаку одним из львов лондонского света. Владельца индийского алмаза радушно принимали в самых избранных кругах, и нашлась некая молодая, красивая особа хорошего рода, у которой возникло желание завладеть этим алмазом даже ценою брака с сэром Томасом Венделером. Люди судачили, что «масть к масти подбирается» и что одна драгоценность притянула к себе другую. И правда, леди Венделер не только сама была брильянтом чистейшей воды, но и выступала в свете в очень дорогой оправе: многие достойные знатоки называли ее среди первых щеголих Англии.

Секретарские обязанности Гарри были не очень обременительны, но он не любил никакой затяжной работы; пачкать пальцы чернилами было для него мукой, а очарование леди Венделер и ее туалетов часто переманивало его из библиотеки в будуар. Он отлично умел обходиться с дамами, оживленно болтал о модах и с превеликим удовольствием толковал об оттенке какой-нибудь ленточки или мчался с поручением к модистке. И вот переписка сэра Томаса оказалась в самом плачевном виде, зато миледи обзавелась еще одной горничной.

Но однажды генерал, который был отнюдь не из терпеливых военачальников, поднялся со своего кресла в порыве яростного гнева и дал понять своему секретарю, что не нуждается более в его услугах, применив объяснительный жест, чрезвычайно редко употребляемый в разговоре между джентльменами. Дверь, к несчастью, была открыта, и мистер Хартли вниз головой съехал по лестнице.

Он поднялся весь в ссадинах и глубоко обиженный. Жизнь в доме генерала приходилась ему по вкусу: он все-таки — хотя и не вполне на дружеской ноге,— общался с благовоспитанными людьми, работал мало, ел как нельзя лучше, а в присутствии леди Венделер испытывал теплое и приятное чувство, которое втайне определял более пылким наименованием.

Оскорбленный грубым пинком военачальника, он поспешил в будуар и выложил там свои обиды.

— Вы сами отлично знаете, дорогой Гарри,— отвечала леди Венделер, называвшая его по имени, как ребенка или слугу,— что вы никогда, решительно никогда не выполняете требований генерала. Вы, пожалуй, скажете, что я поступаю так же. Но я — дело другое. Женщина будет своевольни-

чать целый год, но, вовремя покорившись, сумеет заслужить прощение. И потом личный секретарь ведь не жена. Мне будет жаль расстаться с вами, однако нельзя же оставаться в доме, где вам нанесли оскорбление, а потому я желаю вам всего хорошего и обещаю, что генерал жестоко поплатится за свой поступок.

Лицо Гарри вытянулось. Слезы выступили у него на глазах, и он с выражением нежного упрека воззрился на леди Венделер.

— Миледи,— сказал он,— зачем говорить об оскорблениях? Чего стоит человек, не умеющий прощать их? Но расстаться с друзьями, разорвать узы привязанности...

Он не мог продолжать от душившего его волнения и заплакал.

Леди Венделер посмотрела на него с каким-то странным выражением.

«Этот дурачок,— подумала она,— воображает, что влюблен в меня. Почему бы ему от генерала не перейти ко мне? Он добродушен, услужлив, знает толк в платьях. По крайней мере здесь он не попадет в беду. Он положительно слишком смазлив, чтобы оставаться без присмотра».

В тот же вечер она поговорила с генералом, который уже несколько устыдился своей горячности. Гарри перешел в подчинение к хозяйке, и для него началась просто райская жизнь. Он одевался на редкость изящно, ходил с красивым цветком в петлице и умел занять любую гостью тактичной и приятной беседой. Он гордился тем, что прислуживает прекрасной женщине, любой приказ леди Венделер принимал как знак внимания и гордо охорашивался перед другими мужчинами, которые высмеивали и презирали его за эту роль то ли горничной, то ли модистки. Он не мог нахвалиться своей жизнью и с моральной точки зрения. Порочность представлялась ему чисто мужским свойством, и, проводя дни с хрупкой женщиной и занимаясь преимущественно тряпками, он словно спасался от жизненных бурь на очарованном острове.

В одно прекрасное утро он вошел в гостиную и стал прибирать ноты на крышке рояля. В дальнем углу комнаты леди Венделер оживленно беседовала со своим братом Чарли Пендрегоном, старообразным молодым человеком, изрядно потрепанным резгульной жизнью и сильно хромавшим на одну ногу. Личный секретарь, на приход которого они не обратили внимания, невольно слышал обрывки разговора.

— Сегодня или никогда,— сказала леди Венделер.— Раздумывать нечего, надо покончить с этим сегодня.

— Сегодня так сегодня,— ответил брат вздыхая.— Но, Клара, это ложный шаг, гибельный шаг. Как бы нам не пожалеть потом.

Леди Венделер твердо и чуть-чуть странно посмотрела на брата:

— Ты забываешь, что он ведь умрет в конце концов.

— Честное слово, Клара,— сказал Пендрегон,— такой бессердечной и бессовестной женщины, как ты, не найти во всей Англии.

— Вы, мужчины,— возразила она,— существа грубые, в оттенках значений не разбираетесь. Сами вы жадны, необузданны, бесстыдны и в средствах неразборчивы, а малейшая попытка женщины позаботиться о своем будущем вас возмущает. Меня весь этот вздор просто из себя выводит. Вы даже в простом поденщике не потерпели бы такой глупости, какой ожидаете от нас.

— Может быть, ты и права,— ответил ее брат.— Ты всегда была умней меня. К тому же тебе известно мое правило: «Семья важней всего».

— Да, Чарли,— сказала она, поглаживая его руку.— Я знаю это правило, лучше, чем ты сам. Но вторая половина твоего правила: «А Клара важней семьи!» Верно? Ты в самом деле отличный брат, и я тебя нежно люблю.

Мистер Пендрегон поднялся, несколько смущенный этим изъявлением родственных чувств.

— Лучше, чтобы меня здесь не видели,— сказал он.— Я свою роль выучил на зубок, да и с твоего комнатного котенка глаз не спущу.

— Пожалуйста,— ответила она.— Это жалкое существо может нам все испортить.

Она послала брату кокетливый воздушный поцелуй, и тот через будуар удалился по задней лестнице.

— Гарри,— сказала леди Венделер, оборачиваясь к секретарю, как только они остались вдвоем.— Мне надо сейчас послать вас кой-куда. Только возьмите кеб: я не хочу, чтобы мой секретарь покрылся веснушками.

Последние слова она произнесла очень выразительно и сопроводила их почти матерински горделивым взглядом. Бедный Гарри ужасно обрадовался и заявил, что всегда рад услужить ей.

— Это будет еще одна наша тайна,— продолжала

она лукаво,— очень важная тайна, и никто не должен знать о ней, только я да мой секретарь. Сэр Томас учинил бы великий переполох, а вы представить себе не можете, как мне надоели эти сцены! О Гарри, Гарри, объясните мне, отчего вы, мужчины, так грубы и несправедливы? Впрочем, нет, вам это тоже непонятно: вы единственный мужчина на свете, кому несвойственна постыдная несдержанность. Вы такой хороший, Гарри, такой добрый, вы можете быть другом женщине. И, знаете, от сравнения с вами остальные кажутся еще хуже.

— Нет, это вы так добры,— любезно сказал Гарри.— Вы относитесь ко мне...

— Как мать,— перебила леди Венделер.— Я стараюсь быть вам матерью. По крайней мере,— поправилась она с улыбкой,— почти. Я, пожалуй, слишком молода и в матери вам не гожусь. Лучше скажем: я стараюсь быть вам другом, близким другом.

Тут она сделала паузу, достаточно долгую, чтобы Гарри успел размякнуть, но не такую длинную, чтобы ему удалось вставить слово.

— Впрочем, все это не относится к делу,— продолжала она.— В дубовом шкафу с левой стороны стоит шляпная картонка, она прикрыта розовым шелковым чехлом, который я надевала в среду под кружевное платье. Вы немедленно отвезите картонку по этому адресу.— Тут она дала ему конверт.— Ни в коем случае не выпускайте ее из рук, пока не получите расписку, написанную моей собственной рукой. Понимаете? Повторите, пожалуйста,— повторите! Это крайне важно, я очень прошу вас быть повнимательней.

Гарри успокоил ее, точно повторив инструкции. Она хотела добавить еще что-то, но тут в гостиную ворвался генерал Венделер, весь багровый от злости. В руках у него был длиннейший и подробнейший счет от модистки.

— Не угодно ли вам поглядеть, сударыня? — закричал он.— Не окажете ли вы мне любезность взглянуть на этот документ? Я прекрасно понимаю — вы вышли за меня по расчету, но, по-моему, ни один человек у нас в армии не дает своей жене столько на расходы, сколько я даю вам. И, как бог свят, я положу конец вашей бессовестной расточительности!

— Мистер Хартли, вам ясно, что надо сделать,— сказала леди Венделер.— Не задерживайтесь, прошу вас.

— Постойте-ка,— сказал генерал, обращаясь к Гарри,— не уходите еще.— И, снова поворачиваясь к леди Венделер, спросил:— Что вы такое поручаете этому бездельнику? Я ему доверяю не больше, чем вам, так и знайте. Будь у него хоть на грош порядочности, он не захотел бы оставаться в этом доме, а за что он получает свое жалованье, тайна для всей вселенной. Какое поручение вы ему даете, сударыня? И почему вы так торопитесь отослать его?

— Я думала, вы желали побеседовать со мной наедине,— возразила леди Венделер.

— Вы говорили о каком-то поручении,— настаивал генерал.— Не старайтесь меня обмануть, я и так вне себя. Вы говорили именно о каком-то поручении.

— Раз вы непременно хотите делать слуг свидетелями наших унизительных разногласий,— ответила леди Венделер,— может быть, мы попросим мистера Хартли присесть?.. Нет? Тогда,— закончила она,— вы можете идти, мистер Хартли. Полагаю, вы запомнили все, что слышали в этой комнате. Это может вам пригодиться.

Гарри тотчас же улизнул из гостиной. Взбегая вверх по лестнице, он еще слышал громкий и негодующий голос генерала и нежный голосок леди Венделер, которая то и дело вставляла ледяным тоном свои колкие замечания. Он искренне восхищался своей хозяйкой. Как ловко она обошла неприятный вопрос! Как хладнокровно повторяла свои наставления прямо под наведенными орудиями противника! И как в то же время был ему ненавистен ее супруг!

В происшествиях этого утра не было ничего необычного: он привык к тайным поручениям леди Венделер, связанным главным образом с нарядами. Был в доме один секрет, отлично ему известный. Отчаянное мотовство и тайные долги жены давно съели ее собственное состояние и со дня на день угрожали поглотить и состояние мужа. Раза два в год разоблачение и банкротство казались неминуемыми. Гарри бегал по лавкам поставщиков, врал как мог и платил по мелочам в счет больших долгов, пока наконец не добивался отсрочки и леди Венделер со своим верным секретарем не получали передышку. Ибо Гарри стоял горой за свою хозяйку, и не только потому, что обожал леди Венделер, а ее мужа боялся и ненавидел, но и потому, что от всей души сочувствовал любви к нарядам: он и сам не знал удержу, когда дело доходило до портных.

Он нашел шляпную картонку в указанном месте, ста-

рательно приоделся и вышел из дому. Солнце ярко сияло, дорога предстояла неблизкая, и Гарри с огорчением вспомнил, что из-за неожиданного вторжения генерала леди Венделер не успела дать ему денег на кеб. В такой знойный день недолго было испортить себе цвет лица, да и шествовать чуть ли не через весь Лондон со шляпной картонкой в руках казалось чересчур унизительным для молодого человека его взглядов. Он немного постоял, раздумывая. Венделеры жили на Итон-плейс, а идти надо было к Нотингхиллу; значит, можно пройти парком, держась подальше от многолюдных аллей. Просто счастье, что еще сравнительно рано, размышлял он.

Торопясь отделаться от своей обузы, он шел быстрей обычного и уже почти миновал Кенсингтонский сад, как вдруг в уединенном уголке среди деревьев столкнулся лицом к лицу с генералом.

— Прошу прощения, сэр Томас,— промолвил Гарри, учтиво сторонясь, ибо тот преградил ему дорогу.

— Куда это вы идете, сэр? — спросил генерал.

— Хочу немножко прогуляться по парку,— ответил юноша.

Генерал ударил тростью по картонке.

— Вот с этой штукой? — воскликнул он.— Это ложь, сэр, отъявленная ложь!

— Право же, сэр Томас,— возразил Гарри,— я не привык, чтобы меня допрашивали в таком тоне.

— Вы забываетесь,— сказал генерал.— Вы состоите у меня на службе и к тому же внушаете мне самые серьезные подозрения. Почем знать, может быть, в этой картонке лежат серебряные ложки?

— В ней лежит цилиндр моего приятеля,— заявил Гарри.

— Отлично,— сказал генерал.— Тогда я хочу поглядеть на цилиндр вашего приятеля. Я чрезвычайно интересуюсь цилиндрами,— прибавил он зловеще.— И вы, вероятно, знаете, что я не охотник до шуток.

— Прошу прощения, сэр Томас,— вежливо промолвил Гарри,— мне очень жаль, но это, право, дело мое собственное.

Генерал грубо схватил его за плечо и угрожающе взмахнул тростью. Гарри решил, что погиб. Но в этот миг небо ниспослало ему неожиданного защитника в лице Чарли Пендрегона, который внезапно выступил из-за деревьев.

— Постойте-ка, генерал,— сказал он.— Вы ведете себя невежливо да и недостойно мужчины.

— А, мистер Пендрегон! — воскликнул генерал, круто оборачиваясь к новому противнику.— И вы полагаете, мистер Пендрегон, что если я имел несчастье жениться на вашей сестре, то позволю такому распутнику и моту, как вы, ходить за мною по пятам и вмешиваться в мои дела? Знакомство с леди Венделер, сэр, отбило у меня всякую охоту водиться с остальными членами семьи.

— А вы воображаете, генерал Венделер,— отпарировал Чарли,— что раз моя сестра имела несчастье стать вашей женой, значит, она распростилась со всеми правами и привилегиями дамы из общества? Конечно, выйдя за вас, сэр, она сделала все, чтобы уронить свое достоинство, но для меня она по-прежнему член семьи Пендрегонов. Мой долг — защитить ее от низкого надругательства, и, будь вы хоть десять раз ее муж, я не позволю вам ограничивать ее свободу и силой задерживать ее личного посланца.

— Что же это, мистер Хартли? — осведомился генерал.— Мистер Пендрегон, по-видимому, согласен с моим мнением. Он тоже подозревает, что леди Венделер имеет какое-то отношение к цилиндру вашего приятеля!

Чарли понял, что совершил непростительный промах, и поторопился его исправить.

— Что такое, сэр?—закричал он.—Вы говорите, что я «подозреваю»? Я ничего не подозреваю. Но когда я вижу, что при мне злоупотребляют силой и издеваются над подчиненными, я беру на себя смелость вмешаться.

Говоря это, он сделал знак Гарри, но тот по глупости или от волнения ничего не понял.

— Как мне истолковать ваши слова, сэр?—спросил Венделер.

— Да как вам будет угодно, сэр,— отрезал Пендрегон.

Генерал опять взмахнул тростью, намереваясь ударить своего шурина по голове, но тот, хоть и был хром, отразил удар зонтиком и бросился на своего грозного противника.

— Беги, Гарри, беги! — кричал он.— Беги же, болван!

Мгновение Гарри стоял оцепенев и глядел, как те двое раскачивались, яростно обхватив друг друга, затем повернулся и дал стрекача. Оглянувшись через плечо, он увидел, что Чарли уже уперся коленом в грудь поверженного генерала, который все же делает отчаянные попытки поме-

няться с противником местами. Весь сад словно вдруг наполнился людьми, они со всех сторон сбегались к месту сражения. От такого зрелища у секретаря выросли крылья за плечами, и он не сбавлял шага, пока не достиг Бейзуотер-роуд и не влетел в какой-то пустынный переулок.

Видеть, как два знакомых джентльмена грубо тузят друг друга, было Гарри не по силам. Ему хотелось стереть из памяти эту картину, а еще больше—очутиться подальше от генерала Венделера. Второпях Гарри совсем позабыл, куда направляется, и, охваченный страхом, стремглав мчался вперед. При мысли о том, что леди Венделер приходится женой одному из этих гладиаторов и сестрой другому, его сердце наполнялось сочувствием к женщине, жизнь которой сложилась столь несчастливо. В свете этих бурных событий его собственное положение в доме генерала показалось ему не слишком завидным.

Он так погрузился в свои размышления, что, только задев нечаянно какого-то прохожего, вспомнил наконец о картонке, висевшей у него на руке.

— Ох, где моя голова! — воскликнул он.— И куда это я забрел?

И он схватился за конверт, который дала ему леди Венделер. На нем стоял адрес, но имени не было. Секретарю поручалось спросить джентльмена, который должен получить пакет от леди Венделер, а если того не окажется дома, дождаться его прихода. Джентльмен, указывалось далее, должен предъявить собственноручную расписку леди Венделер. Все это выглядело ужасно таинственно, но Гарри особенно удивляло отсутствие имени адресата и то, что требовалось получить расписку. Когда о расписке мимоходом упомянули в разговоре, он не придал этому никакого значения. Теперь же, сопоставив надпись на конверте с другими странными обстоятельствами, он решил, что впутался в опасное дело. Он даже усомнился было в самой леди Венделер. Все эти странные затеи показались ему недостойными такой знатной дамы, а поняв, что у нее есть тайны и от него самого, он готов был судить о ней строже. Однако леди Венделер по-прежнему властвовала над его душой; в конце концов он отбросил всякие подозрения и основательно выбранил себя за то, что поддался им.

Так или иначе, но чувство долга и расчет, преданность и страх — все подсказывало ему, что надо самым спешным образом отделаться от шляпной картонки.

Он обратился к первому встречному полисмену и вежливо расспросил, как идти. Выяснилось, что он недалек от цели, и через несколько минут Гарри уже стоял перед маленьким, заново окрашенным домом. Тут все было в полном порядке: дверной молоток и звонок ярко блестели, на подоконниках красовались горшки с цветами, а шторы из дорогой материи скрывали внутренние покои от нескромных взглядов прохожих. Владелец дома, видимо, ценил покой и уединение, и Гарри, поддавшись общему духу, царившему здесь, постучал тише обычного и старательней обычного отряхнул пыль с сапог.

Довольно привлекательная служанка тотчас открыла дверь и окинула секретаря благосклонным взором.

— Пакет от леди Венделер,— сказал Гарри.

— Знаю,— сказала девушка, кивнув.— Но хозяина нет дома. Быть может, вы оставите пакет мне?

— Не могу,— ответил Гарри.— Мне приказано вручить его только на определенных условиях. Боюсь, что мне придется просить у вас разрешения подождать.

— Ну что ж,— сказала она.— Подождите, пожалуй. Довольно скучно сидеть одной, а вы непохожи на человека, которому захочется обидеть девушку. Но, смотрите, не спрашивайте имени хозяина, мне этого говорить не велено.

— Не жели? — вскричал Гарри.— Вот странно! Хотя, по правде сказать, с недавних пор я на каждом шагу встречаюсь с неожиданностями. Надеюсь, вы не сочтете нескромным, если я все-таки задам один вопрос: этот дом принадлежит вашему хозяину?

— Он его снимает, и то лишь с неделю,— объявила горничная.— А теперь ответьте на мой вопрос: вы знакомы с леди Венделер?

— Я ее личный секретарь,— ответил Гарри, скромно зардевшись.

— Она красивая, наверно? — допытывалась служанка.

— О, она красавица! — воскликнул Гарри. — Она чудо как хороша собой и такая добрая и милая!

— На вид вы тоже добры,— возразила девушка.— Слово даю, вы стоите дюжины таких дам.

Гарри ушам своим не поверил.

— Я? — вскричал он.— Я всего-навсего секретарь!

— Это вы мне нарочно говорите? Да? — спросила она.— Я-то всего-навсего горничная.— Но, увидев, что Гар-

ри смешался, прибавила мягче: — Вы, видно, не хотели сказать ничего такого, и вы мне нравитесь, но вашу леди Венделер я и в грош не ставлю. Ох уж эти хозяйки! Среди бела дня отправить настоящего джентльмена со шляпной картонкой в руках!

Пока шел этот разговор, она оставалась в дверях, а он по-прежнему стоял на тротуаре, без шляпы прохлады ради и с картонкой в руке. Однако при последних словах, смущенный слишком откровенными комплиментами и обнадеживающими взорами, которыми они сопровождались, Гарри начал топтаться на месте и неловко озираться по сторонам. Взглянув нечаянно в дальний конец переулка, он, к своему неописуемому ужасу, встретился взглядом с генералом Венделером. Разгоряченный, негодующий генерал нетерпеливо рыскал по улицам, преследуя своего шурина. Но когда ему попался на глаза провинившийся секретарь, его гнев немедленно устремился по новому руслу. Генерал круто повернулся и, свирепо размахивая руками, с громким воплем ринулся по тихому переулку.

Втолкнув в дом девушку, Гарри одним прыжком очутился за порогом, и дверь захлопнулась перед самым носом преследователя.

— Засов есть? Дверь запирается? — спрашивал Гарри под грохот дверного молотка, отдававшийся эхом во всех углах дома.

— Что с вами такое?—спросила девушка.— Вы испугались этого старика?

— Если он меня сцапает,— прошептал Гарри,— я пропал. Он гоняется за мной весь день, у него внутри трости спрятана шпага, а сам он военный, служил в Индии.

— Ну и дела! — воскликнула девушка.— А как же его зовут, скажите на милость?

— Это генерал Венделер, мой хозяин,— ответил Гарри.— Он хочет отнять у меня картонку.

— Что я вам говорила? — торжествующе вскричала девушка.— Говорила я вам, что она гроша ломаного не стоит, эта ваша леди Венделер. Будь у вас глаза на месте, вы бы и сами увидели, что она такое! Просто неблагодарная вертихвостка, верьте слову!

Разъяренный тем, что ему не открывают, генерал снова накинулся на дверной молоток да еще начал бить в дверь ногами.

— Хорошо, что я одна в доме,— заметила девушка.—

Ваш генерал может барабанить, пока не выбьется из сил, все равно никто не откроет. Идите-ка за мной!

И она повела Гарри в кухню, усадила на стул, а сама стала рядом и нежно положила руку ему на плечо. Стук в дверь не только не утихал, но даже усиливался, и при каждом ударе несчастный секретарь весь содрогался.

— Как вас зовут? — спросила девушка.

— Гарри Хартли,— ответил он.

— А меня—Пруденс,—подхватила она.—Вам нравится мое имя?

— Очень,—сказал Гарри.— Но вы послушайте, как генерал колотит в дверь. Он, наверное, выломает ее, и тогда мне не быть живу.

— Зачем зря расстраиваться?— заявила Пруденс.— А ваш генерал пусть стучит, он только волдырей себе насадит. Неужели я держала бы вас здесь, если б наперед не знала, как вас выручить? Ну нет, я хороший друг тому, кто мне нравится. У нас ведь есть черный ход на другую улицу. Но я вас не проведу к выходу,— прибавила она, ибо Гарри сразу вскочил с места при этом радостном известии,— пока вы меня не поцелуете. Поцелуете, Гарри?

— Конечно, поцелую!— галантно воскликнул он.— И вовсе не ради вашей другой двери, а потому, что вы добрая и хорошенькая.

И он нежно расцеловал ее, и она ответила ему тем же.

Затем Пруденс провела его к выходу.

— А вы придете еще повидать меня?—спросила она, берясь за ключ.

— Непременно,— ответил Гарри.— Разве я не обязан вам жизнью?

— А теперь,— сказала она напоследок, открывая дверь,—бегите со всех ног: сейчас я впущу генерала.

Едва ли Гарри нуждался в таком совете: подгоняемый страхом, он без промедления пустился наутек. Еще несколько шагов, и его испытания закончатся и он, целый и невредимый, вернется к леди Венделер. Но он не успел пробежать эти несколько шагов. Он услышал, что кто-то окликает его по имени и клянет на чем свет стоит. Обернувшись назад, он заметил Чарли Пендрегона, который махал ему обеими руками, подзывая к себе. Эта неожиданная встреча так поразила Гарри, нервы которого и без того были напряжены до крайности, что он не мог придумать ничего лучшего, как прибавить ходу и мчать-

ся дальше. Если бы Гарри припомнил сцену в Кенсингтонском саду, он догадался бы, что раз генерал враг ему, то Чарли Пендрегон должен быть другом. Но он был в таком отчаянном смятении, что эта мысль не пришла ему в голову, и он только быстрей побежал по переулку.

Судя по сердитому голосу и тем ругательствам, которые неслись вслед секретарю, Чарли был вне себя от ярости. Он тоже бежал изо всех сил; но как ни старался, физические преимущества были не на его стороне, и вскоре выкрики Чарли Пендрегона и неровный звук его шагов по мостовой стали затихать где-то вдалеке.

Гарри опять воспрянул духом. Узкий переулок шел круто в гору и был на редкость безлюден. По обе стороны тянулись садовые ограды, с них свешивались ветви деревьев, а впереди, насколько глаз хватал, не было ни души и не виднелось ни одной открытой калитки. Судьба, очевидно, утомясь его преследовать, предлагала ему путь к спасению.

Увы! Когда он поравнялся с одной садовой дверцей, осененной каштанами, она вдруг приоткрылась, и за нею на дорожке он увидел фигуру разносчика из мясной лавки со своим лотком. Гарри пролетел мимо, едва приметив его. Но парень успел разглядеть Гарри и, очевидно, весьма удивился, что какой-то джентльмен несется вперед с такой неподобающей скоростью. Он вышел в переулок и, подбадривая Гарри, пустил ему вслед несколько насмешливых восклицаний.

Его появление подало новую мысль Чарли Пендрегону. Он, хоть и запыхался изрядно, нашел в себе силы крикнуть:

— Держи вора!

Разносчик немедленно подхватил его возглас и присоединился к погоне.

У бедного затравленного секретаря упало сердце. Правда, страх прибавлял ему прыти, и он с каждым шагом все дальше уходил от преследователей. Но он чувствовал, что силы его иссякают и что, попадись в этом узком переулке кто-нибудь ему навстречу, положение его станет вовсе безнадежным.

«Надо где-нибудь укрыться сию же секунду, не то мне конец!» — подумал он.

Едва у него мелькнула эта мысль, как переулок вдруг круто завернул и поворот скрыл Гарри от врагов. Быва-

ют обстоятельства, когда даже самые нерешительные люди начинают действовать быстро и энергично, а самые предусмотрительные забывают свое благоразумие и принимают безрассудно смелые решения. Пришел такой час и для Гарри Хартли. Всякий, кто хорошо знал юношу, подивился бы сейчас его отваге: он вдруг остановился, перекинул картонку через ограду, проворно подпрыгнул, ухватился за верх стены обеими руками и вслед за картонкой свалился в сад.

Когда спустя секунду он пришел в себя, оказалось, что он сидит на клумбе среди невысоких розовых кустов. Руки и колени у него были изрезаны, потому что стена на случай подобных вторжений была щедро утыкана осколками старых бутылок. Он чувствовал, что весь разбит, а голова у него болит и кружится. В глубине сада, тщательно ухоженного и засаженного душистыми цветами, виднелась задняя стена дома. Дом, довольно обширный и, очевидно, обитаемый, по странному контрасту с садом был в забросе, обветшал и имел самый жалкий вид. С трех других сторон сад был обнесен сплошной стеной.

Тупо поглядывая по сторонам, Гарри отмечал все эти подробности, но еще не был в состоянии сопоставить их и сделать из них разумный вывод. Поэтому, заслышав шаги, приближавшиеся к нему по усыпанной гравием дорожке, он обратил свой взор в ту сторону еще без всякой мысли о защите или бегстве.

К нему с лейкой в руке подходил крупный человек грубой и отталкивающей наружности, одетый, как садовник. Всякий встревожился бы, завидев его громадную фигуру и встретив этот угрюмый взгляд исподлобья. Но Гарри был так оглушен падением, что даже не испугался. Не в силах отвести глаза от садовника, он сидел на месте и не оказал ни малейшей попытки к сопротивлению, когда тот приблизился, взял его за шиворот и рывком поставил на ноги.

Несколько мгновений оба молчали, уставившись друг на друга: Гарри — словно завороженный, а свирепый садовник — с жестокой и злобной усмешкой.

— Ты кто такой? — спросил он наконец.— Кто тебе разрешил лазать через стены и ломать мои розы? Ведь это же «Слава Дижона»! Как тебя звать? И что тебе здесь нужно? — прибавил он, встряхивая Гарри.

Гарри не мог вымолвить ни слова в объяснение.

Но как раз в этот момент Пендрегон и разносчик протопали мимо, и хриплые голоса и звуки шагов громко раздались в узком переулке.

Садовник получил ответ на свой вопрос и поглядел на Гарри с мерзкой усмешкой.

— Вор! — сказал он.— Честное слово, ремесло-то, видать, прибыльное: ты вон разоделся джентльменом с головы до пяток. И не стыдно тебе, вырядившись так, разгуливать по свету, когда честные люди, верно, рады были бы и твоим обноскам? Ну, говори, дрянь ты этакая! — продолжал он.— Простого языка не понимаешь? Нужно же мне потолковать с тобой прежде, чем я сведу тебя в участок.

— Сэр,— сказал Гарри,— право, все это — страшное недоразумение. Пойдемте со мною к сэру Томасу Венделеру на Итон-плейс, и, клянусь вам, все разъяснится. Теперь я вижу, что и самый добропорядочный человек может попасть в сомнительное положение.

— Нет, красавчик,— возразил садовник,— мы с тобой пойдем вместе не дальше полицейского участка, что на соседней улице. Инспектор, наверное, охотно прогуляется с тобой на Итон-плейс и попьет чайку с твоими важными знакомыми. Может быть, тебе захочется идти прямо к министру внутренних дел? «Сэр Томас Венделер», скажи на милость! И ты думаешь, мне не отличить джентльмена от обыкновенного прощелыги вроде тебя? Как ты ни оденься, я тебя вижу насквозь. Вот рубашка, которая стоит не меньше моей воскресной шляпы, и пиджак твой, ручаюсь, никогда не висел в лавке старьевщика, а сапоги...

Тут садовник, поглядев вниз, разом оборвал свои оскорбительные замечания и несколько секунд разглядывал что-то у себя под ногами. Когда он заговорил снова, голос его звучал как-то странно.

— Да что же это такое, черт побери? — сказал он.

Следуя направлению его взгляда, Гарри увидел нечто, заставившее его онеметь от изумления и страха. Падая со стены, он свалился прямо на картонку, которая лопнула сверху донизу, и из нее вывалилась целая груда бриллиантов. Они рассыпались по грядке, и часть их была затоптана в землю, а часть лежала на виду, сверкая царственным великолепием. Была здесь и чудесная диадема, которой он так часто любовался, когда она сияла на головке леди Венделер, были кольца и броши, серьги и брас-

леты и даже неоправленные бриллианты, блиставшие сейчас в кустах роз, словно капли утренней росы. Лаская взор и отражая лучи солнца миллионами радужных вспышек, перед ними на земле лежало княжеское богатство, в самой привлекательной, надежной и долговечной форме, лежало у самых ног, хоть собирай в передник и уноси.

— Боже милостивый! — произнес Гарри.— Я погиб!

Недавние происшествия с молниеносной быстротой промелькнули у него в памяти: ему стало ясно, что́ случилось с ним за день, и он стал постигать связь так злосчастно перепутавшихся событий, от которых теперь зависела его репутация и судьба. Он посмотрел вокруг, как бы ища помощи, но в саду не было ни души, кроме него самого, рассыпанных бриллиантов да его грозного собеседника. И сколько он ни прислушивался, он слышал лишь шелест листвы и частое биение собственного сердца. Ничуть не удивительно, что, теряя остатки мужества, Гарри повторил дрогнувшим голосом:

— Я погиб!

Садовник воровато оглянулся по сторонам и, к видимому своему облегчению, никого не увидел в окнах дома.

— Держись, дурак ты этакий! — сказал он.— Самое трудное позади. Почему ты сразу не сказал, что здесь хватит на двоих? Какое там — на двоих! Да на две сотни человек! Пошли, впрочем, отсюда, здесь нас могут заметить, и, ради бога, поправь свою шляпу и почисти платье. В этаком глупом виде тебе далеко не уйти!

Пока Гарри, почти не сознавая, что делает, выполнял этот совет, садовник, опустившись на колени, стал торопливо собирать рассыпанные бриллианты и складывать их обратно в картонку. От прикосновения к драгоценным камням дрожь волнения пробегала по его дюжему телу, лицо исказилось, глаза горели алчностью, он словно упивался своим занятием, растягивал его и любовно ощупывал каждый камень. Наконец все было сделано. Прикрыв картонку полой блузы, садовник поманил Гарри и направился к дому.

У самой двери им повстречался молодой человек, по виду священник, со смуглым и поразительно красивым лицом, в чертах которого сочеталось выражение слабости и решительности. Он был одет скромно, но опрятно, как это принято у его сословия. Садовник явно не обрадовался этой встрече, но постарался скрыть свою

досаду и, подобострастно улыбаясь, обратился к священнику.

— Чудесный денек, мистер Роллз,— сказал он,— просто лучше не бывает. А это мой молодой приятель: ему вздумалось посмотреть на мои розы. Я позволил себе провести его в сад, решив, что никто из жильцов возражать не будет.

— Я-то, во всяком случае, не буду,— ответил преподобный Саймон Роллз.— Да и не представляю себе, чтобы остальные стали придираться к такой малости. Сад принадлежит вам, мистер Рэберн, никто из нас не должен этого забывать. И если вы позволяете нам гулять здесь, было бы черной неблагодарностью злоупотреблять вашей добротой и не считаться с вашими друзьями. Однако я припоминаю,— добавил он,— что мы с этим джентльменом как будто уже встречались. Мистер Хартли, если не ошибаюсь? Вам, кажется, привелось упасть, разрешите выразить вам мое сочувствие.

И он протянул руку.

По какой-то девичьей застенчивости или просто желая оттянуть неизбежные объяснения, Гарри не принял случайно подвернувшейся помощи и решил отпираться. Он предпочел довериться садовнику, который был ему неизвестен, чем подвергать себя расспросам, а то и подозрениям знакомого человека.

— Боюсь, что это ошибка,— сказал он.— Мое имя Томлинсон, я друг мистера Рэберна.

— Правда? — сказал мистер Роллз.— Сходство поразительное.

Мистер Рэберн, который все время был как на иголках, почувствовал, что пора положить конец этому разговору.

— Желаю вам приятной прогулки, сэр,— сказал он.

И он втащил Гарри за собой в дом, а затем провел в комнату с окном в сад. Прежде всего он поспешил опустить штору, потому что мистер Роллз в задумчивости и растерянности все еще стоял там, где они его оставили. Потом садовник опрокинул распоротую картонку на стол и с выражением восторженной жадности на лице, потирая ляжки руками, замер перед открывшимися сокровищами. Глядя на этого человека, обуреваемого низкими чувствами, Гарри испытал новые муки. После легкой, невинной и пустяковой жизни казалось немыслимым очутиться сразу в мире низменных и преступных побуждений. Он

не помнил за собой никакого греха, а теперь его постигла кара, мучительная и жестокая — страх наказания, недоверие честных людей и унизительное сообщничество человека гнусного и грубого. Он почувствовал, что с радостью отдал бы жизнь, лишь бы убежать из этой комнаты и не видеть больше мистера Рэберна.

— А теперь,— сказал тот, разделив драгоценности на две почти равные части и придвигая одну к себе,— а теперь вот что. За все на этом свете надо платить, и подчас даже порядочно. Надо вам знать, мистер Хартли, если так вас зовут, я человек весьма покладистый и мое добродушие всю жизнь мне мешало. Я мог бы прикарманить все эти красивые камушки, если б захотел, и вы даже пикнуть не посмели бы. Только вы мне чем-то понравились, честное слово, как-то не хочется обирать вас дочиста! Так что я, знаете, по доброте душевной предлагаю поделиться. Дележ,— тут он указал на две кучки,— сделан, кажется, справедливо и по-дружески. Осмелюсь спросить, мистер Хартли, возражений не будет? Не такой я человек, чтобы спорить из-за какой-нибудь брошки.

— Но, сэр,— вскричал Гарри,— то, что вы мне предлагаете, просто невозможно! Драгоценности эти не мои, я не могу отдавать чужое и ни с кем никакого дележа устраивать не буду.

— Ах, не ваши? — возразил Рэберн.— И вы отдавать их никому не можете, вот как? Ну что ж, очень жаль; тогда мне придется вести вас в участок. Полиция — подумайте-ка о полиции — какой позор для ваших почтенных родителей! Подумайте,— продолжал он, беря Гарри за руку,— подумайте о суде, о колониях, о каторге. Ведь настанет и день Страшного суда!

— Я не могу ничего поделать,— жалобно бормотал Гарри.— Я тут ни при чем. Вы же не хотите идти со мной на Итон-плейс?

— Нет,— ответил тот,— не хочу, это уж точно. Я намерен поделить с вами эти игрушки здесь.

С этими словами он вдруг жестоко вывернул юноше руку.

Гарри не мог сдержать крика, пот покатился по его лицу. Может быть, боль и страх заставили его лучше соображать, но только все дело вдруг предстало перед ним в ином свете. Он увидел, что ему ничего не остается, как принять предложение мерзавца, в надежде потом — при

более благоприятных обстоятельствах и когда он сам будет вне подозрений — разыскать дом и силою отобрать вещи.

— Согласен,— пробормотал он.

— Вот этак-то лучше, милашка,— осклабился садовник.— Я так и думал, что в конце концов ты сообразишь, в чем твоя выгода. Картонку,— продолжал он,— я сожгу вместе с мусором, чтобы не попалась на глаза кому не надо, а вы собирайте-ка свои побрякушки и прячьте их по карманам.

Гарри повиновался. Рэберн наблюдал за ним, и то и дело когда какой-нибудь камень вспыхивал ярким огнем, разгоралась и его алчность; тогда он извлекал еще одну драгоценность из доли секретаря и прибавлял к своей.

Когда с этим было покончено, оба направились к выходу. Рэберн осторожно отпер дверь и выглянул на улицу. Прохожих не было видно; тогда он внезапно схватил Гарри рукой за шиворот и, нагнув ему голову, чтобы тот видел лишь мостовую да ступеньки перед дверьми домов, минуты две стремительно тащил его сначала по одной улице, потом по другой. Гарри успел насчитать три угла, прежде чем негодяй разжал руку и, крикнув: «А теперь убирайся!» — ловко и метко дал ему такого пинка, что Гарри лицом вниз полетел на мостовую.

Когда ошеломленный, с окровавленным носом, он поднялся, мистера Рэберна и след простыл. Тут гнев и боль окончательно одолели Гарри: он разразился плачем да так и остался, рыдая, посредине улицы.

Немного утолив слезами свое горе, он оглянулся по сторонам и стал читать названия улиц у перекрестка, где бросил его садовник. Он по-прежнему находился в малолюдной стороне лондонского Вест-Энда, среди вилл и обширных садов. В одном окне он все же заметил людей, очевидно, бывших свидетелями его злоключений, и почти сразу из этого дома к нему выбежала служанка со стаканом воды. В то же время какой-то грязный бродяга, слонявшийся неподалеку, начал подбираться к нему с другой стороны.

— Бедняга,— сказала девушка,— ну и подло же обошлись с вами! Смотрите-ка, колени разбиты, все платье порвано! А вы знаете негодяя, который вас так отделал?

— Разумеется, знаю! — вскричал Гарри, выпив воды и почувствовав себя бодрее.— Я до него доберусь, ему от меня не уберечься! Уж он поплатится за свои дела!

— Вы лучше вошли бы в дом, помылись и почистились,— продолжала девушка.— Ничего, моя хозяйка вас не выгонит. Постойте, я подберу вашу шляпу. Ай, господи! — взвизгнула она.— Да вы засыпали алмазами всю улицу!

Так оно и было. Изрядная часть драгоценностей, доставшихся ему после грабежа, учиненного Рэберном, вывалилась из карманов, когда Гарри летел кувырком, и теперь алмазы опять, сверкая, лежали на земле. «Вот счастье, что у девушки такое острое зрение, ведь могло быть хуже»,— подумал Гарри и, обрадованный тем, что может спасти хоть несколько сохранившихся у него камней, готов был забыть об утрате всех остальных.

Но увы! Когда он нагнулся, чтобы подобрать свои сокровища, бродяга внезапно бросился к ним, с наскока опрокинул наземь и Гарри и девушку, подхватил полную пригоршню бриллиантов и с изумительным проворством удрал прочь.

Едва вскочив на ноги, Гарри со страшными воплями погнался за злодеем, но тот был проворнее или, может быть, лучше знал окрестные места: куда только ни поворачивал преследователь, ему не удавалось обнаружить и следов беглеца.

В глубочайшем унынии Гарри вернулся к месту катастрофы, где поджидавшая его служанка честно отдала ему шляпу и уцелевшие из просыпанных бриллиантов. Гарри от всего сердца поблагодарил ее, и, откинув всякую бережливость, направился к ближайшей стоянке кебов, и поехал на Итон-плейс.

Он застал весь дом в смятении, словно в семье произошло несчастье. Слуги теснились в холле и не могли — да и не очень старались — удержаться от смеха при появлении потрепанной фигуры секретаря. Стараясь сохранять достойный вид, он прошел мимо них и направился прямо в будуар. Когда он открыл дверь, его взорам предстало удивительное зрелище, не сулившее ничего хорошего: генерал, его жена и — подумать только! — Чарли Пендрегон сидели тесным кружком, деловито обсуждая что-то важное. Гарри сразу понял, что ему не придется давать длинных объяснений: вероятно, генералу откровенно рассказали о задуманном покушении на его кошелек и о провале всей затеи. Теперь, ввиду общей опасности, они, очевидно, собирались действовать сообща.

«ДОМ НА ДЮНАХ»

«ДОМ НА ДЮНАХ»

— Слава богу! — воскликнула леди Венделер.— Вот он! Картонка, Гарри, где же картонка?

Но Гарри стоял перед ними молчаливый и подавленный.

— Говорите! — закричала она.— Говорите же! Где картонка?

Мужчины, угрожающе придвигаясь к нему, повторяли то же самое.

Гарри вынул из кармана горсть драгоценностей. Он был белей полотна.

— Вот все, что осталось,— сказал он.— Беру небо в свидетели, это вышло не по моей вине, и если вы наберетесь терпения, то кое-что, вероятно, удастся вернуть, хотя многие камни, я боюсь, пропали навсегда.

— Увы! —вскричала леди Венделер.— Все наши бриллианты пропали, а у меня девяносто тысяч фунтов долгу за одни туалеты!

— Сударыня,— сказал генерал,— пусть вы побросали свои собственные побрякушки в сточную канаву, пусть вы наделали долгов даже в пятьдесят раз больше, пусть вы украли алмазную диадему и кольца моей матери, я, наверное, по слабости характера простил бы вас в конце концов. Но, сударыня, вы забрали Алмаз Раджи —«Око Света», как его поэтически окрестили на Востоке, «Славу Кашгара». Вы отняли у меня Алмаз Раджи!— вскричал он, воздевая руки,— и все, сударыня, все покончено между нами!

— Поверьте мне, генерал Венделер,— ответила она,— это самые приятные слова, какие только мне приходилось слышать из ваших уст, и я готова приветствовать грозящее разорение, если оно избавит меня от вас. Вы мне достаточно часто говорили, что я вышла за вас из-за денег. Позвольте мне теперь сказать вам, что я не раз горько каялась в этой сделке. И если бы вы могли жениться снова и если бы у вас был алмаз величиной с вашу собственную голову,— я даже свою горничную отговаривала бы от такого незавидного и опасного союза. Что касается вас, мистер Хартли,— продолжала она, поворачиваясь к секретарю,— вы уже полностью проявили в этом доме свои ценные свойства. Мы теперь убедились, что у вас нет ни мужества, ни разума, ни чувства собственного достоинства. И, по-моему, вам остается только одно: немедленно уда-

литься и по возможности не возвращаться более. За жалованьем вы вправе прийти в качестве кредитора, когда будет объявлено о банкротстве моего бывшего мужа.

Гарри не успел еще опомниться от этих оскорбительных речей, как на него обрушился генерал.

— А пока,— заявил тот,— идемте со мной к ближайшему полицейскому инспектору. Вам легко было обмануть простодушного солдата, но недремлющий закон выведет вас на чистую воду. Пусть мне на старости лет придется жить в нищете из-за ваших козней с моей супругой, зато я постараюсь по крайней мере, чтобы ваши труды не остались без награды, и бог откажет мне в большом удовольствии, если отныне и до самой вашей смерти вам не придется щипать паклю на каторге.

С этими словами генерал вытолкнул Гарри из комнаты, стащил вниз по лестнице и поволок в ближайший полицейский участок.

На этом, по словам арабского автора, заканчивается печальная *повесть о шляпной картонке*. Однако злосчастному секретарю эти события помогли стать мужчиной и начать новую жизнь. Полиция убедилась в его невиновности, а когда он оказал посильную помощь в дальнейших розысках, один из начальников сыскного отделения даже похвалил его за честное и прямое поведение. Многие лица приняли участие в судьбе несчастливца, а когда в Вустершире скончалась одна его незамужняя тетка, он унаследовал после нее порядочную сумму. Благодаря этому он женился на Пруденс и, чрезвычайно довольный, полный самых радужных надежд, отплыл на Бендиго, а по другим источникам — в Тринкомали.

ПОВЕСТЬ О МОЛОДОМ ЧЕЛОВЕКЕ ДУХОВНОГО ЗВАНИЯ

Преподобный Саймон Роллз весьма преуспел на поприще исследования этических учений и слыл особым знатоком богословия. Его работа «О христианской доктрине общественного долга» при появлении в свет принесла ему некоторую известность в Оксфордском университете. И в клерикальных и в научных кругах говорили, что молодой мистер Роллз готовит основательный труд (по словам

иных, фолиант) о незыблемости авторитета отцов церкви. Ни познания, ни честолюбивые замыслы, однако, вовсе не помогли ему в достижении чинов, и он все еще ожидал места приходского священника, когда, прогуливаясь однажды по Лондону, забрел на Стокдоув-лейн. Увидев густой, тихий сад и прельстившись покоем, необходимым для научных занятий, а также невысокой платой, он поселился у мистера Рэберна.

Молодой человек завел себе привычку ежедневно, после семи-восьми часов работы над св. Амвросием или св. Иоанном Златоустом, гулять среди роз, предаваясь раздумью. Это были у него обычно самые плодотворные часы дня. Но даже искренняя любовь к науке и увлечение важными проблемами, ожидающими решения, не могут подчас оградить разум философа от встреч и столкновений с суетным миром. И когда молодой священник увидел секретаря генерала Венделера, оборванного и окровавленного, рядом с мистером Рэберном, когда он заметил, что оба переменились в лице и стараются увильнуть от расспросов, и особенно когда секретарь стал отрекаться от собственного имени,— мистер Роллз поддался низменному любопытству и быстро забыл своих святых и отцов церкви.

«Я не мог ошибиться,— думал он.— Это, несомненно, мистер Хартли. Но почему он был в таком плачевном виде? Почему он отрекался от своего имени? И какие у него могут быть дела с этим угрюмым негодяем — моим хозяином?»

Пока он раздумывал, его внимание привлекло другое странное обстоятельство. Лицо мистера Рэберна показалось в низком окне рядом с дверью, и его глаза случайно встретились с глазами мистера Роллза. Садовник, видимо, смутился, даже встревожился, а штора тотчас опустилась.

«Все это, может быть, и в порядке вещей,— размышлял мистер Роллз,— даже совсем в порядке вещей, но, признаюсь откровенно, мне думается, тут что-то не так. Зачем им таиться, лгать, опасаться взглядов людских? Право же, эта подозрительная пара замышляет какое-то темное дело».

Сыщик, который живет в каждом из нас, проснулся в мистере Роллзе и принялся за работу. Проворными нетерпеливыми шагами, ничуть не похожими на его обычную походку, молодой священник обошел сад. Подойдя к ме-

сту вторжения Гарри, он сразу заметил сломанный розовый куст и следы ног на рыхлой земле. Он поглядел вверх и увидел царапины на кирпиче и клочки штанов, развевавшиеся на осколках стекла. Так вот, значит, каким путем предпочел войти близкий друг мистера Рэберна! Вот как секретарь генерала Венделера любовался цветником! Священник тихонько присвистнул и нагнулся, чтобы рассмотреть почву. Он догадался, где именно Гарри завершил свой отчаянный прыжок. Он признал в отпечатке плоской ступни след мистера Рэберна, глубоко вдавшийся в землю, когда тот поднимал секретаря за ворот. При более подробном осмотре он различил даже следы пальцев, как будто здесь что-то просыпали и старательно скребли по земле, собирая вновь.

«Честное слово,— подумал он,— дело становится весьма любопытным».

Тут он заметил какой-то предмет, почти засыпанный землей. В один миг он откопал изящный сафьяновый футляр с золоченым узором и застежкой. Его затоптали ногами, и поэтому мистер Рэберн второпях проглядел его. Мистер Роллз открыл футляр и чуть не задохнулся от изумления, близкого к ужасу. Ибо перед ним в гнездышке зеленого бархата лежал алмаз невероятной величины и наичистейшей воды. Он был с утиное яйцо, прекрасной формы и без единого изъяна; под лучами солнца он испускал свет, подобный электрическому, и, казалось, горел на ладони тысячами притаившихся в нем огней.

Мистер Роллз плохо разбирался в драгоценных камнях, но Алмаз Раджи был чудом и говорил сам за себя. Найди его деревенский мальчонка, он с криком бежал бы до ближайшего дома, а дикарь благоговейно простерся бы ниц перед таким удивительным фетишем. Красота этого камня ласкала взор молодого священника, мысль о его неисчислимой стоимости подавляла воображение. Он понимал, что ценность камня, который он держит в руке, превышает доход архиепископа за многие годы, что им можно оплатить постройку соборов, более пышных, чем соборы Эли или Кельна; что, овладев им, можно навеки освободиться от проклятия, тяготеющего над человечеством, и следовать своим склонностям, ни о чем не заботясь, никуда не торопясь, ни с кем не считаясь. Он нечаянно повернул камень: опять брызнули ослепительные лучи и словно пронзили его сердце.

Решительные действия часто совершаются мгновенно и без всякого воздействия со стороны рассудка. Так случилось и с мистером Роллзом. Он торопливо оглянулся вокруг, но, как прежде мистер Рэберн, увидел лишь залитый солнцем цветник, верхушки высоких деревьев да опущенные шторы в окнах дома. В мгновение ока он захлопнул футляр, сунул его в карман и с поспешностью преступника бросился к себе.

Преподобный Саймон Роллз украл Алмаз Раджи.

В тот же день явилась полиция вместе с Гарри Хартли. Садовник, вне себя от страха, без запирательств выложил свою добычу. Драгоценности были проверены и переписаны в присутствии секретаря. Сам мистер Роллз выказывал всяческую услужливость, охотно сообщил все ему известное, и выразил сожаление, что больше ничем не может помочь полицейским в порученном им деле.

— Все же,— добавил он,— ваши хлопоты, вероятно, подходят к концу.

— Вовсе нет,— ответил сыщик из Скотланд-Ярда. Он рассказал о вторичном ограблении, жертвой которого так быстро стал Гарри, и описал молодому священнику самые дорогие из еще не найденных драгоценностей, особо остановившись на Алмазе Раджи.

— Он стоит, должно быть, целое состояние,— предположил мистер Роллз.

— Даже десять состояний, а то и двадцать! — воскликнул полицейский.

— Чем больше он стоит,— хитро заметил Саймон,— тем труднее его, наверное, сбыть. У такой вещи приметная внешность, ее не замаскируешь. Его, пожалуй, продать не легче, чем собор святого Павла.

— Ну, разумеется,— сказал полицейский.— Но если вор окажется человеком сообразительным и распилит алмаз на три-четыре части, ему все равно будет с чего разбогатеть.

— Благодарю вас,— сказал священник,— вы представить себе не можете, как мне было любопытно побеседовать с вами.

Сыщик заметил, что по роду занятий ему и в самом деле приходится узнавать много удивительного, и вскоре распрощался.

Мистер Роллз вернулся в свою комнату. Она показалась ему еще меньше и бедней обычного. Никогда мате-

риалы для его великого труда не казались ему такими скучными, и он презрительным взглядом окинул свою библиотеку. Он стал снимать с полки сочинения отцов церкви и проглядывать том за томом, однако в них не оказалось ничего подходящего.

«Эти старые джентльмены,— подумал он,— несомненно, писатели очень ценные, но, по-моему, явно ничего не смыслят в жизни. Я, например, при своей учености мог бы стать епископом, а положительно не представляю себе, как сбыть украденный алмаз. Кое-что мне подсказал простой полицейский, но все мои фолианты не могут меня научить, как применить его совет. Все это внушает человеку весьма низкое представление о пользе университетского образования».

Он пнул ногой книжную полку, надел шляпу, поспешно вышел из дому и отправился в клуб, членом которого состоял. В этом мирском заведении он рассчитывал встретить какого-нибудь рассудительного и умудренного жизненным опытом человека.

Он нашел в читальной комнате нескольких деревенских священников и одного архидьякона; трое журналистов и некий автор трудов по высшей метафизике играли на бильярде, а за обеденным столом он увидел только клубных завсегдатаев с их пошлыми, невыразительными лицами. Мистер Роллз понял, что в опасных делах никто из них не смыслит более его самого и что ему не найти среди них себе советчика. Наконец, поднявшись по длинной крутой лестнице в курительную комнату, он застал там осанистого джентльмена, одетого с нарочитой простотой. Джентльмен курил сигару и листал «Двухнедельное обозрение». На его лице не было ни следа озабоченности или утомления, и что-то в его облике располагало к откровенности и вызывало желание подчиниться ему. Чем дольше молодой священник изучал его черты, тем более убеждался, что наткнулся на человека, способного дать дельный совет.

— Сэр,— сказал мистер Роллз,— простите мою бесцеремонность, но, судя по вашей наружности, вы, кажется, человек опытный в делах житейских.

— У меня и правда есть основания считаться таковым,— ответил незнакомец, откладывая в сторону журнал с таким видом, словно вопрос не только удивил, но и позабавил его.

— Я, сэр,— продолжал мистер Роллз,— затворник, склонный к ученым занятиям, привыкший иметь дело с чернильницами и с фолиантами отцов церкви. Недавно одно происшествие раскрыло мне глаза на мою неосведомленность во всем ином, и мне захотелось больше узнать о жизни. Я имею в виду не ту жизнь,— добавил он,— которая описана в романах Теккерея. Я желал бы больше узнать о преступлениях и о потайных силах нашего общества, желал бы научиться умно поступать в исключительных обстоятельствах. Читать я люблю; нельзя ли всему этому научиться по книгам?

— Вы ставите меня в трудное положение,— ответил незнакомец.— Признаюсь, я не великого мнения о пользе книг: они годны лишь на то, чтобы с ними скоротать время в вагоне. Хотя, пожалуй, имеется несколько весьма порядочных работ по астрономии, по сельскому хозяйству да несколько руководств, как пользоваться глобусом и изготовлять бумажные цветы. Но о других, скрытых областях жизни, боюсь, не написано ничего достоверного. Впрочем, постойте-ка,— прибавил он,— вы читали Габорио [1]?

Мистер Роллз признался, что никогда даже не слыхал такого имени.

— Вы могли бы найти кое-что у Габорио,— сказал незнакомец.— Он по крайней мере заставляет думать, а так как это любимый автор князя Бисмарка, вы на худой конец проведете время в приятной компании.

— Сэр,— сказал священник,— я бесконечно вам признателен за любезность.

— Вы меня с лихвой вознаградили,— заявил джентльмен.

— Чем же? — спросил Саймон.

— Необычностью своей просьбы,— ответил тот.

И, словно испрашивая разрешения у собеседника, он вежливо поклонился и опять взялся за «Двухнедельное обозрение».

По дороге домой мистер Роллз приобрел книгу о драгоценных камнях и несколько романов Габорио. Эти романы он жадно читал и перелистывал до самого позднего часа, однако — хотя и открыл в них много нового

---

[1] Французский писатель XIX века, автор многочисленных уголовных романов.

для себя — так и не узнал, что делать с украденным алмазом. К его досаде, оказалось, что нужные сведения были разбросаны по разным романтическим историям, а не собраны строго все вместе, как делается в справочниках. Он вывел заключение, что автор добросовестно продумал свой предмет, но вовсе не владеет педагогическим методом. Однако характер и ловкость Лекока [1] вызвали невольное восхищение священника.

«Вот поистине великий человек,— раздумывал мистер Роллз.— Он знал жизнь, как я знаю «Свидетельства» Пейли. Не было случая, чтобы даже в самых трудных обстоятельствах он собственной рукой не довел бы дела до конца».

— Боже мой! — вскричал вдруг мистер Роллз.— Разве это мне не урок? Не научиться ли мне самому резать алмазы?

Он решил, что нашел выход из своего затруднительного положения, и припомнил, что знает одного ювелира, некого Б. Макалока, жившего в Эдинбурге, который охотно возьмется обучить его своей профессии. Несколько месяцев, пусть даже несколько лет тяжелого труда, и у него хватит умения разделить на части Алмаз Раджи и ловкости в этом деле, чтобы выгодно продать его. После он может на досуге опять заниматься своими изысканиями, будет богатым, ученым, ни в чем себе не отказывающим и вызывающим у всех зависть и уважение.

Златые сны витали над ним всю ночь, и наутро он поднялся спозаранку, бодрый и в отличном расположении духа.

Как раз в этот день полиция предложила жильцам мистера Рэберна покинуть дом, и это давало мистеру Роллзу повод для отъезда. Он весело уложил свои вещи, перевез на вокзал Кингс-кросс, оставил в камере хранения и вернулся в клуб, намереваясь провести там весь день и пообедать.

— Если вы сегодня обедаете здесь, Роллз,— сказал ему один знакомый,— то можете увидеть сразу двух замечательных людей Англии — принца Флоризеля Богемского и старого Джека Венделера.

— О принце я слышал,— ответил мистер Роллз,— а с генералом Венделером даже встречался в свете.

---

[1] Сыщик, герой романов Габорио.

— Генерал Венделер — осел!— возразил собеседник.— Я говорю о его брате Джоне; он известный искатель приключений, лучший знаток драгоценных камней и один из самых тонких дипломатов в Европе. Разве вы не слыхали о его дуэли с герцогом де Вальдорж? А его подвиги в Парагвае, когда он был там жестоким диктатором! А как проворно он разыскал драгоценности сэра Самюэла Леви? А какие услуги были оказаны им правительству во время индийского мятежа — услуги, которыми оно воспользовалось, хотя не осмелилось открыто признать их? И вы его не знаете? Чего же стоит тогда людская слава, пусть даже позорная? Ведь Джон Венделер смело может претендовать на известность, хотя бы и недобрую. Бегите вниз,— прибавил он,— садитесь за столик рядом с ними и слушайте в оба уха. Я уверен, вы услышите много удивительного.

— Но как мне узнать их? — спросил священник.

— Узнать их! — вскричал его приятель.— Да ведь принц — изысканнейший джентльмен во всей Европе, единственный человек с внешностью короля. А что касается Джека Венделера, то вообразите себе Улисса в семидесятилетнем возрасте и со шрамом от сабельного удара через все лицо — это и будет он! Узнать их, подумать только! Да их легко найти среди толпы на скачках дерби!

Роллз сломя голову бросился в столовую. Как и утверждал его приятель, этих двоих нельзя было не заметить. Старый Джон Венделер отличался замечательно крепким телосложением и, видимо, привык к самым трудным физическим упражнениям. У него не было особой повадки фехтовальщика, или моряка, или умелого всадника, но он напоминал и одного, и другого, и третьего вместе, словно в нем сказались самые различные привычки и навыки. Орлиные черты его дышали отвагой, выражение лица было надменное и хищное. Вся его внешность выдавала человека действия, горячего, отчаянного и неразборчивого в средствах. Густые седые волосы и глубокий сабельный шрам, пересекавший нос и шедший к виску, придавали оттенок воинственности его лицу, и без того своеобразному и грозному.

В его собеседнике, принце Богемском, мистер Роллз с удивлением узнал джентльмена, который дал ему совет читать Габорио. Очевидно, принц Флоризель, редко посещавший клуб, почетным членом которого, как и многих

других, он числился, поджидал там Джона Венделера, когда Саймон заговорил с ним накануне.

Другие обедавшие скромно расселись по углам, предоставляя обоим знаменитостям беседовать без помехи, но молодой священник не знал их, а потому, не особенно смущаясь, смело направился к ним и занял место за ближайшим столиком.

Все, о чем они говорили, было и в самом деле очень ново для нашего ученого. Экс-диктатор Парагвая вспоминал свои необычайные приключения в различных частях света, а принц изредка вставлял свои замечания, которые для вдумчивого человека были еще любопытней. Опыт двух различных людей раскрывался одновременно перед молодым священником. Он не знал, кем ему больше восхищаться,— человеком, привыкшим действовать с безрассудной смелостью, или тонким наблюдателем и знатоком жизни: один откровенно говорил о собственных делах и перенесенных опасностях, другой, подобно господу богу, знал все, не испытав ничего. Каждый из них держался в разговоре соответственно своей роли. Диктатор не скупился на резкие слова и жесты, то сжимая, то разжимая кулак, тяжело опускал его на стол, и речь его была громкой и напористой. Принц, наоборот, казался подлинным образцом вежливой уступчивости и спокойствия; чуть заметное его движение, оттенок голоса были выразительней, чем все выкрики и жесты его собеседника. А если ему случалось, и, может быть, довольно часто, описывать собственные приключения, он умел не подчеркивать своего участия в них, и они ничем не выделялись среди других.

Под конец разговор зашел о недавних ограблениях и об Алмазе Раджи.

— Этому камню лучше быть на дне морском,— заметил принц Флоризель.

— Вы сами понимаете, ваше высочество, что мне, как одному из Венделеров, трудно с этим согласиться,— возразил диктатор.

— Я говорю с точки зрения общественного благоразумия,— продолжал принц.— Таким ценным вещам место в коллекции короля или в сокровищнице великого народа. Пустить их по рукам простых смертных — значит вводить добродетель в искушение. Если кашгарский раджа — властитель, как я понимаю, весьма просвещенный — пожелал бы отомстить европейцам, он не мог бы скорее достигнуть

своей цели, как послав им это яблоко раздора. Ничья честность не устоит перед таким соблазном. Попади ко мне в руки этот обольстительный камень, я не поручился бы за себя самого, хотя у меня много своих привилегий и обязанностей. Вы же охотник за алмазами по склонности и образу жизни, и я не верю, чтобы в списках Ньюгейтской тюрьмы нашлось такое преступление, какого вы не совершили бы,— не верю, чтобы у вас был на свете друг, которого вы не поспешили бы предать,— мне неизвестно, есть ли у вас семья, но если есть, я уверен, вы пожертвовали бы детьми,— и все это ради чего же? Не для того, чтобы стать богаче, не для того, чтобы сделать свою жизнь приятней или добиться почета, но просто для того, чтобы год-другой, пока не придет смерть, владеть Алмазом Раджи и по временам открывать сейф и любоваться этим камнем, как любуются картиной.

— Это верно,— ответил Венделер.— За чем я только не охотился — и за мужчинами, и за женщинами, и даже за москитами! Я нырял в море за кораллами, гонялся за китами и за тиграми, но алмаз — самая завидная добыча на свете. Он обладает и красотой и ценностью, он один может по-настоящему вознаградить охотника за все его труды. Я и сейчас, как вы, ваше высочество, может быть, догадываетесь, иду по горячему следу. У меня верное чутье, обширный опыт. Я знаю все ценные камни в коллекции моего брата, как пастух знает своих овец, и пусть я погибну, если не разыщу их все до единого!

— Сэр Томас Венделер очень обрадуется вашей удаче,— сказал принц.

— Я не так уж в этом уверен,— заявил диктатор с усмешкой.— Порадуется один из Венделеров, а Томас или Джон, Петр или Павел, не все ли равно? Все мы апостолы одной веры.

— Не понимаю, что вы хотите сказать,— брезгливо сказал принц.

Тут лакей сообщил мистеру Венделеру, что его кеб ожидает у подъезда.

Мистер Роллз взглянул на часы и увидел, что ему тоже пора идти. Такое совпадение неприятно поразило его: ему не хотелось больше встречаться с охотником за алмазами.

Так как нервы молодого человека были расшатаны слишком усердными научными занятиями, он обычно предпо-

читал путешествовать с удобствами и на этот раз заказал себе место в спальном вагоне.

— Вас здесь никто не потревожит,— сказал ему проводник,— в вашем отделении больше никого нет, а в другом конце вагона едет только еще один пожилой джентльмен.

Подходило время отправления, и уже проверяли билеты, когда мистер Роллз увидел этого второго пассажира, направлявшегося к своему месту в сопровождении нескольких носильщиков. И поистине мистер Роллз предпочел бы ему кого угодно, ибо то был старый Джон Венделер, экс-диктатор.

Спальные вагоны Северной магистрали делились тогда на три отделения: по одному с каждого конца для пассажиров и одно — посередине, где помещался туалет. Раздвижные двери отделяли его от пассажиров, но так как двери были без засовов и замков, то весь вагон оказывался в общем пользовании.

Изучив свои позиции, мистер Роллз понял, что он здесь совершенно беззащитен. Если бы ночью диктатор вздумал явиться с визитом, Роллзу оставалось бы только принять его. У него не было никаких средств обороны, он ничем не мог прикрыться от нападения врага, как если бы находился в открытом поле. Такое положение внушало ему сильнейшее беспокойство. Он с тревогой припоминал бахвальство своего попутчика и его цинические признания за обеденным столом, вызвавшие недовольство принца. Он где-то читал, будто бывают люди, одаренные удивительным чутьем на драгоценные металлы. Говорят, они способны угадывать присутствие золота через стены, и притом на значительном расстоянии. «А вдруг это относится и к драгоценным камням? — подумал он.— И если так, кому же и обладать такой таинственной силой, как не человеку, который с гордостью носит прозвище «охотника за алмазами»?» Роллз понимал, что от подобной личности можно ожидать чего угодно, и страстно мечтал о наступлении дня.

Все же, не желая пренебрегать никакими мерами предосторожности, он запрятал свой алмаз в самый глубокий внутренний карман и благочестиво вручил себя заботам провидения.

Поезд шел своим обычным ровным скорым ходом, и почти половина пути оказалась позади, когда сон все-таки

начал побеждать душевную тревогу мистера Роллэа. Некоторое время он боролся с дремотой, но она одолевала его все больше и больше. Наконец, уже подъезжая к Йорку, он вынужден был растянуться на одном из диванов, и веки его сомкнулись. Сон почти мгновенно овладел молодым священником. Последняя его мысль была о страшном соседе.

Когда мистер Роллэ проснулся, было еще темным-темно, и только чуть мерцал слабый свет ночника. Судя по качке и незатихавшему грохоту колес, поезд шел с прежней скоростью. Роллэ в ужасе приподнялся и сел: его мучили тревожные сны. Прошло несколько секунд, пока к нему вернулось самообладание. Потом он опять вытянулся на постели, но уже не мог заснуть. Охваченный страшным возбуждением, он лежал без сна, уставясь открытыми глазами на дверь туалетного отделения. Он надвинул свою круглую фетровую шляпу пониже на лоб, чтобы не мешал свет, считал до тысячи, старался ни о чем не думать и применял все ухищрения, которыми страдающие бессонницей люди пытаются привлечь к себе дремоту. Но никакие средства не помогали мистеру Роллэу. Его терзали различные опасения, старик, ехавший на другом конце вагона, являлся ему в самых угрожающих образах, да и сам алмаз в кармане, как Роллэ ни пробовал улечься, причинял ощутимую физическую боль. Он жег, мешал, впивался в ребра, и в иные доли мгновения у молодого священника мелькала мысль вышвырнуть алмаз за окошко.

Пока он так лежал, случилось странное происшествие.

Дверь в туалетное отделение чуть качнулась, затем еще и еще немного и наконец сдвинулась в сторону дюймов на двадцать. Лампочка позади не была затенена, и в открывшейся освещенной щели мистер Роллэ увидел голову мистера Венделера. В лице его выражалось напряженнейшее внимание. Мистер Роллэ почувствовал, что диктатор разглядывает его. Инстинкт самосохранения принудил Роллэа задержать дыхание, лежать недвижно и, прикрыв глаза, следить за своим гостем из-под ресниц. Прошло около минуты, голова исчезла, и дверь туалетного отделения стала на место.

Диктатор приходил, очевидно, не с враждебными целями, а только для разведки. В его действиях не было ничего угрожающего, скорее, он сам опасался чего-то. Если мистер Роллэ боялся его, то, по-видимому, диктатор, в свою

очередь, не был так уж спокоен насчет мистера Роллза. Наверно, Венделер приходил, чтобы увериться, спит ли его единственный попутчик, и, уверившись, сразу удалился.

Священник вскочил на ноги. Его безумный страх сменился приступом безрассудной смелости. Он подумал, что дребезжание летящего поезда заглушит все другие звуки, и — будь что будет — решил пойти с ответным визитом. Сбросив плащ, чтобы он не стеснял свободы движений, мистер Роллз вышел в туалетное отделение и подождал немного, прислушиваясь. Как он и предвидел, за грохотом поезда ничего нельзя было расслышать. Взявшись за край двери, он осторожно отодвинул ее дюймов на шесть и застыл, не в силах сдержать возгласа изумления.

На Джоне Венделере была дорожная меховая шапка с ушами, и, вероятно, наряду с шумом экспресса она мешала ему слышать, что делалось рядом. Так или иначе, но он не поднял головы и, не отрываясь, продолжал свое странное занятие. Между колен у него стояла открытая шляпная коробка, одной рукой он придерживал рукав своего дорожного пальто из тюленьей шкуры, в другой у него был острый нож, которым он вспарывал подкладку рукава. Мистер Роллз читал, будто деньги иногда хранят в поясе, но так как был знаком только с обычными ремешками, то никак не мог толком представить себе, как это делается. Теперь перед ним происходило нечто еще более странное: Джон Венделер, оказывается, хранил драгоценные камни в подкладке своего рукава, и на глазах у молодого священника сверкающие бриллианты один за другим падали в коробку.

Он стоял, словно пригвожденный к месту, и не мог оторваться от этого удивительного зрелища. Бриллианты были большей частью мелкие и не отличались ни формой своей, ни игрой. Вдруг диктатору встретилось в работе какое-то затруднение. Он запустил в рукав обе руки и склонился еще ниже. Однако ему пришлось потрудиться, прежде чем он извлек из подкладки большую бриллиантовую диадему, несколько секунд подержал ее на ладони, рассматривая, и только затем опустил в коробку. Диадема все объяснила мистеру Роллзу: он тотчас признал в ней одну из драгоценностей, украденных у Гарри Хартли бродягой. Тут нельзя было ошибиться; сыщик именно так и описывал ее: вот рубиновые звезды

с большим изумрудом посредине, вот переплетенные полумесяцы, а вот грушевидные подвески из цельного камня, придававшие особую ценность диадеме леди Венделер.

У мистера Роллза отлегло от сердца. Диктатор был запутан в эту историю не меньше его самого. Ни один из них не мог донести на другого. Охваченный неожиданной радостью, священник не удержал глубокого вздоха, а так как он почти задыхался от волнения и горло у него пересохло, то вздох вызвал кашель.

Мистер Венделер поднял голову. Его лицо исказилось ужасной, смертельной злобой, глаза широко открылись, челюсть отвисла от изумления, граничившего с бешенством. Инстинктивным жестом он прикрыл шляпную коробку полой пальто. С полминуты оба молча смотрели друг на друга. Пауза была коротка, однако мистеру Роллзу и ее оказалось достаточно: он был из тех, кто в опасные моменты соображает быстро. Он принял чрезвычайно дерзкое решение; и, понимая, что ставит свою жизнь на карту, он все-таки первым нарушил молчание.

— Прошу прощения, сэр,— сказал он.

Диктатор вздрогнул и хрипло сказал:

— Что вам здесь надо?

— Я очень интересуюсь алмазами,— с полным самообладанием ответил мистер Роллз.— Двум таким любителям следует познакомиться. Со мной здесь один пустячок, который, надеюсь, послужит мне рекомендацией.

С этими словами мистер Роллз спокойно вынул из кармана футляр, дал взглянуть диктатору на Алмаз Раджи и снова спрятал его подальше.

— Он принадлежал раньше вашему брату,— прибавил он.

Джон Венделер смотрел на священника с каким-то горестным изумлением, но не шелохнулся и не сказал ни слова.

— Мне приятно отметить,— закончил молодой человек,— что у нас драгоценности из одной коллекции.

Удивление диктатора наконец вырвалось наружу.

— Прошу прощения,— сказал он.— Я, кажется, старею. Мне явно не под силу даже мелкие происшествия вроде этого! Но разъясните мне хоть одно: вы в самом деле священник или меня обманывают мои глаза?

— Я лицо духовного звания,— ответил мистер Роллз.

— Ну, знаете,— воскликнул Венделер,— пока я жив, не позволю при себе и слова сказать против вашего сословия!

— Вы мне льстите,— сказал мистер Роллз.

— Простите меня,— сказал, в свою очередь, Венделер,— простите меня, молодой человек. Вы не трус, но надо еще проверить: может быть, вы просто круглый дурак?.. Не откажите в любезности,— продолжал он, откидываясь на спинку дивана,—объясниться подробнее! Приходится предположить, что в ошеломляющей дерзости вашего поведения что-то кроется, и, признаюсь, мне любопытно узнать, что именно.

— Все это очень просто,— ответил священник.— За моей дерзостью кроется моя великая житейская неопытность.

— Хотелось бы убедиться в этом,— сказал Венделер.

Тогда мистер Роллз рассказал ему всю историю своего знакомства с Алмазом Раджи с той самой минуты, как нашел его в саду Рэберна, и до своего отъезда из Лондона на «Летучем шотландце». Затем вкратце описал свои чувства и мысли во время путешествия и закончил следующими словами:

— Узнав бриллиантовую диадему, я понял, что мы в одинаковых отношениях с обществом. Это внушает мне надежду — которую, хочу думать, вы не назовете безосновательной,— что вы сочтете возможным некоторым образом разделить со мною мои трудности и, конечно, барыши. При ваших специальных познаниях и, несомненно, большом опыте сбыть алмаз для вас не составит особого труда, а для меня это — дело непосильное. С другой стороны, я рассудил, что, если распилю алмаз, то могу потерять почти столько же — такая неудача вполне возможна при отсутствии умения, — сколько я потеряю, с подобающей щедростью расплатившись с вами за помощь. Вопрос это деликатный, а я, пожалуй, оказался недостаточно деликатным. Но прошу вас не забывать, что мне это положение внове и что я совершенно незнаком с принятым в таких случаях этикетом. Не хвалясь скажу, что могу любого обвенчать или окрестить вполне пристойно. Однако каждый ограничен своими возможностями: совершать такого рода сделки я вовсе не умею.

— Не хочу вам льстить,— ответил Венделер,— но, честное слово, у вас необыкновенные способности к преступ-

ной жизни. Вы гораздо талантливей, чем вам кажется, и хотя в различных частях света я перевидал много мошенников, я еще не встречал ни одного, который стеснялся бы так мало, как вы. Поздравляю, мистер Роллз, наконец-то вы нашли свое призвание! Что касается помощи, я весь к вашим услугам. Мне надо пробыть в Эдинбурге всего один день, я обещал брату уладить там кое-что. Покончив с этим, я поеду в Париж, где живу постоянно. Если хотите, можете ехать со мной, и, надеюсь, не пройдет и месяца, как я приведу ваше дельце к благополучному завершению.

Здесь вопреки всем правилам искусства наш арабский автор обрывает *повесть о молодом человеке духовного звания*. Как ни досадно, приходится следовать подлиннику, и за окончанием приключений мистера Роллза я отсылаю читателя к следующей истории цикла — *к повести о доме с зелеными ставнями*.

ПОВЕСТЬ О ДОМЕ С ЗЕЛЕНЫМИ СТАВНЯМИ

Фрэнсис Скримджер, клерк Шотландского банка в Эдинбурге, до двадцати пяти лет жил в мирной и почтенной обстановке. Его мать умерла, когда он был еще совсем мал, но отец, человек разумный и честный, определил его в отличную школу, а дома воспитывал в духе порядка и непритязательности. Фрэнсис, от природы мягкий, послушный и любящий, с великим рвением использовал преимущества своего образования и воспитания и всецело посвятил себя работе. Единственными его развлечениями были прогулки по субботним дням, изредка парадный обед в семейном кругу да раз в год поездка на две недели в горы Шотландии или даже в Европу. Он быстро завоевывал благоволение начальства и получал уже двести фунтов в год, с надеждой на дальнейшее повышение по службе и на жалованье, вдвое превышающее эту сумму. Редкий молодой человек был так доволен всем, так трудолюбив и старателен, как Фрэнсис Скримджер. Иногда, по вечерам, дочитав газету, он играл на флейте, чтобы порадовать отца, которого глубоко уважал за его высокие качества.

Однажды Фрэнсис получил письмо из хорошо известной адвокатской конторы, в котором выражалась просьба безотлагательно зайти к ним. На письме имелась пометка «В собственные руки», и оно было адресовано на банк, а не домой; оба эти необычные обстоятельства заставили его с тем большей готовностью явиться на зов. Глава конторы, человек весьма строгий в обхождении, важно приветствовал его, пригласил садиться и в осторожных выражениях, принятых у бывалых дельцов, приступил к разъяснению вопроса. Некто, пожелавший остаться неизвестным, но о ком адвокат имел все основания хорошо отзываться, короче говоря, человек, занимающий высокое положение, пожелал выдавать Фрэнсису по пятьсот фунтов ежегодно. Стряпчий сказал, что деньги будут находиться в ведении конторы и двух доверенных, имена которых тоже не могут быть раскрыты. Этот щедрый жест сопровождался некоторыми условиями, и стряпчий придерживался мнения, что его новый клиент не найдет в них ничего чрезмерно трудного или недостойного для себя. Он с ударением повторил эти слова, как бы не желая говорить ничего больше.

Фрэнсис спросил, что это за условия.

— Условия,— сказал стряпчий,— как я уже заметил дважды, не заключают в себе ничего чрезмерно трудного или недостойного. В то же время, не стану скрывать от вас, они очень необычны. Мы за подобные дела обыкновенно не беремся, и я, конечно, отказался бы и от этого, если бы не имя джентльмена, который обратился ко мне, и — дозвольте прибавить, мистер Скримджер,— если бы не мое расположение к вам, вызванное многими лестными и, несомненно, вполне заслуженными о вас отзывами.

Фрэнсис попросил его высказаться определеннее.

— Вы не можете представить себе, как меня беспокоят эти условия,— сказал он.

— Их два,— ответил адвокат,— только два, а сумма, напомню вам, пятьсот фунтов в год, и к тому же без налогов, как чуть не забыл я сообщить,— безо всяких налогов.

Тут адвокат многозначительно поднял брови.

— Первое условие,— начал он,— чрезвычайно простое. Вам надлежит быть в воскресенье, пятнадцатого, к вечеру, в Париже. Там, в кассе Французской комедии, вы

получите билет, взятый на ваше имя и отложенный для вас. От вас требуется просидеть весь спектакль на месте, обозначенном в билете, вот и все.

— По правде сказать, я предпочел бы будний день,— ответил Фрэнсис.— Но в конце концов один-то раз...

— И притом в Париже, дорогой сэр,— подхватил адвокат успокоительно.— Я, признаться, и сам человек строгих правил, но при таких обстоятельствах, да еще зная, что это будет в Париже, я не колебался бы ни минуты.

И оба весело рассмеялись.

— Другое условие — более серьезное,— продолжал стряпчий.— Оно касается вашей женитьбы. Мой клиент, сердечно заботясь о вашем благополучии, желает оставить за собой решающее слово в выборе жены для вас. Решающее,— повторил он,— вы понимаете?

— Давайте будем говорить яснее,— заявил Фрэнсис.— Это значит, что я должен жениться на вдове или девице, черной или белой, на ком угодно, кого только не вздумает предложить мне эта невидимая личность?

— Мне поручено заверить вас, что в основу выбора ваш благодетель намерен положить соответствие возраста и положения,— ответил адвокат.— Что касается цвета кожи, мне такое затруднение не приходило в голову, и я не подумал об этом спросить. Но, если вы хотите, я сейчас же сделаю себе заметку и при первой возможности сообщу вам ответ.

— Сэр,— сказал Фрэнсис,— теперь остается только проверить, не является ли все это просто каким-нибудь жульничеством. Случай необъяснимый, я чуть не сказал: невероятный. Пока я немножко не разберусь в нем и не обнаружу, что послужило ему причиной, мне, признаюсь, не хотелось бы давать согласие. Поэтому я прошу вас о разъяснениях. Мне нужно знать, в чем здесь суть. Если же вы ничего не знаете, не можете догадаться или не имеете права сказать мне, я надеваю шляпу и отправляюсь к себе в банк.

— Я не знаю,— ответил адвокат,— но, кажется, догадываюсь. Это на первый взгляд необъяснимое дело затеял не кто другой, как ваш отец.

— Мой отец! — негодующе вскричал Фрэнсис.— Почтеннейший, я знаю наперечет все, что у него на уме и в кошельке!

— Вы неверно толкуете мои слова,— сказал адвокат.—

Я говорю не о мистере Скримджере-старшем, ибо он не отец вам. Когда он и его жена прибыли в Эдинбург, вам было уже около года, но вы находились на их попечении только месяца три. Тайну сохранили хорошо, но дело обстоит именно так. Кто ваш отец — неизвестно, однако, повторяю, я убежден, что предложения, каковые в настоящее время я уполномочен вам передать, исходят от него.

Невозможно описать, как потрясен был Фрэнсис Скримджер столь неожиданным открытием. Он не утаил своего смятения от адвоката.

— Сэр,— сказал он,— после таких поразительных известий вы должны дать мне несколько часов на размышления. Сегодня вечером я вам сообщу, на чем я порешил.

Адвокат согласился, что так будет благоразумнее, и Фрэнсис, под каким-то предлогом покинув банк, отправился пешком далеко за город и во время прогулки тщательно обдумал вопрос во всех подробностях и со всех точек зрения. Приятное сознание значительности собственной персоны побуждало его не спешить с решением, однако с самого начала было ясно, чем все это кончится. Его грешная человеческая природа непреодолимо тянулась к пяти сотням фунтов и склоняла его принять странные условия, которые были сопряжены с ними. Он обнаружил в своей душе непобедимое отвращение к имени Скримджер, хотя до сих пор это имя никогда не бывало ему противно. Интересы его прежней жизни показались ему узкими и прозаическими. Наконец он откинул последние сомнения и, окрыленный неведомым раньше чувством силы и свободы, повернул в город, теша себя самыми радостными предчувствиями.

Он коротко переговорил с адвокатом и немедленно получил чек на деньги за полгода, так как пособие начислялось задним числом — с первого января. С чеком в кармане он отправился домой. Квартира на Скотланд-стрит показалась ему неказистой, в нос неприятно ударил запах перловой похлебки, и он с удивлением, почти с досадой заметил кое-какие недостатки в манерах своего приемного отца. Завтра утром, решил Фрэнсис, он будет уже на пути в Париж.

Он прибыл туда задолго до назначенного срока, поселился в скромной гостинице, где останавливались обычно англичане и итальянцы, и начал совершенствоваться во французском языке. С этой целью он дважды в неделю

брал уроки, вступал в разговоры с гуляющими на Елисейских полях и каждый вечер ходил в театр. Он обновил свой гардероб, оделся по последней моде и каждое утро брился и причесывался в парикмахерской, находившейся неподалеку. Все это придавало ему вид иностранца и заставляло забыть унизительное прошлое.

Наконец в субботу вечером он отправился в билетную кассу театра на улице Ришелье. Едва он назвал свое имя, как кассир протянул ему билет в конверте с еще не успевшей просохнуть надписью.

— Его только что купили для вас,— сказал кассир.

— В самом деле? — воскликнул Фрэнсис.— Могу я спросить, каков был с виду джентльмен, купивший его?

— Вашего приятеля описать легко,— ответил кассир.— Он стар, крепок и красив собой, у него седые волосы и рубец от сабельного удара поперек лица. Такого приметного человека трудно не узнать.

— Да, конечно,— промолвил Фрэнсис.— Благодарю вас за любезность.

— Он не мог уйти далеко,— прибавил кассир.— Если вы поспешите, то еще нагоните его.

Фрэнсиса не надо было просить дважды; он стремительно бросился из театра на улицу и стал осматриваться по сторонам. Он увидел немало седых людей, но, хотя догнал и осмотрел каждого, ни у одного не было рубца от сабельного удара. С полчаса бегал он по всем соседним улицам, но наконец понял нелепость своих затянувшихся поисков. Тогда он решил пройтись, чтобы унять волнение, ибо возможность встречи с тем, кому он, очевидно, был обязан появлением на свет, глубоко потрясла молодого человека.

Случилось так, что его путь лежал по улице Друо, а дальше — по улице Великомучеников, и как раз случай помог ему больше, чем все заранее обдуманные планы. Ибо на бульваре он увидел двух сидевших на скамейке мужчин, погруженных в беседу. Один был темноволос, молод и красив, но с явным клерикальным отпечатком во внешности, несмотря на мирское платье. Наружность другого во всех подробностях совпадала с описанием, которое дал кассир. Фрэнсис почувствовал, как сердце забилось у него в груди: он понял, что вот-вот услышит голос своего отца. Обойдя кругом, он тихонько уселся позади собеседников, которые были слишком заняты своим разговором, чтобы

глядеть по сторонам. Как Фрэнсис и предполагал, они говорили по-английски.

— Ваши подозрения, Роллз, начинают надоедать мне,— сказал старик.— Говорю вам, я стараюсь изо всех сил: миллионов в один миг не раздобудешь. Разве я не забочусь о вас, совершенно незнакомом человеке, из чистого доброжелательства? Разве вы не живете главным образом на мои подачки?

— На ваши авансы, мистер Венделер,— поправил его собеседник.

— Ну, авансы, если вам так нравится, и из расчета, а не «из доброжелательства», если вы предпочитаете,— сердито ответил Венделер.— Я пришел не для того, чтобы подбирать выражения. Дело есть дело. А ваше дело, разрешите напомнить, дело темное, и нечего вам так ломаться. Доверьтесь мне или оставьте меня в покое и ищите себе другого, но, во всяком случае, прекратите, ради бога, свои иеремиады.

— Я начинаю разбираться в жизни,— ответил молодой человек.— И понимаю, что у вас есть все основания обманывать меня и никаких, чтобы действовать честно. Я тоже пришел не для того, чтобы подбирать выражения. Вы сами хотите завладеть алмазом,— да, да, вы не посмеете этого отрицать. Разве вы уже не подделали однажды мою подпись и не перерыли мою комнату, пока меня не было? Мне понятны причины ваших проволочек: вы просто выжидаете. Вы ведь охотник за алмазами и надеетесь раньше или позже, правдой или неправдой, а прибрать его к рукам. Говорю вам: пора этому положить конец. Не доводите меня до крайности, не то я обещаю вам неприятный сюрприз.

— Бросьте вы мне угрожать,— отрезал Венделер.— За мной ведь по части сюрпризов тоже дело не станет. Мой брат сейчас в Париже. Полиция настороже. Если вы будете и дальше надоедать мне своим нытьем, мистер Роллз, я сам устрою вам неприятность. Но уж это будет первая и последняя, понимаете? Как еще с вами разговаривать? Всему бывает конец, приходит конец и моему терпению. Во вторник, в семь. Ни днем, ни часом, ни секундой раньше, хоть умрите. А если не хотите ждать, то, по мне, проваливайте ко всем чертям!

С этими словами диктатор поднялся со скамейки и, яростно размахивая тростью и дергая головой, зашагал по на-

правлению к Монмартру, а его собеседник остался на месте в совершенном унынии.

Фрэнсис не мог опомниться от изумления и ужаса. Чувства его были в полном смятении. Нежность, наполнявшая его сердце, когда он усаживался на этой скамейке, сменилась отвращением и отчаянием. «Старый мистер Скримджер,— раздумывал он,— родитель куда более добрый и благопристойный, чем этот бешеный и опасный интриган». Однако он все же сохранил самообладание: минуты не прошло, как Фрэнсис уже шел следом за диктатором.

Подгоняемый яростью, этот последний несся вперед быстрыми шагами и, занятый своими злобными мыслями, ни разу не оглянулся, пока не добрался до своих дверей.

Его дом стоял на улице Лепик, в той части ее, что взбирается на холм. Отсюда открывался вид на Париж, воздух на высоте был чист и прозрачен. Дом был двухэтажный, с зелеными ставнями и шторами. Все окна, выходившие на улицу, были плотно закрыты. Над высокой садовой стеной возвышались верхушки деревьев, а по гребню стены торчали железные шипы. Диктатор на миг задержался, пошарил в кармане, достал ключ, затем отомкнул калитку и исчез за оградой.

Фрэнсис поглядел вокруг. Место было уединенное, дом с трех сторон был окружен садом. Казалось, наблюдения Фрэнсиса на этом закончатся. Однако, осмотревшись, он заметил рядом высокий дом, примыкавший боковой стеной к саду диктатора; в стене под самой крышей было одно окошко. Он подошел к входной двери и увидел билетик с объявлением о сдаче помесячно комнат без мебели. Комната, выходившая окном в сад, оказалась свободной. Фрэнсис не колебался ни минуты: он снял комнату, оставил задаток и отправился в гостиницу за своими вещами.

Может быть, тот старик со шрамом и не приходился отцом ему, может быть, Фрэнсис и не шел по верному следу, но, уж во всяком случае, он стоял у преддверия какой-то волнующей тайны и поэтому дал себе зарок не ослаблять наблюдения, пока не доберется до сути.

Из окна своего нового жилища Фрэнсис Скримджер мог окинуть взглядом весь сад при доме с зелеными ставнями. Прямо под ним в тени прекрасного раскидистого каштана стояли два садовых столика; на них, вероятно, обедали в летнюю жару. Густая листва скрыва-

ла все, что было внизу, и лишь в одном просвете между столиками и домом виднелась усыпанная гравием дорожка, которая вела от веранды к калитке.

Рассматривая сад в щели между планками жалюзи, которые он не решался открыть из боязни привлечь внимание, Фрэнсис мог заметить лишь немногое, что позволило бы судить о живущих здесь людях, но это немногое говорило только об их замкнутом характере и склонности к уединению. Сад походил на монастырский, дом — на тюрьму. По фасаду все зеленые ставни были опущены; дверь на веранду заперта; сад, освещенный вечерним солнцем, совершенно безлюден. И только скромный завиток дыма над единственной трубой указывал на присутствие живых людей.

Чтобы не сидеть совсем без дела и хоть чем-нибудь скрасить себе жизнь, Фрэнсис купил учебник геометрии на французском языке и стал его списывать и переводить, положив на чемодан и усевшись на полу спиной к стене, потому что у него не было ни стула, ни стола. Время от времени он вставал и бросал взгляд вниз, за ограду дома с зелеными ставнями, но окна были все так же упорно закрыты, а сад пуст.

Только поздно вечером случилось нечто, отчасти вознаградившее его за длительное ожидание. Между девятью и десятью часами его пробудил от дремоты резкий звук колокольчика. Фрэнсис подскочил к своему наблюдательному посту как раз вовремя, чтобы услышать внушительный грохот отпираемых замков и отодвигаемых засовов и увидеть, как мистер Венделер с фонарем в руке, в просторном халате черного бархата и такой же шапочке появился на веранде и неторопливо прошествовал к садовой калитке. Снова загремели замки и задвижки, и мгновение спустя в неверном свете фонаря Фрэнсис увидел, что диктатор ведет в дом какого-то субъекта самого подлого и мерзкого вида.

Спустя полчаса посетитель был выпущен на улицу, а мистер Венделер, поставив фонарь на один из садовых столиков, не спеша докуривал сигару под листвою каштана. В просветы между ветвями Фрэнсис мог следить за движениями диктатора, когда тот стряхивал пепел или глубоко затягивался. Фрэнсис заметил, что чело старика затуманено, а рот судорожно кривится: все это свидетельствовало о напряженном и, может быть, тягостном течении мыслей.

Он уже почти докурил сигару, когда из дома донесся молодой женский голос,— старику сообщили, который час.

— Иду, иду,— ответил Джон Венделер.

Сказав это, он бросил окурок и, захватив фонарь, проследовал через веранду и направился в дом. Едва дверь захлопнулась, дом погрузился во тьму, и, как Фрэнсис ни напрягал зрение, он не мог заметить ни щелочки света под шторами и сделал отсюда вполне здравый вывод, что все спальни находятся по другую сторону дома.

Рано утром (потому что, проведя беспокойную ночь на полу, Фрэнсис проснулся очень рано) ему пришлось изменить свое заключение. Одна за другою при помощи пружины, которую нажимали изнутри, зеленые ставни взлетели вверх, и за ними обнаружились стальные шторы, какие бывают в витринах магазинов. Они, в свою очередь, поднялись тоже, и на протяжении почти часа в комнаты был открыт доступ свежему воздуху. Затем мистер Венделер своей рукой опустил стальные шторы и закрыл зеленые ставни.

Пока Фрэнсис дивился таким предосторожностям, дверь вдруг распахнулась и из дома вышла молодая девушка. Не прошло и двух минут, как, оглядев сад, она снова ушла в дом, но даже за это короткое время он успел убедиться в ее необычайной привлекательности. Это событие не только подстегнуло его любопытство, но и сильно улучшило настроение. Странные действия и явно двусмысленный образ жизни его отца с этого мгновения перестали тревожить его. С этого мгновения он горячо полюбил свою новую семью. Окажется ли эта молодая девушка его сестрой или станет ему женой, он все равно был уверен наперед, что она ангел во плоти. И чувство это было так сильно, что его даже охватил страх, когда он подумал, что ничего толком не знает и что, может быть, по ошибке последовал за мистером Венделером, приняв его за отца.

Привратник, к которому обратился Фрэнсис, мог сообщить очень мало, но все, что ему было известно, носило таинственный и подозрительный характер. В соседнем доме жил англичанин, чрезвычайно богатый и, как водится, эксцентричных вкусов и привычек. Он владел огромными коллекциями, которые хранил у себя в доме. Для того, чтобы уберечь их, он и оборудовал дом стальными шторами и сложными замками, а садовую стену велел утыкать железными шипами. Он жил уединенно, хотя его посещали неведомые

люди, с которыми он, по-видимому, вел разные дела. В доме, кроме него самого, жила только мадмуазель да старая служанка.

— Мадмуазель приходится ему дочерью?— полюбопытствовал Фрэнсис.

— Разумеется,— ответил привратник.— Мадмуазель — дочь хозяина дома, и я удивляюсь, что ее заставляют так трудиться. При всем его богатстве на рынок ходит она сама, и каждый день видишь, как она идет мимо с корзинкой в руке.

— А что у него за коллекции? — спросил молодой человек.

— Сэр,— ответил привратник,— они огромной ценности. Больше я ничего не могу вам сказать. Мистер Венделер, с тех пор как приехал, даже на порог не пускает никого из соседей.

— Но ведь вы, наверное, догадываетесь,— сказал Фрэнсис,— из чего состоят эти пресловутые коллекции? Что же там: картины, шелка, статуи или драгоценности?

— Ей-ей, сударь,— сказал парень, пожимая плечами.— Откуда мне знать? Может, у него там репа с морковью. Дом устроен словно крепость, сами видите.

Но когда разочарованный Фрэнсис направился к себе, привратник снова окликнул его.

— Я вот что припомнил, сэр,— сказал он,— мсье де Венделер объехал весь свет, и я слышал однажды, как старуха хвалилась, будто он привез с собой уйму алмазов. Если это правда, там, за этими ставнями, есть на что посмотреть.

В воскресенье задолго до начала спектакля Фрэнсис уже сидел в театре. Взятое для него кресло оказалось третьим или четвертым с левой стороны, напротив одной из нижних лож. Кресло, наверное, выбрали с умыслом. Оставалось разгадать, с каким именно. Инстинктивно Фрэнсис решил, что ложа направо от него должна быть так или иначе связана с событиями, в которых он играл неясную ему роль. Она и в самом деле была так расположена, что, сидя в самой глубине кресел, занимавшие ее люди могли при желании рассматривать его в течение спектакля, не опасаясь наблюдения с его стороны. Он дал себе слово ни на минуту не упускать пустую ложу из поля зрения и, разглядывая театр или делая вид, будто увлечен происходящим на сцене, все время искоса посматривал на нее.

Шел второй акт. Когда он уже приближался к концу, дверь ложи отворилась и двое зрителей вошли и уселись в темной глубине ее. Фрэнсис с трудом скрыл волнение: это были мистер Венделер и его дочь. Кровь стремительно мчалась по жилам Фрэнсиса, в ушах звенело, голова кружилась. Он не смел оглянуться, чтобы не навлечь на себя подозрений. Театральная программа, которую он читал и перечитывал с начала до конца и с конца до начала, из белой стала казаться ему красной, когда же он поглядывал на сцену, та словно уходила куда-то далеко, а голоса и движения актеров представлялись ему нелепыми и бессмысленными до последней степени.

Время от времени он осмеливался бросить взгляд в направлении, наиболее его интересовавшем. И, уж во всяком случае, один раз глаза его определенно встретились с глазами молодой девушки. Тут у него дрожь пробежала по телу и перед глазами поплыли круги всех цветов радуги. Много бы он дал, лишь бы подслушать, что происходит между Венделерами! Много бы он дал, чтоб, набравшись храбрости, взять бинокль и спокойно рассмотреть их позы и выражение лиц! Там, как он понимал, решалась его жизнь, а он не мог вмешаться, не мог хотя бы услышать их речи, и принужден был беспомощно сидеть на месте и терзаться тревогой.

Наконец второй акт закончился. Занавес упал, и зрители вокруг Фрэнсиса начали вставать с мест, чтобы пройтись во время антракта. Естественно было и ему последовать их примеру, а при этом не только естественно, но даже и необходимо было пройти мимо самой ложи. Собрав все свое мужество, но опустив глаза, Фрэнсис направился в сторону ложи. Перед ним, пыхтя на ходу, не торопясь шествовал пожилой джентльмен, поэтому и Фрэнсис продвигался вперед очень медленно. Что ему делать? Приветствовать Венделера и его дочь, проходя мимо? Вынуть из петлицы цветок и бросить в ложу? Поднять голову и кинуть долгий и нежный взгляд на девушку, может быть, свою сестру или невесту? Колеблясь и не зная, на каком решении остановиться, он вдруг ярко представил себе свое прежнее спокойное существование и службу в банке, и сожаление о прошлом охватило его.

К этому времени он оказался прямо против ложи, и хотя до сих пор сомневался, что ему делать и делать ли что-нибудь вообще, он повернул голову и поднял глаза. Едва взгля-

нув, он разочарованно вскрикнул и застыл на месте. Ложа была пуста. Пока он приближался, мистер Венделер с дочерью тихонько ускользнули прочь.

Кто-то позади него вежливо напомнил, что он загораживает дорогу. Он опять машинально тронулся вперед и покорно подчинился движению толпы, которая вынесла его из театра. На улице давка ослабела, Фрэнсис остановился, и свежий вечерний воздух быстро привел его в себя. Он с удивлением заметил, что у него очень болит голова и что он не помнит ни слова из виденных двух актов. Возбуждение постепенно улеглось, на смену ему явилась непреодолимая сонливость. Он подозвал фиакр и поехал к себе в состоянии крайнего изнеможения, испытывая даже отвращение к жизни.

На следующее утро он вышел с намерением подстеречь мисс Венделер на пути к рынку и в восемь часов увидел, что она вышла на улицу. Она была просто, даже бедно одета, но ее гордая осанка и гибкая походка скрасили бы самую скромную одежду. Даже корзинка — так изящно она несла ее — была ей к лицу, словно украшение. Притаившемуся в дверном проеме Фрэнсису почудилось, будто она все освещает на своем пути, точно солнце, и заставляет отступать прочь все тени, и он в первый раз заметил, что где-то наверху в клетке поет птица. Он дал девушке пройти мимо, потом, выйдя из двери, окликнул ее.

— Мисс Венделер! — сказал он.

Она обернулась и, узнав его, смертельно побледнела.

— Простите меня,— заговорил он.— Клянусь, я не хотел испугать вас, да и можно ли пугаться человека, который так горячо желает вам добра. Поверьте мне, я обращаюсь к вам так по необходимости и не могу поступить иначе. Нас многое связывает, но я брожу как в потемках. Мне бы следовало действовать, а у меня связаны руки. Я не знаю, что и думать, не знаю даже, кто мои друзья и кто враги.

Она с трудом обрела голос.

— Я не знаю, кто вы,— сказала она.

— Ах нет, мисс Венделер, вы знаете! — возразил Фрэнсис.— Обо мне вам известно больше, чем мне самому. Именно о себе я жду от вас разъяснений. Расскажите мне все, что вы знаете,— молил он.— Расскажите, кто я, и кто вы, и почему переплелись наши судьбы. Хоть немного помогите мне разобраться, мисс Венделер, скажите одно сло-

во, чтобы направить меня, назовите хоть имя моего отца,— и я удовлетворюсь этим и буду благодарен вам.

— Зачем мне пытаться обманывать вас? — промолвила она.— Я знаю, кто вы, но не смею сказать.

— Тогда скажите хотя бы, что вы простили мою дерзость, и я буду терпеливо ждать. Если мне нельзя знать правды, я подчинюсь. Это жестоко, но я могу выдержать и большее, если понадобится. Только не заставляйте меня мучиться мыслью, что я сделал вас своим врагом.

— Ваш поступок вполне понятен,— сказала она,— вы ни в чем не виноваты передо мной. Прощайте.

— «Прощайте»? Неужели навсегда? — спросил он.

— Я и сама не знаю,— сказала она.— Если хотите, до свидания.

С этими словами она ушла.

Фрэнсис вернулся к себе в ужасном смятении. В то утро он сделал весьма слабые успехи в геометрии и чаще оказывался у окна, чем сидел за своим импровизированным письменным столом. Однако за все утро ему не удалось увидеть ничего примечательного около дома с зелеными ставнями, кроме того разве, что мисс Венделер возвратилась и говорила со своим отцом, курившим на веранде трихинопольскую сигару. Среди дня молодой человек вышел и наспех утолил голод в ближайшем ресторанчике, но любопытство, остававшееся неутоленным, подгоняло его, и он вернулся к дому на улице Лепик. У садовой стены какой-то верховой, видимо, слуга, водил на поводу оседланную лошадь, а привратник дома, где жил Фрэнсис, покуривал трубку, прислонясь к дверному косяку, и внимательно разглядывал ливрею и скакунов.

— Глядите-ка! — крикнул он молодому человеку.— Прекрасные лошадки! И какая нарядная ливрея! Владелец всего этого — брат мистера Венделера, он только что приехал сюда. Он генерал и у вас на родине человек известный; вам, вероятно, доводилось слышать о нем.

— Признаюсь,— возразил Фрэнсис,— я никогда не слыхивал о генерале Венделере. У нас много военных в таком чине, да и мне приходится вести дела только с людьми штатскими.

— Это тот самый генерал, у которого пропал индийский алмаз,— сказал привратник.— Об этом-то вы наверняка читали в газетах.

Отделавшись от привратника, Фрэнсис помчался наверх и бросился к окну. Возле каштана, под самым просветом в листве, сидели и разговаривали, покуривая сигары, два джентльмена. У генерала, краснолицего человека с военной выправкой, было некоторое семейное сходство с братом: что-то общее в чертах лица и кое-что в осанке — самая малость,— напоминавшее свободную, могучую стать Джона Венделера. Но генерал был старше, ниже ростом и проще с виду,— сходство было почти карикатурным, и рядом с диктатором он казался совсем жалким и хилым существом.

Занятые разговором, они наклонялись друг к другу через стол и говорили так тихо, что Фрэнсису редко удавалось поймать несколько слов кряду. По этим обрывкам он убедился, однако, что речь шла о нем самом и о его будущем. Несколько раз достигало его слуха имя Скримджер, которое легко было различить, а еще чаще он как будто различал имя Фрэнсис.

Наконец, словно в припадке ярости, генерал разразился гневными возгласами.

— Фрэнсис Венделер!— закричал он, упирая на последнее слово.— Фрэнсис Венделер, говорю я тебе!

Диктатор дернулся всем телом, выражая то ли согласие, то ли пренебрежение, но молодой человек не расслышал его ответа.

Неужели это его они называли Фрэнсисом Венделером? Может быть, спор шел об имени, под которым он должен был венчаться? Или все это только наваждение, пустой сон, порожденный его тщеславием и самомнением?

Некоторое время ему опять не удавалось расслышать их речей. Затем между собеседниками под каштаном снова возникло разногласие, генерал сердито повысил голос, и до Фрэнсиса долетели его слова.

— Моя жена? — вскричал он.— Я навсегда порвал с моей женой. Я о ней и слышать не хочу! Мне противно самое ее имя.

И он громко выругался и стукнул кулаком по столу.

Диктатор стал, судя по жестам, отечески успокаивать генерала и вскоре повел его к садовой калитке. Братья обменялись довольно сердечным рукопожатием, но как только дверь за гостем закрылась, Джон Венделер разразился хохотом, который Фрэнсису Скримджеру показался дьявольски злобным.

Так прошел еще один день, принесший мало нового. Впрочем, молодой человек помнил, что завтра вторник, и сулил себе удивительные открытия. Хорошо ли, плохо ли для него обернется дело, он, во всяком случае, узнает что-нибудь любопытное, а если ему повезет, он доберется и до разгадки тайны, окружавшей его отца и всю семью.

Близился час обеда, и в саду позади дома с зелеными ставнями шли великие приготовления: на том столике, который был виден сквозь ветви каштана, стояли тарелки для перемены и все нужное для салата. Стол для обедающих стоял в стороне, густая листва почти совсем скрывала его, и Фрэнсис мог разглядеть лишь белую скатерть и столовое серебро.

Мистер Роллз явился минута в минуту. Он как будто держался настороже, говорил тихо и скупо. Диктатора, наоборот, обуяла необычайная жизнерадостность — в саду то и дело раздавался его юношески звучный смех. Судя по оттенкам голоса, он, вероятно, рассказывал смешные истории, подражая то одному, то другому иностранному выговору. И не успели они с молодым священником прикончить бутылку вермута, как недоверие гостя испарилось и они уже болтали, словно два школьных товарища.

Наконец появилась мисс Венделер с суповой миской в руках. Мистер Роллз бросился ей навстречу, желая помочь, но она со смехом отказалась. Последовал обмен шутками — обедающих как будто забавляло, что одному из них приходится подавать на стол.

— Зато так свободней! — послышалось заявление Венделера.

Потом они расселись по местам, и Фрэнсису теперь ничего не было ни видно, ни слышно. Но обед проходил, кажется, весело, под каштаном шла непрерывная болтовня и раздавался стук ножей и вилок. Фрэнсис, проглотивший с утра одну булочку, позавидовал их мирной и неторопливой трапезе. Они подолгу сидели за каждым блюдом и закончили обед легким десертом и бутылкой старого вина, которую осторожно откупорил сам диктатор. Так как уже стемнело, на стол поставили лампу, а на подсобный столик — две свечи; ночь наступала удивительно ясная, звездная и безветренная. Из дверей и окон веранды тоже струился свет, так что сад был весь озарен и в темных кронах поблескивали листья.

Мисс Венделер, вероятно, уже в десятый раз, ушла в дом; теперь она вернулась, неся поднос с кофейным прибором, который поставила на другой столик. В ту же минуту ее отец поднялся с места, и Фрэнсис услышал, как он сказал:

— Кофе — это уж мое дело.

Затем Фрэнсис увидел своего предполагаемого отца у подсобного столика в свете зажженных свечей.

Продолжая разговаривать через плечо, мистер Венделер нацедил две чашки коричневого напитка, а затем ловким движением фокусника вылил в меньшую чашку содержимое крохотного флакончика. Он проделал это с необычайной быстротой, и Фрэнсис, глядевший прямо на старика, едва успел заметить, что случилось, как все уже было кончено. В следующее мгновение, продолжая смеяться, мистер Венделер повернулся к обеденному столу, держа по чашке в каждой руке.

— Не успеем мы выпить кофе,— сказал он,— как появится наш ростовщик.

Невозможно описать смятение и ужас Фрэнсиса Скримджера. У него на глазах совершалась нечистая игра, он понимал, что должен вмешаться, и не знал, как это сделать. А вдруг это просто шутка? Хорош он будет тогда со своим вмешательством! А если дело серьезно, то ведь преступник, возможно, его родной отец, и не придется ли тогда Фрэнсису каяться, что он навлек гибель на своего родителя? Он только теперь уяснил себе, что играет роль соглядатая. Для него было настоящей пыткой пассивно наблюдать за событиями, когда в душе боролись такие противоречивые чувства. Он приник к планкам ставен, сердце его билось быстро и неровно, он ощущал, как обильный пот выступил по всему его телу.

Прошло несколько минут.

Ему показалось, что разговор замирает, становится все менее оживленным, менее громким. Но ничего тревожного или необычного как будто не происходило.

Вдруг послышался звон разбитого бокала, а за ним негромкий глухой звук, словно кто-то упал, уронив голову на стол. И сразу в саду раздался пронзительный крик.

— Что ты сделал!— кричала мисс Венделер.— Он умер!

Диктатор ответил яростным шепотом, таким резким и свистящим, что до Фрэнсиса, стоявшего у окна, донеслось каждое слово.

— Тише! — говорил мистер Венделер.— Ничего с ним не сделалось. Бери его за ноги, а я потащу за плечи.

Фрэнсис услышал, что мисс Венделер разрыдалась.

— Ты слышала, что я сказал? — все так же продолжал диктатор.— Или ты хочешь поссориться со мной? Выбирайте, мисс Венделер.

Последовала пауза, потом диктатор заговорил снова:

— Бери его за ноги. Мне нужно внести его в дом. Будь я помоложе, я бы сам справился с кем угодно. Но пережитые годы сказываются, я ослабел, и мне без твоей помощи не обойтись.

— Это — преступление,— возразила девушка.

— Я твой отец,— сказал мистер Венделер.

Его слова как будто возымели действие. Послышалось шарканье ног по гравию, опрокинулся стул, потом Фрэнсис увидел, как отец и дочь, пошатываясь, пронесли по дорожке бесчувственное тело мистера Роллза и скрылись с ним в дверях веранды. Молодой священник был бледен и бессильно повис у них на руках, и голова его качалась при каждом шаге.

Жив ли он или мертв? Несмотря на утверждения диктатора, Фрэнсис склонялся ко второму. Совершилось тяжкое преступление, и теперь обитателям дома с зелеными ставнями грозили великие бедствия. Фрэнсис неожиданно почувствовал, что сожаление к девушке и старику, стоявшим, по его мнению, на краю гибели, вытесняет в его душе ужас перед происшедшим. Прилив великодушия затопил его сердце. Он тоже будет поддерживать своего отца против всех и каждого, против судьбы и закона. Он распахнул ставни, зажмурился и, широко раскинув руки, бросился вниз, в листву каштана.

Одна ветка за другою вырывалась у него из пальцев или ломалась под его тяжестью. Наконец он ухватился за толстый сук, секунду продержался в воздухе и, отпустив ветку, грохнулся прямо на стол. По тревожному крику, раздавшемуся в доме, он понял, что вторжение его не прошло незамеченным. Он поднялся, шатаясь, в три прыжка покрыл расстояние, отделявшее его от дома, и стал в дверях веранды.

Он увидел небольшую комнату, устланную циновками. Вдоль стен выстроились застекленные шкафы, полные редкостных и ценных вещиц, а посредине комнаты, склонившись над телом Роллза, стоял мистер Венделер. При появ-

лении Фрэнсиса старик выпрямился и сделал быстрое движение рукой. Оно заняло не более секунды, все произошло в один миг, и молодой человек не мог бы утверждать с уверенностью, но ему показалось, будто диктатор вынул из внутреннего кармана священника какой-то предмет, глянул на него и тотчас поспешно передал дочери.

Все это случилось, пока Фрэнсис стоял только одной ногой на пороге. В следующее мгновение он бросился на колени перед мистером Венделером.

— Отец! — вскричал он.— Позвольте и мне помочь вам. Все, что вы захотите, я сделаю, ни о чем не спрашивая. Я готов служить вам, отдать вам свою жизнь! Обходитесь со мной, как с сыном, и вы встретите сыновнюю преданность.

В ответ диктатор разразился потоком отчаянной брани.

— Сын? Отец? — вскричал он.— Отец и сын? Какого черта? Что это за дурацкая комедия? Как вы попали ко мне в сад? Что вам надо? И кто вы такой, скажите на милость?

Ошеломленный Фрэнсис поднялся и стоял теперь с пристыженным видом, не говоря ни слова.

Тут мистера Венделера, видимо, осенила догадка, и он громко расхохотался.

— Понимаю! — воскликнул он.— Это же Скримджер! Отлично, мистер Скримджер, я в нескольких словах растолкую вам ваше дело. Вы проникли в мое жилище силой или обманом, но уж, во всяком случае, без моего приглашения. Вы попали не ко времени, когда моему гостю вдруг стало дурно за столом, и кидаетесь ко мне со своими излияниями. Я вам не отец. Вы, если хотите знать, незаконный сын моего брата и рыбной торговки. Вы мне безразличны, даже неприятны, а ваше поведение убеждает меня в том, что ваши умственные способности вполне соответствуют вашей внешности. Советую вам на досуге обдумать эти огорчительные для вас факты, а пока покорнейше прошу избавить нас от вашего присутствия. Не будь я так занят,— тут диктатор прибавил ужасное ругательство,— я бы задал вам хорошую трепку на дорогу!

Фрэнсис слушал его, испытывая чувство глубокого унижения. Он убежал бы, если б мог. Но он не знал, как выйти из сада, куда забрался на свою беду, и теперь ему только и оставалось, что глупо стоять на месте.

Молчание нарушила мисс Венделер.

— Отец,— сказала она,—ты говоришь в запальчивости. Мистер Скримджер, может быть, поступил опрометчиво, но из самых добрых и хороших побуждений.

— Спасибо тебе,— огрызнулся диктатор,— ты мне напомнила обо всем остальном, что я по долгу чести хочу сообщить мистеру Скримджеру. Мой брат,— продолжал он, обращаясь к молодому человеку,— по глупости назначил вам пособие. По глупости и наглости он вознамерился женить вас на этой молодой особе. Позавчера вас ей показали. Я рад довести до вашего сведения, что она с отвращением отвергла эту затею. Позвольте добавить, что я имею большое влияние на вашего отца и поставлю себе в заслугу, если к концу недели у вас отберут пособие и отошлют вас обратно заниматься и дальше вашим бумагомаранием.

Тон старика был даже оскорбительней, чем его слова. Фрэнсис чувствовал, что его обливают жестоким, убийственным, невыносимым презрением. Голова у него кружилась, он закрыл лицо руками, и, хоть глаза его были сухи, у него вырвалось мучительное рыдание.

Но мисс Венделер еще раз вступилась за него.

— Мистер Скримджер,— сказала она ясным, ровным голосом,— пусть резкие слова моего отца не расстраивают вас. Вы не внушаете мне никакого отвращения. Наоборот, я просила предоставить мне возможность узнать вас поближе. А то, что произошло сегодня, поверьте, заставляет меня проникнуться к вам жалостью и уважением.

Тут мистер Роллз судорожно дернул рукой, и это убедило Фрэнсиса, что гостя только опоили снотворным снадобьем и что он теперь начинает приходить в себя. Мистер Венделер склонился над священником, всматриваясь в его лицо.

— Ну, хватит! — воскликнул он, поднимая голову.— Пора кончать. И раз уж вы так очарованы поведением этого подкидыша, мисс Венделер, возьмите свечу и проводите его.

Девушка тотчас повиновалась.

— Благодарю вас,— сказал Фрэнсис, как только они очутились одни в саду.— Благодарю вас от всей души. Это самый горький час в моей жизни, но с ним навсегда будет связано одно счастливое воспоминание.

— Я сказала то, что думала,— ответила она,— и вы это

заслужили. Мне больно, что с вами обошлись так несправедливо.

В это время они подошли к садовой калитке, и мисс Венделер, поставив свечу на землю, стала открывать засовы.

— Еще одно слово,— сказал Фрэнсис.— Ведь мы прощаемся не навсегда? Я еще увижу вас, не правда ли?

— Увы!— ответила она.— Вы слышали отца. Как я могу не подчиниться ему?

— Скажите хотя бы, что все это происходит без вашего согласия,— возразил Фрэнсис.— Скажите, что вы не хотите распроститься со мной навсегда.

— Конечно, нет,— ответила она.— Вы, по-моему, человек смелый и честный.

— Тогда, — сказал Фрэнсис,— подарите мне что-нибудь на память.

Взявшись за ключ, она задумалась; все засовы и задвижки были уже открыты, оставалось только отомкнуть замок.

— Если вы получите мой подарок,— спросила она,— обещаете ли вы сделать все точь-в-точь, как я велю?

— И вы спрашиваете? — сказал Фрэнсис.— Я охотно сделаю все по одному вашему слову.

Она повернула ключ и распахнула калитку.

— Так тому и быть,— сказала она.— Вы не знаете, о чем просите, но пусть так. Что бы вы ни услышали, что бы ни случилось, не возвращайтесь к этому дому. Бегите изо всех сил, пока не достигнете освещенных и многолюдных улиц, но и там будьте начеку. Вы не представляете себе, какой опасности подвергаетесь. Обещайте мне, что не взглянете на мой подарок, пока не окажетесь в безопасном месте.

— Обещаю,— ответил Фрэнсис.

Она сунула в руку молодого человека что-то, небрежно завернутое в платок, и в тот же миг с силой, какой он не предполагал в ней, вытолкнула его на улицу.

— Бегите же! — крикнула она.

Он услышал, как за ним захлопнулась калитка и как загремели задвижки и засовы.

— Ну,— сказал он,— раз уж я обещал!..

И он опрометью пустился вниз по переулку, ведущему к улице Равиньян.

Он не отбежал и пятидесяти шагов от дома с зелеными ставнями, как в ночной тишине вдруг раздался злобный вопль. Фрэнсис невольно остановился. Встречный пешеход последовал его примеру. Он видел, как в соседних домах люди приникли к окнам. Пожар не вызвал бы такой сумятицы в этом безлюдном квартале. А повинен в ней, очевидно, был один человек, взревевший от ярости и горя, как львица, у которой похитили детенышей. Фрэнсис удивился и встревожился, разобрав, что это его самого кто-то клянет по-английски на все лады.

Первым его побуждением было вернуться к дому, но, припомнив наставления мисс Венделер, он решил бежать быстрей прежнего. Едва он повернулся, чтобы привести свою мысль в исполнение, как вдруг без шляпы, с развевающимися седыми волосами мимо пролетел диктатор, словно ядро из пушечного жерла, и во весь опор понесся вниз по улице.

«Вот чуть не попался! — подумал про себя Фрэнсис.— Ума не приложу, что ему от меня нужно и чего он так волнуется. Однако с ним сейчас явно не стоит встречаться, и лучше мне последовать совету мисс Венделер».

Он пошел назад, надумав вернуться обратно и спуститься по улице Лепик, пока его преследователь гонится за ним в другом направлении. План был неудачен: по сути дела, ему следовало засесть в ближнем кабачке и ждать, чтобы первая горячка погони миновала.

Но у Фрэнсиса не было опыта в мелких стычках такого рода, и он был мало расположен к ним. К тому же он настолько не чувствовал за собой никакой вины, что и не опасался ничего, кроме неприятной встречи. Однако неприятных встреч было за этот вечер, по его мнению, достаточно с него, а предполагать, что мисс Венделер чего-нибудь ему недосказала и зовет обратно, он не мог. Молодой человек и в самом деле жестоко страдал и телом и душой: тело ныло от ушибов, а душа уязвлена была колкостями мистера Венделера, у которого, приходилось сознаться, был на редкость ядовитый язык.

Ушибы напомнили Фрэнсису, что он не только явился в сад диктатора без шляпы, но что его платье сильно пострадало, когда он продирался сквозь ветви каштана. В первой попавшейся лавке Фрэнсис купил себе дешевую широкополую шляпу и попросил привести в порядок его

одежду. Подаренную на память вещицу он, не разворачивая, сунул пока в карман штанов.

Не успел он отойти и нескольких шагов от лавки, как его вдруг толкнули, чья-то рука схватила за горло, и прямо перед собой он увидел разъяренное лицо с разинутым ртом, изрыгающим проклятия. Диктатор, сбившись со следа, возвращался другим путем. Фрэнсис был дюжий молодец, но ему не сравниться было по силе и ловкости со своим противником. И после недолгой, безуспешной борьбы он прекратил сопротивление и сдался в плен.

— Что вам надо от меня? — спросил он.

— Об этом мы поговорим дома,— угрюмо отрезал диктатор.

И он повел молодого человека вверх по улице к дому с зелеными ставнями.

Но Фрэнсис, хоть и перестал отбиваться, только и ждал случая предпринять смелую попытку к бегству. Внезапно рванувшись и оставив воротник в руках мистера Венделера, он опять стремглав бросился наутек в сторону Бульваров.

Теперь роли переменились. Диктатор был сильнее, зато Фрэнсис был моложе и бегал проворней: смешавшись с толпой, он легко ускользнул от диктатора. Радуясь избавлению, но все больше тревожась и недоумевая, он шел быстрым шагом, пока не достиг площади Оперы, где от электрических фонарей было светло, как днем.

«Здесь,— подумал он,— уж, во всяком случае, все так, как хотелось мисс Венделер».

И, повернув вправо по Бульварам, он вошел в «Американское кафе» и заказал себе пива. Для большинства завсегдатаев этого кафе час был слишком поздний или слишком ранний. В зале сидели за отдельными столиками только два-три посетителя — все мужчины. Фрэнсис так погрузился в свои мысли, что не обратил на них внимания.

Он вынул из кармана платок с завернутым в него предметом. В платке оказался сафьяновый футляр с застежкой и золоченым узором. Футляр открылся при помощи пружинки, и потрясенный молодой человек увидел алмаз невероятной величины и удивительного блеска. Случай был настолько необыкновенным, ценность камня очевидно так огромна, что, уставясь в открытый футляр, Фрэнсис замер без движения, без единой сознательной мысли, словно внезапно потеряв рассудок.

На его плечо легла чья-то легкая, но твердая рука, и тихий, но в то же время повелительный голос произнес над ним следующие слова:

— Закройте футляр и постарайтесь казаться спокойным.

Подняв глаза, он увидел человека еще молодого, величавого, с изысканной осанкой и одетого богато, но просто. Этот джентльмен, видимо, встал из-за соседнего столика и, забрав свой стакан, пересел к Фрэнсису.

— Закройте футляр,— повторил незнакомец,— и не спеша положите его обратно в карман, где, я убежден, ему вовсе не место. Пожалуйста, постарайтесь успокоиться и держитесь так, будто я ваш знакомый, которого вы случайно встретили. Вот-вот! Чокнитесь со мной. Так лучше. Боюсь, сэр, что вы человек неискушенный.

И, значительно улыбнувшись при последних словах, незнакомец откинулся в кресле и глубоко затянулся папиросой.

— Ради бога,— сказал Фрэнсис,— скажите, кто вы и что все это значит? Я, право, не знаю, почему мне надо слушаться ваших неожиданных советов. Но, честно говоря, со мною за этот вечер случилось столько несуразных приключений, и все, с кем я ни встречался, вели себя так странно, что мне кажется, будто я сошел с ума или залетел на другую планету. Ваше лицо внушает мне доверие, я думаю, вы умны, добры и опытны. Скажите мне, ради всего святого, почему вы обращаетесь ко мне с такими необычными речами?

— Все в свое время,— ответил незнакомец.— Но мне спрашивать первому: расскажите же, как к вам попал Алмаз Раджи.

— Алмаз Раджи?!

— На вашем месте я не говорил бы так громко,— заметил его собеседник.— Но у вас в кармане именно Алмаз Раджи. Я десятки раз видел его в коллекции сэра Томаса Венделера и даже держал в руках.

— Сэр Томас Венделер! Генерал! Мой отец! — вскричал Фрэнсис.

— Ваш отец? — переспросил незнакомец.— Я не знал, что у генерала есть дети.

— Я незаконнорожденный, сэр,— ответил Фрэнсис, вспыхнув.

Незнакомец поклонился со строгим выражением лица. Поклон его был почтительным, словно он молча приносил извинения равному себе. И Фрэнсису вдруг, неизвестно почему, стало легко и спокойно. Ему было хорошо с этим незнакомцем, как будто он обрел почву под ногами. Чувство уважения росло в его душе, и он невольно снял свою широкополую шляпу, словно в присутствии важного лица.

— Заметно,— сказал незнакомец,— что ваши приключения отнюдь не были мирными. Воротник у вас оторван, лицо исцарапано, на виске порез. Надеюсь, вы простите мое любопытство, если я попрошу вас рассказать, откуда взялись эти повреждения и откуда у вас в кармане краденая вещь такой огромной ценности.

— Вы неправы! — резко возразил Фрэнсис.— Нет у меня никаких краденых вещей. А если вы имеете в виду алмаз, его с полчаса тому назад мне подарила мисс Венделер на улице Лепик.

— Мисс Венделер с улицы Лепик! — повторил собеседник.— Все это гораздо интересней, чем вы думаете. Пожалуйста, продолжайте.

— Боже мой! — воскликнул Фрэнсис.

Его память сделала внезапный скачок. Ведь он видел, что мистер Венделер вынул какой-то предмет из внутреннего кармана своего потерявшего сознание гостя; теперь он понял, что это и был сафьяновый футляр.

— О чем вы вспомнили? — осведомился незнакомец.

— Слушайте,— сказал Фрэнсис.— Я не знаю, кто вы, но думаю, что вы достойны доверия и можете мне помочь. Я совершенно запутался, мне нужен совет, нужна поддержка, и, раз вы сами хотите, я расскажу вам все.

И он коротко пересказал свои приключения, начиная с того дня, как его вызвали из банка к адвокату.

— Ваша история поистине замечательна, а ваше положение очень затруднительно и опасно,— сказал незнакомец, когда рассказ молодого человека подошел к концу.— Многие посоветовали бы вам разыскать вашего отца и отдать алмаз ему, но я думаю иначе.

И он позвал лакея.

Лакей подошел.

— Скажите, пожалуйста, хозяину, что я прошу его на два слова,— сказал незнакомец, и Фрэнсис опять заметил по его тону и обхождению, что он привык повелевать.

Лакей ушел и вскоре вернулся с хозяином, который подобострастно поклонился незнакомцу.

— Чем могу служить? — спросил он.

— Будьте добры назвать этому джентльмену мое имя,— сказал незнакомец, указывая на Фрэнсиса.

— Сэр,—сказал хозяин, обращаясь к молодому Скримджеру,— вы имеете честь сидеть за одним столом с его высочеством принцем Флоризелем Богемским.

Фрэнсис тотчас вскочил и учтиво поклонился принцу, который попросил его снова сесть.

— Благодарю вас,— сказал Флоризель, опять обращаясь к хозяину.— Простите, что затруднил вас из-за такой малости.

И движением руки отпустил его.

— А теперь,— сказал принц,— дайте мне алмаз.

Футляр был ему передан без единого возражения.

— Вы правильно поступили,— сказал Флоризель.— Сердце подсказало вам верный путь, и вы когда-нибудь с благодарностью припомните злоключения этого вечера. Человек может заплутаться среди тысячи разных затруднений, мистер Скримджер, но если он прямодушен и ум у него ясный, он выйдет из них незапятнанным. Будьте покойны: ваше дело в моих руках, и с помощью провидения у меня хватит сил привести его к благополучному концу. Идемте к моему экипажу.

С этими словами принц поднялся и, оставив лакею золотую монету, вышел с молодым человеком из кафе и повел по бульвару туда, где его поджидали двое слуг без ливрей и простая двухместная карета.

— Этот экипаж,— сказал Флоризель,— в вашем распоряжении. Соберите, пожалуйста, как можно скорее свои вещи. Мои слуги свезут вас на одну виллу в окрестностях Парижа, где вы спокойно поживете, пока я буду устраивать вашу судьбу. Там вы найдете прекрасный сад, книги лучших авторов, повара, погреб с винами и хорошие сигары, которые я рекомендую вашему вниманию. Жером,— прибавил он, оборачиваясь к одному из слуг,— вы слышали, что я сказал? Оставляю мистера Скримджера на ваше попечение; я знаю, вы сумеете позаботиться о моем друге.

Фрэнсис невнятно пробормотал слова признательности.

— Вы успеете поблагодарить меня,— сказал принц,— когда станете узаконенными сыном своего отца и мужем мисс Венделер.

Затем принц повернулся и не спеша направился в сторону Монмартра. Он кликнул первый попавшийся фиакр, назвал адрес и через четверть часа, отпустив экипаж несколько ниже по улице, уже стучался у садовой калитки мистера Венделера.

Ему с необычайными предосторожностями самолично открыл диктатор.

— Кто это? — спросил он.

— Надеюсь, вы простите мне столь поздний визит, мистер Венделер,— сказал принц.

— Я всегда рад вашему высочеству,— ответил мистер Венделер, отступая назад.

Пользуясь тем, что путь свободен, принц, не дожидаясь хозяина, прошел прямо к дому и открыл дверь на веранду. Там он застал мисс Венделер; глаза ее были заплаканы, и время от времени она судорожно всхлипывала. В джентльмене, сидевшем рядом с нею, принц узнал молодого человека, который около месяца тому назад в клубной курительной просил его совета в выборе литературы.

— Добрый вечер, мисс Венделер,— сказал Флоризель,— у вас усталый вид. Мистер Роллз, если не ошибаюсь? Надеюсь, изучение книг Габорио пошло вам на пользу.

Но молодой священник был так раздражен, что не мог говорить. Он ограничился сдержанным поклоном и продолжал сидеть, кусая себе губы.

— Какой счастливый ветер занес вас ко мне, ваше высочество? — спросил мистер Венделер, входя вслед за гостем.

— Я пришел по делу,— сухо ответил принц.— Как только мы его обсудим, я попрошу мистера Роллза прогуляться со мною... Мистер Роллз,— строго прибавил он,— разрешите напомнить вам, что я еще не садился.

Священник с извинениями вскочил на ноги. Тогда принц сел в кресло у стола, передал свою шляпу мистеру Венделеру, а трость мистеру Роллзу и, предоставляя им, словно лакеям, прислуживать себе, заговорил:

— Я пришел, как уже сказал, по делу. Приди я сюда для удовольствия, мне были бы очень неприятны и ваш прием и еще больше ваше общество. Сэр,— обратился он к мистеру Роллзу,— вы вели себя неучтиво со старшим по положению. Вы же, Венделер, встречаете меня улыбками, отлично зная, что ваши руки замараны бесчестными поступ-

ками. Не перебивайте меня,— прибавил он повелительно,— я пришел сюда говорить, а не слушать и вынужден просить вас выслушать меня с уважением, а все мои требования выполнить неукоснительно. В самый короткий срок ваша дочь должна обвенчаться в посольстве с моим другом Фрэнсисом Скримджером, которого ваш брат открыто признáет своим сыном. Вы обяжете меня, выделив не меньше десяти тысяч фунтов приданого. Вас самого я посылаю в Сиам — ждите от меня письменных распоряжений по существу важного дела, которое поручается вашим заботам. А теперь, сэр, ответьте мне напрямик: принимаете ли вы мои требования?

— Простите меня, ваше высочество,— сказал Венделер,— и разрешите почтительнейше задать вам два вопроса.

— Разрешаю,— ответил принц.

— Ваше высочество,— продолжал свою речь диктатор,— вы назвали мистера Скримджера своим другом. Если бы я только знал, что вы почтили его своей дружбой, поверьте, я отнесся бы к нему с должным уважением.

— Хитрый ход,— сказал принц,— но он вас не выручит. Вы получили мои приказания; они остаются по-прежнему в силе, даже если бы я познакомился с этим джентльменом только сегодня.

— Вы, ваше высочество, уловили мою мысль со своей обычной проницательностью,— заявил Венделер.— Далее: я, к сожалению, обратился в полицию для розыска мистера Скримджера по подозрению в краже. Взять мне обратно свое обвинение или настаивать на нем?

— Как вам угодно,— ответил Флоризель.— Это дело вашей совести и законов этой страны. Дайте мне шляпу, а вы, мистер Роллз, дайте мне трость и идите со мной. Спокойной ночи, мисс Венделер.— Обратившись к Венделеру, он добавил:— Считаю ваше молчание знаком безоговорочного согласия.

— Если мне не удастся ничего сделать,— ответил старик,— я подчинюсь. Но я открыто предупреждаю вас, что без борьбы не сдамся.

— Вы стары,— сказал принц,— но годами не скрасить порока. В старости вы безумней иного юнца. Не сердите меня, я могу оказаться суровей, чем вы думаете. Впервые мне приходится в гневе становиться вам поперек дороги, смотрите, чтобы это было в последний раз.

И, подав священнику знак идти за собой, Флоризель вышел из дома и направился к садовой калитке. Диктатор освещал им дорогу, следуя сзади со свечой, и снова сам отомкнул сложные засовы, при помощи которых надеялся уберечься от непрошеных гостей.

— Так как вашей дочери сейчас здесь нет,— промолвил принц, обернувшись с порога,— я могу сказать вам, что понял ваши угрозы; но попробуйте только пальцем шевельнуть, и вы навлечете на себя скорую и неминуемую погибель.

Диктатор ничего не ответил, но, когда в свете уличного фонаря принц повернулся к нему спиной, он в безумной ярости погрозил кулаком. Через миг, скользнув за угол, он уже со всех ног бежал к ближайшей стоянке фиакров.

Здесь, говорит мой арабский автор, цепь событий уводит нас прочь от дома с зелеными ставнями. Еще одно приключение, добавляет он, и мы покончим с Алмазом Раджи. Это последнее звено цепи называется у обитателей Багдада *«Повесть о встрече принца Флоризеля с сыщиком»*.

ПОВЕСТЬ О ВСТРЕЧЕ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ С СЫЩИКОМ

Принц Флоризель дошел с мистером Роллзом до самых дверей маленькой гостиницы, где тот жил. Они много разговаривали, и молодого человека не раз трогали до слез суровые и в то же время ласковые упреки Флоризеля.

— Я погубил свою жизнь,— сказал под конец мистер Роллз.— Помогите мне, скажите, что мне делать. Увы! Я не обладаю ни добродетелями пастыря, ни ловкостью мошенника.

— Вы и так унижены,— сказал принц,— остальное не в моей власти. В раскаянии человек обращается к владыке небесному, не к земным. Впрочем, если позволите, я дам вам совет: поезжайте колонистом в Австралию, там найдите себе простую работу на вольном воздухе и постарайтесь забыть, что были когда-то священником и что вам попадался на глаза этот проклятый камень.

— И в самом деле проклятый! — ответил мистер Роллз.— Где он сейчас? Какую еще беду готовит людям?

— Больше он никому не причинит зла,— сказал принц.— Он здесь, у меня в кармане. Как видите,— прибавил он ласково,— я все-таки доверяю вашему раскаянию, хоть оно еще и очень зелено.

— Разрешите мне пожать вам руку,— попросил мистер Роллз.

— Нет,— ответил принц Флоризель,— пока нет.

Его последние слова прозвучали достаточно красноречиво, и после того как принц повернулся и пошел прочь, молодой человек еще несколько минут стоял на пороге, провожая глазами удалявшуюся фигуру и благословляя в душе своего превосходного советчика.

Несколько часов принц в одиночестве бродил по пустынным улицам. Он был весьма озабочен. Как поступить с алмазом? Вернуть ли его владельцу, недостойному, по его мнению, обладать таким чудом, или предпринять крутые и решительные меры и раз навсегда сделать его недосягаемым для человечества? Такой важный вопрос нельзя было решить сразу. Ему казалось, что алмаз попал в его руки явно по велению судьбы. Вынув драгоценный камень и рассматривая его под уличными фонарями, принц дивился его величине и поразительному блеску и все больше приходил к убеждению, что этот алмаз сулит миру одни бедствия и несчастья.

«Не дай бог глядеть на него долго — чего доброго, и самому можно заразиться алчностью»,— подумал он.

Так и не приняв никакого решения, он направился на набережную к небольшому красивому дворцу, который уже несколько столетий принадлежит его роду. Герб Богемии высечен над его дверью и красуется на высоких трубах, прохожие заглядывают в зеленый дворик, усаженный редкостными цветами, а на коньке крыши, собирая перед домом толпу, целый день стоит единственный в Париже аист. По двору снуют деловитые слуги. Время от времени распахиваются большие ворота, и под арку вкатывается карета. Этот дворец по многим причинам был особенно дорог сердцу принца Флоризеля. Подходя к нему, принц неизменно чувствовал, что возвращается домой — переживание обычно чуждое великим мира сего,— а в тот вечер он завидел острую крышу и неярко освещенные окна с особым ощущением покоя и облегчения.

Когда он уже подходил к боковому входу, которым всегда пользовался, если шел один, из тени стены выступил человек и с поклоном остановился на пути принца.

— Я имею честь обращаться к принцу Флоризелю Богемскому? — спросил он.

— Да, это мой титул,— ответил принц.— Что вам нужно от меня?

— Я сыщик,— сказал человек,— и мне поручено передать вашему высочеству записку от префекта полиции.

Принц взял письмо и проглядел его при свете уличного фонаря. Ему, хоть и в высшей степени учтиво, предлагалось незамедлительно последовать за подателем письма в префектуру.

— Короче говоря,— сказал Флоризель,— я арестован.

— Ваше высочество,— ответил сыщик,— я уверен, что арест вовсе не входит в намерения префекта. Как видите, он не выдал ордера на него. Это пустая формальность, или, если вам угодно, одолжение, которое вы, ваше высочество, сами оказываете властям.

— А если бы,— сказал принц,— я все-таки отказался последовать за вами?

— Не скрою от вашего высочества, мне предоставлена значительная свобода действий,— с поклоном ответил сыщик.

— Право, такая наглость меня поражает! — воскликнул Флоризель.— Вас-то, как простого полицейского, нельзя не простить, но ваше начальство жестоко поплатится за свои нелепые действия. Представляете ли вы себе хотя бы, чем вызван столь неблагоразумный и нарушающий мои права шаг? Заметьте, что я пока еще не давал ни отказа, ни согласия, поэтому многое зависит от вашего скорого и искреннего ответа. Разрешите напомнить вам, сударь, что это дело довольно серьезное.

— Ваше высочество,— смиренно сказал сыщик,— генерал Венделер и его брат взяли на себя неслыханную смелость обвинить вас в краже. Они заявляют, что пресловутый алмаз находится в ваших руках. Если это неверно, префект удовольствуется одним вашим словом. Скажу больше: если ваше высочество пожелает сделать честь простому сыщику и заявить мне о своей непричастности к делу, я буду тотчас просить разрешения удалиться.

До сих пор Флоризель считал свое приключение пустяком, которому лишь дипломатические соображения могли

придать некоторый вес. При имени Венделера ему мгновенно открылась ужасная истина: он не только арестован, он виновен. Это не только досадная случайность, это гибель для его чести. Как ему ответить? Что делать? Алмаз Раджи — и в самом деле проклятый камень. Казалось, принцу суждено стать последней его жертвой.

Одно было ясно: он не мог дать сыщику требуемого заверения. Надо попытаться выиграть время.

Его колебание не продлилось и секунды.

— Пусть будет так,— сказал он.— Пойдемте вместе в префектуру.

Тот еще раз поклонился и, соблюдая почтительное расстояние, последовал за Флоризелем.

— Подойдите,— сказал принц,— мне хочется поговорить, а рассмотрев вас, я подумал, что мы с вами встречаемся не в первый раз.

— Считаю честью для себя,— ответил полицейский,— что вы, ваше высочество, припомнили мое лицо. Прошло восемь лет, с тех пор как я имел удовольствие видеться с вами.

— Запоминать лица,— возразил Флоризель,— входит в мои обязанности, так же как и в ваши. Если рассудить, принц и сыщик в самом деле братья по оружию. Мы соратники в борьбе с преступлением, только моя должность прибыльней, а ваша опасней, однако в известном смысле обе они могут стать почетными для порядочного человека. И, как ни странно вам это покажется, по-моему, лучше быть умелым сыщиком с твердым характером, чем слабым и недостойным властителем.

Полицейский даже растерялся.

— Ваше высочество, вы платите добром за зло,— сказал он.— На дерзкий поступок вы отвечаете дружеской снисходительностью.

— Почем вы знаете,— спросил Флоризель,— может быть, я стараюсь подкупить вас?

— Да минует меня искушение! — воскликнул сыщик.

— Похвальный ответ,— объявил Флоризель.— Так отвечают разумные и честные люди. Мир велик, он богат и прекрасен, и мало ли чем можно одарить человека? Иной откажется от миллионов, но продаст свою честь за царский трон или за женскую любовь. Ведь и мне самому встречаются случаи, столь соблазнительные, искушения, столь не-

одолимые даже для самой стойкой добродетели, что я подчас рад, как вы, скромно положиться на милость всевышнего. Только благодаря этому,— добавил он,— мы с вами можем вместе идти сейчас дозором по городу с незапятнанной совестью.

— Я много слышал о вашей смелости,— ответил сыщик,— но не знал, что вы так мудры и благочестивы. Вы говорите правду, и притом так, что она трогает меня до глубины души. Поистине, мир полон испытаний.

— Мы сейчас на середине моста,—сказал Флоризель.— Облокотитесь на перила и поглядите вниз. Подобно этому стремительному потоку, страсти и жизненные затруднения уносят честность слабодушных. Я хочу рассказать вам одну историю.

— Слова вашего высочества — приказ для меня,— ответил сыщик.

И по примеру принца он облокотился на перила и приготовился слушать. Париж уже погрузился в сон. Если бы не бесчисленные огни и очертания домов на фоне звездного неба, можно было бы подумать, что они стоят в одиночестве где-нибудь у реки далеко за городом.

— Один офицер,— начал принц Флоризель,— человек храбрый и нравственный, справедливо возведенный в высокое звание и заслуживший себе не только хвалу, но почет и уважение, в несчастный для своего душевного покоя час посетил сокровищницу некоего индийского князя. Там он увидел алмаз такой удивительной величины и красоты, что с тех пор у него осталось лишь одно-единственное желание; честь, доброе имя, дружбу, любовь своей родины— все отдал бы он, всем охотно пожертвовал бы за этот большой, сверкающий кристалл. Три года служил офицер полудикому властителю, как Иаков служил Лавану. Он нечестно устанавливал границы, покрывал убийства, несправедливо осудил и казнил собрата по оружию, который имел несчастье разгневать раджу вольными и честными речами. В пору великой опасности для своей родины он даже предал отряд своих же солдат; по его вине неприятель разбил их, и тысячи людей были истреблены. В конце концов он скопил громадное состояние и вернулся домой с прельстившим его алмазом.

— Шли годы,— продолжал принц,— и вот алмаз был случайно потерян. Он попадает в руки простого трудолюбивого юноши, молодого ученого, священника, только всту-

пившего на путь, на котором он мог бы принести пользу людям и даже достичь известности. Алмаз околдовывает и его: он бросает все — свое призвание, свои занятия — и бежит с драгоценным камнем в чужую страну. Брат того офицера, хитрый, отчаянный, бессовестный человек, узнаёт тайну священника. Что он делает? Рассказывает брату, сообщает полиции? Нет, он тоже подпадает под действие дьявольских чар: он сам хочет завладеть этим камнем. С риском умертвить молодого священника он опаивает его снотворным зельем и захватывает добычу. Но тут по случайности, несущественной для моего рассказа, алмаз из его рук переходит еще к одному человеку. Тому камень внушает ужас, и он отдает его на хранение лицу высокого звания и стоящему выше подозрений. Имя офицера — Томас Венделер,— продолжал Флоризель.— Камень зовется Алмазом Раджи. И,— добавил он, вдруг раскрывая ладонь,— вот он перед вами.

Сыщик вскрикнул и отшатнулся.

— Мы толковали об искушениях. Мне этот большой, блестящий кристалл отвратителен, словно он кишит могильными червями. Он страшен, словно в нем горит кровь невинных. Я вижу его на своей ладони, но знаю, что он светится адским огнем. Я не пересказал вам и сотой доли его приключений. Что с ним происходило в былые времена, на какие преступления и предательства он толкал людей в минувшем, нельзя себе представить без содрогания. Годы и годы служил он силам преисподней. Довольно же крови, довольно позора, довольно загубленных жизней и попранной дружбы. Все когда-нибудь кончается: зло и добро, чума и нежная музыка, а что до этого алмаза, то, да простит мне господь, если я поступлю неправильно, но только этой ночью его власти придет конец.

Принц сделал внезапное движение рукой, и драгоценный камень, описав сияющую дугу, с плеском нырнул в бегущую воду.

— Аминь,— сказал Флоризель торжественно.— Я убил василиска!

— Боже мой,— вскричал сыщик.— Что вы сделали? Теперь я погиб!

— Полагаю,— с улыбкой возразил принц,— многие богачи в этом городе позавидуют такой погибели.

— Увы, ваше высочество! — сказал сыщик.— Значит, вы все-таки подкупаете меня?

— Видно, иначе нельзя! — ответил Флоризель.— А теперь идемте же в префектуру.

Немного времени спустя без всякого шума была отпразднована свадьба Фрэнсиса Скримджера с мисс Венделер, и принц выступал на свадьбе в роли шафера. Братья Венделер прослышали о том, что случилось с алмазом, и теперь большие водолазные работы, которые они затеяли на реке Сене, вызывают восторг и удивление зевак. Правда, по неверному расчету, братья принялись не за тот рукав реки. Что касается принца Флоризеля, эта блистательная личность, сослужив свою службу, может вверх тормашками отправляться в небытие вместе с автором «Арабских ночей». Но если читатель настаивает на более точных сведениях, я рад сообщить, что ввиду затянувшегося отсутствия принца, а также поучительного пренебрежения, какое он проявлял к своим общественным обязанностям, недавняя революция сбросила его с богемского трона, и теперь его высочество держит на Руперт-стрит табачную лавочку, часто посещаемую и другими политическими эмигрантами.

Время от времени я захаживаю туда покурить и поболтать и каждый раз убеждаюсь, что он так же великолепен, как и в годы своего процветания,— за своим прилавком он выглядит настоящим олимпийцем. И хотя сидячий образ жизни начинает сказываться на ширине его жилетов, он все-таки, вероятно, самый красивый табачник в Лондоне.

ДОМ НА ДЮНАХ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

О ТОМ, КАК Я ЗАНОЧЕВАЛ В ГРЭДЕНСКОМ ЛЕСУ И ЗАМЕТИЛ СВЕТ В ПАВИЛЬОНЕ

В юности я был очень нелюдим. Я гордился тем, что держусь особняком и не нуждаюсь в обществе; в сущности, у меня не было ни друзей, ни близких, пока я не встретил ту, которая стала мне и другом, и женой, и матерью моих детей.

Я был относительно близок только с одним человеком — это был Р. Норсмор, владелец Грэден Истера в Шотландии. Мы с ним вместе учились, и хотя не питали особой симпатии друг к другу или склонности к откровенным беседам, но нас роднило сходство темпераментов. Мы считали себя мизантропами, а теперь я вижу, что мы были просто надутые юнцы. Это нельзя было назвать дружбой, скорее это было содружество двух нелюдимов. Исключительная вспыльчивость Норсмора не позволяла ему уживаться с другими людьми; а так как он уважал мою молчаливую сдержанность и не навязывал мне своих мнений, я тоже мирился с его обществом. Помнится, мы даже называли себя друзьями.

Когда Норсмор получил свой диплом, а я решил бросить университет, он пригласил меня погостить к себе в Грэден Истер, и тогда-то я впервые познакомился с местом моих позднейших приключений. Помещичий дом стоял на открытом и мрачном пустыре, милях в трех от берега Северного моря. Большой и неуклюжий, как казарма, он был выстроен из мягкого камня и, подверженный ветрам и туманам побережья, снаружи весь обветшал, а внутри в нем

было сыро и дуло изо всех углов. Расположиться в нем с комфортом нечего было и думать. Но на северной оконечности поместья, среди пустынных отмелей и сыпучих дюн, между морем и рощей, стоял небольшой павильон современной постройки, как раз отвечавший нашим вкусам. В этом уединенном убежище, мало разговаривая, много читая и встречаясь лишь за обеденным столом, мы с Норсмором провели четыре ненастных зимних месяца. Может быть, я прожил бы там и дольше, но однажды мартовским вечером у нас произошла размолвка, которая принудила меня покинуть Грэден Истер.

Норсмор говорил запальчиво; я, должно быть, ответил на этот раз колкостью. Он вскочил со стула, бросился на меня, и мне, без преувеличения, пришлось бороться за свою жизнь. Лишь с большим трудом мне удалось одолеть его, потому что силы у нас были почти равные, а тут его, казалось, сам бес обуял.

Наутро мы встретились как ни в чем не бывало, но я счел за благо покинуть его, и он не пытался меня удерживать.

Прошло девять лет, и я снова посетил эти места. В те дни, обзаведясь крытой одноколкой, палаткой и железной печуркой, я целыми днями шагал за своей лошадкой и на ночь располагался по-цыгански в какой-нибудь расселине или на лесной опушке. Так я прошел по самым диким и уединенным уголкам Англии и Шотландии. Никто меня не тревожил письмами — ведь у меня не было ни друзей, ни родственников, а теперь даже и постоянной «штаб-квартиры», если не считать ею контору моего поверенного, который дважды в год переводил мне мою ренту. Такая жизнь восхищала меня, и я ничего лучшего не желал, как состариться среди вересковых пустошей и умереть где-нибудь в придорожной канаве.

Я всегда старался отыскать для ночевки укромное место, где бы меня никто не потревожил, и теперь, очутившись в другой части того же графства, я вспомнил о доме на дюнах. Даже проселочной дороги не было там во всей округе ближе чем за три мили. Ближайший город, вернее, рыбачий поселок, был за шесть-семь миль. Окружавший поместье пустырь тянулся вдоль побережья полосой миль на десять в длину и от трех до полумили в ширину. Подступ со стороны бухты был прегражден зыбучими отмелями. Едва ли во всем Соединенном королевстве найдется

лучшее убежище. Я решил остановиться на неделю в прибрежном лесу и, сделав большой переход, достиг цели на исходе ненастного сентябрьского дня.

Как я говорил, поместье окружали дюны и так называемые в Шотландии «линки», то есть пустоши, на которых движение песков было приостановлено травянистым покровом. Павильон стоял на плоском месте, от моря его отгораживала запутанная гряда песчаных дюн, а позади согнутых ветром порослей бузины начинался лес. Выступ скалы поднимался над песками, образуя мыс между двумя мелкими бухтами, а за линией прибоя небольшим островком торчал еще один выступ, круто обрывавшийся в море. При отливе обнажались широкие полосы зыбучих песков — гроза всей округи. Говорили, что у самого берега, между мысом и островом, эти пески поглощали человека в четыре с половиной минуты, хотя едва ли были основания для такой точности. Местность изобиловала кроликами, а над домом все время с плачем носились чайки. В летний день здесь бывало солнечно и радостно, но в сумерках сентябрьского заката, при сильном ветре и буйном прибое, набегавшем на отмели, все напоминало о кораблекрушениях и о выброшенных морем утопленниках. Корабль, который лавировал против ветра на горизонте, и обломки корабельного остова, погребенные у моих ног песчаной дюной, еще усиливали тягостное впечатление.

Павильон — он был выстроен последним владельцем, дядей Норсмора, бестолковым и расточительным дилетантом,— мало пострадал от времени. Он был двухэтажный, построен в итальянском стиле и окружен полоской сада, от которого уцелело только несколько клумб самых выносливых цветов. Теперь, когда ставни были заколочены, казалось, что он не только покинут, но никогда и не был обитаем. Норсмор явно отсутствовал: то ли по своему обыкновению уныло отсиживался в каюте собственной яхты, то ли решил неожиданно появиться и вызывающе блеснуть в светском обществе — об этом я мог только догадываться. Место же своим безлюдьем угнетало даже такого отшельника, каким был я. Ветер заунывно выл в трубах, и, словно спасаясь в свое привычное убежище, я повернул лошадь и, погоняя ее, направил повозку к опушке леса.

Грэденский лес был насажен для защиты полей от сыпучих песков побережья. Дальше от берега бузину постепенно сменяли другие породы, но все деревья были чахлые

и низкорослые, как кустарник. Им приходилось все время бороться за свою жизнь: долгими зимними ночами они гнулись под напором свирепых бурь; уже ранней весной листья у них облетали, и для этого оголенного леса начиналась осень. Еще дальше высился холм, который вместе с островом служил ориентиром для моряков. Когда холм открывался к северу от острова, кораблям следовало твердо держать курс на восток, чтобы не напороться на мыс Грэден и Грэденские рифы. По низине между деревьями протекал ручеек и, запруженный тиной и палым листом, то и дело застаивался в крохотных заводях. Кое-где в лесу попадались развалины каких-то строений; по мнению Норсмора, это были остатки келий, в которых когда-то скрывались отшельники.

Я отыскал нечто вроде ложбинки, в которой бил холодный ключ, и здесь, расчистив место от терновника, разбил палатку и развел костер, чтобы приготовить ужин. Лошадь я стреножил и пустил пастись неподалеку на лужайке. Крутые склоны ложбины не только скрывали свет моего костра, но и защищали меня от ветра, сильного и холодного.

Мой образ жизни закалил меня и приучил к умеренности. Я пил только воду и редко ел что-нибудь, кроме овсянки в разных видах. Мне достаточно было нескольких часов сна; хотя я и просыпался с рассветом, но с вечера подолгу лежал под темным или звездным сводом ночи. Так и в Грэденском лесу: хотя я крепко уснул в восемь часов вечера, но проснулся уже к одиннадцати, бодрый и освеженный, без всякой сонливости и утомления. Я встал и долго сидел у костра, наблюдая, как над головой беспокойно мелькали облака и верхушки деревьев, слушая ветер и шум прибоя, и наконец, устав от бездействия, оставил свою ложбину и побрел к опушке леса. Молодой месяц едва пробивался сквозь туман, но, когда я вышел из лесу, стало светлее. В ту же минуту резкий порыв ветра дохнул на меня соленым запахом моря и с такой силой ударил в лицо колючими песчинками, что я нагнул голову.

Когда я поднял глаза и осмотрелся, я заметил свет в павильоне. Он двигался от окна к окну, словно кто-то переходил из комнаты в комнату с лампой или свечой. Некоторое время я следил за ним с большим изумлением. Днем павильон был явно необитаем, теперь настолько же явно в нем кто-то находился. Сначала мне пришло в голову, что туда забралась шайка грабителей и очищала теперь кладо-

вые и буфеты Норсмора, всегда полные посуды и запасов. Но что могло привести грабителей в Грэден Истер? И к тому же все ставни были распахнуты, а такие гости, наоборот, плотнее прикрыли бы их. Я отбросил эту мысль и стал искать других объяснений. Должно быть, вернулся сам Норсмор и теперь осматривает и проветривает помещение.

Как я уже говорил, нас с Норсмором не связывало чувство искренней привязанности, но, даже если бы я любил его, как брата, я настолько дорожил своим одиночеством, что все равно постарался бы избегнуть его общества. Поэтому я поскорее вернулся в лес и с истинным наслаждением снова уселся у костра. Я избежал встречи; передо мной еще одна спокойная ночь. А наутро можно будет либо незаметно ускользнуть еще до пробуждения Норсмора, либо нанести ему визит, только покороче.

Но когда настало утро, создавшееся положение показалось мне настолько забавным, что я отбросил все колебания. Норсмор был в моей власти, и я задумал подшутить над ним, хотя и знал, что с таким человеком, как он, шутить рискованно. Заранее радуясь своей затее, я устроился среди зарослей бузины так, что мне видна была дверь павильона. Все ставни были снова прикрыты, что, помнится, показалось мне странным, а самое здание при утреннем свете, озарявшем его белые стены и зеленые жалюзи, выглядело привлекательным и уютным. Часы проходили за часами, а Норсмор не подавал признаков жизни. Я знал, что он соня и лежебока, однако к полудню терпение мое истощилось. Сказать по правде, я уже решил позавтракать в павильоне, и меня стал мучить голод. Как мне ни досадно было упускать возможность подшутить над Норсмором, голод взял свое, и я, с огорчением пожертвовав шуткой, вышел из лесу.

Когда я подошел поближе, вид дома чем-то обеспокоил меня. По-видимому, с вечера ничего не изменилось, а я почему-то надеялся встретить какие-нибудь внешние признаки присутствия человека. Но нет: ставни были плотно прикрыты, из труб не шел дым, и на входной двери висел большой замок. Норсмор, очевидно, вошел через заднюю дверь — таково было естественное и единственно приемлемое объяснение,— и вы можете судить, как я был изумлен, когда, обогнув дом, я нашел и заднюю дверь на запоре.

Я вернулся к прежнему предположению о грабителях и досадовал на себя за вчерашнее бездействие. Я осмотрел все окна нижнего этажа и не нашел никаких повреждений; я попробовал замки, но они не поддавались. Возникал вопрос: каким путем грабители (если это были грабители) проникли в дом? Они могли пробраться, думал я, по крыше пристройки, где Норсмор занимался фотографией, а оттуда, взломав окно кабинета или моей бывшей комнаты, им легко было забраться в дом.

Я сам последовал этому вымышленному примеру — взобрался на крышу и попробовал ставни. Обе были заперты, но я не сдавался и, нажав посильнее, чтобы приоткрыть одну из них, поцарапал при этом руку. Я помню, что приложил руку ко рту и с минуту зализывал ранку, как собака. При этом я машинально глядел на отмели и на море и заметил в нескольких милях к северо-востоку большую парусную яхту. Потом поднял раму и проник внутрь.

Я прошел по всему дому, и удивление мое усилилось. Нигде ни малейшего беспорядка — наоборот, комнаты необычно чисты и прибраны. В каминах лежали дрова и растопка; три спальни были убраны с роскошью, непривычной для Норсмора; умывальники были налиты водой, кровати оправлены на ночь; стол накрыт на три прибора, а на буфете — множество холодных закусок, салатов и соусов. Ясно было, что здесь ждали гостей. Но какие же гости, если Норсмор ненавидел общество? И, кроме того, зачем понадобилось готовить дом к этому приему тайно, под покровом ночи? И почему ставни были закрыты и двери заперты? Я уничтожил все следы своего посещения и выбрался из дома отрезвленный и сильно встревоженный.

Яхта была все на том же месте, и мне на миг пришло в голову, что это, может быть, «Рыжий граф», на котором прибыли хозяин и гости. Однако нос корабля был обращен в открытое море.

ГЛАВА ВТОРАЯ

О НОЧНОЙ ВЫСАДКЕ С ЯХТЫ

Я вернулся в ложбинку, чтобы приготовить себе поесть, в чем я сильно нуждался, и дать корм лошади, о которой я не позаботился утром. Время от времени я выходил на

опушку, но в павильоне перемен не было, и на отмелях за весь день не показалось ни души. Одна только яхта в открытом море напоминала о человеке. Она дрейфовала без видимой цели, то приближаясь, то удаляясь, но с наступлением сумерек решительно двинулась к берегу. Это укрепило меня в мысли, что на борту ее Норсмор и его гости и что они, по-видимому, высадятся только ночью. Это не только соответствовало таинственности приготовлений, но вызывалось и тем обстоятельством, что лишь к одиннадцати часам прилив мог достаточно прикрыть Грэденские мели и другие опасные места, которые ограждали берег от вторжений с моря.

В течение всего дня ветер ослабевал и море затихало, но к закату снова разыгралась вчерашняя непогода. Ночь сгустилась непроглядно-темная. Свирепые порывы ветра разражались орудийными залпами, то и дело полосами налетал дождь, и с наступлением прилива все крепчал прибой. Со своего наблюдательного поста в кустарнике я увидел, как на верхушке мачты показался свет — яхта была много ближе, чем когда я последний раз видел ее в сумерках. Я решил, что это сигнал помощникам Норсмора на суше, и, выйдя из лесу, осмотрелся, ища подтверждения своей догадке.

Вдоль опушки леса вилась дорожка — кратчайший путь от усадьбы к павильону,— и, взглянув в эту сторону, я увидел не более как в четверти мили быстро приближавшийся огонек. Судя по его колеблющемуся свету, это был фонарь в руках человека, шедшего по извилинам тропинки и то и дело пережидавшего яростные порывы ветра. Я снова спрятался в кустарнике и нетерпеливо ждал приближения нового лица. Это оказалась женщина, и, когда она проходила шагах в трех от моей засады, я узнал ее. Сообщницей Норсмора в этом таинственном деле была глухая и молчаливая женщина, нянчившая его в детстве, а потом ставшая его домоправительницей.

Я следовал за ней на коротком расстоянии, пользуясь для прикрытия бесчисленными пригорками и впадинами и непроглядной тьмой. Даже если бы она не была глуха, все равно ветер и прибой не дали бы ей расслышать шум моих шагов. Она вошла в дом, поднялась во второй этаж и осветила одно из окон, выходивших на море. Тотчас же фонарь на мачте был опущен и погашен. Он выполнил свою задачу: люди на борту удостоверились, что их ждут. Ста-

руха, по-видимому, продолжала готовиться к встрече. Хотя она и не открывала других ставен, я видел, как свет мелькал то там, то здесь по всему дому, и снопы искр, показывавшиеся из труб, говорили о том, что она затапливала печи одну за другой.

Теперь я был уверен, что Норсмор и его гости высадятся на берег, как только вода покроет мели. В такую погоду трудно было управлять шлюпкой, и к моему любопытству примешивалась тревога, когда я думал о том, как опасна сейчас высадка. Правда, мой приятель был величайший сумасброд, но в данном случае сумасбродство принимало тревожный и угрожающий характер. Движимый этими разнородными чувствами, я направился к бухте и лег ничком в небольшой впадине шагах в шести от тропки к павильону. Оттуда я легко мог разглядеть вновь прибывших и тут же приветствовать их, если они окажутся теми, кого я ожидал увидеть.

Незадолго до одиннадцати, когда прилив едва прикрыл отмели, у самого берега вдруг появился свет лодочного фонаря. Напрягая зрение, я различил и другой фонарь, мелькавший дальше от берега и то и дело скрываемый гребнями волн. Ветер, все крепчавший с наступлением ночи, и опасное положение яхты у подветренного берега, должно быть, заставили поторопиться с высадкой.

Вскоре на тропинке показались четыре матроса, тащившие очень тяжелый сундук; пятый освещал им дорогу фонарем. Они прошли совсем рядом со мной, и старуха впустила их в дом. Затем они вернулись к берегу и еще раз прошли мимо меня с сундуком побольше, но, очевидно, не таким тяжелым. Они сделали и третий рейс; и на этот раз один из матросов нес кожаный чемодан, а другие — дамский саквояж и прочую кладь, явно принадлежавшую женщине. Это крайне подстрекнуло мое любопытство. Если среди гостей Норсмора была дама, это означало полную перемену в его привычках и отказ от его излюбленных теорий и взглядов на жизнь. Когда мы с ним жили вместе, павильон был храмом женоненавистников. А теперь представительница ненавистного пола должна была поселиться под его кровлей. Я припомнил кое-что из виденного мною в павильоне — некоторые черты изнеженности и даже кокетства, которые поразили меня в убранстве комнат. Теперь мне ясна была цель этих приготовлений, и я дивился своей тупости и недогадливости.

Все эти мои догадки были прерваны появлением второго фонаря; нес его моряк, которого я до сих пор не видел. Он освещал дорогу к павильону двум людям. Это были, конечно, те самые гости, для которых делались все приготовления, и я напрягал зрение и слух, когда они проходили мимо меня. Один из них был мужчина необычайно большого роста. Нахлобученная на глаза дорожная шапка, поднятый и наглухо застегнутый воротник скрывали его лицо. О нем только и можно было сказать, что он очень высок и движется, словно больной, тяжелой, неуверенной походкой. Рядом с ним, не то прижавшись к нему, не то поддерживая его — этого я не мог разобрать,— шла молодая, высокая, стройная женщина. Она была очень бледна, но мерцающий свет фонаря бросал на ее лицо такие резкие и подвижные тени, что я не мог сказать, дурна ли она, словно смертный грех, или прекрасна, как это впоследствии оказалось.

Когда они поравнялись со мной, девушка что-то сказала, но ветер унес ее слова.

— Молчи! — ответил ее спутник.

Тон, каким было сказано это слово, поразил и встревожил меня. Это было восклицание человека, угнетаемого смертельным страхом; я никогда не слышал слова, произнесенного так выразительно, и до сих пор я слышу его, когда в ночном бреду возвращаюсь к давно прошедшим временам. Говоря, мужчина обернулся к девушке, и я мельком заметил густую рыжую бороду, нос, переломленный, должно быть, в молодости, и светлые глаза, расширенные сильнейшим страхом. Но они уже прошли мимо меня и, в свою очередь, были впущены в дом. Поодиночке и группами матросы вернулись к бухте. Ветер донес до меня звук грубого голоса и команду: «Отчаливай!» Затем спустя мгновение показался еще один фонарь. Его нес Норсмор. Он был один.

И жена моя и я, то есть и мужчина и женщина, часто удивлялись, каким образом этот человек мог быть в одно и то же время настолько привлекательным и отталкивающим. У него была наружность настоящего джентльмена, лицо вдумчивое и решительное, но стоило приглядеться к нему даже в добрую минуту, чтобы увидеть душу, достойную насильника и работорговца. Я никогда не встречал человека более вспыльчивого и мстительного. Он соединял пылкие страсти южанина с умением северян таить холодную нена-

висть, и это, как грозное предупреждение, ясно отражалось на его лице. Он был смуглый брюнет, высокий, сильный и подвижной; правильные черты лица его портило угрожающее выражение. В эту минуту он был бледнее обычного, брови у него были нахмурены, губы подергивались, и он шел, озираясь, словно опасался нападения. И все же выражение его лица показалось мне торжествующим, как у человека, преуспевшего в своем деле и близкого к его завершению.

Отчасти из чувства деликатности — сознаюсь, довольно запоздалой,— а больше из желания напугать его я решил сейчас же обнаружить свое присутствие.

Я быстро вскочил на ноги и шагнул к нему.

— Норсмор! — окликнул я его.

Никогда в жизни я не был так изумлен. Не говоря ни слова, он бросился на меня, что-то блеснуло в его руке, и он замахнулся на меня кинжалом. В то же мгновение я сшиб его с ног. То ли сказались моя быстрота и ловкость, то ли его нерешительность, но только нож едва оцарапал мое плечо, в то время как удар рукояткой и кулаком пришелся мне по губам.

Я отбежал, но недалеко. Много раз я думал о том, как удобны дюны для засад, внезапных нападений и поспешного отхода.

Отбежав не более десяти шагов от места нашей схватки, я снова нырнул в траву.

Фонарь упал из рук Норсмора и потух. И, к моему величайшему изумлению, сам он поспешно бросился к павильону, и я услышал, как звякнул за ним задвигаемый засов.

Он меня не преследовал! Он от меня убежал! Норсмор, этот непримиримый и неустрашимый человек, оставил поле боя за противником! Я едва верил глазам. Но что значила еще одна несообразность во всей этой странной истории, где все было невероятно?! Зачем и для кого тайно готовили помещение? Почему Норсмор и его гости высадились глубокой ночью, в бурю, не дождавшись полного прилива? Почему он хотел убить меня? Неужели, думал я, он не узнал моего голоса? И, главное, зачем ему было держать наготове кинжал? Кинжал или даже просто нож были далеко не современным оружием, и, вообще говоря, в наши дни джентльмен, высадившийся со своей яхты на берег собственного поместья, пусть даже ночью и при таинственных

обстоятельствах, все же не вооружается таким образом, словно ожидая нападения. Чем больше я думал, тем меньше понимал. Я перебирал и пересчитывал по пальцам все таинственные обстоятельства этого дела: павильон, тайно приготовленный для гостей; гости, высаживающиеся в такую ночь с явной опасностью и для себя и для яхты; нескрываемый и, казалось бы, беспричинный ужас одного из гостей; Норсмор с обнаженным кинжалом; Норсмор, с первого слова пускающий в ход оружие против своего ближайшего друга, и, наконец, что самое странное, Норсмор, бегущий от человека, которого он только что пытался убить, и укрывающийся, словно от погони, за стенами и засовами павильона! По меньшей мере шесть поводов к удивлению, и все они сплетались в одну неразрывную цепь.

Я готов был спросить себя, не обман ли это чувств. Когда рассеялось сковавшее меня изумление, постепенно дала себя знать боль от раны, полученной в схватке. Укрываясь за дюнами, я по окольной тропинке добрался до опушки леса. Тут снова в нескольких шагах от меня прошла с фонарем старуха служанка, возвращаясь из павильона в помещичий дом. Это была седьмая загадка. Значит, Норсмор и его гости будут стряпать и убирать за собой сами, а старая служанка будет по-прежнему жить в большом пустом доме посреди парка. Если Норсмор мирился с такими неудобствами, значит, действительно были серьезные причины для подобной таинственности.

Поглощенный этими мыслями, я вернулся в ложбинку. Для большей безопасности я разбросал и затоптал догоравший костер и зажег фонарь, чтобы осмотреть рану на плече. Это была ничтожная царапина, хотя кровь шла довольно сильно. Промыв рану холодной ключевой водой, я как умел — место было неудобное — перевязал ее тряпкой. Занятый этим, я не переставал думать о Норсморе и его тайне и мысленно объявил им войну. По природе я не злой человек, и меня побудило к этому скорее любопытство, чем мстительность. Но все же война была объявлена, и начались приготовления: я достал свой револьвер, разрядил его, тщательно вычистил и зарядил вновь. Потом я занялся своей лошадью. Она могла отвязаться или ржанием выдать мою стоянку в лесу. Я решил избавиться от ее соседства и задолго до рассвета отвел ее по отмелям в рыбачью деревню.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

О ТОМ, КАК Я ПОЗНАКОМИЛСЯ С КЛАРОЙ

Два дня я бродил вокруг павильона, укрываясь за дюнами. Я выработал при этом особую тактику. Низкие бугры и мелкие впадины, образующие целый лабиринт, облегчали это увлекшее меня и, может быть, не совсем джентльменское занятие.

Однако, несмотря на это преимущество, я мало что узнал о Норсморе и его гостях.

Провизию им приносила из помещичьего дома под покровом тьмы старая служанка. Норсмор и молодая гостья иногда вместе, но чаще порознь прогуливались по часу, по два вдоль линии зыбучих песков. Для меня было ясно, что такое место для прогулки выбрано из предосторожности потому, что открыто оно только со стороны моря. Но для моих целей оно было очень удобно: к отмели вплотную примыкала самая высокая и наиболее изрезанная дюна, и, лежа плашмя в одной из ее впадин, я мог наблюдать за прогулками Норсмора и юной особы.

Высокий мужчина словно исчез. Он не только не переступал порога павильона, но даже и не показывался в окнах, насколько я мог судить из своей засады. Близко к дому я днем не подходил, потому что из верхних окон видны были все подступы, а ночью, когда я подходил ближе, все окна нижнего этажа были забаррикадированы, как при осаде. Иногда, вспоминая неуверенную походку высокого мужчины, я думал, что он не поднимается с постели, иногда мне казалось, что он вовсе покинул дом и что Норсмор остался там вдвоем с молодой леди. Эта мысль мне уже и тогда не нравилась.

Даже если они были мужем и женой, я имел достаточно оснований сомневаться в их взаимной приязни. Хотя я и не слышал ни слова из их разговора и редко мог различить выражение их лиц, но были в их поведении отчужденность и натянутость, которые указывали на холодные, а может быть, и враждебные отношения. Гуляя с Норсмором, девушка шла быстрее обычного, а я знал, что нежные отношения скорее замедляют, чем ускоряют походку гуляющих. Кроме того, она все время держалась на несколько шагов впереди и, как бы отгораживаясь от него,

тянула за собой по песку свой зонтик. Норсмор все старался приблизиться, и так как девушка неизменно уклонялась, они двигались по диагонали через всю отмель. Когда девушке наконец угрожала опасность быть прижатой к линии прибоя, она незаметно поворачивала, оставляя своего спутника между собой и морем. Я наблюдал за этими ее маневрами с величайшим удовольствием и одобрением и про себя посмеивался при каждом таком повороте.

На третий день утром она некоторое время гуляла одна, и, к моему огорчению, я убедился, что она не раз принималась плакать. Вы можете по этому судить, что сердце мое было затронуто ею сильнее, чем я сам сознавал. Все ее движения были уверенны и воздушны, голову она держала с горделивой грацией. Каждым шагом ее можно было залюбоваться, и уже тогда она мне казалась обаятельной и неповторимой.

День был чудесный, тихий и солнечный, море спокойное, воздух свежий и остро пахнувший солью и вереском, так что против обыкновения она вышла на вторую прогулку. На этот раз ее сопровождал Норсмор, и едва они вышли на берег, как я увидел, что он насильно взял ее руку. Она вырывалась, и я услышал ее крик, или, вернее, стон. Не думая о своем странном положении, я вскочил на ноги, но не успел сделать и шага, как увидел, что Норсмор, обнажив голову, склонился в поклоне, как бы прося прощения. Я тотчас же снова залег в засаду. Они обменялись несколькими словами, потом, еще раз поклонившись, он покинул берег и направился к павильону. Он прошел совсем близко от меня, и я видел, что лицо у него было красное и хмурое и палкой он свирепо сшибал на ходу верхушки травы. Не без удовольствия я увидел на его лице следы своего удара — большую царапину на скуле и синяк вокруг запухшего правого глаза.

Некоторое время девушка стояла на месте, глядя на остров и на яркое море. Затем внезапно, как человек, отбросивший все тягостные мысли, она двинулась вперед быстро и решительно. Очевидно, она тоже была сильно взволнована тем, что произошло. Она совсем забыла, где находится. И я увидел, что она идет прямо к краю зыбучих песков, как раз в самое опасное место. Еще два или три шага, и жизнь ее была бы в серьезной опасности, но тут я

кубарем скатился с дюны, которая обрывалась здесь очень круто, и на бегу предостерегающе закричал.

Она остановилась и обернулась ко мне. В ее поведении не было ни тени страха, и она пошла прямо на меня с осанкой королевы. Я был босиком и одет как простой матрос, если не считать египетского шарфа, заменявшего мне пояс, и она, должно быть, приняла меня за рыбака из соседней деревушки, вышедшего собирать наживку. А я, когда увидел ее так близко и когда она пристально и властно посмотрела мне в глаза, я пришел в неописуемый восторг и убедился, что красота ее превосходит все мои ожидания. Она восхищала меня и тем, что при всей своей отваге не теряла женственности, своеобразной и обаятельной. В самом деле, жена моя всю жизнь сохраняла чинную вежливость прежних лет,— превосходная черта в женщине, заставляющая еще больше ценить ее милую непринужденность.

— Что это значит? — спросила она.

— Вы направлялись прямо к Грэденской топи! — сказал я.

— А вы не здешний,— сказала она.— У вас выговор образованного человека.

— Мне было бы трудно это скрывать даже в этом костюме,— сказал я.

Но ее женский глаз уже заметил мой шарф.

— Да! — сказала она.— И вас выдает ваш пояс.

— Вы сказали слово «выдает»,— подхватил я.— Но могу ли я просить вас не выдавать меня? Ради вашей безопасности я должен был обнаружить свое присутствие, но, если Норсмор узнает, что я здесь, это грозит мне больше, чем простыми неприятностями.

— А вы знаете, с кем вы говорите? — спросила она.

— Не с женой мистера Норсмора? — сказал я вместо ответа.

Она покачала головой. Все это время она с откровенным интересом изучала мое лицо. Наконец она сказала:

— У вас лицо честного человека. Будьте так же честны, как ваше лицо, сэр, и скажите, что вам здесь надо и чего вы боитесь. Не думаете ли вы, что я могу повредить вам? Мне кажется, что скорее в вашей власти обидеть меня. Но нет, вы не похожи на злодея. Так что же заставило вас, джентльмена, шпионить здесь, в этой пустынной

местности? Скажите мне, кого вы преследуете и ненавидите?

— Я ни к кому не питаю ненависти,— отвечал я,— и никого я не боюсь. Зовут меня Кессилис, Фрэнк Кессилис. По собственному желанию я веду жизнь бродяги. Я очень давно знаком с Норсмором, но когда три дня назад я окликнул его тут, на отмелях, он ударил меня кинжалом в плечо.

— Так это были вы! — сказала она.

— Почему он это сделал,— продолжал я, не обращая внимания на ее слова,— я не могу понять, да и понимать не хочу. У меня немного друзей, и я нелегко их завожу, но запугивать себя я никому не позволю. Я разбил свою палатку в Грэденском лесу еще до приезда Норсмора сюда, и я живу там и сейчас. Если вы думаете, что я опасен вам или вашим близким, то вам легко избавиться от меня. Вам достаточно сказать Норсмору, что я ночую в Гемлокской лощине, и сегодня же ночью он может заколоть меня во сне.

С этими словами я откланялся и снова взобрался на дюны. Не знаю почему, но я чувствовал себя героем, мучеником, с которым поступили несправедливо, хотя, в сущности, мне нечего было сказать в свою защиту, у меня не было резонного объяснения моим поступкам. Я остался в Грэдене из любопытства, естественного, но едва ли похвального, и хотя рядом с этой уже возникала другая причина, в то время я не смог бы объяснить ее даме моего сердца.

Как бы то ни было, в эту ночь я не мог думать ни о ком другом, и хотя положение, в котором очутилась девушка, и ее поведение казались подозрительными, я все же в глубине души не сомневался в чистоте ее намерений. Хотя сейчас все для меня было темно и непонятно, но я готов был поручиться своей жизнью, что, когда все разъяснится, она окажется правой и ее участие в этом деле — неизбежным. Правда, как я ни напрягал свою фантазию, я не мог придумать никакого объяснения ее близости с Норсмором, но уверенность моя, основанная на инстинкте, а не на доводах разума, была от этого не менее крепка, и в эту ночь я уснул с мыслью о ней.

На следующий день она вышла примерно в то же время одна, и как только дюны скрыли ее от павильона, она подошла к опушке и вполголоса позвала меня, называя по

имени. Меня удивило, что она была смертельно бледна и в необычайном волнении.

— Мистер Кессилис! — звала она.— Мистер Кессилис!

Я сейчас же выскочил из-за кустов и спрыгнул на отмель. Как только она увидела меня, на ее лице выразилось чувство облегчения.

— Ох! — перевела она дух, будто у нее отлегло от сердца.— Слава богу, вы целы и невредимы! Я знала, что, если вы живы, вы придете,— добавила она.

Не странно ли это? Природа так быстро и мудро подготовляет наши сердца к большому, неумирающему чувству, что оба мы — и я и моя жена — почувствовали неотвратимость его уже на второй день нашей встречи. Уже тогда я надеялся, что она будет искать меня; она же была уверена, что меня найдет.

— Вам нельзя,— говорила она быстро,— вам нельзя оставаться здесь. Дайте мне слово, что вы не останетесь на ночь в этом лесу. Вы представить себе не можете, как я страдаю! Всю эту ночь я не могла уснуть, думая об опасности, которая вам угрожает.

— Какой опасности? — спросил я.— И кто может мне угрожать? Норсмор?

— Нет, не он. Неужели вы думаете, что после ваших слов я что-нибудь сказала ему?

— А если не Норсмор, то кто же? — повторил я.— Мне бояться некого.

— Не спрашивайте меня,— отвечала она.— Я не вправе открыть это вам, но поверьте мне и уезжайте отсюда! Поверьте и уезжайте скорее, сейчас же, если дорожите жизнью!

Запугивание — плохой способ избавиться от молодого человека с характером. Ее слова только подстрекнули мое упорство, и я счел долгом чести остаться. А то, что она так заботилась о моей безопасности, только укрепило меня в моем решении.

— Не сочтите меня назойливым, сударыня,— ответил я.— Но если Грэден такое опасное место, вы тоже, должно быть, рискуете, оставаясь здесь?

Она с упреком поглядела на меня.

— Вы и ваш батюшка...— продолжал я, но она тотчас прервала меня:

— Мой отец? А почему вы о нем знаете?

— Я видел вас вместе, когда вы шли от лодки,— ответил я, и, не знаю почему, ответ этот показался достаточным для нас обоих, тем более что он был правдив.— Но,— продолжал я,— меня вам бояться нечего. Я вижу, у вас есть причины хранить тайну, но поверьте, что я сохраню ее так же надежно, как если бы она была погребена со мною в Грэденской топи. Уж много лет, как я почти ни с кем не разговариваю; мой единственный товарищ — моя лошадь, но и она, бедняга, сейчас не со мной. Вы видите, что вы можете рассчитывать на мое молчание. Скажите мне всю правду, дорогой мой друг, вам угрожает опасность?

— Мистер Норсмор говорит, что вы порядочный человек,— ответила она,— и я поверила этому, когда увидела вас. Я скажу вам только: вы правы. Нам грозит страшная, страшная опасность, и вы сами подвергаетесь ей, оставаясь здесь.

— Вот как! — сказал я.— Вы слышали обо мне от Норсмора? И он хорошо отозвался обо мне?

— Я спросила его относительно вас вчера вечером,— ответила она.— Я сказала...— запнулась она,— что встречала вас когда-то и упоминала вам о нем. Это была неправда, но я не могла сказать иначе, не выдав вас, ведь вы своей просьбой поставили меня в трудное положение. Он вас очень хвалил.

— А скажите, если позволите задать вам вопрос: эта опасность исходит от Норсмора?

— От мистера Норсмора? — вскричала она.— О, что вы! Он сам разделяет ее с нами.

— А мне вы предлагаете бежать? — сказал я.— Хорошее же у вас мнение обо мне!

— А зачем вам оставаться? — спросила она.— Мы вам не друзья.

Не знаю, что со мной случилось,— такого не бывало у меня с самого детства,— но только я был так обижен, что глаза мои защипало, и все-таки я, не отрываясь, глядел сквозь слезы на ее лицо.

— Нет, нет! — сказала она изменившимся голосом.— Я не хотела вас обидеть.

— Это я вас обидел,— сказал я и протянул ей руку, взглянув на нее с такой мольбой, что она была тронута, потому что сейчас же порывисто протянула мне свою.

Я не отпускал ее руку и смотрел ей в глаза. Она первая высвободилась и, забыв о своей просьбе и о том обещании, которое хотела от меня получить, стремглав бросилась прочь и скоро скрылась из виду. И тогда я понял, что люблю ее, и радостно забившимся сердцем почувствовал, что и она уже неравнодушна ко мне. Много раз впоследствии она отрицала это, но с улыбкой, а не всерьез. Со своей стороны, я уверен, что руки наши не задержались бы так долго в пожатии, если бы сердце ее уже не дрогнуло. Да, в сущности, не так уж я был далек от истины, потому что, по собственному ее признанию, она уже на следующий день поняла, что любит меня.

А между тем на другой день как будто бы не произошло ничего важного. Она, как и накануне, вышла к опушке и позвала меня, укоряя, что я еще не покинул Грэден, и, увидев, что я упорствую, начала подробно расспрашивать, как я сюда попал. Я рассказал ей, какая цепь случайностей привела меня на берег во время их высадки и как я решил остаться — отчасти потому, что меня заинтересовали гости Норсмора, отчасти же из-за его попытки меня убить. Боюсь, что по первому пункту я был неискренен, потому что заставил ее предположить, что именно она с первого же момента, как я увидел ее на отмели, стала для меня главным магнитом. Мне доставляет облегчение признаться в этом хотя бы сейчас, когда жена моя уже призвана всевышним и видит все и знает, что я тогда умолчал из лучших побуждений, потому что при ее жизни, как это ни тревожило мою совесть, у меня не хватало духу разуверить ее. Даже ничтожная тайна в таком супружестве, каким было наше, похожа на розовый лепесток, который мешал спать принцессе.

Скоро разговор перешел на другие темы, и я долго рассказывал ей о своей одинокой, бродячей жизни, а она говорила мало и больше слушала. Хотя оба мы говорили очень непринужденно и о предметах как будто бы безразличных, мы испытывали сладкое волнение. Скоро, слишком скоро пришло время ей уходить, и мы расстались, как бы по молчаливому уговору, даже без рукопожатия, потому что каждый знал, что для нас это не пустая вежливость.

На следующий, четвертый день нашего знакомства мы встретились на том же месте рано утром, как хорошие знакомые, но со смущением, нараставшим в каждом из нас.

Когда она еще раз заговорила о грозящей мне опасности — а это, как я понял, было для нее оправданием наших встреч,— я, приготовив за ночь целую речь, начал говорить ей, как высоко я ценю ее доброе внимание, и как до сих пор никто еще не интересовался моей жизнью, и как я до вчерашнего дня не подумал бы никому рассказывать о себе. Внезапно она прервала меня пылким восклицанием:

— И все же, если бы вы знали, кто я, вы даже говорить со мной не стали бы!

Я сказал, что самая мысль об этом — безумие и что, как ни кратковременно наше знакомство, я считаю ее своим дорогим другом; но мои протесты, казалось, только усиливали ее отчаяние.

— Ведь мой отец принужден скрываться!

— Дорогая,— сказал я, в первый раз забыв прибавить к этому обращению слово «леди»,— что мне за дело до этого! Будь он хоть двадцать раз вынужден скрываться,— вас-то это не изменит!

— Да, но причина этого,— вскричала она,— причина! Ведь...— она запнулась на мгновение,— ведь она позорна.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

О ТОМ, КАКИМ НЕОБЫЧНЫМ ОБРАЗОМ Я ОБНАРУЖИЛ, ЧТО Я НЕ ОДИН В ГРЭДЕНСКОМ ЛЕСУ

Вот что сквозь рыдания рассказала девушка о себе в ответ на мои расспросы.

Ее звали Клара Хеддлстон. Это, конечно, звучная фамилия, но еще лучше звучало для меня имя Клара Кессилис, которое она носила долгие и, надеюсь, более счастливые годы своей жизни. Ее отец Бернард Хеддлстон стоял во главе крупного банковского дела. Много лет назад, когда дела его пришли в расстройство, ему осталось лишь прибегнуть к рискованным, а затем и преступным комбинациям, чтобы спастись от краха. Однако все было тщетно; дела его все более запутывались, и доброе имя было потеряно вместе с богатством. В то время Норсмор упорно,

хотя и безуспешно, ухаживал за его дочерью, и, зная это, к нему-то и обратился Бернард Хеддлстон в час крайней нужды. Несчастный навлек на свою голову не только разорение и позор, не только преследование закона. Вероятно, он с легким сердцем пошел бы в тюрьму. Чего он боялся, что не давало ему спать по ночам и что обращало в кошмар самое забытье, был тайный, неотвратимый и постоянный страх покушения на его жизнь. Поэтому он хотел похоронить себя на одном из островов южных морей и рассчитывал добраться туда на яхте Норсмора. Тот тайно принял его с дочерью на борт своего корабля на пустынном берегу Уэльса и доставил их в Грэден, где они должны были пробыть до тех пор, пока судно не снарядится в долгое плавание. Клара не сомневалась, что за это Норсмору была обещана ее рука. Это подтверждалось и тем, что всегда выдержанный и вежливый Норсмор несколько раз позволил себе необычную смелость в словах и поступках.

Надо ли говорить, с каким напряженным вниманием слушал я этот рассказ и своими расспросами старался выяснить то, что в нем оставалось тайной! Все было напрасно. Она сама не представляла себе, откуда и какая именно грозит опасность. Страх ее отца был непритворен и доводил его до полного изнеможения: он не раз подумывал о том, чтобы без всяких условий отдаться на милость властей. Но этот план он позднее оставил, так как пришел к убеждению, что даже крепкие стены наших английских тюрем не укроют его от преследования. В последние годы у него были тесные деловые связи с Италией и с итальянскими эмигрантами в Лондоне, и они-то, по предположению Клары, были каким-то образом связаны с нависшей над ним угрозой. Встреча с моряком-итальянцем на борту «Рыжего графа» повергла ее отца в ужас и вызвала горькие упреки по адресу Норсмора. Тот возражал, что Беппо (так звали матроса) — прекрасный парень, на которого можно положиться, но мистер Хеддлстон с тех пор, не переставая, твердил, что он погиб, что это только вопрос времени и что именно Беппо будет причиной его гибели.

Мне все эти страхи представлялись просто галлюцинацией, вызванной в его расстроенном сознании пережитыми несчастьями. Должно быть, его операции с Италией принесли ему тяжелые убытки, а потому самый вид итальянца был ему несносен и преследовал его в болезненных кошмарах.

— Вашему отцу нужен хороший доктор,— сказал я,— и успокаивающее лекарство.

— Да, но мистер Норсмор? — возразила Клара.— Ведь его не затронуло папино разорение, а он разделяет эти страхи.

Я не мог удержаться, чтобы не высмеять то, что мне представлялось ее наивностью.

— Дорогая моя,— сказал я,— не сами ли вы мне сказали, какой он ожидает награды! В любви все средства хороши, не забудьте этого, и если Норсмор разжигает страхи вашего отца, то вовсе не потому, что он боится какого-то страшного итальянца, а просто потому, что влюблен в очаровательную англичанку.

Она напомнила, как он напал на меня в вечер их высадки,— этого и я не смог объяснить. Короче говоря, мы решили, что я сейчас же отправлюсь в рыбачий поселок Грэден Уэстер и просмотрю все газеты, какие там найду, чтобы доискаться, нет ли реальных оснований для всех этих страхов. На следующее утро в тот же час и в том же месте я должен был рассказать Кларе о результатах. На этот раз она уже не говорила о моем отъезде; более того, она не скрывала своих чувств: мысль, что я близко, очевидно, поддерживала и утешала ее. А я не мог бы оставить ее, даже если бы она на коленях молила меня об этом.

В Грэден Уэстер я пришел в десятом часу; в те годы я был отличным ходоком, а до поселка было, как я уже говорил, не более семи миль пути по упругому дерну. На всем побережье нет поселка угрюмей, а этим много сказано. Церковь прячется в котловине; жалкая пристань скрыта среди скал, на которых нашли гибель многие рыбачьи баркасы, возвращавшиеся с моря. Два или три десятка каменных строений лепятся вдоль бухты двумя улицами, из которых одна ведет к пристани, а другая пересекает первую под прямым углом. На перекрестке — закопченная и неприветливая харчевня, заменяющая здесь гранд-отель.

Одетый на этот раз более соответственно своему положению, я тотчас же нанес визит пастору в его маленьком домике возле кладбища. Он узнал меня, хотя прошло более девяти лет с тех пор, как мы последний раз виделись. Я сказал ему, что долго странствовал пешком и не знаю, что творится на свете, и он охотно снабдил меня кипой газет за весь месяц. Я вернулся с этой добычей в харчев-

ню и, заказав завтрак, принялся разыскивать статьи, касающиеся «Краха фирмы Хеддлстона».

По-видимому, это было весьма скандальное дело. Тысячи клиентов были разорены, а один пустил себе пулю в лоб, как только платежи были приостановлены. Но странная вещь: читая все эти подробности, я ловил себя на том, что сочувствую скорее мистеру Хеддлстону, чем его жертвам,— так всецело поглощала уже меня любовь к Кларе. Само собой, за поимку банкира было назначено вознаграждение, и так как банкротство считалось злостным и общественное негодование было велико, назначалась необычно большая сумма вознаграждения — семьсот пятьдесят фунтов стерлингов. Сообщалось, что в распоряжении Хеддлстона остались крупные суммы. О нем ходили разные слухи: что он объявился в Испании, что он скрывается где-то между Манчестером и Ливерпулем или на берегах Уэльса, а на другой день телеграф извещал о его прибытии на Кубу или на Юкатан. Но нигде не было ни слова об итальянцах и никаких следов тайны.

Однако в последней газете было одно не совсем ясное сообщение. Бухгалтеры, разбиравшие дела по банкротству, обнаружили следы многих и многих тысяч, вложенных в свое время в дело Хеддлстона; деньги поступили по безыменному вкладу неизвестно откуда и исчезли неизвестно куда. Только раз было упомянуто имя вкладчика, и то под инициалами «Х. Х », а вклад был, по-видимому, сделан лет шесть назад, во время биржевой паники. По слухам, за этими инициалами скрывалась видная коронованная особа. «Трусливому авантюристу (так, помнится мне, называли банкрота газеты), по-видимому, удалось захватить с собой значительную часть этого таинственного вклада, который и посейчас находится в его руках».

Я все еще раздумывал над этим сообщением и мучительно пытался связать его с нависшей над мистером Хеддлстоном угрозой, когда в комнату вошел какой-то человек и с резким иностранным акцентом спросил хлеба и сыру.

— Siete Italiano? [1] — спросил я.

— Si signor [2],— ответил он.

Я сказал, что очень необычно встретить итальянца так

---

[1] Вы итальянец? *(итал.)*

[2] Да, сударь *(итал.)*.

далеко на севере, на что он пожал плечами и возразил, что в поисках работы человек забирается и дальше. Я не мог представить себе, на какую работу он может рассчитывать в Грэден Уэстере, и эта мысль так неприятно поразила меня, что я осведомился у хозяина, когда он отсчитывал мне сдачу, видал ли он когда-нибудь у себя в поселке итальянцев. Он сказал, что раз ему привелось видеть норвежцев, когда они потерпели крушение и были подобраны спасательной шлюпкой из Колд-хевена.

— Нет!— сказал я.— Не норвежцев, а итальянцев, вот как тот, что сейчас спрашивал у вас хлеба и сыру.

— Что?— закричал он.— Этот черномазый, который тут скалил зубы? Так это макаронник? Ну, такого я еще не видывал да, надеюсь, больше и не увижу.

Он еще говорил, когда, подняв глаза и взглянув на улицу, я увидел, что всего в тридцати ярдах от двери оживленно разговаривают трое мужчин. Один из них был недавний посетитель харчевни, а двое других, судя по их красивым смуглым лицам и широкополым мягким шляпам, были его соотечественники. Деревенские ребятишки гурьбой собрались вокруг них и лопотали что-то бессвязное, передразнивая их говор и жесты. На этой угрюмой, грязной улице, под мрачным серым небом это трио казалось каким-то чужеродным пятном, и, сознаюсь, в этот момент спокойствие мое было разом поколеблено и уже никогда не возвращалось ко мне. Я мог вволю рассуждать о призрачности угрозы, но не мог разрушить впечатления от виденного и начал разделять этот «итальянский ужас».

Уже смеркалось, когда, вернув газеты пастору, я снова углубился в пустошь. Я никогда не забуду этого пути. Становилось очень холодно и ветрено, ветер шелестел у меня под ногами сухой травой; порывами налетал мелкий дождь; из недр моря громадной грядою гор вставали облака. Трудно было представить себе вечер хуже этого, и то ли под его влиянием, то ли от того, что нервы у меня были взвинчены тем, что я видел и слышал, мысли мои были так же мрачны, как и погода.

Из верхних окон павильона видна была значительная часть пустоши со стороны Грэден Уэстера. Чтобы не быть замеченным, нужно было держаться берега бухты, а затем под прикрытием песчаных дюн добраться по котловинам до опушки леса. Солнце близилось к закату, был час отли-

ва, и пески обнажились. Я шел, охваченный своими тягостными мыслями, как вдруг остановился, словно пораженный молнией, при виде следов человека. Следы тянулись параллельно моему пути, но ближе к берегу, и когда я осмотрел их, то убедился, что здесь проходил чужой человек. Более того, по той беспечности, с которой он подходил к самым страшным местам топи, было ясно, что он вообще нездешний и не знал, чем грозила ему Грэденская бухта.

Шаг за шагом я прослеживал отпечатки, пока четверть мили спустя не увидел, что они обрываются у юго-восточного края Грэденской топи. Вот где погиб этот несчастный! Две-три чайки, вероятно, видевшие, как он был засосан песком, кружили над местом его упокоения с обычным своим унылым плачем. Солнце последним усилием прорвалось сквозь облака и окрасило обширные просторы отмелей пурпуровым светом. Я стоял и смотрел на ужасное место, угнетенный и встревоженный собственными мыслями и сильным, непобедимым дыханием смерти. Помнится, я раздумывал, сколько времени продолжалась его агония и долетели ли его предсмертные вопли до павильона. Потом, собравшись с духом, я уже приготовился покинуть это место, как вдруг порыв ветра необычайной силы пронесся над этой частью бухты, и я увидел, как, то высоко взлетая в воздух, то легко скользя по поверхности песков, ко мне приближалась мягкая черная фетровая шляпа конической формы, точно такая, какую я видел на голове у итальянцев. Мне кажется сейчас, хотя я и не уверен, что я тогда закричал. Ветер гнал шляпу к берегу, и я побежал, огибая границу топи, чтобы поймать ее. Порывы ветра утихли, шляпа на мгновение задержалась на зыбучих песках, потом ветер, снова усилившись, опустил ее в нескольких шагах от меня. Вы можете себе представить, с каким любопытством я схватил ее! Она была не новая, более поношенная, чем те, которые я видел сегодня на итальянцах. У нее была красная подкладка с маркой фабриканта, имя которого я сейчас забыл, но под которым стояло слово «Venedig». Так (если вы еще это помните) произносили австрийцы название прекрасной Венеции, тогда и еще долгое время спустя находившейся под их игом.

Удар был сокрушителен. Мне повсюду мерещились воображаемые итальянцы, и я в первый и, могу сказать, в последний раз за всю свою жизнь был охвачен паниче-

ским ужасом. Я еще не знал, чего мне следует бояться, но, признаюсь, боялся до глубины души и с облегчением вернулся в свою ничем не защищенную одинокую ложбину в лесу.

Там, чтобы не разводить огня, я поел немного холодной овсянки, остававшейся с вечера, затем, подкрепленный и успокоившийся, отбросил все фантастические страхи и спокойно улегся спать.

Не могу сказать, сколько времени я спал, но внезапно был разбужен ослепительной вспышкой света, ударившей мне прямо в лицо. Она разбудила меня, как удар. В тот же миг я был уже на ногах. Но свет погас так же внезапно, как и зажегся. Тьма была непроглядная. И так как с моря свирепо дул ветер и хлестал дождь, эти звуки бури начисто заглушали все прочие.

Признаюсь, прошло с полминуты, прежде чем я пришел в себя. Если бы не два обстоятельства, я бы подумал, что меня разбудило какое-то новое и весьма осязательное воплощение моих кошмаров. Первое: входной клапан моей палатки, который я тщательно завязал, когда вошел в нее, теперь был развязан; и второе — я все еще чувствовал с определенностью, исключавшей всякую галлюцинацию, запах горячего металла и горящего масла. Вывод был ясен: я был разбужен кем-то, кто направил мне в лицо вспышку потайного фонаря. Только вспышку и на мгновение. Он увидел мое лицо и ушел. Я спрашивал себя о причине такого странного поведения, и потом ответ пришел сам собою. Человек, кто бы он ни был, думал узнать меня и не узнал. Был еще один нерешенный вопрос, и на него, признаюсь, я даже боялся ответить; если бы он узнал меня, что бы он сделал?

Страх мой за себя тотчас же рассеялся: я понял, что меня посетили по ошибке; но с тем большей уверенностью я убедился, какая страшная опасность угрожает павильону. Требовалось немало решимости, чтобы выйти в темную чащу, нависшую над моим убежищем, но я ощупью пробирался по дороге к дюнам, сквозь потоки дождя, исхлестанный и оглушенный шквалами, опасаясь на каждом шагу наткнуться на притаившегося врага. Было так непроглядно темно, что, окружи меня сейчас целая толпа, я бы этого не заметил. А буря ревела с такой силой, что слух был бесполезен, как и зрение.

Весь остаток ночи, которая казалась мне бесконечно

длинной, я бродил вокруг павильона, не встретив ни души, не услышав ни звука, кроме согласного хора ветра, моря и дождя. Сквозь щель ставен одного из верхних окон пробивался луч света, который подбадривал меня до наступления зари.

ГЛАВА ПЯТАЯ

О ВСТРЕЧЕ НОРСМОРА СО МНОЙ И КЛАРОЙ

С первыми проблесками дня я ушел с открытого места в свою обычную засаду, чтобы там в дюнах дождаться прихода Клары. Утро было пасмурное, ненастное и тоскливое; ветер стих перед рассветом, но потом усилился и налетал порывами с побережья; море начало успокаиваться, но дождь все еще хлестал немилосердно. По всему простору отмелей не видно было ни души. Но я был уверен, что где-то по соседству притаились враги. Фонарь, так неожиданно и внезапно ослепивший меня во сне, и шляпа, занесенная ветром на берег с Грэденской топи,— этих двух предупреждений было вполне достаточно, чтобы судить, какая опасность угрожает Кларе и всем обитателям павильона.

Было, должно быть, половина или без четверти восемь, когда дверь отворилась и милая девушка пошла ко мне, пробиваясь сквозь дождь. Я встретил ее на берегу.

— Едва удалось вырваться,— сказала она.— Не хотели пускать меня по дождю.

— Клара,— спросил я.— Вы не боитесь?

— Нет,— сказала она так просто, что это меня успокоило.

Жена моя была самая храбрая, самая лучшая из женщин; по опыту я убедился, что качества эти далеко не всегда совместимы, а у нее редкое бесстрашие соединялось с чисто женской нежностью и обаянием.

Я рассказал ей все происшедшее со вчерашнего утра, и, хотя щеки ее заметно побледнели, она сохранила полное спокойствие.

— Теперь вы видите, что мне ничто не угрожает,— сказал я под конец,— мне они не хотят зла. В противном случае я был бы уже мертв.

Она положила мне руку на плечо.

— А я в это время крепко спала!— воскликнула она.

То, как она это сказала, привело меня в восторг. Я обнял ее и привлек к себе. Прежде чем мы опомнились, ее руки были у меня на плечах и я поцеловал ее. И все же и тогда ни слова не было сказано нами о любви. И сейчас я ощущаю прикосновение ее щеки, мокрой и холодной от дождя, и часто потом, когда она умывалась, я целовал ее, в память того утра на морском берегу. Теперь, когда я лишился се и в одиночестве кончаю свой жизненный путь, я вспоминаю нежность и глубину того чувства, которое соединяло нас, и это умеряет горечь моей потери.

Так прошло, быть может, несколько секунд — время влюбленных летит быстро,— а затем нас вспугнул раздавшийся вблизи громкий смех. Смех был не веселый, а натянутый, скрывавший недоброе чувство. Мы обернулись, хотя моя левая рука все еще обнимала талию Клары и она не пыталась высвободиться, и в нескольких шагах от себя увидели Норсмора. Он стоял, опустив голову, заложив руки за спину, и даже ноздри у него побелели от ярости.

— А! Кессилис!— сказал он, когда я повернулся к нему.

— Он самый,— сказал я без всякого смущения.

— Так вот как, мисс Хеддлстон,— продолжал он медленно и злобно,— вот как вы храните верность вашему отцу и слово, данное вами мне! Вот как цените вы жизнь вашего отца! И вы настолько увлечены этим молодым джентльменом, что готовы пренебречь своей репутацией, законами приличия и самой элементарной осмотрительностью...

— Мисс Хеддлстон...— начал я, стараясь прервать его, но он, в свою очередь грубо оборвал меня.

— А вы помолчите!— сказал он.— Я обращаюсь к этой девушке.

— Эта девушка, как вы ее называете, моя жена,— сказал я, и моя жена крепче прижалась ко мне; я понял, что она одобряет мои слова.

— Ваша кто?— крикнул он.— Вы лжете!

— Норсмор,— сказал я,— мы все знаем ваш бешеный нрав, но меня не проймут никакие ваши оскорбления. Поэтому советую вам говорить потише: я уверен, что нас слушают.

Он оглянулся, и видно было, что мое замечание несколько утишило его ярость.

— Что вы хотите сказать?— спросил он.

Я ответил одним словом:

— Итальянцы.

Он крепко выбранился и перевел взгляд с меня на Клару.

— Мистер Кессилис знает все, что я знаю,— сказала моя жена.

— А мне хотелось бы знать,— начал он,— какого черта мистер Кессилис явился сюда и какого черта он здесь намеревается делать? Вы изволили заявить, что женаты,— этому я не верю. А если это так, Грэденская топь вас скоро разведет: четыре с половиной минуты, Кессилис. У меня собственное кладбище для друзей!

— Итальянец тонул несколько дольше,— сказал я.

Он посмотрел на меня, слегка озадаченный, и потом почти вежливо попросил меня рассказать все, что я знаю.

— У вас все козыри в игре, мистер Кессилис,— добавил он.

Я, конечно, согласился удовлетворить его любопытство, и он выслушал меня, не в силах удержать восклицаний, когда я рассказывал ему, как очутился в Грэдене, как он чуть не заколол меня в вечер высадки, и о том, что я узнал об итальянцах.

— Так!— сказал он, когда я кончил.— Теперь дело ясное, ошибки быть не может. А что, осмелюсь спросить, вы намереваетесь делать?

— Я думаю остаться с вами и предложить свою помощь,— ответил я.

— Вы храбрый человек,— отозвался он с какой-то странной интонацией.

— Я не боюсь.

— Так, значит,— протянул он,— насколько я понимаю, вы поженились? И вы решитесь сказать это мне прямо в глаза, мисс Хеддлстон?

— Мы еще не обвенчаны,— сказала Клара,— но сделаем это при первой возможности.

— Браво!— закричал Норсмор.— А уговор? Черт возьми, вы ведь неглупая девушка, с вами можно говорить начистоту! Как насчет уговора? Вы не хуже меня знаете, от чего зависит жизнь вашего отца. Стоит мне только

умыть руки и удалиться, как его прирежут еще до наступления ночи.

— Все это так, мистер Норсмор,— нисколько не теряясь, ответила она.— Но только вы этого никогда не сделаете. Уговор этот недостоин джентльмена, а вы, несмотря ни на что, джентльмен, и вы никогда не покинете человека, которому сами же протянули руку помощи.

— Вот как!— сказал он.— Так вы полагаете, что я предоставлю вам мою яхту задаром? Вы полагаете, что я стану рисковать своей жизнью и свободой ради прекрасных глаз старого джентльмена, а потом, чего доброго, буду шафером на вашей свадьбе? Что ж,— добавил он с какой-то кривой усмешкой,— положим, что вы способны поверить этому. Но спросите вот Кессилиса. Он-то знает меня. Можно ли мне довериться? Так ли я безобиден и совестлив? Так ли я добр?

— Я знаю, что вы много говорите и, случается, очень глупо,— ответила Клара.— Но я знаю, что вы джентльмен, и ни капельки не боюсь.

Он посмотрел на нее с каким-то странным одобрением и восхищением, потом обернулся ко мне.

— Ну, а вы думаете, что я уступлю ее без борьбы, Фрэнк?— сказал он.— Говорю вам вперед: берегитесь! Когда мы с вами схватимся во второй раз...

— То это будет уже в третий,— прервал я его с усмешкой.

— Да, верно, в третий,— сказал он.— Я совсем забыл. Ну что же, третий раз — решительный!

— Вы хотите сказать, что в третий раз вы кликнете на помощь команду вашей яхты?

— Вы слышите его?— спросил он, обернувшись к моей жене.

— Я слышу, что двое мужчин разговаривают, как трусы,— сказала она.— Я бы презирала себя, если бы думала или говорила так, как вы. И ни один из вас сам не верит ни слову из того, что говорит, и тем это противнее и глупее!

— Вот это женщина!— воскликнул Норсмор.— Но пока еще она не миссис Кессилис. Молчу, молчу. Сейчас не мое время говорить.

Тут моя жена изумила меня.

— Мне пора уходить,— вдруг сказала она.— Мы слишком надолго оставили отца одного. И помните: вы должны

быть друзьями, если каждый из вас считает себя моим другом.

Позднее она объяснила мне, почему поступила именно так. При ней, говорила она, мы продолжали бы ссориться, и я полагаю, что она была права, потому что, когда она ушла, мы сразу перешли на дружеский тон.

Норсмор смотрел ей вслед, пока она уходила по песчаным дюнам.

— Нет другой такой женщины в целом свете!— воскликнул он, сопровождая эти слова проклятием.— Надо же было придумать!

Я, со своей стороны, воспользовался случаем, чтобы выяснить обстановку.

— Скажите, Норсмор,— сказал я,— похоже, что все мы сильно влопались?

— Не без того, милейший,— выразительно ответил он, глядя мне прямо в глаза.— Сам Вельзевул со всеми его чертями! Можете мне поверить, что я трясусь за свою жизнь.

— Скажите мне только,— сказал я,— чего им надо, этим итальянцам? Чего им надо от мистера Хеддлстона?

— Так вы не знаете?— вскричал он.— Старый мошенник хранил деньги карбонариев — двести восемьдесят тысяч — и, разумеется, просадил их, играя на бирже. На эти деньги собирались поднять восстание где-то в Тренте или Парме. Ну-с, восстание не состоялось, а обманутые устремились за мистером Хеддлстоном. Нам чертовски посчастливится, если мы убережем нашу шкуру!

— Карбонарии! — воскликнул я.— Это — дело серьезное!

— Еще бы!— сказал Норсмор.— А теперь вот что: как я сказал вам, мы в отчаянном положении, и помощи вашей я буду рад. Если мне и не удастся спасти Хеддлстона, то девушку надо непременно спасти. Идемте к нам в павильон, и вот вам моя рука: я буду вам другом, пока старик не будет спасен или мертв. Но,— добавил он,— после этого вы снова мой соперник, и предупреждаю — тогда берегитесь!

— Идет,— сказал я, и мы пожали друг другу руки.

— Ну, а теперь скорее в нашу крепость,— сказал Норсмор и повел меня туда сквозь дождь.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

О ТОМ, КАК Я БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН СТАРИКУ

Мы были впущены в павильон Кларой, и при этом меня поразила тщательность и надежность обороны. Очень крепкая, но легко отодвигаемая баррикада ограждала дверь от всякого вторжения, а ставни столовой, как я разглядел при слабом свете лампы, были укреплены еще старательней: доски были подперты брусьями и поперечинами, которые укреплялись, в свою очередь, целой системой скреп и подпорок. Это было прочное и хорошо рассчитанное устройство, и я не мог скрыть своего восхищения.

— Это я орудовал,— сказал Норсмор.— Помните, в саду были толстые доски? Ну так вот они. Узнаете?

—Я и не подозревал в вас таких талантов.

— Вы вооружены? — спросил он, указывая на целый арсенал ружей и револьверов, в образцовом порядке стоявших у стен и лежавших на буфете.

— Спасибо,— сказал я.— Со времени нашей последней встречи я хожу вооруженным. Но, сказать по правде, я больше думаю о том, что со вчерашнего дня ничего не ел.

Норсмор достал холодного мяса, за которое я рьяно принялся, и бутылку старого бургундского, от которого я, промокший до нитки, тоже не отказался. Я всегда принципиально придерживался крайней умеренности, но неразумно доводить принцип до абсурда, и на этот раз я осушил бутылку на три четверти За едой я все еще продолжал восхищаться тем, как подготовлена оборона.

— Мы способны выдержать осаду,— сказал я.

— Пожалуй,— протянул Норсмор.— Недолгую осаду — пожалуй. Пугает меня не слабость обороны, а полная безвыходность положения. Если мы начнем стрелять, то, как ни пустынна эта местность, кто-нибудь, наверное, услышит, а тогда не все ли равно — умереть за тюремной решеткой или под ножом карбонария? Таков выбор. Чертовски плохо у нас иметь против себя закон, я это много раз говорил старому джентльмену. Он, впрочем, сам того же мнения.

— Кстати,— спросил я,— что он за человек?

— Это вы о Хеддлстоне?— спросил Норсмор.— Порочен до мозга костей. По мне, пусть хоть завтра же ему свернут шею все черти, какие только есть в Италии! В его

дело я впутался не ради него. Вы меня понимаете? Я уговорился получить руку этой барышни и своего добьюсь!

— Это-то я понимаю,— сказал я.— Но как отнесется мистер Хеддлстон к моему вторжению?

— Предоставьте это Кларе,— сказал Норсмор.

Я чуть было не отвесил ему пощечину за эту грубую фамильярность, но я был связан перемирием, как, впрочем, и Норсмор, так что пока не исчезла опасность, в наших отношениях не было ни облачка. Я отдаю ему должное с чувством самого искреннего удовлетворения, да и сам не без гордости вспоминаю, как вел себя в этом деле. Ведь вряд ли можно было представить себе положение более щекотливое и раздражающее.

Как только я покончил с едой, мы отправились осматривать нижний этаж. Мы перепробовали все подпорки у окон, кое-где сделали незначительные исправления, и удары молотка зловеще раздавались по всему дому. Я, помнится, предложил проделать бойницы, но Норсмор сказал, что они уже проделаны в ставнях верхнего этажа. Этот осмотр был мало приятен и привел меня в уныние. Надо было защищать две двери и пять окон, а нас, считая и Клару, было только четверо против неизвестного числа врагов. Я поделился своими опасениями с Норсмором, который невозмутимо уверил меня, что полностью разделяет их.

— Еще до наступления утра,— сказал он,— все мы будем перебиты и погребены в Грэденской топи. Наш приговор подписан.

Я не мог не содрогнуться при упоминании о зыбучих песках, но напомнил Норсмору, что наши враги пощадили меня ночью в лесу.

— Не обольщайтесь надеждой,— сказал он.— Тогда вы не были в одной лодке со старым джентльменом, а теперь в нее уселись. Всех нас ожидает топь, помяните мое слово.

Я еще больше испугался за Клару, а тут как раз ее милый голосок позвал нас наверх. Норсмор указал мне дорогу и, поднявшись по лестнице, постучал в дверь комнаты, которую называли «дядюшкиной спальней», так как строитель павильона предназначал ее специально для себя.

— Входите, Норсмор, входите, дорогой мистер Кессилис,— послышался голос.

Распахнув дверь, Норсмор пропустил меня вперед. Входя, я увидел, что Клара выскользнула через боковую дверь в смежную комнату, где была ее спальня. На кровати, которая не стояла уже возле окна, где я ее в последний раз видел, а была сдвинута к задней стене, сидел Бернард Хеддлстон, обанкротившийся банкир. Я только мельком видел его в колеблющемся свете фонаря на берегу, но узнал без труда. Лицо у него было продолговатое и болезненно желтое, окаймленное длинной рыжей бородой и баженбардами. Приплюснутый нос и широкие скулы придавали ему какой-то калмыцкий вид, а его светлые глаза лихорадочно блестели. На нем была черная шелковая ермолка, перед ним на кровати лежала огромная библия, заложенная золотыми очками, а на низкой этажерке у постели громоздилась кипа книг. Зеленые занавеси отбрасывали на его щеки мертвенные блики. Он сидел, обложенный подушками, согнув свое длинное туловище так, что голова свисала ниже колен. Я думаю, что, не умри он другой смертью, его все равно через несколько недель доконала бы чахотка.

Он протянул мне руку, длинную, тощую и до отвращения волосатую.

— Входите, входите, мистер Кессилис,— сказал он.— Еще один покровитель, гм... еще один покровитель. Друг моей дочери, мистер Кессилис, для меня всегда желанный гость. Как они собрались вокруг меня, друзья моей дочери! Да благословит и наградит их за это небо!

Конечно, я протянул ему руку, я не мог не сделать этого, но та симпатия, которую я готов был питать к отцу Клары, была развеяна его видом и неискренним, льстивым тоном.

— Кессилис очень полезный человек,— сказал Норсмор.— Один стоит десяти.

— Вот и я это слышал!— с жаром вскричал мистер Хеддлстон.— Так и дочь мне говорила. Ах, мистер Кессилис, как видите, грех мой обратился против меня! Я грешен, очень грешен, но каюсь в своих прегрешениях. Нам всем надо будет предстать перед судом всевышнего, мистер Кессилис. Я и то запоздал, но явлюсь на суд с покорностью и смирением...

— Слышали, слышали!— грубо прервал его Норсмор.

— Нет, нет, дорогой Норсмор!— закричал банкир.— Не говорите так, не старайтесь поколебать меня. Не за-

будьте, дорогой, милый мальчик, не забудьте, что сегодня же я могу быть призван моим создателем.

Противно было смотреть на его волнение, но я начинал возмущаться тем, как Норсмор, взгляды которого мне были хорошо известны и вызывали у меня только презрение, продолжал высмеивать покаянное настроение жалкого старика.

— Полноте, дорогой Хеддлстон,— сказал он.— Вы несправедливы к себе. Вы душой и телом человек мира сего и обучились всем грехам еще до того, как я родился. Совесть ваша выдублена, как южноамериканская кожа, но только вы позабыли выдубить и вашу печень, а отсюда, поверьте мне, и все ваши терзания.

— Шутник, шутник, негодник этакий!— сказал мистер Хеддлстон, погрозив пальцем.— Конечно, я не ригорист и всегда ненавидел эту породу, но и в грехе я никогда не терял лучших чувств. Я вел дурную жизнь, мистер Кессилис, не стану отрицать этого, но все началось после смерти моей жены, а вы знаете, каково приходится вдовцу. Грешен, каюсь. Но ведь не отъявленный же злодей. И уж если на то пошло... Что это? — внезапно прервал он себя, подняв руку, растопырив пальцы, напряженно и боязливо вслушиваясь.— Нет, слава богу, это только дождь,— помолчав немного, добавил он с невыразимым облегчением.

Несколько секунд он лежал, откинувшись на подушки, близкий к обмороку. Потом немного пришел в себя и несколько дрожащим голосом снова принялся благодарить меня за участие, которое я собирался принять в его защите.

— Один вопрос, сэр,— сказал я, когда он на минуту остановился.— Скажите, правда ли, что деньги и теперь при вас?

Вопрос этот ему очень не понравился, но он нехотя согласился, что небольшая сумма у него есть.

— Так вот,— продолжал я,— ведь они добиваются своих денег? Почему бы их не отдать?

— Увы!— ответил он, покачивая головой.— Я уже пытался сделать это, мистер Кессилис, но нет! Как это ни ужасно, они жаждут крови!

— Хеддлстон, не надо передергивать,— сказал Норсмор.— Вам следовало бы добавить, что вы предлагали тысяч на двести меньше, чем вы им должны. О разнице

стоило бы упомянуть: это, как говорится, кругленькая сумма. И эти итальянцы рассуждают по-своему вполне резонно. Им кажется, как, впрочем, и мне, что раз уж они здесь, они могут получить и деньги и кровь — и баста.

— А деньги в павильоне?— спросил я.

— Тут. Но лучше бы им быть на дне моря,— сказал Норсмор и внезапно закричал на мистера Хеддлстона, к которому я стоял спиной:— Что это вы мне строите гримасы? Вы что, думаете, что Кессилис предаст вас?

Мистер Хеддлстон поспешил уверить, что ничего такого ему и в голову не приходило.

— Ну то-то же!— угрюмо оборвал его Норсмор.— Вы рискуете в конце концов наскучить нам. Что вы хотели предложить?— обратился он ко мне.

— Я собирался предложить вам на сегодня вот что,— сказал я.— Давайте-ка вынесем эти деньги, сколько их есть, и положим перед дверьми павильона. И если придут карбонарии, ну что ж, деньги-то ведь принадлежат им...

— Нет, нет,— завопил мистер Хеддлстон,— не им! Во всяком случае, не только им, но всем кредиторам. Все они имеют право на свою долю.

— Слушайте, Хеддлстон,— сказал Норсмор,— к чему эти небылицы?

— Но как же моя дочь?— стонал презренный старик.

— О дочери можете не беспокоиться. Перед вами два жениха, из которых ей придется выбирать,— Кессилис и я, и оба мы не нищие. А что касается вас самого, то, по правде говоря, вы не имеете права ни на один грош, и к тому же, если я не ошибаюсь, вам и жить-то осталось недолго.

Без сомнения, жестоко было так говорить, но мистер Хеддлстон не вызывал к себе сочувствия, и хотя он дрожал и корчился, я не только одобрил в душе эту отповедь, но прибавил к ней и свое слово.

— Норсмор и я охотно поможем вам спасти жизнь,— сказал я,— но не скрываться с награбленным добром.

Видно было, как он боролся с собой, чтобы не поддаться гневу, но осторожность победила.

— Мои дорогие друзья,— сказал он,— делайте со мной и моими деньгами все, что хотите. Я всецело доверяюсь вам. А теперь дайте мне успокоиться.

И мы покинули его, признаюсь, с большим облегчением. Уходя, я видел, что он снова взялся за свою большую библию и дрожащими руками надевал очки, собираясь читать.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

О ТОМ, КАК МЫ УСЛЫШАЛИ СКВОЗЬ СТАВНИ ОДНО ТОЛЬКО СЛОВО

Воспоминание об этом дне навсегда запечатлелось в моей памяти. Норсмор и я, мы оба были уверены, что нападение неизбежно, и если бы в наших силах было изменить хотя бы последовательность событий, то, наверное, мы постарались бы приблизить, но никак не отсрочить критический момент. Можно было опасаться самого худшего, но мы не могли себе представить ничего ужаснее того ожидания, которое мы переживали. Я никогда не был рьяным читателем, но всегда любил книги, а в это утро все они казались мне несносными, и я, едва раскрыв, бросал их. Позднее даже разговаривать стало невозможно. Все время то один, то другой из нас прислушивался к какому-нибудь звуку или оглядывал сквозь верхнее окно пустые отмели. А между тем ничто не говорило о присутствии итальянцев.

Снова и снова обсуждалось мое предложение относительно денег, и будь мы способны рассуждать здраво, мы, конечно, отвергли бы этот план как неразумный, но мы были настолько поглощены тревогой, что ухватились за последнюю соломинку и решили попытать счастья, хотя это только выдавало присутствие мистера Хеддлстона.

Деньги были частью в звонкой монете, частью в банкнотах, частью же в чеках на имя некоего Джеймса Грегори. Мы достали все, пересчитали, вложили снова в сундучок Норсмора и заготовили письмо итальянцам, которое прикрепили к ручке. В нем было клятвенное заявление за подписью нас обоих, что здесь все деньги, спасенные от банкротства Хеддлстона. Быть может, это был безумнейший из поступков, на который способны были два, по их собственному мнению, здравомыслящих человека. Если бы сундучок попал не в те руки, для которых он предназначался,

выходило, что мы письменно сознавались в преступлении, совершенном не нами. Но, как я уже говорил, тогда мы не способны были здраво судить о вещах и страстно желали хоть чем-нибудь — все равно, дурным или хорошим — нарушить нестерпимое ожидание беды. Более того, так как мы оба были уверены, что впадины между дюнами полны лазутчиков, наблюдающих за каждым нашим шагом, то мы надеялись, что наше появление с сундучком может привести к переговорам и, как знать, даже к соглашению.

Было около трех часов дня, когда мы вышли из павильона. Дождь прекратился, светило солнце. Я никогда не видел, чтобы чайки летали так низко над домом и так безбоязненно приближались к людям. Одна из них тяжело захлопала крыльями над моей головой и пронзительно прокричала мне в самое ухо.

— Вот вам и знамение,— сказал Норсмор, который, как все вольнодумцы, был во власти всяческих суеверий.— Они думают, что мы уже мертвы.

Я ответил на это шуткой, но довольно натянутой, потому что обстановка действовала и на меня.

Мы поставили наш сундучок за два или три шага от калитки на лужайку мягкого дерна, и Норсмор помахал в воздухе белым платком. Никто не отозвался. Мы громко кричали по-итальянски, что посланы, чтобы уладить дело, но тишина нарушалась только чайками и шумом прибоя. У меня было тяжело на душе, когда мы прекратили наши попытки, и я увидел, что даже Норсмор был необычно бледен. Он нервно озирался через плечо, как будто опасаясь, что кто-то сидит в засаде на пути к двери.

— Бог мой! — прошептал он.— Я, кажется, этого не вынесу!

Я отвечал ему тоже шепотом:

— А что, если их вовсе и нет?

— Смотрите,— возразил он, слегка кивнув, как будто боялся указать рукой.

Я посмотрел в том направлении и над северной частью леса увидел тоненький синий дымок, упрямо подымавшийся в безоблачное теперь небо.

— Норсмор,—сказал я (мы все еще разговаривали шепотом),—это ожидание невыносимо. Смерть и то лучше. Оставайтесь здесь охранять павильон, а я пойду и удостоверюсь, хотя бы пришлось дойти до самого их лагеря.

Он еще раз огляделся, прищурив глаза, и потом утвердительно кивнул головой.

Сердце у меня стучало, словно молот в кузнице, когда я быстро шел по направлению к дымку, и хотя до сих пор меня бросало в озноб, теперь я почувствовал, что весь горю. Местность в этом направлении была очень изрезана, в ее складках на моем пути могли бы укрыться сотни людей. Но я недаром исходил эти места и выбирал дорогу по гребням так, чтобы сразу обозревать несколько ложбин между дюнами. И вскоре я был вознагражден за эту уловку. Быстро взбежав на бугор, возвышавшийся над окружающими дюнами, я увидел шагах в тридцати согнутую фигуру человека, со всей ему доступной быстротой пробиравшегося по дну ложбины. Это явно был один из лазутчиков, которого я поднял из засады, громко окликнул его по-английски и по-итальянски. Он, видя, что прятаться теперь бессмысленно, выпрямился, выпрыгнул из ложбины и, как стрела, понесся к опушке леса.

Преследовать его не входило в мою задачу. Я удостоверился в своих догадках: мы в осаде и под наблюдением—и, сейчас же повернув назад, пошел по своим следам к тому месту, где Норсмор ожидал меня у сундучка. Он был еще бледнее, чем когда я его оставил, и голос его слегка дрожал.

— Видели вы его лицо? — спросил он.

— Только спину,— ответил я.

— Пойдемте в дом, Фрэнк. Я не считаю себя трусом, но больше я так не могу,— прошептал он.

Все вокруг было солнечно и спокойно, когда мы вошли в дом; даже чайки пустились в дальний облет, и видно было, как они мелькали над бухтой и над дюнами. Эта пустота ужасала меня больше целого полчища врагов. Только когда мы забаррикадировали дверь, у меня немного отлегло от сердца, и я перевел дух. Норсмор и я обменялись взглядами, и, должно быть, каждый из нас отметил бледность и растерянность другого.

— Вы были правы,— сказал я.— Все кончено. Пожмем руки в память старого и в последний раз.

— Хорошо,— ответил он.— Вот моя рука, и поверьте, что я протянул вам ее без задней мысли. Но помните: если каким-нибудь чудом мы ускользнем из рук этих злодеев, я всеми правдами и неправдами одолею вас.

— Вы надоели мне! — сказал я.

Его это, казалось, задело; он молча дошел до лестницы и остановился.

— Вы меня не понимаете,— сказал он.— Я веду честную игру и только защищаюсь, вот и все. Надоело это вам или нет, мистер Кессилис, мне решительно все равно. Я говорю, как мне вздумается, а не для вашего удовольствия. Вы бы шли наверх ухаживать за девушкой. Я останусь здесь.

— И я останусь с вами,— сказал я.— Вы что же, думаете, что я способен на нечестный удар, хотя бы и с вашего соизволения?

— Фрэнк,— сказал он с улыбкой,— как жаль, что вы такой осел! У вас задатки мужчины. И, должно быть, это уже веяние смерти: как вы ни стараетесь разозлить меня, вам это не удается. Знаете что? — продолжал он.— Мне кажется, что мы с вами несчастнейшие люди во всей Англии. Мы дожили до тридцати лет без жены, без детей, без любимого дела — жалкие горемыки оба. И надо же было нам столкнуться из-за девушки! Да их миллионы в Соединенном королевстве! Ах, Фрэнк, Фрэнк, жаль мне того, кто проиграет свой заклад! Все равно, вы или я. Лучше бы ему...— как это говорится в библии?— лучше, если бы мельничный жернов повесить ему на шею и бросить его в море... Давайте-ка выпьем!— предложил он вдруг очень серьезно.

Я был тронут его словами и согласился. Он присел за стол и поднял к глазам стакан хереса.

— Если вы одолеете меня, Фрэнк,—сказал он,—я запью. А вы что сделаете, если я возьму верх?

— Право, не знаю,— сказал я.

— Ну,— сказал он,— а пока вот вам тост: «Italia irridenta!» [1].

Остаток дня прошел все в том же томительном ожидании. Я накрывал на стол, в то время как Норсмор и Клара приготовляли обед на кухне. Расхаживая взад и вперед, я слышал, о чем они говорили, и меня удивило, что разговор шел все время обо мне. Норсмор опять включил нас в одну скобку и называл Клару разборчивой невестой; но обо мне он продолжал говорить с уважением, а если в чем и порицал, то при этом не щадил и себя. Это вызвало у меня благодарное чувство, которое в соединении с ожиданием неот-

[1] За воссоединенную Италию! *(итал.)*.

вратимой нашей гибели наполнило глаза мои слезами. «Вот ведь,— думал я, и самому мне смешна была эта тщеславная мысль,— вот здесь нас три благородных человека, гибнущих, чтобы спасти грабителя-банкира!»

Прежде чем сесть за стол, я поглядел в одно из верхних окон. День клонился к закату. Отмель была до жути пустынна. Сундучок все стоял на том же месте, где мы его оставили.

Мистер Хеддлстон в длинном желтом халате сел на одном конце стола, Клара — на другом, тогда как Норсмор и я сидели друг против друга. Лампа была хорошо заправлена, вино — отличное, мясо, хотя и холодное, тоже первого сорта. Мы как бы молча уговорились тщательно избегать всякого упоминания о нависшей катастрофе, и, принимая во внимание трагические обстоятельства, обед прошел веселее, чем можно было ожидать. Правда, время от времени Норсмор или я поднимались из-за стола, чтобы осмотреть наши запоры, и каждый раз мистер Хеддлстон, как бы вспоминая о своем положении, озирался вокруг. Глаза его, казалось, стекленели, а лицо выражало ужас. Но потом он поспешно осушал свой стакан, вытирал лоб платком и снова вступал в разговор.

Я был поражен умом и образованностью, которые он при этом обнаруживал. Мистер Хеддлстон был, несомненно, незаурядный человек, он много читал, много видел и здраво судил о вещах. Хоть я никогда бы не мог заставить себя полюбить этого человека, но теперь я начинал понимать причины его успеха в жизни и того почета, который его окружал до банкротства. К тому же он был светский человек, и хотя я единственный раз слышал его и при таких неблагоприятных обстоятельствах, но и сейчас считаю его одним из самых блестящих собеседников, каких мне приходилось встречать.

Он с большим юмором и, по-видимому, без всякого осуждения рассказывал о проделках одного мошенника-купца, которого он знавал и наблюдал в дни своей юности, и все мы слушали его со смешанным чувством веселого удивления и неловкости, как вдруг наша беседа была внезапно оборвана самым ошеломляющим образом.

Рассказ мистера Хеддлстона был прерван таким звуком, словно кто-то провел мокрым пальцем по стеклу. Все мы сразу побледнели, как полотно, и замерли на месте.

— Улитка,— сказал я наконец; я слышал, что эти твари издают звук вроде этого.

— Какая там к черту улитка!— сказал Норсмор.— Тише!

Тот же самый звук повторился дважды, с правильными интервалами, а потом сквозь ставни раздался громовой голос, произнесший итальянское слово: «Iraditore» [1].

У мистера Хеддлстона откинулась назад голова, его веки задрожали, и он без сознания повалился на стол. Норсмор и я подбежали к стойке и вооружились. Клара вскочила и схватилась за горло.

Так мы стояли в ожидании, полагая, что сейчас последует атака; мгновение проходило за мгновением, но все вокруг павильона было безмолвно, слышался только звук прибоя.

— Скорее,— сказал Норсмор,—отнесем его наверх, пока они не пришли.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

О КОНЦЕ ХЕДДЛСТОНА

Кое-как нам удалось соединенными усилиями дотащить Хеддлстона наверх и уложить его в постель в «дядюшкиной спальне». При этом ему сильно досталось, но он не подавал признаков жизни и остался лежать, как мы его положили, не шевельнув пальцем. Дочь расстегнула ему ворот и стала смачивать его грудь и голову, а мы с Норсмором побежали к окну. Было по-прежнему ясно, поднялась полная луна и ярко освещала отмель, но как мы ни напрягали глаза, не могли обнаружить никакого движения. А относительно нескольких темных пятен среди бугров нельзя было сказать ничего определенного: это могли быть и притаившиеся люди и просто тени.

— Слава богу,— сказал Норсмор,— что Эгги не собиралась к нам сегодня.

Это было имя его старой няни; до сих пор он о ней не вспоминал, и то, что он мог думать о ней сейчас, изумило меня в этом человеке.

---

[1] Предатель. *(итал.)*.

Опять нам оставалось только ждать. Норсмор подошел к камину и стал греть руки у огня, словно ему было холодно. Я невольно следил за ним и при этом повернулся спиной к окну. Вдруг снаружи раздался слабый звук выстрела, пуля пробила одно из стекол и впилась в ставню дюймах в двух от моей головы. Я слышал, как вскрикнула Клара, и хотя я сейчас же отскочил от окна и укрылся в углу, она была уже возле меня, стараясь убедиться, что я невредим. Я почувствовал, что за такую награду готов подставлять себя под выстрелы каждый день и целыми днями. Я старался успокоить ее как можно ласковее, совершенно забыв обо всем происходящем, но голос Норсмора вернул меня к действительности.

— Духовое ружье,— сказал он.— Они хотят расправиться с нами без шума.

Я отстранил Клару и посмотрел на него. Он стоял спиной к огню, заложив руки назад, и по мрачному выражению его лица я понял, какие страсти кипели в нем. Точно такое же выражение было у него в тот мартовский вечер, когда он напал на меня вот тут, в соседней комнате, и хотя я готов был всячески извинить его гнев, признаюсь: мысль о последствиях приводила меня в трепет. Он смотрел прямо перед собой, но краешком глаза мог видеть нас, и ярость его вздымалась, как нараставший шквал. Ожидая битвы, которая предстояла нам с внешним врагом, я начал бояться этой внутренней распри.

Не отрываясь, я следил за выражением его лица, готовясь к худшему, как вдруг увидел в нем перемену — мгновенное просветление. Он взял лампу, возбужденно обратился к нам.

— Необходимо выяснить одно обстоятельство,— сказал он.— Намереваются ли они прикончить всех нас или только Хеддлстона? Интересно, приняли они вас за него или этот знак внимания был предназначен именно вам?

— Они меня приняли за него,—сказал я.— В этом нет сомнения. Я почти такого же роста, и волосы у меня светлые.

— Ну что ж, проверим,— возразил Норсмор и шагнул к окну, держа лампу на уровне головы. Так он простоял, играя со смертью, с полминуты.

Клара пыталась броситься к нему и оттащить его от опасного места, но я с простительным эгоизмом удержал ее силой.

— Да,— сказал Норсмор невозмутимо, отходя от окна.— Да, им нужен только Хеддлстон.

— О мистер Норсмор! — воскликнула Клара и не нашлась, что прибавить: действительно, бесстрашие, им проявленное, было выше всяких слов.

А он посмотрел на меня, торжествующе закинув голову, и я сразу понял, что он так рисковал своей жизнью только затем, чтобы привлечь внимание Клары и свести меня с пьедестала героя дня. Он щелкнул пальцами.

— Ну, огонь еще только разгорается,— сказал он.— Когда они разгорячатся за работой, они не будут так щепетильны.

Вдруг послышался голос, окликавший нас у калитки. В окно нам видна была при лунном свете фигура мужчины. Он стоял неподвижно, подняв голову, и в протянутой руке у него был какой-то белый лоскут. И хотя он стоял далеко от нас, видно было, что глаза его отражают лунный блеск. Он снова открыл рот и несколько минут говорил так громко, что его слышно было не только в любом закоулке нашего павильона, но, вероятно, и на опушке леса. Это был тот самый голос, который прокричал слово «предатель» сквозь ставни столовой. На этот раз он объяснил очень внятно: если предатель «Оддлстон» будет выдан, всех остальных пощадят, в противном случае ни один не уцелеет во избежание огласки.

— Ну, Хеддлстон, что вы на это скажете?— спросил Норсмор, обернувшись к постели.

До этого момента банкир не подавал признаков жизни; я по крайней мере предполагал, что он по-прежнему лежит без сознания, но он тотчас отозвался и с исступлением горячечного больного умолял, заклинал нас не покидать его. Я никогда не был свидетелем зрелища отвратительнее и позорнее этого.

— Довольно! — крикнул Норсмор.

Он распахнул окно, высунулся по пояс и, разъяренный, словно позабыв, что здесь присутствует женщина, обрушил на голову парламентера поток самой отборной брани, как английской, так и итальянской, и посоветовал ему убираться туда, откуда он пришел. Я думаю, что в эту минуту Норсмор просто упивался мыслью, что еще до окончания ночи мы все неминуемо погибнем.

Тем временем итальянец сунул свой белый флаг в карман и не спеша удалился.

— Они ведут войну по всем правилам,— сказал Норсмор.— Они все джентльмены и солдаты. По правде сказать, мне бы очень хотелось быть на их стороне, мне и вам, Фрэнк, и вам тоже, милая моя барышня, и предоставить защиту вот этого создания,— он указал на постель,— кому-нибудь другому. Да-да, не прикидывайтесь возмущенными! Все мы на пороге того, что называется вечностью, так уж не стоит лукавить хоть в последние минуты. Что касается меня, то если бы я мог сначала задушить Хеддлстона, а потом обнять Клару, я с радостью, гордясь собой, пошел бы на смерть. От поцелуя-то я и сейчас не откажусь, черт побери!

Не дав мне времени вмешаться, он грубо схватил девушку в объятия и, несмотря на ее сопротивление, несколько раз поцеловал ее. В последующее мгновение я оттащил его от Клары и яростно отшвырнул к стене.

Он захохотал громко и продолжительно, и я испугался, что рассудок его не выдержал напряжения, потому что даже в лучшие дни он смеялся редко и сдержанно.

— Ну, Фрэнк,— сказал он, когда веселье его слегка улеглось.— Теперь ваш черед. Вот вам моя рука. Прощайте, счастливого пути!

Потом, видя, что я возмущен его поведением и стою, словно оцепенелый, загораживая от него Клару, он продолжал:

— Да не злитесь, дружище! Что же, вы собираетесь и умирать со всеми вашими церемониями и ужимками светского человека? Я сорвал поцелуй и очень этому рад. Следуйте моему примеру, и будем квиты.

Я отвернулся, охваченный презрением, которого и не думал скрывать.

— Ну, как вам угодно,— сказал он.— Ханжой вы жили, ханжой и умрете.

С этими словами он уселся в кресло, положив ружье на колени, и для развлечения стал щелкать затвором, но я видел, что этот взрыв легкомыслия — единственный у него на моей памяти — уже окончился и его сменило угрюмое и злобное настроение.

За это время осаждающие могли бы ворваться в дом и застать нас врасплох; в самом деле, мы совсем забыли об угрожавшей нам опасности. Но тут раздался крик мистера Хеддлстона, и он спрыгнул с кровати.

— Что случилось? — спросил я.

— Горим! — закричал он.— Они подожгли дом!

Норсмор и я мгновенно вбежали в соседнюю комнату. Она была ярко освещена полыхавшим пламенем. Как раз когда мы открыли дверь, перед окном взметнулся целый смерч огня, и лопнувшее со звоном стекло усеяло ковер осколками. Они подожгли пристройку, где Норсмор хранил свои негативы.

— Тепло! — сказал Норсмор.— А ну-ка, в вашу прежнюю комнату!

В ту же секунду мы были там, распахнули ставни и выглянули наружу.

Вдоль всей задней стены павильона были сложены и подожжены кучи хвороста. Вероятно, они были политы керосином, потому что, несмотря на то, что утром шел дождь, ярко пылали. Пламя охватило уже всю пристройку и с каждым мгновением вздымалось все выше и выше; задняя дверь была в самом центре пылающего костра; поглядев вверх, мы увидели, что карниз уже дымился, потому что далеко выступавшую крышу поддерживали массивные деревянные балки. В то же время клубы горячего, едкого, удушливого дыма стали наполнять дом. Вокруг не видно было ни души.

— Ну что ж! — сказал Норсмор.— Вот, слава богу, и конец!

И мы вернулись в «дядюшкину спальню». Мистер Хеддлстон надевал башмаки, все еще дрожа, но с таким решительным видом, какого я у него раньше не замечал. Клара стояла рядом с ним, держа в руках пальто, которое она собиралась накинуть на плечи; в глазах ее было странное выражение: она то ли на что-то надеялась, то ли сомневалась в своем отце.

— Ну-с, леди и джентльмены,— сказал Норсмор,— как вы насчет прогулки? Очаг разожжен, и оставаться тут — значит в нем изжариться. Что до меня, я хотел бы до них дорваться, а там и делу конец.

— Другого выхода нет,— сказал я.

— Нет,— повторили за мной Клара и мистер Хеддлстон, но совершенно различным тоном.

Мы спустились вниз. Жар был едва переносим, и рев огня оглушал нас. Едва мы вышли в переднюю, как там лопнуло стекло, и огненный язык ворвался в отверстие, осветив весь павильон зловещим пламенем. В то же самое время мы услышали, как наверху грохнуло что-то тяже-

лое. Ясно было, что весь дом пылал, как спичечная коробка, и не только освещал море и сушу подобно гигантскому факелу, но каждую минуту мог обрушиться нам на голову.

Норсмор и я взвели курки револьверов. Мистер Хеддлстон, который отказался от оружия, отстранил нас повелительным жестом.

— Пусть Клара раскроет дверь,— сказал он.— Тогда, если они дадут залп, она будет прикрыта дверью. А вы пока станьте за мной. Я козел отпущения. Грех мой настиг меня.

Я слышал, стоя за его плечом с оружием наготове, как он бормочет молитвы прерывистым, быстрым шепотом, и сознаюсь, что, как ни ужасно это может показаться, я презирал его, помышлявшего о каких-то мольбах в этот страшный, решительный час. Между тем Клара, смертельно бледная, но сохранившая присутствие духа, отодвинула баррикаду у входа. Еще мгновение — и она широко раскрыла дверь. Пожар и луна освещали отмель смутным, изменчивым светом, и мы видели, как далеко по небу тянулась полоса багрового дыма.

Мистер Хеддлстон, на мгновение обретший несвойственную ему решимость, резко толкнул меня и Норсмора локтями в грудь, и мы еще не успели сообразить, в чем дело, и помешать ему, как он, высоко подняв руки над головой, словно для прыжка в воду, выбежал вон из павильона.

— Вот я! — кричал он.— Я Хеддлстон! Убейте меня и пощадите остальных!

Его внезапное появление, должно быть, ошеломило наших врагов, потому что Норсмор и я успели опомниться и, подхватив Клару под руки, броситься к нему на выручку, прежде чем что-либо произошло. Но только мы переступили порог, как из-за всех бугров и дюн сверкнули огоньки и раздались выстрелы. Мистер Хеддлстон пошатнулся, отчаянно и пронзительно вскрикнул и, раскинув руки, упал навзничь.

— Traditore! Traditore!— закричали невидимые мстители.

Огонь распространялся так быстро, что часть крыши в этот миг рухнула. Громкий, странный и устрашающий звук сопровождал этот обвал. Огромный столб пламени высоко поднялся в небо; его, вероятно, видно было в открытом море миль за двадцать от берега — и в Грэден Уэстере и с

пика Грейстил, крайней восточной оконечности гряды Колдер Хиллс.

Каковы бы ни были по воле божьей похороны Бернарда Хеддлстона, но погребальный костер его был великолепен.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

О ТОМ, КАК НОРСМОР ОСУЩЕСТВИЛ СВОЮ УГРОЗУ

Мне очень трудно рассказать вам о том, что последовало за этими трагическими событиями. Когда я оглядываюсь на эти минуты, все мне представляется смутным, напряженным и беспомощным, как бредовый кошмар больного. Я вспоминаю, что Клара как-то прерывисто всхлипнула и упала бы на землю, если бы Норсмор и я не поддержали ее безжизненное тело. Нас никто не тронул. Я, кажется, даже не видел ни одного из нападавших, и мы покинули мистера Хеддлстона, даже не взглянув на него. Помню, что я бежал, как человек, охваченный паникой, неся Клару то один, то вместе с Норсмором, то вновь отнимая у него дорогую ношу.

Почему мы выбрали своей целью мой лагерь и как мы добрались туда — все это совершенно стерлось из моей памяти. Первое, что отчетливо вспоминается мне, был момент, когда мы уронили Клару около моей палатки и сами катались возле нее по траве. Норсмор с упорной яростью колотил меня по голове рукояткой револьвера. Он нанес мне две раны в голову, и последовавшей потере крови я приписываю внезапное прояснение моих мыслей.

Я схватил его за руку.

— Норсмор,— как сейчас помню, сказал я.— Убить меня вы всегда успеете, поможем сначала Кларе.

Он уже совсем одолевал меня. Но, услышав эти слова, он тотчас вскочил на ноги, и мы бросились к палатке. В следующее мгновение он уже прижимал Клару к сердцу и целовал ее бесчувственное лицо и руки.

— Стыдитесь! — закричал я.— Стыдитесь, Норсмор!

И, еще не поборов головокружения, я стал бить его по голове и плечам.

Он выпустил Клару и посмотрел мне в лицо при бледном свете луны.

— Вы были в моей власти, и я отпустил вас,— сказал он.— А теперь вы нападаете на меня. Трус!

— Это вы трус,— ответил я.— Разве она позволила бы вам целовать себя, будь она в сознании? Никогда! А теперь она, может быть, умирает, а вы теряете драгоценное время и пользуетесь ее беспомощностью! Пустите ее и дайте мне оказать ей помощь.

Он с минуту смотрел на меня, бледный и угрожающий, потом внезапно отошел в сторону.

— Ну так помогайте!

Я стал на колени возле нее и, как умел, ослабил завязки ее платья, но в это время тяжелая рука опустилась на мое плечо.

— Руки прочь от нее! — яростно сказал Норсмор.— Вы что же, думаете, что у меня в жилах вода?

— Норсмор! — закричал я.— Вы и сами не можете помочь ей и мне не даете. Не мешайте, а то я убью вас!

— Вот это лучше! — закричал он.— Ну и пусть ее умирает. Подумаешь, важность! Прочь от этой девушки — и готовьтесь к бою!

— Заметьте,— сказал я, приподнимаясь,— я ни разу не поцеловал ее.

— Только попробуйте! — крикнул он.

Не знаю, что на меня нашло. Ни одного своего поступка в жизни я так не стыжусь, хотя, как утверждала моя жена, я знал, что мои поцелуи желанны ей, живой или мертвой. Я снова упал на колени, откинул ей волосы со лба и с почтительной нежностью коснулся этого холодного лба губами. То был почти отеческий поцелуй — достойное прощание мужчины на пороге смерти с женщиной, уже преступившей этот порог.

— А теперь,— сказал я,— я к вашим услугам, мистер Норсмор.

Но, к моему изумлению, он стоял, повернувшись ко мне спиной.

— Вы слышите? — спросил я.

— Да,— сказал он,— слышу. Если хотите драться, я готов. Если нет, попытайтесь спасти Клару. Мне все равно.

Я не заставил себя просить; склонившись над Кларой, я продолжал свои усилия оживить ее. Она по-прежнему лежала бледная и безжизненная. Я уже начинал пугаться, что жизнь в самом деле покинула ее. Ужас и отчаяние

охватили мое сердце. Я звал ее по имени, вкладывая в это слово всю свою душу, я гладил и растирал ее руки, то опускал ее голову, то приподнимал, кладя к себе на колени. Но все было напрасно, и веки тяжело закрывали ее глаза.

— Норсмор,— сказал я,— вот моя шляпа. Ради бога, скорее воды из ручья!

Почти в ту же минуту он уже стоял около меня с водой.

— Я зачерпнул своей шляпой,— сказал он.— Вы не ревнуете?

— Норсмор...— начал было я, поливая водой ее голову и грудь, но он свирепо прервал меня:

— Да молчите вы! Вам теперь лучше всего молчать!

У меня и в самом деле не было большой охоты говорить. Мои мысли были всецело поглощены заботой о моей любимой и ее жизни. Итак, я молча продолжал свои старания оживить ее, и когда шляпа опустела, возвратил ее Норсмору с одним только словом: «Еще!» Уж не помню, сколько раз он ходил за водой, как вдруг Клара открыла глаза.

— Ну,— сказал он,— теперь, когда ей стало лучше, вы можете обойтись и без меня, не так ли? Желаю вам доброй ночи, мистер Кессилис!

И с этими словами он скрылся в чаще. Я развел костер, потому что теперь уже не боялся итальянцев, которые не тронули мои оставленные в лагере скромные пожитки; и, как ни потрясена была Клара переживаниями вчерашнего вечера, мне удалось — убеждением, ободрением, теплым словом и теми простыми средствами, которые оказались у меня под рукой,— привести ее в себя и несколько подкрепить физически.

Уже совсем рассвело, когда из чащи раздался резкий свист. Я вскочил на ноги, но сейчас же послышался голос Норсмора, который произнес очень спокойно:

— Идите сюда, Кессилис, но только один. Я хочу вам кое-что показать.

Я взглядом посоветовался с Кларой и, получив ее молчаливое согласие, оставил ее и выбрался из ложбины. На некотором расстоянии я увидел Норсмора, прислонившегося к стволу. Как только он заметил меня, он зашагал к берегу. Я почти нагнал его, еще не доходя до опушки.

— Смотрите,— сказал он, остановившись.

Еще два шага, и я выбрался из чащи. На всем знакомом мне пейзаже лежал холодный, ясный свет утра. На месте павильона было черное пожарище, крыша провалилась внутрь, один из фронтонов обвалился, и от здания по всем направлениям тянулись подпалины обгорелого дерна и кустарников. В неподвижном утреннем воздухе все еще высоко вздымался прямой тяжелый столб дыма. В оголенных стенах дома ярко тлела куча головешек, как угли на тагане. Возле самого острова дрейфовала парусная яхта, и искусные руки гребцов быстро гнали к берегу большую шлюпку.

— «Рыжий граф»! — закричал я.— «Рыжий граф»! Ну что бы ему быть здесь вчера!

— Осмотрите карманы, Фрэнк. Где ваш револьвер? — спросил Норсмор.

Я повиновался и, должно быть, смертельно побледнел. Револьвер мой исчез.

— Вот видите, вы опять в моей власти,— продолжал он.— Я обезоружил вас еще вечером, когда вы нянчились с Кларой. Но сегодня нате ваш пистолет. И без благодарностей! — крикнул он.— Не терплю их! Теперь только этим вы и можете взбесить меня.

Он пошел по отмели навстречу шлюпке, и я шел шагах в двух за ним. Проходя мимо павильона, я остановился посмотреть на то место, где упал мистер Хеддлстон, но там не было никаких следов не только его тела, но даже крови.

— Грэденская топь,— сказал Норсмор.

Он продолжал идти до самого берега бухты.

— Дальше не надо,— сказал он.— Если хотите, отведите ее в Грэден-хаус.

— Благодарю вас,— ответил я.— Я постараюсь устроить ее у пастора в Грэден Уэстере.

Нос шлюпки зашуршал по гальке, и на берег с веревкой в руках выскочил один из матросов.

— Подождите минуту, ребята! — закричал Норсмор и добавил тише, только для меня: — Лучше бы вам не рассказывать ей ничего об этом.

— Напротив! — воскликнул я.— Она узнает все, что я сумею ей рассказать.

— Вы меня не понимаете,— возразил он с большим достоинством.— Этим вы ее не удивите. Другого она от меня и не ждала. Прощайте! — добавил он, кивнув головой.

Я протянул ему руку.

— Простите,— сказал он.— Я знаю, что это мелко, но для меня это слишком. Не хочу этих сентиментальных бредней — седовласый странник у вашего домашнего очага и все такое прочее... Наоборот, надеюсь, что никогда не увижу вас обоих.

— Да благословит вас бог, Норсмор! — сказал я от всего сердца.

— Да, конечно,— протянул он.

Мы спустились к воде; матрос помог ему войти в шлюпку, оттолкнулся от берега и прыгнул в нее сам. Норсмор сел к рулю. Шлюпка закачалась на волнах, и весла в уключинах заскрипели в утреннем воздухе резко и размеренно. Когда из-за моря поднялось солнце, они уже были на полпути к «Рыжему графу», а я все еще смотрел им вслед.

Еще немного, и рассказ мой будет окончен. Остается сказать, что через несколько лет Норсмор был убит, сражаясь под знаменами Гарибальди за освобождение Тироля.

СОДЕРЖАНИЕ

М. Урнов. Роберт Луис Стивенсон. (Жизнь и творчество) . . 3

ПУТЕШЕСТВИЕ ВНУТРЬ СТРАНЫ

Перевод И. Гуровой.

Предисловие к первому изданию 51
Из Антверпена в Бом 54
По каналу Виллебрук 57
Клуб королевских водников 61
В Мобеже 65
По каналу Самбры (В Карт) 69
Пои-Сюр-Самбр (Мы — коробейники) 73
Пон-Сюр-Самбр (Странствующий торговец) 78
По каналу Самбры (К Ландреси) 81
В Ландреси 85
Канал Самбра-Уаза 89
Уаза после дождей 93
Ориньи-Сент-Бенуат (Дневка) 98
Ориньи-Сент-Бенуат (Общество за табльдотом) 103
Вниз по Уазе (В Муа) 108
Вниз по Уазе (Через Золотую долину) 117
Вниз по Уазе (В Компьен) 122
Вниз по Уазе (Церковные интерьеры) 132

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ

Ночлег Франсуа Вийона *Перевод И. Кашкина* . . . 149
Вилли с мельницы. *Перевод Н. Дарузес* 169

Клуб самоубийц. *Перевод Т. Литвиновой.*

Повесть о молодом человеке с пирожными 194
Повесть об английском докторе и дорожном сундуке . 225
Приключения извозчичьей пролетки 250

Алмаз Раджи. *Перевод Е. Лопыревой.*

Повесть о шляпной картонке 269
Повесть о молодом человеке духовного звания 290
Повесть о доме с зелеными ставиями 305
Повесть о встрече принца Флоризеля с сыщиком . . . 332

Дом на дюнах. *Перевод И. Кашкина.* 339

Р Л СТИВЕНСОН
Собрание сочинений
в 5 томах

Том 1.

Редактор тома
М. Кан.

Оформление художников
С. Бродского и И. Клейнарда.

Технический редактор
А. Шагарина.

Подписано к печати 20/XI 1967 г.
Форм. бум. 84×108¹/₃₂. Объем 21,1 усл. печ. л.
22,56 учетно-изд. л. Тираж 300 000 экз.
Изд. № 1973. Зак. № 1640. Цена 90 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина Москва, А-47,
улица «Правды», 24.

Индекс 70678.